

Зарубежная



фантастика

ОПЕРАЦИЯ
„ВЕЧНОСТЬ“

ОПЕРАЦИЯ „ВЕЧНОСТЬ“

Сборник научно-фантастических
произведений



Издательство «Мир» Москва

Зарубежная  фантастика



Зарубежная



фантастика

ОПЕРАЦИЯ „ВЕЧНОСТЬ“

Сборник
научно-фантастических произведений

Перевод с польского Е. ВАЙСБРОТА



МОСКВА «МИР» 1988

**ББК 84.4П
О60**

Предисловие Кира БУЛЫЧЕВА

**О60 Операция «Вечность»: Сб. научно-фантаст. произведений; Пер. с польск./Предисл. Кира Булычева.— М.: Мир, 1988.— 553 с.— (Зарубежная фантастика)
ISBN 5-03-001177-3**

В сборнике представлен современный польский научно-фантастический роман. Советский читатель познакомится с новым произведением Ст. Лема «Мир на Земле», а также романами К. Фиалковского «Homo divinus» и Б. Петецкого «Операция «Вечность»».

О $\frac{4701000000-455}{041(01)-89}$ 155—89 ч. 1

ББК 84.4П

*Редакция научно-популярной
и научно-фантастической литературы*

ISBN 5-03-001177-3

© состав, предисловие, перевод на русский язык,
«Мир», 1988

Человек современный

Летом 1987 г. я был в Варшаве, на «Польконе» — Польском конгрессе любителей фантастики. Конгресс собрался в студенческом клубе «Стодол», гулком, обширном, многоярусном сооружении, в которое студенческая фантазия преобразила какой-то колоссальный сарай или подобное не менее скучное помещение. С потолка там свисали стулья, а старые автомобили выглядывали из углов, словно громадные мухи, попавшие в невидимую канатную паутину. Это был мир молодого вызова условностям и грубой, но по-своему логичной эстетики. Кипение конгресса подчеркивало необычность обстановки: в большом зале не гас экран — фильм сменялся фильмом; во внутреннем дворике за столиками, тесно уставленными чашками с кофе, горячо спорили ценители изящной словесности, нехотя уступая место книжному аукциону; в фойе протянулись ларьки, где клубы торговали своими журналами и книгами; взмыленные организаторы носились по лестницам либо вдруг слетались кучкой, сближали головы и срочно обсуждали неотложные и неожиданные проблемы.

Когда я попросил показать мне публикации клубов, на столике через минуту выросла метровая стопа журналов, газет и бюллетеней. Десятки клубов, не только воеводских или студенческих, но и творческих союзов при воинских организациях, научных институтах, заводах (хотя в основном это движение студенческое) одержимы благородным желанием помочь своим членам напечатать их творения. Проблема графомана, который терзает редакции своими рукописями, утратила в Польше свою остроту. Хочешь напечататься, хочешь испытать свой талант читателем — рискуй! Читатель в Польше квалифицированный, он в курсе «фантастических» дел не только отечественных, но и зарубежных.

И если государственное издательство не торопится перевести какой-либо нашумевший роман, эту задачу возьмет на себя клуб.

В Польше на душу населения фантастической литературы выходит в несколько раз больше, чем в нашей стране. Соответственно, условия работы польского писателя иные, нежели у нас: он находится в постоянном, осязаемом контакте с аудиторией, могучая общественная критика быстро откликается на любое новое произведение, оценивает его, рождая в писателях очевидное чувство ответственности за свой труд. В таких условиях исключена снисходительная и безответственная позиция: если фантастика — купят!

И второе: наличие активной инфраструктуры клубов и любительских органов печати способствует появлению новых имен и талантов. Этому же помогает и популярный ежемесячный журнал «Фантастика», штаб национальной школы писателей-фантастов и поклонников этой не учтенной древними греками музыки.

Журнал делит обширную, «буржуазную» квартиру в центре Варшавы с журналом польских киноведов. Если не ошибаюсь, там пять комнат, увешанных картинами и плакатами, и полное отсутствие табели о рангах, формальной солидности, деления на ведущих и ведомых. Главный редактор, сам писатель, Адам Голлянек, может, и похож статью на главного, и возрастом вдвое, а то и втрое старше своих сотрудников, но он не более чем первый среди равных. И Лех Енчмык, создавший еще много лет назад лучшие в свое время сборники фантастики «Пути в незнаное», большой авторитет в издательском мире, и другие, пусть немногочисленные, но знающие и, главное, все без исключения любящие свою работу и свою музыку журналисты, переводчики и писатели, создают и берегут дух молодости в польской фантастике.

Эта фрагментарная и неполная картина состояния фантастики в Польше нарисована мною в попытке объяс-

нить, почему столь богата именами и талантами польская фантастическая литература, причем именно литература современная.

Для наших читателей, как впрочем и для читателей английских, американских, японских или немецких, польская фантастика связана в первую очередь с именем Станислава Лема. Так уж получилось, что по уровню таланта и мировой славы он возвышается над своими коллегами. Как утверждает британская «Энциклопедия научной фантастики», Лем «один из известнейших писателей-фантастов нашего века». Но если для зарубежного читателя это имя в силу известного феномена, что наиболее активно переводится тот писатель, который уже известен, затмевает все прочие имена в польской фантастике, польский читатель никогда не согласится с исключительностью Лема. Для него национальная фантастика — это явление, поток, состоящий из многих ярких имен. Причем все это писатели послевоенного поколения.

Если мы обратимся к чешской фантастике, то обнаружим, что там знаменитые имена возникают сразу после первой мировой войны. Грандиозный социальный катаклизм, связанный с распадом Австро-Венгерской империи, которая сама по себе была фантастическим анахронизмом, дал толчок резкому росту национального самосознания и попытке осознать окружающий мир, вырываясь за рамки реальности. Почти одновременно в фантастику (в широком ее понимании) приходят Карел Чапек, Владислав Ванчура, Ян Вайс; по силе гиперболлизации действительности как фантаста я воспринимаю и Ярослава Гашека. Творческий всплеск этих писателей оказал решающее влияние на развитие фантастической литературы во всем мире.

Мне кажется, что уровень социального катаклизма времен второй мировой войны, когда судьба Польши оказалась наиболее трагической среди трагических судеб европейских стран, способствовал тому, что именно

в послевоенные годы эпицентр развития европейской фантастики перемещается в Польшу. И там появляются несколько значительных писателей, старавшихся с помощью гиперболы отразить свои мысли и тревоги, отыскать пути в будущее.

Если традиции в польской фантастике и существовали, то не были явно выражены. Среди авторов начала века выделялся, пожалуй, лишь Ежи Жулавский с его знаменитой в свое время не только в Польше, но и в России трилогией. Так что корни феномена кроются не в прошлом, а в окружающем нас мире.

Станиславу Лему, уроженцу Львова, поселившемуся с 1948 г., когда ему было двадцать семь лет, в Кракове, медику, пробовавшему силы в реалистической прозе, пришлось начинать фактически на пустом месте. Пустота, правда, была относительной. В послевоенные годы начинается бурный взлет фантастики в Соединенных Штатах. Именно тогда принимаются всерьез за перо такие нынешние корифеи мировой фантастики, как Азимов, Бредбери, Шекли, Саймак, Хайнлайн. Именно тогда определяются две главных темы в фантастической литературе конца сороковых-пятидесятых годов: социальная антиутопия и роман-катастрофа, повествующий о конце мира, вызванном атомной войной.

Господство этих тем вызвано вполне очевидным фактом; ведь фантастика — самый актуальный род художественного творчества. Она способна быстро и остро откликнуться на те проблемы, что стоят перед обществом и индивидуумом, разглядеть их в зародыше либо представить себе их последствия. Если для литературы реалистической главной задачей всегда остается исследование человека среди людей, отношений между индивидуумами, то литература фантастическая более обеспокоена проблемой отношения человека и общества, человека и окружающего мира. Это не исключает, разумеется, обращения реалистов к жгучим социальным

проблемам либо внимания фантаста к темам этическим.

В конце сороковых годов началась «холодная война», началось роковое противостояние двух социальных систем. На это противостояние накладывалась живая и болезненная память об ужасе тоталитаризма, породившего вторую мировую войну. Страх перед повторением войны, страх перед возвращением фашизма накладывался на возникшее осознание того, что наука из блага, чему учил славный Жюль Верн, превратилась в чудовище Франкенштейна, готовое сожрать своего создателя. Рядом с людьми, еще не привыкшими «жить с атомной бомбой», маячил призрак всеобщей огненной смерти. Именно эти настроения в обществе и нашли отражение в первую очередь в научно-фантастической литературе и кино. В романах фантастов повторялись образы Земли, опустошенной третьей мировой войной, картины жизни последних дикарей, в кино гремели фильмы на те же темы, вершиной которых стал «На Последнем берегу». Крупнейшие писатели США и Англии старались заглянуть в будущее и видели его, как правило, в страшном свете: находящимся в мрачных тисках либо тоталитаризма, каким видел его Орвелл, либо религиозной нетерпимости, как рассказал о том Хайнлайн в романе «Это не должно повториться», либо господства бесчеловечных галактических империй. Все эти писатели не пугали читателя, а лишь отражали его страхи. Но не видели выхода. Или, если видели, то относили его к далекому и абстрактному будущему.

И вот, в конце сороковых годов Лем пишет, а в 1951 г. публикует свой первый роман — «Астронавты». В нем точно ощущается время. Там есть и угроза атомной войны и рассуждение об агрессии — в определенных аспектах «Астронавты» смыкаются с тематикой западной фантастической литературы того периода. И в то же время Лем ищет и находит жизнеутверждающее начало в процессе мирового развития и в метафорической форме утверждает оптимистический вариант эво-

люции человечества, альтернативу разума. Тема неизбежной победы добра, прогресса, веры в то, что человечество выйдет в космос ради гуманных целей, под новым углом раскрывается в следующем большом романе Лема «Магелланово облако» (1955 г.).

Значение работы Лема выходит далеко за пределы Польши. Я убежден, что, не будь его романов, развитие советской фантастической литературы было бы замедлено. Лем как бы преодолел психологический барьер, сделал шаг, позволивший иным писателям продолжить это движение вперед. Мне видится влияние первых романов Лема и на первую значительную советскую космическую утопию послевоенного периода — «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова (1957 г.) и в какой-то степени на первый роман А. и Б. Стругацких «Страна багровых туч» (1959 г.).

Еще большее значение имели пионерские работы Лема для развития польской фантастической литературы. Можно назвать по крайней мере три известных в стране имени, которые возникают на литературной сцене вскоре после появления «Астронавтов». Это ровесники Лема — покойный Чеслав Хрущевский, а также Кшиштоф Борунь и Анджей Трепка. Творчество этих писателей, претерпевая изменения, развиваясь, продолжается и в современность. Крупнейший роман Хрущевского «Повторное сотворение мира» был опубликован в 1974 г., получившая признание читателей книга Боруня «Маленькие зеленые человечки» — в 1985 г.

Под определенным влиянием Лема развивалось и следующее поколение польских фантастов. Но говорить безапелляционно, что они — его ученики и последователи, было бы преувеличением. Талант и слава Лема способствовали развитию польской литературы, признанию ее, росту читательского интереса, но не подавляли индивидуальности иных авторов. Нельзя забывать о том, что писатели, родившиеся в тридцатые годы, пришли в литературу в шестидесятых, когда общая

ситуация как в мире, так и в Польше изменилась. Западный пессимизм и прикладная убогость фантастики сменились новыми веяниями и новыми надеждами. Наконец-то люди вышли в космос, отступила «холодная война», на первое место стали выдвигаться будоражащие воображение и внушающие беспокойство темы защиты нашей Земли от человеческого варварства, головокружительного развития генетики и ее возможностей, наконец, проблемы возможного межпланетного контакта. Так что почва для процветания новых польских писателей была плодородной.

Среди крупнейших польских писателей-фантастов шестидесятых—семидесятых годов можно назвать имена Януша Зайделя и Конрада Фиалковского. Масштабы таланта — в литературе понятие условное. Рядом с этими писателями работали и работают многие другие авторы, которыми по праву может гордиться польская фантастическая литература. Достаточно назвать Эдмунда Внук-Липинского, Адама Вишневского-Снерга, Адама Голлянека, Яцека Савашкевича, Богдана Петецкого, список этот можно было бы и продолжить.

Если говорить об известности в Польше, то, пожалуй, из бесед с любителями фантастики, с писателями и критиками приходишь к выводу, что на первое место сегодня выдвинулся Януш Зайдель.

Фантастика Зайделя в значительной степени — фантастика социальная, это литература предупреждения. Показывая альтернативы эволюции общества, Зайдель откликается на сегодняшние проблемы, вбирая в фокус изображения то, что завтра может стать реальной угрозой для человечества. Безответственные генетические эксперименты ставят под угрозу само существование земной цивилизации в мире, описанном в романе «Цилиндр Ван Троффа». Неустроены и трагичны картины миров и в других романах и повестях Зайделя — он писатель, будоражащий воображение и взывающий к человеческому рассудку. Зайдель по сути своей

автор очень современный и в своем творчестве отразил, и во многом предвосхитил, основные темы фантастики восьмидесятых годов — господство глобальных проблем, понимание того, насколько мал и хрупок мир Земли и насколько высока доля ответственности каждого из нас за ее выживание. Ввиду этого неудивительно обращение писателя к человеку как микрокосму, попытка через личность выйти к проблемам социума. Происходит как бы парадоксальное слияние детального изучения разума индивида и попытки понять человечество в целом. То, что Станислав Лем когда-то начал в «Солярисе», на новом витке овладело умами писателей в разных странах. Достаточно обратиться к крупнейшим произведениям фантастики последних лет, и мы увидим, как эту проблему решают Стругацкие в «Миллиарде лет до конца света» и в романе «Волны гасят ветер», как разрабатывают эту тему В. Михайлов и Филип Дик, В. Савченко и Урсула ле Гуин. На второй план отступают иные вопросы, а привычные элементы космических далей сменяются земными интерьерами. А если и не сменяются, то остаются лишь внешним антуражем, фоном, на котором думают, мучаются, ищут истину наши с вами современники.

В сборнике, который предлагается вниманию советского читателя, сделана попытка показать это направление в современной фантастике на примере польской литературы. Все три романа, включенные в сборник, созданы за последние годы, все ставят себе целью изучение человеческого индивидуума и его места в мире людей, во всех — на первом плане морально-этические проблемы. Более того, все три романа в той или иной форме рассказывают о раздвоении сознания или тела героя.

В свое время мне пришлось увидеть составленный советским фантастом и методистом изобретательства, то есть человеком организованным мышления, С. Альтовым, таблицу, в которой были учтены все возможные

темы и сюжеты фантастики. Не помню уж, сколько положено было фантастике иметь тем и сюжетов, а также подсюжетов и подтем, но главное, что меня испугало в таблице,— ее окончательность и безапелляционность, которая происходила от внешней убедительности расчетов. И в самом деле, я тут же отыскал в ней графы для каждого знакомого мне либо написанного мною рассказа. Потом, одумавшись, я успокоился. И попытался создать подобную, уже пародийную, таблицу для литературы реалистической. Оказалось, что это тоже возможно. Представьте себе: тема — неудачная любовь; подтема — жена изменяет мужу; сюжет — неудачное завершение романа приводит женщину к самоубийству; подсюжет — женщина бросается под проходящий поезд. И вместо «Анны Карениной» мы имеем опус номер такой-то из графы такой-то.

Если принять подобную схему всерьез, то окажется, что три польских писателя, небогатые воображением, взяли сюжеты с одной и той же полки. И как разные инструменты в одном оркестре проиграли тему на свой манер. К счастью, ничего подобного не произошло и произойти не могло. Трудно представить себе столь разные романы, которых в самом деле объединяет лишь одно — актуальность.

И первым среди трех стоит роман Станислава Лема.

Повторюсь: все мы, работающие сегодня в фантастике, многим обязаны Лему. Осознание этого рождает особое чувство к нему, как писателю и человеку. Помню, несколько лет назад, будучи в Кракове, городе Лема, я зашел в магазин старой книги. Мой спутник сказал, что в этом магазине бывает Лем. И тут же обратился к joviallyному, разговорчивому владельцу магазина с вопросом: не заходил ли сюда сегодня пан Лем. Хозяин магазина сокрушенно сообщил, что пан Станислав уже несколько дней здесь не был. Наступила горькая пауза — эфемерная надежда встретить писателя испарилась. И чтобы как-то объяснить нашу печаль, мой спутник

сообщил владельцу магазина, показывая на меня:

— А этот пан — фантаст из Советского Союза.

Владелец магазина искренне обрадовался. Он протянул ко мне обе руки и воскликнул:

— Здравствуйте, пан Стругацкий!

Не увидев Лема, я не перестал перед ним преклоняться. Причем, как у каждого искреннего поклонника, отношение к Лему у меня ревнивое и порой даже капризное. Я радуюсь, когда открываю в Леме новое, сержусь, если мне кажется, что он меня разочаровал. А ведь Лем многообразен и никогда не перестает искать новые формы и способы выражения. Он далеко ушел от «Астронавтов» и «Магелланова облака». Он пишет философские трактаты и порой превращает в их подобие свои повести и романы. Количество мыслей, идей, парадоксальных суждений в них таково, что они порой начинают оттеснять собственно литературу. Действие замедляется, а то и останавливается, ожидая, пока читатель освоит и впитает поток парадоксов и рассуждений. Мне кажется, что когда-то, уже давно, Лем придумал «Звездные дневники Ийона Тихого» не потому, что хотел рассмешить читателя, а потому что они позволяли делиться с читателем силой и богатством своего ума, обходясь одним персонажем, притом «маской».

И вот, через много лет я снова встречаюсь с Ийоном Тихим уже в романе. Есть здесь и мудрый профессор Тарантога, есть и иные действующие лица — какой же роман без действующих лиц? Но главное действующее лицо — сам Станислав Лем, который в списке персонажей не обозначен, но безраздельно господствует на его страницах.

Порой литературное произведение можно уподобить пище. Вкусной конфетке, что быстро тает во рту, сочному куску мяса, скучному столовскому супу, который хочется поскорее проглотить и забыть. «Мир на Земле» — это пиршество для гурманов духа.

Пожалуй, давно я не встречал романа, который чи-

тался бы так медленно, в котором работала бы каждая фраза, в котором читателю не давали бы возможности пропустить страницу или несколько страниц просто так, для отдыха глаз и ума. Мне кажется, что никогда еще фантазия Лема не была столь богата, изобретательна и многообразна.

Да и сам Ийон Тихий в романе уже не тот комментатор парадоксов и наблюдатель, как прежде. Он почти перестал шутить. Он — часть человечества, достаточно неуверенного в себе и испуганного. Он путешествует не среди абстрактных звезд, а думает с нами вместе о главной проблеме современности — о войне и мире. Как бы отделаться от проблемы? Может, отправить оружие на Луну? Превратить войну в игру? А вдруг она обернется новым ужасом?

Два Ийона Тихого в одном, как два человека в каждом из нас, стараются решить проблему, которая силой лемовской гиперболизации теряет конкретность и становится проблемой не только социальной, но и этической. Как и тысяча других проблем, поднятых в романе либо лишь затронутых походя. И понимаешь — как богат писатель, если он мог так, между фразами, подарить нам сюжеты и темы десятков ненаписанных романов на страницах одного.

Вселенский простак (но не Швейк) Ийон Тихий далеко не прост. Сила его в том, что он живет в каждом из нас и рассуждает вместе с нами. Правда, теперь он потерял какую-то долю своей наивности, он стал сложнее. Впрочем, и наш мир за эти годы усложнился.

Если роман Лема — новинка в буквальном смысле этого слова («Мир на Земле» вышел в Польше в 1987 г.), то роману Конрада Фиалковского «*Ното divisus*» уже скоро исполнится десять лет. Он переведен на многие языки, известен в разных странах. По признанию критики, этот роман — лучшее из того, что по сей день написано Фиалковским.

Конрад Фиалковский родился в 1939 г. Окончив факультет электроники Варшавского политехнического института, он посвящает себя науке. На счету у ученого много серьезных научных работ. Он один из создателей проекта биомедицинского компьютера, ему принадлежит интересная модель возникновения мозга человека как побочного эффекта адаптации, никак не связанной с мышлением. Однажды на вопрос корреспондента, как получилось, что он, ученый с мировым именем, обратился к жанру научной фантастики, Фиалковский ответил, что для него это способ выражать мысли и идеи, которые иным способом выразить трудно. Это высказывание, пожалуй, может послужить ключом к «Homo divinus».

Если жанр лемовского произведения определить трудно — роман здесь название условное, то Фиалковский пишет именно роман: столкновение характеров в рамках развивающейся интриги, позволяющей читателю найти свою позицию в этом конфликте, «выбрать сторону».

У Лема Ийон Тихий раздваивается. Получаются два человека в одном, и возникает конфликт внутри одного характера. Фиалковский отдает тело погибшего молодого человека, скорее обыкновенного, чем выдающегося, в качестве хранилища для мозга великого ученого, одержимого идеей, оторванного от людей, использующего весь мир, до последнего человека, ради достижения своих, в общем благородных и нужных человечеству целей. Здесь возникает конфликт между двумя несовместимыми личностями в одном теле. Проблема этическая и решается именно как таковая. В конце концов понимаешь, что великий ученый мог заниматься не космическими проблемами, а, скажем, изобретением вечного двигателя: главный вопрос — это свобода личности. Отвергая как бесчеловечный девиз иезуитов «Цель оправдывает средства», мы в прошлом многократно использовали его смысл, маскируя иными, зву-

чащими более гуманно, лозунгами. Мир, в котором властвует Тертон, существует ради идеи, которая полагает себя вправе уничтожать людей. Вот почему авторской позицией предопределена победа Корна.

Третий роман сборника принадлежит перу Богдана Петецкого. Петецкий родился в 1931 г., по образованию он ориенталист, но с 1976 г. занят исключительно писательским трудом. Ему принадлежат 16 романов, половина которых адресована юным читателям. «Взрослые» романы Петецкого в большинстве своем посвящены различным аспектам возможных контактов с внеземными цивилизациями. Это романы «Нулевые зоны» (1972), «Люди со звезды Ферье» (1974), «Рубин прерывает молчание» (1976), «Первый землянин» (1983). В отличие от них роман «Операция „Вечность“» (сокращенный перевод) посвящен гуманистическим проблемам развития нашей цивилизации и, хотя он написан ранее романов Лема и Фиалковского, подпадает под уже упомянутые нами законы развития фантастики. Бессмертие в романе достигается возрождением погибшего человека, генетически записанного до последней молекулы. Генетическая матрица ждет своего часа — случайной гибели человека от болезни или несчастного случая. И смерти нет — есть лишь повторение жизни с того момента, когда была сделана последняя запись.

Но герой романа не хочет бессмертия. Он саботирует эту розовую мечту людей. Он боится за судьбу бессмертного человечества, и в романе есть впечатляющий эпизод, когда, встретившись со стариком, не желающим, как и герой, быть бессмертным, он узнает, что теперь никто не ходит в горы, как когда-то ходили герой со своей любимой. Зачем напрягаться, если в том нет риска? Смерть, что караулила людей в моменты подвигов, свершений, дерзаний, теперь не страшна. Ее нет. И прогресс человечества, составной частью кото-

рого является борьба, победа в которой не гарантирована, неизбежно замедлится и остановится.

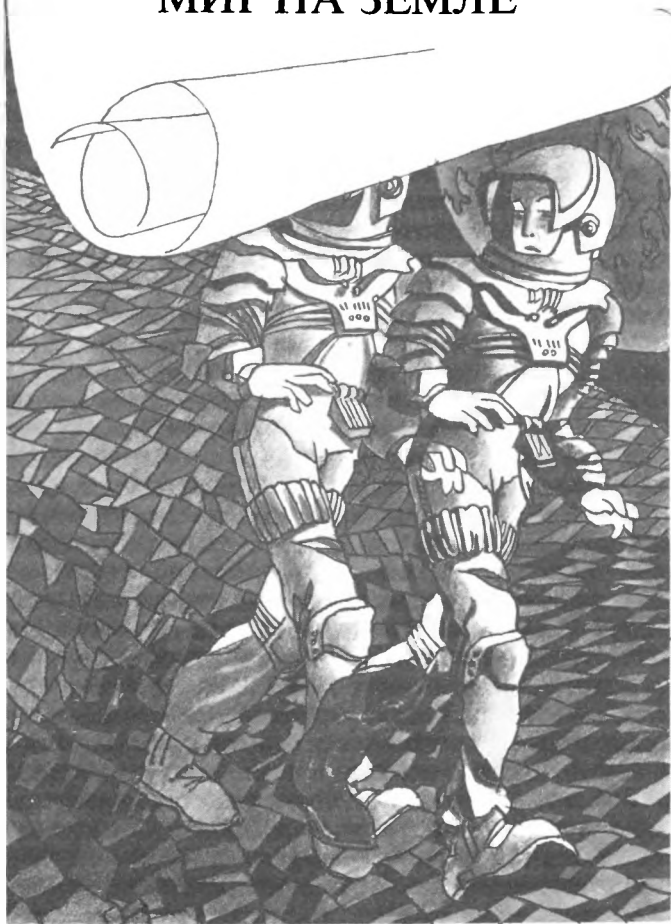
Я не могу сказать, что герой Петецкого мне всегда симпатичен. Порой трудно отождествить себя с ним (важный принцип положительного литературного героя), потому что он капризен, иногда сварлив, отношения с собственными двойниками показывают его не в лучшем свете. Но на то авторская воля — именно такого человека создал Петецкий, потому что роман его также, несмотря на научно-фантастический антураж, — в первую очередь исследование этических проблем, наших, современных, волнующих.

Читателю предстоит познакомиться с несколькими разными людьми. Каждый из них столкнулся с проблемой раздвоения личности, в одном ли теле, в разных ли ипостасях. Каждый решал ее по-своему, но каждый оставался при том неотторжимой частицей человечества и его проблема была проблемой всех людей.

И нас, читателей этой книги.

Кир Булычев

Станислав Лем
МИР НА ЗЕМЛЕ



Stanisław Lem

POKÓJ NA ZIEMI

**Wydawnictwo literackie
Kraków 1987**

© by Stanisław
Lem, Kraków
1987

I. Раздвоение

Не знаю, что и делать. Сказать «плохи мои дела» — скверно, сказать «плохи наши дела» — не лучше, потому что о себе я могу говорить лишь частично, хоть по-прежнему остаюсь Ийоном Тихим. У меня давно уже вошло в привычку разговаривать с самим собой во время бритья, а теперь пришлось от этого отказаться, потому что левый глаз все время подмигивает и сильно мешает. Пока я сидел в ЛЭМе, то не отдавал себе отчета в том, что произошло перед самым стартом. Мой ЛЭМ не имел ничего общего с американским модулем, в котором НАСА выслало Армстронга и Олдрина за полудюжиной лунных камней. Его называли так, чтобы закамуфлировать мою секретную миссию, черт бы ее побрал. Возвратившись из созвездия Тельца, я по меньшей мере год не намерен был никуда летать. Согласился исключительно ради блага человечества. Понимал, что могу не вернуться. Доктор Лопец высчитал, что у меня один шанс на двадцать и восемь десятых. Это меня не остановило. Я человек рискованный. Двум смертям не бывать! «Вернусь или не вернусь», — сказал я себе. Мне и в голову не приходило, что вернуться могу не я, а мы. Чтобы это объяснить, придется приподнять завесу особой секретности, но мне все едино. То есть мне — частично. Ведь и писать я вынужден тоже частично, с огромным трудом. Выстукиваю на машинке правой рукой. Левую приходится привязывать к подлокотнику, потому что она против. Вырывает бумагу из машинки, никакие уговоры не действуют, а пока я ее привязывал, подбила мне глаз. Результат раздвоения. У каждого человека два полушария головного мозга, соединенные большой белой спайкой. По латыни — *corpus callosum*. Двести миллионов белых нервных волокон соединяют половинки мозга, чтобы не разбежались мысли. Соединяют, но только не у

меня. Бах — и конец. И даже никакого «бах» не было, а просто полигон, на котором лунные роботы испытывали новое оружие. Попал я туда совершенно случайно. Уже выполнил задание, обвел вокруг пальца тамошние бездушные творения, возвращался в ЛЭМ, и тут у меня возникла малая нужда. На Луне уборных нет. Да в пустоте они ни к чему. Носишь с собой в скафандре емкость, такую, как у Армстронга с Олдрином. Так что оправиться можно в любой момент и в любом месте, но я стеснялся. Слишком я культурный, вернее — был слишком культурным. Так вот просто, при ярком Солнце, посреди Моря Ясности было как-то неловко. Неподалеку лежал большой одинокий валун, я и отправился туда, в тень. Откуда мне было знать, что там уже действует их ультразвуковое поле. Стою я и вдруг чувствую: в голове что-то тихонечко щелкнуло. Будто стрельнуло, но не в шею — так иногда бывает, — а чуточку выше. Внутри черепа. Это, собственно, и была дистанционная интегральная каллотомия. Совсем не больно. Почувствовал я себя, правда, странно, но все тут же прошло, и я направился к ЛЭМу. Ну, ощущение такое, словно все немножко изменилось, и я сам тоже, но я решил, что это от перевозбуждения, вполне понятного после стольких происшествий. Как известно, правой рукой заведует левое полушарие мозга. Поэтому я и говорю, что пишу лишь частично я. Видимо, правое полушарие имеет что-то против, коли мешает. Все страшно перепуталось. Не могу сказать, что я — только мое левое полушарие. Приходится идти с правым на компромиссы, не сидеть же вечно с привязанной рукой. Уж я с ним, с правым, и так и этак. Впустую. Оно прямо-таки невыносимо. Агрессивно, вульгарно и нахально. Счастье еще, что не может читать все подряд. Понимает только некоторые части речи, в основном имена существительные. Обычное явление, знаю, начитался соответствующих книжек. Глаголов и прилагательных как следует не разбирает, ну, а раз уж оно глядит на то, что я тут выстукиваю, приходится выражаться так, чтобы его не

раздражать. Удастся ли — не знаю. Впрочем, вообще никто не знает, почему все хорошее воспитание размещается в левом полушарии.

На Луне мне предстояло высадиться тоже частично, но совсем в другом смысле, потому что это было еще до несчастного случая, то есть до того, как меня раздвоило. Я должен был обращаться вокруг Луны по стационарной орбите, а на разведку отправить своего дистантника. Похожего на меня, только пластикового, с датчиками. Так что я сидел в ЛЭМе 1, а опустил ЛЭМ 2 с дистантником. Лунные военные роботы страшно настроены против людей. В каждом готовы видеть врага. Во всяком случае, так мне было сказано. К сожалению, ЛЭМ 2 вышел из строя, и я решил опуститься сам, чтобы посмотреть, что с ним приключилось, так как связь была почти прервана. Сидя в ЛЭМе 1 и уже не чувствуя ЛЭМа 2, я, однако, ощущал боль в животе, который, собственно, болел-то у меня не непосредственно, а по радио, потому что, как выяснилось после посадки, они взломали у ЛЭМа крышку, вытащили дистантника и принялись его потрошить. На орбите я не мог отключить нужный кабель. Конечно, в этом случае живот болеть перестал бы, но, совсем потеряв связь с дистантником, я не знал бы, где его искать: Море Ясности, на котором он попал в ловушку, не уступает размером Сахаре. Кроме того, кабелей было великое множество, все они перепутались, инструкция по аварийному обслуживанию куда-то запропастилась, а искать ее с болями в животе было так несподручно, что я решил не вызывать Землю, а спуститься на Луну лично, хотя меня предупреждали, чтобы я ни в коем случае этого не делал, ибо потом мне уже не выкарабкаться. Однако не в моей натуре отступать. Кроме того, хотя ЛЭМ — всего лишь машина, напичканная электроникой, мне не хотелось оставлять его на растерзание роботам.

Похоже, чем больше я объясняю, тем туманнее все становится. Наверное, надо начать с самого начала. Правда, я не знаю, каким было это начало, потому что запом-

нить его должно было правое полушарие моего мозга, а для меня вход в него закрыт, вот я и не могу собраться с мыслями. Такой вывод я делаю оттого, что не помню множества вещей, и, чтобы хоть что-то о них узнать, мне приходится правой рукой подавать левой знаки, какими пользуются глухонемые, но она не всегда изволит отвечать. Например, показывает кукиш, и это еще не самое грубое выражение ее иного мнения.

Конечно, я не обходился одной только жестикуляцией, испытывая свою левую руку, но, сознаюсь, поддал ей разок-другой, чтобы заставить слушаться. Чего уж тут скрывать. Возможно, в конце концов я всыпал бы собственной передней конечности и как следует, но беда в том, что только правая рука сильнее левой. Ноги в этом смысле одинаковы, и, что еще хуже, на мизинце правой у меня застарелая мозоль, и левая об этом знает. Когда в автобусе однажды произошел скандал и я силой заперхнул левую руку в карман, ее нога в отместку так наступила мне на мозоль, что я узрел небо в алмазах. Не знаю, возможно, это эффект снижения интеллекта, вызванный моей половинчатостью, но, похоже, я пишу какие-то глупости. Нога левой руки — это же просто левая нога; бывают минуты, когда мое несчастное тело распадается на два враждующих лагеря.

Мне пришлось прервать работу, потому что я пытался пнуть себя. То есть левой ногой правую, то есть не себя я хотел пнуть и не я, или, точнее, не совсем я... Нет, грамматика просто не приспособлена к таким ситуациям. Я уже почти взялся стаскивать туфли, но остановился. Даже в такой беде не следует делать из себя шута. Неужели человеку нужно переломать себе ноги, чтобы узнать, как было дело с той инструкцией и кабелями? Правда, как-то мне довелось драться с самим собой, но при других обстоятельствах. Однажды — более раннему с более поздним, а в другой раз — после отравления бенигнаторами. Верно, дрался, было дело, но при этом оставался полностью собой, и каждый, кто захочет, может поставить

себя в мое положение. Разве люди средневековья не истязали свое тело ради покаяния? Однако того, что я чувствую сейчас, не может понять никто. Это невозможно. Я даже не могу сказать, что меня двое, потому что, здраво рассуждая, и это неправда. Меня двое, или частичный я — тоже частично, не в любой ситуации. Если хотите узнать, что со мной случилось, то должны набраться терпения и, не возражая, читать по порядку все, что я пишу, даже не понимая. Кое-что со временем прояснится. Не до конца, конечно; понять до конца можно, только испытывав каллотомию на собственной шкуре, точно так же, как невозможно, например, объяснить, что значит быть, скажем, выдрой или черепахой. Если кто-нибудь, неважно как, станет вдруг черепахой или той же выдрой, он все равно ничего об этом сообщить не сможет, потому что животные не разговаривают и не пишут. Обычные люди, к которым я причислял себя значительную часть жизни, не понимают, как это возможно, чтобы некто с раздвоенным мозгом продолжал вроде бы и дальше быть самим собой, а похоже, так оно и есть, коль скоро он говорит о себе «Я», а не «МЫ», ходит совершенно нормально, говорит разумно, когда ест, тоже нипочем не узнаешь, что правое полушарие не ведает, что творит левое (в моем случае — за исключением крупяного супа), и, наконец, находятся такие, которые утверждают, будто каллотомию знали уже при создании Священного писания, ибо в нем сказано, что левая рука не должна ведать, что творит правая. Впрочем, я считаю это религиозным иносказанием.

Один тип ходил за мной два месяца, чтобы вытянуть из меня тайну. Он являлся в самые неподходящие моменты и все выпытывал, сколько же меня в действительности. Специальные учебники, которые я советовал ему прочесть, ничего ему не дали, как, впрочем, и мне. Я одалживал книги, чтобы он отстал. А дело было так: пошел я купить себе туфли без шнурков, этикие с резинкой наверху (их когда-то, кажется, называли штиблетами), а то, когда моей левой половине не хотелось идти гулять, я ни-

как не мог зашнуровать ботинки. То, что завязывала правая рука, левая немедленно развязывала. Вот я и решил купить штиблеты, а заодно — пару кроссовок, не потому, что мне хотелось заниматься модным бегом трусцой, а чтобы проучить правое полушарие, так как в то время я еще никак не мог договориться с ним и ходил злой и в синяках. Решив, что продавец в магазине тоже человек, я что-то там брякнул, чтобы оправдать свое странное поведение, собственно, даже не мое. Просто, когда он опустил передо мной с рожком в руке, я схватил его левой рукой за нос. То есть, она его схватила, а я пробовал оправдаться, точнее, свалить все на нее. Я думал, что если он даже примет меня за сумасшедшего (откуда продавцу обувного магазина знать о каллотомии?), то все равно туфли-то продаст. Сумасшедшему тоже не пристало ходить босиком. Увы, продавец оказался подрабатывающим студентом-философом, и его здорово проняло.

— Но ведь, мистер Тихий,— кричал он у меня в квартире,— здравый смысл и логика говорят, что вас либо один, либо больше! Если ваша правая рука натягивает брюки, а левая ей не дает, значит, за каждой из них стоит определенная половина мозга, которая что-то думает, во всяком случае, должна, коли у нее нет желания делать то, что желает другая половина. Если б было не так, то между собой дрались бы и поотрезанные руки и ноги, чего они, как известно, не делают.

Тогда я дал ему Гаццаниги. Самую лучшую монографию по разъединенному мозгу и последствиям такой операции: профессор Гаццаниги — «Бисекция мозга», выпущенная еще в 1970 году «Эпплтон сентури крофтс», просветительное отделение «Мередит корпорейшн». И пусть у меня мозг снова срастется, если я лгу, упомянув Микеля Гаццаниги вместе с его папашей по имени Данте Ахилл Гаццаниги, которому он посвятил свою монографию и который тоже был доктором медицины. Кто не верит, пусть немедленно бежит в ближайший книжный

магазин с медицинскими изданиями, а меня оставит в покое.

Этот тип, преследовавший меня, чтобы выжать признания, как так можно жить в раздвоении, ничего от меня не добился, кроме того, что довел мои полушария до такого состояния, что я схватил его обеими руками за шиворот и выкинул за дверь. Такие минуты гармонии моего разрегулированного естества случались не раз, но отчего и почему, я так и не знаю.

Юный философ звонил мне потом среди ночи, считая, что спросонок я выдам ему свой невероятный секрет. Просил меня прикладывать трубку то к правому, то к левому уху, не обращая внимания на сочные эпитеты, которыми я его награждал.

Он упорно утверждал, что идиотские не его вопросы, а то состояние, в котором нахожусь я, поскольку оно противоречит всей антропологической, экзистенциалистской и еще какой-то там философии человека как существа разумного и сознающего свой разум. Видно, он недавно сдал экзамен, этот студент-философ, потому что так и сыпал Гегелями, Декартами (ведь «Мыслью — значит существую», а не «Мыслим — значит существуем!»), атаковал меня Гуссерлем и добавлял Хайдеггера, стараясь доказать, будто того, что со мной происходит, быть не может, поскольку это противоречит всем толкованиям духовной жизни, которыми мы обязаны не каким-то там хлыстам, а наигениальнейшим мыслителям человечества, занимавшимся интроспективным изучением личности добрые тысячи лет, начиная еще с древних греков. А тут является тип с перерезанной большой спайкой мозга и вроде бы здоровый, как рыба, ан, глядь, его правая рука не знает, что творит левая, ноги тоже, и при этом одни эксперты утверждают, что сознание у него размещается только в левом полушарии, потому что правое — всего лишь бездушный автомат, другие же — что у него их два, но правое — немое, так как центр Брока размещается в левой височной доле, а третьи толкуют, будто у него две

частично разъединенные личности, и дальше уже ехать некуда. «Если нельзя частично выскочить из поезда,— кричал он,— или частично умереть, то нельзя и частично мыслить!» После я уже не выкидывал его из дома, жалко было парня. С отчаяния он пытался меня подкупить. Называл это дружеским подарком. Восемьсот сорок долларов, клялся он,— все, что ему удалось накопить на каникулы с девушкой, но он готов отказаться и от денег, и от девушки, лишь бы я откровенно сказал, КТО мыслит, когда мыслит мое правое полушарие, а Я не знаю, О ЧЕМ оно мыслит; когда же я отсылал его к профессору Экклесу (тот, будучи поборником теории левостороннего сознания, считает, что правое полушарие вообще не мыслит), он весьма нелестно выражался о профессоре. Он уже знал, что я немного научил правое полушарие языку глухонемых, поэтому хотел, чтобы к Экклесу пошел я сам и разъяснил, что тот ошибается. Вместо того чтобы вечерами ходить на лекции, он зачитывался медицинскими журналами, уже знал, что нервные пути перекрещиваются, и искал в толстенных учебниках ответ, на кой ляд нужно перекрещивание, почему правый мозг заведует левой половиной тела, а левый — наоборот, но, конечно, не нашел об этом ни слова. «То ли такое строение помогает нам быть человеком,— резонерствовал он,— то ли мешает». Студент штудировал психоаналитиков и отыскивал такого, который считал, что в левом полушарии сидит сознание, а в правом — подсознание, но мне удалось выбить у него это из головы. По понятным причинам я был более начитан, чем он. Не желая больше биться ни с самим собой, ни с субъектом, пылающим жадой познания, я выехал, вернее, сбежал, от него в Нью-Йорк и попал из огня в полымя.

Я снял однокомнатную квартирку без кухни на Манхэттене и ездил метро или автобусом в публичную библиотеку, где читал Йозатица, Вернера, Тьюкера, Вудса, Шапира, Риклана, Швартца, Шварца, Швартса, Саи-Маи-Галасша, Росси, Лишмана, Кеньона, Гарвея, Фише-

ра, Когена, Брамбека и что-то около тридцати разных Раппапортов и Рапопортов, и почти всякий раз по дороге происходили дикие сцены, потому что я щипал за ягодицы самых интересных женщин, особенно блондинок. Конечно, делала это моя левая рука, к тому же не всегда даже в толчее, но попытайтесь объяснить что-нибудь подобное в двух словах! Не то было самым скверным, что несколько раз я получил по физиономии, а то, что большинство вовсе не обижались, принимая такие штучки за прелюдию к небольшому роману, а романы были последним, что в то время было у меня на уме. Насколько я мог понять, пощечины мне давали активистки из Women's liberation*, правда, не часто, потому что симпатичных среди них раз-два и обчелся.

Понимая, что самому мне не выпутаться из кошмарного положения, я в конце концов связался с ведущими авторитетами. Верно, ученые занялись мной. Меня исследовали, просвечивали, стахископировали, действовали на меня током, обматывали четырьмястами электродами, привязывали к специальному креслу, заставляли часами рассматривать через щелевой визир яблоки, собак, вилки, гребешки, стариков, стулья, мышей, грибы, сигары, стаканы, обнаженных женщин, новорожденных и несколько тысяч других вещей и предметов, появлявшихся на экране, после чего сообщили то, что я уже и без них прекрасно знал, а именно: что когда мне показывают бильярдный шар так, чтобы его видело только мое левое полушарие, то правая рука, погруженная в мешок с разными предметами, не умеет вытянуть оттуда такой же шар, и наоборот, и все потому, что левая сторона не ведает, что творит правая. Меня признали случаем банальным и перестали мной особо интересоваться, поскольку я и не пикнул о том, что обучаю свою немую половину языку глухонемых. Ведь я хотел узнать

* Свободные женщины (англ.).

от них что-нибудь о себе, а не заниматься повышением их квалификации.

Потом я пошел к профессору С. Туртeltaубу, который был на ножах со всеми остальными, но вместо того, чтобы просветить меня относительно моего состояния, он принялся втолковывать, какая все они клика и банда. Вначале я внимательно слушал, полагая, что он кроет их по теоретико-познавательным причинам, однако Туртeltaуб, оказывается, имел в виду только то, что они провалили его проект. Когда я последний раз был у Глобуса и Саводника, а может, у кого-то из других специалистов — они у меня немного поперемешались, столько их было, — то, узнав, что я хожу к Туртeltaубу, они вначале немного обиделись, а потом сообщили, что исключили его из своего ученого круга по этическим соображениям. Туртeltaуб настаивал, чтобы убийцам, осужденным на смерть или пожизненное заключение, предлагали вместо электрического стула или тюремной камеры каллотомию. Он уверял, что коль скоро каллотомии подвергают исключительно эпилептиков по медицинским показаниям, то не известно, будут ли результаты иссечения спайки у обычных людей такими же, и при этом утверждал, что любой осужденный из тех, кто прикончил свою тещу, наверняка предпочтет, чтобы ему лучше уж иссекли *corpus callosum*. Однако бывший судья Верховного суда пенсионер Клэссенфэнгер сказал, что, даже отбросив этическую сторону вопроса, лучше этого не делать. Ведь если выяснится, что за тещу с холодным расчетом принималось только левое полушарие Туртeltaуба, а правое ничего не знало или даже протестовало, но подчинилось доминирующему полушарию и после внутренней душевно-мозговой схватки убийство все же свершилось, то возник бы кошмарный прецедент: надлежало бы засадить за решетку одно полушарие, а другое, признанное невиновным, — освободить. В результате убийца был бы осужден на смерть только на пятьдесят процентов.

Не добившись ничего, Туртeltaуб оперировал обезьян, очень дорогих в противоположность убийцам, а дотации ему все уменьшали, и он пребывал в отчаянии, предвидя, что кончит крысами и морскими свинками, хотя это далеко не то же самое. Одновременно члены Общества охраны животных и Союза борьбы с вивисекцией регулярно выбивали ему стекла в окнах и даже подожгли автомобиль. Страховое агентство отказалось платить, утверждая, будто нет доказательств того, что он не сам подпалил собственную машину, намереваясь убить сразу двух зайцев: начать судебное преследование покровительниц животных и получить материальную выгоду, ибо автомобиль был старым. Он так надоел мне, что, желая кончить разговор, я неосмотрительно упомянул об уроках, которые давал левой руке правой. Он тут же позвонил Глобусу, а может, Максвеллу, чтобы анонсировать в нейрологическом обществе показ случая, с помощью которого он разнесет в пух и прах всех до единого. Видя, куда идет дело, я, не попрощавшись, выбежал от Туртeltaуба и поехал прямо в гостиницу, но те двое уже ожидали меня в холле. Увидев их распахнутые физиономии и горящие нездоровым любопытством глаза, я сказал, что сейчас поеду с ними в клинику, только переоденусь в номере, а пока они ожидали меня внизу, сбегал по пожарной лестнице с одиннадцатого этажа и первым же попавшимся такси помчался в аэропорт. Мне было безразлично, куда лететь, лишь бы подальше от здешних ученых мужей. Ближайший рейс был в Сан-Диего, я отправился туда и из небольшого задрипанного отеляка, истинной малины для разных темных типов, даже не распаковав чемодан, позвонил Тарантоге с просьбой о помощи.

К счастью, Тарантога был дома. Истинные друзья познаются в беде. Он прилетел ко мне ночью, и когда я по возможности кратко и обстоятельно все рассказал ему, решил заняться мной не из научных соображений, а по доброте душевной. По его совету я сменил отель

и начал отпускать бороду, ему же предстояло поискать такого знатока предмета, для которого клятва Эскулапа превыше любопытного случая, приносящего известность. На третий день между нами возникло недоразумение: Тарантога пришел, чтобы порадовать меня добрым известием, а я отблагодарил его лишь частично. Его нервировала моя левосторонняя мимика, точнее, то, что я все время строил ему глазки. Правда, я втолковывал ему, что это не я, а лишь правое полушарие моего мозга, над которым я не властен, однако он, сначала немного успокоившись, вскоре заметил, что-де не все в порядке. Даже если в моем едином теле меня двое, то по тем насмешливым и саркастическим минам, которые я наполовину строю, видно как на ладони, что я еще прежде, по крайней мере частично, испытывал к нему определенную неприязнь, проявляющуюся теперь как черная неблагодарность, он же считал, что либо он мне настоящий друг, либо никакой! Пятидесятипроцентная дружба не в его вкусе. Однако в конце концов мне удалось его успокоить, а когда он ушел, я купил себе повязку на глаз.

Специалиста он отыскал для меня в Австралии, и мы вместе полетели в Мельбурн. Специалистом оказался профессор Джошуа Макинтайр, читавший там нейрофизиологию, а его отец был сердечным другом отца Тарантоги и вроде бы даже каким-то дальним родственником. Макинтайр вызывал доверие уже самим видом. Высокий, с седым ежиком волос, чрезвычайно спокойный, деловитый, и, как меня уверял Тарантога, человеколюбивый. Не могло быть и речи, что он способен использовать меня в корыстных целях или сговориться с американцами, которые уже лезли из шкуры вон, пытаясь напасть на мой след. На исследование ушло три часа, после чего он поставил на письменный стол бутылку виски, налил себе и мне и, когда воцарилась дружеская атмосфера, закинув ногу на ногу и собравшись с мыслями, сказал:

— Мистер Тихий, я буду обращаться к вам во втором лице единственного числа, чтобы избежать двусмыслия. Нет сомнений, у тебя иссечена большая мозговая спайка от *comissura anterior* до *posterior*, хотя на черепе отсутствуют следы трепанации...

— Я же говорил, профессор,— прервал я его,— что меня подвергли воздействию нового оружия. Это оружие будущего, чтобы никого не убивать, а всей нападающей армии сделать тотальную дистанционную церебротомию. При этом мозжечок изолируется, и каждый солдат, словно парализованный, моментально грохнется на землю. Так мне сказали в той организации, называть которую я не имею права. Однако случайно я стоял почти боком к ультразвуковому полю, или, как говорят врачи, сагиттально. Впрочем, не совсем уверен, знаете ли, потому что тамошние роботы орудуют скрытно и действие ультразвука...

— Не будем об этом,— сказал профессор, глядя на меня добрыми, мудрыми глазами из-за очков в золотой оправе.— Внемедицинские обстоятельства не должны нас сейчас отвлекать. Что касается количества сознаний у каллотомированного человека, то на сей счет в настоящее время имеется восемнадцать теорий. Поскольку каждая опирается на определенные эксперименты, то ясно, что ни одна не может быть ни полностью ложной, ни целиком истинной. Тебя не один, не два, да и о drobных частях тоже не может быть речи.

— Так сколько же меня в конце концов? — удивленно спросил я.

— Не жди хорошего ответа на неудачно поставленный вопрос. Представь себе двух близнецов, которые с рождения только и знают, что пилят двуручной пилой дерево. Они работают согласованно, потому что иначе не могли бы пилить, а если отобрать у них пилу, они превратятся в тебя в твоём теперешнем состоянии.

— Но ведь каждый из них, независимо от того, пилит он или нет, обладает одним-единственным созна-

нием,— разочарованно заметил я.— Профессор, ваши американские коллеги уже попотчевали меня уймой таких прибауток, в том числе и о близнецах с пилой.

— Ясно,— сказал Макинтайр и подмигнул мне левым глазом, так что я подумал, уж не перерезали ли и ему что-то там.— Мои американские коллеги ни бельмеса не смыслят, а таким сравнениям грош цена. Я умышленно привел пример с близнецами, придуманный одним из американцев, потому что он ничего не дает. Если работу мозга представить графически, она выглядела бы, как большая буква «Y». У тебя по-прежнему единая стволовая часть мозга. Это основание игрека. Полушария же разделены наподобие ветвей. Понимаешь? Интуитивно это можно легко...— профессор ойкнул, потому что я пнул его в коленную чашечку, и замолчал.

— Это не я, это моя левая нога, простите! — воскликнул я поспешно.— Поверьте, я не хотел...

Макинтайр понимающе улыбнулся, но в его улыбке чувствовалась некоторая искусственность, как у психиатра, делающего вид, будто сумасшедший, который только что его укусил, вполне нормальный, симпатичный субъект. Он встал и отодвинулся вместе со стулом на безопасное расстояние.

— Правое полушарие, как правило, агрессивнее левого. Бесспорный факт,— сказал он, осторожно прикасаясь к колену.— Однако ты мог бы заплести ногу за ногу, да и руку за руку тоже. Так нам было бы удобнее беседовать...

— Я попробовал, но они быстро немеют. Между прочим, с вашего позволения, этот ваш игрек ни о чем мне не говорит. Где в нем начинается сознание — под раздвоением, в нем самом, выше или как?

— Точно указать невозможно,— сказал профессор, подпрыгивая ногой и заботливо поглаживая коленку.— Мозг, дорогой Тихий, состоит из множества действующих подсистем, которые у нормального, прости за определение, человека могут соединяться самым разным

образом для выполнения различных задач. У тебя высшие комплексы постоянно разделены и тем самым не могут сообщаться между собой.

— И о подсистемах я тоже, простите, слышал уже раз сто. Не хочу показаться невежливым, профессор, во всяком случае могу вас заверить, что полушарие, с которым вы сейчас беседуете, не желает показаться таковым, но я-то по-прежнему ничего не понимаю. Ведь двигаюсь я совершенно нормально, ем, хожу, читаю, сплю, но при этом мне постоянно приходится следить за левой рукой и ногой, потому что они без всякого предупреждения начинают вести себя скандально. Я хочу знать, ЧЬИ это штучки. Если моего мозга, то почему Я ничего не знаю?

— Потому что полушарие, ответственное за это, немо, мистер Тихий. Центр речи находится в левом полушарии, в пла...

На полу между нами валялись провода от различных аппаратов, с помощью которых Макинтайр меня исследовал. Я заметил, что левая нога начинает как бы играть ими. Один, толстый, в черной блестящей изоляции, она обмотала вокруг своей щиколотки, но я не придавал этому особого значения, потом мигом резко рванула его назад, а провод, как оказалось, был обернут вокруг ножки профессорского стула. Стул встал на дыбы, а профессор рухнул на линолеум. Однако, как тут же выяснилось, Макинтайр был не только опытным медиком, но и умеющим держать себя в руках ученым, потому что, поднимаясь с пола, он сказал почти спокойно:

— Ничего, ничего. Не расстраивайся. Правое полушарие заведует стереогнозией, поэтому при таких действиях оказывается проворнее. И все же еще раз прошу тебя, дорогой Тихий, сядь подальше от стола, проводов и вообще от всего. Это облегчит нам беседу и выбор соответствующей терапии.

— Но я хочу знать только одно: где находится мое

сознание,— ответил я, с трудом сматывая с ноги провод, который она крепко прижала к линолеуму.— Ведь получается, что стул из-под вас вырвал я, а меж тем у меня такого намерения не было. Так КТО же это сделал?

— Твоя левая нижняя конечность, управляемая твоим правым полушарием,— профессор поправил съехавшие на нос очки, отодвинул стул еще дальше, немного подумал, но не сел, а встал за ним, положив руки на спинку. Не знаю, которым полушарием, но мне подумалось, что, может, он уже собрался пойти в контрнаступление.

— Так мы можем болтать до второго пришествия,— сказал я, чувствуя, как напрягается левая половина тела. Пришлось все-таки скрестить ноги и руки. Макин-тайр, внимательно наблюдавший за мной, продолжал милым голосом:

— Левое полушарие доминирует благодаря расположенным в нем центрам речи. Стало быть, разговаривая с тобой, я разговариваю с ним, правое же полушарие может только прислушиваться. Его знание речи сильно ограничено.

— Может, у других, но не у меня,— возразил я, для пущей уверенности ухватив правой рукой запястье левой.— Оно действительно немое, но, знаете, я научил его языку глухонемых. Это мне стоило здоровья.

— Быть не может!

В глазах профессора появился блеск, который я замечал у его американских братьев, и я пожалел о своей откровенности, однако это было запоздалым рефлексом.

— Но оно не владеет глаголами! Это установлено...

— Не беда. Глаголы не обязательны. Пожалуйста, спроси его, то есть себя, в общем, я хочу сказать, его, что оно думает о нашем разговоре. Сможешь?

Волей-неволей пришлось взять правой рукой левую. Сначала я немного погладил ее для успокоения, зная, что начинать лучше всего именно так, потом стал пальца-

ми делать нужные знаки, касаясь левой ладони. Немного погодя пальцы левой руки зашевелились. Я глядел на них некоторое время, потом, стараясь скрыть злость, положил левую руку на колено, хотя она упиралась. Разумеется, она тут же довольно чувствительно ущипнула меня. Можно было этого ожидать, но мне не хотелось на глазах у профессора устраивать спектакль, борясь с самим собой.

— Ну-ну, что же она сказала? — спросил профессор, неосторожно выглянув из-за стула.

— Ничего существенного.

— Но я отчетливо видел, как она делала какие-то знаки. Или они не были координированными?

— Почему же. Были прекрасно координированными. Только это все глупости.

— И все же? В науке не бывает глупостей.

— Она сказала: «Ты — задница!»

Профессор даже не улыбнулся, так был увлечен.

— Серьезно? А теперь спроси обо мне.

— Как хотите.

Я снова взялся за левую руку, показал пальцем на профессора, и на этот раз мне не пришлось ее даже специально гладить, потому что она моментально ответила:

— «Тоже задница».

— Так она и сказала?

— Так. Она действительно не справляется с глаголами, однако понять ее можно. Но я по-прежнему не знаю КТО говорит. Пусть жестами, но ведь это все равно. С вами я разговариваю губами, а с ней вынужден пальцами, так как же все следует понимать? В моей голове помещаются Я и какой-то ОН? Если ОН, то почему Я о нем ничего не знаю и вообще не чувствую его и не осознаю его ощущений, эмоций, ничего, хотя ОН находится в МОЕЙ голове и является частью МОЕГО мозга? Ведь он же не снаружи. Если б у меня было какое-то раздвоение сознания, если б у меня все попеременялось, я еще мог бы понять, но этого же нет. Откуда он взялся, этот

ОН? Это тоже Ийон Тихий? А если даже да, то почему, профессор, я вынужден обращаться к нему окольным путем, с помощью руки, и таким же путем получать ответ? Он, или оно, если это полушарие моего мозга, и не такие штучки вытворяет. Ну, пусть бы он был, или оно было, неполноценным. А то ведь не раз уже впутывал меня в скандальные истории.— Не видя смысла дальше что-либо скрывать, я поведал Макинтайру о случаях в автобусах и метро. Профессор весьма заинтересовался.

— Исключительно блондинки?

— Да. Впрочем, могут быть и крашенные.

— И позволяет себе еще что-нибудь?

— В автобусах — нет.

— А в других местах?

— Не знаю, не пробовал. То есть, не давал ему такой возможности. Коли уже вы так подробно хотите все знать, добавлю, что несколько раз получал пощечины. Меня охватывало бешенство и смущение, я ведь вовсе не чувствовал себя виновным. Но в то же время я и потешался. А однажды пощечину мне дала девушка, оказавшаяся левшой, так что досталось левой щеке, и тут-то уж мне было не до потехи и веселья. Я обдумал это и смог понять, в чем разница.

— Ну, конечно же! — воскликнул профессор.— Левому Тихому досталось за правого, и именно это так развеселило правого. Зато когда правый получил за правого, было вовсе не смешно. Ему досталось, так сказать, не только за свое, но и по своей части лица.

— Вот именно. Стало быть, какая-то связь в моей несчастной голове имеется, но скорее эмоциональная, нежели осознанная. Сами эмоции ей тоже не чужды, просто я ничего об этом не знаю. Возможно, они не осознаются, но разве так может быть? В конце концов Экклес с его автоматическими реакциями плетет чепуху. Высмотреть в толпе симпатичную блондинку, маневрировать так, чтобы приблизиться к ней, сначала не ведая зачем, остановиться у нее за спиной и так далее — это же вполне про-

думанные действия, а не какие-то безусловные рефлексы. Продуманные, а стало быть, сознательные. Но ЧЬИ? КТО их обдумал, ЧЬЕ это сознание, если не МОЕ?

— Ах, знаешь,— вздохнул все еще возбужденный профессор,— в конце концов объяснить можно. Пламя свечи видно в темноте, но не при солнечном свете. Возможно, у правого полушария и есть какое-то сознание, но слабенькое, как свеча, и доминирующее сознание левого подавляет его. Вполне воз...

Профессор молниеносно наклонился, и это спасло его. Левая нога стащила с себя туфлю, упираясь каблуком о ножку стула, а потом швырнула ее с такой силой, что туфля, словно снаряд, врезалась в стену, на волосок от головы профессора.

— Возможно, все обстоит именно так,— заметил я,— но оно чертовски раздражительно.

— Быть может, интуитивно чувствует себя в опасности под влиянием нашего разговора, вернее, того, что могло из него понять,— предположил профессор.— Кто знает, не следовало ли обращаться непосредственно к нему.

— Так, как это делаю я? Об этом я как-то не подумал. Но, собственно, зачем? Что бы вы хотели ему сообщить?

— Все будет зависеть от его реакции. Твой случай уникальный. До сих пор ни одного умственно здорового, к тому же неординарного человека еще не подвергали каллотомии.

— Поставим вопрос четко,— ответил я, поглаживая левую руку, чтобы успокоить ее, а то она начала сгибать и разгибать пальцы, что выглядело подозрительно.— Мои интересы не совпадают с интересами науки. Тем более что я, по вашему выражению, случай уникальный. Начни вы или кто иной договариваться с НИМ — вы понимаете, о чем я,— то для меня может оказаться неудобным и даже чрезвычайно вредным, если в результате оно станет приобретать все большую самостоятельность.

— Это невозможно,— решительно возразил профес-

сор. Слишком решительно, на мой взгляд. Его глаза без очков не казались беспомощными, как обычно у людей близоруких. Он глянул на меня так быстро, словно и не нуждался в очках, и тут же опустил глаза.

— Как правило, происходило именно то, что считается невозможным,— я старательно подбирал слова.— Вся история человечества сплошь состоит из таких невозможностей, да и прогресс науки тоже. Некий юный философ, толковывал мне, что состояние, в котором я нахожусь, невозможно, ибо противоречит всем установкам философии. Сознание должно быть неделимым. Так называемое раздвоение личности — это ведь, по сути дела, чередующиеся видоизмененные состояния, связанные с помехами в памяти и в ощущении идентичности. Это вам не торт!

— Вижу, ты здорово начитался специальной литературы,— заметил профессор, нацепив на нос очки. И добавил что-то, чего я не расслышал. Я хотел сказать, что, с точки зрения философов, сознание нельзя кроить на кусочки, как торт, но замолчал, так как моя левая рука, ткнув пальцем в ладонь правой, принялась подавать сигналы. Раньше такого не случалось. Макинтайр заметил, что я смотрю на собственную руку, и сразу понял, в чем дело.

— Оно что-то говорит? — спросил он полушепотом, как обычно говорят, когда не хотят, чтобы кто-нибудь услышал.

— Да,— я был страшно удивлен, но вслед за рукой повторил: — Она хочет кусочек торта.

Возбуждение, появившееся на лице профессора, заставило меня похолодеть. Заверив левую руку, что торт она получит, если спокойно подождет, я вернулся к своему.

— С вашей точки зрения, было бы прекрасно, если бы оно приобретало все бóльшую самостоятельность. Я не обижаюсь, понимаю, что это было бы неслыханно: два вполне развитых типа в одном теле, сколько же здесь возможных открытий, экспериментов и так далее. Однако

меня такой демократизм в собственной голове не устраивает. Я хочу быть как можно менее, а не как можно более раздвоенным.

— Прекрасно понимаю...— добродушно улыбнулся профессор.— Вотум недоверия. Уверяю тебя, все услышанное я сохраню в тайне. Так сказать, под печатью. Кроме того, я даже не думаю предлагать какое-либо конкретное лечение. Ты сделаешь то, что сочтешь нужным. Прошу как следует подумать, не здесь и не сейчас, разумеется. Ты долго еще задержишься в Мельбурне?

— Не знаю. В любом случае позволю себе позвонить вам.

Тарантога, сидевший в приемной, вскочил нам навстречу.

— Ну и как?... Профессор?... Ийон..?

— Пока еще решение не принято,— официальным тоном сказал Макинтайр.— Мистеру Тихому надо кое-что для себя решить. Я всегда в его распоряжении.

Будучи человеком слова, я велел остановить такси у первой же кондитерской, купил кусочек торта и съел его прямо в машине, хотя сам не чувствовал потребности в сладком. Я решил хотя бы некоторое время не забивать себе голову вопросами, у КОГО разыгрался аппетит, коли все равно никто, кроме меня, на такие вопросы ответить не мог.

Наши с Тарантогой комнаты были через стенку, я зашел к нему и в общих чертах пересказал ход встречи с Макинтайром. Рука несколько раз перебивала меня, чувствуя себя неудовлетворенной. Дело в том, что торт был слишком приторным, а я этого не терплю. Тем не менее я проглотил его, считая, что делаю это ради *него*, но оказалось, что и у *него* — у меня и того второго — у него и у меня — а черт его знает, наконец, у кого с кем — вкусы одинаковые. Это вполне понятно, если учесть, что рука сама есть, как вы понимаете, не может, а рот, язык, нёбо у нас общие. Мне начинало мучительно казаться — как в идиотском сне, немного кошмарном,

а немного забавном,— что я ношу в себе если не новорожденного, то маленькое, капризное, хитрое дитя. Вспомнилась гипотеза каких-то психологов, что новорожденные лишены единого сознания, поскольку нервные волокна их большой мозговой спайки еще не развиты.

— Тут тебе какое-то письмо,— вырвал меня из задумчивости Тарантога.

Я удивился: ведь ни одна живая душа не ведала о месте моего пребывания. Письмо было отправлено из столицы Мексики, авиа, без обратного адреса. В конверте лежал небольшой листок с машинописным текстом: «Он из ЛА». Ничего больше. Я перевернул листок. Чисто.

Тарантога взял письмецо, взглянул на него, потом на меня.

— Что сие означает? Ты понимаешь?

— Нет. То есть... да. ЛА — скорее всего, Лунное Агентство. Они меня посылали.

— На Луну?

— Да. В разведку. Вернувшись, я должен был дать отчет.

— И дал?

— Да. Написал все, что помнил. Отдал парикмахеру.

— Парикмахеру?

— Так мы договорились. Чтобы не идти к ним. Но кто такой «он»? Скорее всего, Макинтайр. Кроме него, я тут ни с кем не встречался.

— Постой. Ничего не понимаю. Что было в том отчете?

— Этого я даже вам сказать не могу. Обязан хранить тайну. В общем-то всего ничего. Очень многое я позабыл.

— После того, что случилось?

— Да. Что вы делаете, профессор?

Тарантога вывернул разорванный конверт наизнанку. Там было написано карандашом, печатными буквами: «Сожги. Чтобы правое не погубило левое».

Я вроде бы по-прежнему ничего не понимал, но был

тут, однако, какой-то смысл. Неожиданно я взглянул на Тарантогу широко раскрытыми глазами.

— Начинаю догадываться. Ни в конверте, ни на листке нет ни одного существительного. Понимаете?

— Ну и что?

— Оно лучше понимает существительные. Тот, кто писал, хотел, чтобы я о чем-то узнал, а оно — нет... — одновременно я правой рукой многозначительно коснулся правого виска.

Тарантога встал, прошелся по комнате, побарабанил пальцами по крышке стола и сказал:

— Если сие должно означать, что Макинтайр...

— Молчите.

Я вынул из кармана блокнот и написал на чистой страничке: «Оно лучше понимает то, что слышит, а не то, что читает. Поэтому некоторое время будем общаться письменно. Похоже, оно помнит то, чего не помнил я, когда писал отчет. И кто-то об этом знает или по крайней мере это предполагает. Я не стану звонить и не пойду; видимо, он и есть тот самый «он». Он хотел с ним поговорить так, как это делаю я. Допросить. Напишите ответ».

Тарантога прочел, нахмурился и, ничего не говоря, принялся писать, перегнувшись через стол: «А если он из ЛА, то зачем такой обходной путь? ЛА могло обратиться к тебе непосредственно или нет?»

Я ответил: «Между теми, к кому я обращался в Н-Й, наверняка был кто-то из ЛА. От него они узнали, что я сообразил, как можно с ним общаться. Раз я сразу же сбежал, они не могли сделать того же. Видимо, это должен был сделать сын человека, который дружил с вашим отцом, если аноним говорит правду. Может, он вытянул бы из него все, что оно помнит, не вызывая моих подозрений. Я бы и не знал, чего он от него добился. Обратись же они официально непосредственно ко мне, я мог бы отказаться от допроса, и они б не знали, как поступить, потому что с точки зрения закона оно неправомочное

существо, и только я могу соглашаться на то, чтобы с ним кто-то разговаривал. Прошу пользоваться местоимениями, причастиями, глаголами, а также по возможности прибегать к сложным выражениям».

Профессор вырвал из блокнота исписанный мной листок, спрятал в карман и написал: «Но почему, собственно, ты не хочешь, чтобы *оно* узнало о том, что сейчас происходит?»

«На всякий случай. Из-за того, что было написано на конверте. Это не может быть из ЛА, потому что ЛА явно не заинтересовано охранять меня от меня же. Написал кто-то другой».

На этот раз ответ Тарантоги был кратким: «Кто?»

«Не знаю. О том, что происходит там, где я был и где со мной случилось то, что случилось, охотно узнали бы многие. Видно, у ЛА солидная конкуренция. Я считаю, что надо отказаться от общества кенгуру. Смываемся. Повелительного наклонения *оно* не понимает».

Тарантога вынул из кармана листки, скатал их в шарик вместе с письмом и конвертом, поджег и бросил в камин, глядя, как горящие бумажки превращаются в пепел.

— Пойду в бюро путешествий,— сказал он.— Что собираешься делать?

— Побреюсь. Борода страшно щекочет, да и не нужна она теперь. Чем скорее, тем лучше, профессор. Можно и ночным. И не говорите куда.

Я брлся в ванной комнате и, глядя в зеркало, строил себе рожицы. Левый глаз даже не моргнул. Я выглядел совершенно нормально. Ополоснулся и начал упаковывать вещи, время от времени поглядывая на левую ногу и руку, но они вели себя прекрасно. Лишь в последний момент, когда я укладывал галстуки, левая рука бросила на пол зеленый в коричневую крапинку, который я любил, хотя он был не первой молодости. Неужто он ей не нравился? Я поднял его правой рукой и подал левой, пытаюсь заставить ее положить галстук в чемодан. Произошло то,

что я уже замечал не раз. Рука слушалась, но пальцы не желали и раскрылись, выпустив галстук, который снова упал на коврик у кровати.

— Вот так история,— вздохнул я. Затолкал галстук правой рукой и защелкнул чемодан. Тарантога открыл дверь, молча показал мне две билетные книжки и пошел упаковываться. Я размышлял о том, есть ли у меня основания опасаться правого полушария. Думать об этом я мог совершенно спокойно, раз оно ничего не знало и узнать могло только в том случае, если я сообщу ему с помощью руки. Человек и сам не ведает, что ему известно. Так уж он устроен. Содержание книги можно узнать по оглавлению, но в голове оглавления нет. Голова — вроде заполненного мешка, и, чтобы узнать, что там лежит, надо все повытаскивать. Проникать в память мыслью, как рукой в мешок. Пока Тарантога расплачивался за гостиницу, пока мы в сумерках ехали на аэродром, а затем сидели в зале ожидания, я пытался восстановить в памяти все случившееся после возвращения из Тельца, чтобы сориентироваться, что же я все-таки помню. Землю я застал совершенно изменившейся. Всеобщее разоружение стало фактом. Даже сверхдержавы уже были не в состоянии финансировать гонку вооружений. Чем совершеннее становилось оружие, тем дороже оно обходилось. Похоже, именно это привело к заключению Женевского соглашения. В Европе и Соединенных Штатах никто уже не желал идти в армию. Людей заменяли автоматами, однако каждый автомат стоил столько же, сколько реактивный самолет. Живые солдаты боевым духом уступали неживым. Впрочем, это были вовсе не роботы, а небольшие электронные блоки, встроенные в ракеты, самоходные орудия, танки, плоские, как огромные клопы, потому что в них не требовалось места для экипажа, а когда такой управляющий блок выходил из строя, его заменял резервный. Основной задачей противников было повреждение линий управления, поэтому совершенствование военной техники состояло в повышении самостоятельности авто-

матов, что происходило все успешнее и становилось все накладнее. Не помню, кто предложил новое решение, состоящее в том, чтобы весь военный комплекс перенести на Луну. Не в виде фабрик по изготовлению оружия, а в виде так называемых планетарных машин. Такие машины уже несколько лет использовались при исследовании Солнечной системы. Вспоминая это, я заметил, что, несмотря на все усилия, не могу припомнить множества деталей, да и не был уверен, знал ли их раньше. Если не можешь что-либо вспомнить, то по крайней мере сознаешь, что когда-то тебе это было известно, но я и этого сделать не мог. Кажется, перед началом операции я читал текст Женевской конвенции, но сейчас в этом не был уверен. Планетарные машины создавали многие фирмы, в основном американские. Они не походили ни на одно изделие, выпускавшееся до того промышленностью. Не фабрики, не роботы, а как бы нечто среднее. Некоторые напоминали гигантских пауков. Разумеется, была масса разговоров и призывов не вооружать их, а использовать исключительно для горных работ, но, когда дело дошло до переброски на Луну, оказалось, что каждое государство, у которого хватало на то сил, уже владело самоходными ракетными установками, орудийными батареями, способными нырять под воду, центрами управления огнем, именуемыми кротами, так как они зарывались глубоко под землю, и ползающими лазерными излучателями одноразового использования, устроенными так, что радиационный залп обеспечивался в них ядерным зарядом, который в момент выстрела превращал излучатель в раскаленный газ. Каждое государство могло запрограммировать на Земле свои планетарные машины, а специально созданное Лунное Агентство перебрасывало их в соответствующий сектор на Луне. Были разработаны принципы паритетов, устанавливающие, кто, сколько и чего может там поместить, а международные смешанные комиссии присматривали за этим Исходом. Военные и научные эксперты каждого государства могли убедиться на месте, что их обору-

дование выгружено и действует как положено, после чего обязаны были все одновременно вернуться на Землю. В двадцатом веке такое решение было бы бессмысленным, ибо гонка вооружений не столько вопрос количества, сколько проблема новизны, а последняя в то время зависела исключительно от людей. Новые же устройства действовали на ином принципе, заимствованном у естественной эволюции растений и животных. Это были системы, способные к так называемой радиационной и дивергентной автооптимизации. Говоря проще, они могли размножаться и преобразовываться. Я чувствовал некоторое удовлетворение от того, что помню и это. Неужто моему правому полушарию, интересующемуся в основном ягодицами блондинок и сладостями и страдающему идиосинкразией к определенному цвету галстуков, были в принципе не чужды такие проблемы? Может, его память не представляла собой никакой военной ценности? Если даже и так, тем хуже для меня, потому что, расшиби я лоб, доказывая, что оно ничего не знает, никто мне все равно не поверит. Возьмутся за меня, то есть за него, собственно, конечно, за меня, и если ничего не вытянут по-хорошему, знаками, которым я его научил, то обучат получше и не упустят ни одной мелочи. Чем меньше оно знает, тем больше здоровья я потеряю, а то и самое жизнь. И это вовсе не было какой-то манией преследования. Рассудив так, я продолжил исследование своей памяти. На Луне предстояло начаться электронной эволюции новых видов вооружения. Благодаря этому каждое государство, невзирая на разоружение, не оставалось безоружным, поскольку сохраняло самосовершенствующийся арсенал, и одновременно сводилась на нет возможность любого неожиданного нападения со стороны противника. Война без объявления стала невозможной. Чтобы начать военные действия, каждое государство вынуждено было вначале обратиться в Лунное Агентство за получением права доступа к своему лунному сектору. Этого невозможно было утаить, а значит, тот, кому угрожали, тоже имел бы

такое право и началась бы обратная транспортировка средств поражения на Землю. Однако клапаном безопасности, который сводил на нет такую возможность, была необитаемость Луны. Никто не мог выслать туда ни людей, ни разведывательные аппараты, чтобы проверить, каким военным потенциалом в данный момент располагает. Придумано было хитро, хотя проект вначале натолкнулся на сильное сопротивление штабов и замечания политиков. Луна должна была стать испытательным полигоном для оружия, эволюционирующего внутри выделенных государствам секторов. В первую очередь следовало свести к нулю возможность конфликтов между секторами. Если оружие, возникшее в одном секторе, напало бы на другой и уничтожило находящееся там вооружение, это нарушило бы желаемое равновесие сил. Сообщение, поступившее с Луны, немедленно привело бы к восстановлению ситуации, предшествующей соглашению, а возможно, и к войне, которую вначале по необходимости вели бы весьма скромными средствами. Однако спустя некоторое время противоборствующие стороны вновь восстановили бы военную промышленность. Правда, программы лунных систем были под контролем Лунного Агентства и смешанных комиссий ограничены таким образом, чтобы не допустить нападения одних секторов на другие, но эта страховка считалась недостаточной. По-прежнему никто никому не доверял. Женевское соглашение не превратило ни людей в ангелов, ни межгосударственные отношения в полюбовное согласие святых. Поэтому по окончании работ Луна была объявлена зоной, недоступной для всех, в том числе и для Лунного Агентства. Если б на каком-либо из полигонов программы, обеспечивающие безопасность, оказались уничтожены либо нарушены, Земля узнала бы об этом мгновенно, ибо каждый сектор был окружен заслоном, напичканным датчиками, действующими самостоятельно и непрерывно. Датчики должны были поднять тревогу, если бы любой вид оружия, пусть даже просто металлический муравей, преступил границу, образованную ничей-

ной полосой. Однако и это не давало стопроцентной гарантии мира на Луне. Зато считалось, что такую гарантию обеспечивает доктрина так называемого тотального неведения. Конечно, каждое правительство знало, что в его секторе развивается все более совершенное оружие, но не имело представления, каково оно, а главное, совершеннее ли оно того, которое создавалось в других секторах. Не могло знать, ибо пути эволюции неисповедимы. Это установлено уже достаточно давно, и основным препятствием была неподатливость штабистов и политиков на аргументы ученых. Твердолобых убедили не логические доводы, а прогрессирующий развал экономики, вызываемый традиционным развитием вооружений. Даже последний идиот должен был в конце концов понять, что для гибели вовсе не нужна война, атомная ли, неатомная, если к ней вполне успешно ведут постоянно увеличивающиеся расходы на вооружение; безрезультатные же переговоры об их сокращении не прекращались уже десятки лет, потому лунный проект оказался единственно реальным выходом из тупика. Каждое правительство могло считать, что благодаря лунным базам становится все могущественнее в военном отношении, но не имело возможности сравнить возникавшей там разрушительной силы с силами других государств. Ну, а поскольку никто не знал, может ли он рассчитывать на победу, то никто и не мог позволить себе риск начать войну.

Ахиллесовой пятой такого решения была действительность контроля. Эксперты сразу же поняли, что первым, в чем будет состоять задача программистов каждого государства, окажется такое устройство переправляемых на Луну систем, которое сумеет свести на нет эффективность надзора. И вовсе не обязательно нападением на контролирующие спутники, но действием более хитрым, труднее обнаруживаемым — путем тайного проникновения в их связь для того, чтобы исказить наблюдаемые данные, передаваемые на Землю, а в особенности Лунному Агентст-

ву. Я прекрасно помнил все это и потому, поднимаясь вслед за Тарантой в самолет, чувствовал себя уже спокойней и все-таки, усевшись в кресло, снова принялся перетряхивать свою память. Да, все понимали, что ненарушаемость мира зависит от ненарушаемости контроля, а секрет был в том, как обеспечить ее стопроцентно. Задача казалась неразрешимой, как *regressus ad infinitum**: следовало создать систему, следящую за неприступностью контроля, но ведь и она могла стать мишенью для нападения, потому пришлось бы создавать контроль системы контроля за контролем системы и так до бесконечности. Эту бездонную дыру, однако, заткнули достаточно просто. Луну опоясали двумя сферами надзора. Внутренняя следила за неприкосновенностью секторов, а внешняя — за неприкосновенностью внутренней. Гарантией безопасности должна была служить полнейшая независимость обеих сфер от Земли. Тем самым гонка вооружений на Луне должна была происходить в абсолютной тайне от всех государств и правительств. Могли прогрессировать вооружения, но не надзор за ними. Последнему предстояло функционировать без изменений в течение ста лет. Собственно, все это, вместе взятое, выглядело достаточно иррационально. Каждое государство знало, что его лунный арсенал обогащается, но не знало как. Тем самым не имело от него никакой пользы в политике. Поэтому, вообще-то говоря, следовало бы договориться о полном разоружении без всяких лунных сложностей, но об этом не хотели и слышать. То есть, конечно, такие разговоры велись с первых дней истории человечества. Результат известен. Когда же наконец проект демилитаризации Земли и милитаризации Луны был одобрен, стало ясно, что рано или поздно начнутся попытки нарушить доктрину неведения. Действительно, время от времени в прессе под огромными заголовками появлялись сообщения о разведочных автоматах, которые либо

* Возвращение в бесконечность (лат.).

вовремя сбегали после их обнаружения, либо, как говорится, попадали в плен к спутникам-перехватчикам. Каждая сторона тут же принималась обвинять другую, но установить происхождение разведчика было невозможно, так как электронный наблюдатель — не человек. Из него никаким путем ничего не вытянешь, ежели его сконструировали соответствующим образом. Спустя некоторое время такие анонимные разведчики, именовавшиеся космическими шпионами, перестали появляться. Человечество вздохнуло, тем более что все мероприятие имело и хозяйственную сторону. Лунные вооружения не стоили и ломаного гроша. Энергию им поставляло Солнце, сырье — Луна. Все это должно было дополнительно ограничить эволюцию вооружений, ибо на Луне отсутствуют руды металлов.

Штабисты всех стран не желали вначале соглашаться с проектом, утверждая, будто оружие, приспособленное к лунным условиям, может оказаться на Земле непригодным хотя бы потому, что там нет атмосферы. Не помню, как все-таки «добрались» до Луны, хотя наверняка и это мне в Лунном Агентстве объяснили. Мы летели с Тарантогой в машине БОАК*; за бортом стояла тьма египетская, и я не без юмора вдруг подумал, что понятия не имею, куда лечу. Решил только, что Тарантогу спрашивать не стоит. Зато мне пришло в голову, что, пожалуй, будет безопасней, если мы побыстрее расстанемся. В том глупейшем положении, что оказался я, лучше было молчать и положиться на самого себя. Успокаивала мысль, что оно не может узнать, о чем я думаю. Словно в голове у меня сидел враг, хотя я прекрасно знал, что никакой это не враг.

Лунное Агенство было надгосударственным органом, порожденным ООН, а обратилось оно ко мне по достаточно щекотливому поводу. Дублированная система контроля действовала, как оказалось, *слишком хорошо*. Было

* Британская авиакомпания.— *Здесь и далее прим. перев.*

известно, что межсекторные границы не нарушаются, но и только. В изобретательных и беспокойных головах вырисовывалась картина нападения необитаемой Луны на Землю. Военизированное содержимое секторов не могло вступить в непосредственный конфликт или в материальный либо информационный контакт, но такое положение не вечно. Секторы способны были научиться передавать друг другу информацию через грунт, например по так называемым сейсмическим каналам, маскируя искусственно вызванные колебания под естественные сейсмические явления, время от времени сотрясающие лунную кору. Самосовершенствующиеся вооружения могли, таким образом, в конце концов объединиться, чтобы однажды обрушить свой чудовищно возросший потенциал на Землю. Почему? Ну, скажем, вследствие аберрации эволюционных процессов. Какая выгода для безлюдных армий от того, что Земля превратится в пепелище? Разумеется, никакой, но и рак, столь часто встречающийся в организмах высших животных и людей, тоже ведь постоянное, хотя бесполезное и даже весьма вредное последствие естественной эволюции. Когда начали писать и говорить о лунном «раке», когда появились посвященные такого рода вторжению трактаты, статьи, фильмы, книги, изгнанный с Земли страх перед атомной гибелью вернулся в новой ипостаси. Система надзора включала и сейсмические датчики, и нашлись специалисты, утверждавшие, будто колебания лунной коры стали повторяться чаще, а кривые, вычерченные сейсмографами, якобы представляют собой шифры, посредством которых осуществляют контакт секторы, однако из этого не последовало ничего, кроме растущего страха. Лунное Агентство распространяло сообщения, которые, казалось бы, должны были успокоить общественное мнение, в них утверждалось, что вероятность такого события не составляет и одной двадцатимиллионной, однако столь точные вычисления отскакивали от умов человеческих как от стенки горох. Страх просачивался даже в про-

граммы политических партий, и раздавались голоса, требующие периодического контроля самих секторов, а не только их границ. Им возражали представители Агентства, разъяснявшие, что любая инспекция может преследовать и шпионские цели, попытаться раскрыть современное состояние лунных арсеналов. В конце концов после долгих и трудных совещаний и конференций Лунное Агентство получило полномочия на разведки. Оказалось, что проведение таковых отнюдь не столь просто, как думалось. Ни один из рекогносцировочных аппаратов не вернулся и даже ни разу не пикнул по радио. Посылали специально защищенные посадочные аппараты с телеаппаратурой. Они, как показало сателлитное наблюдение, опускались в назначенных местах, на Море Дождей, Морях Холода и Нектара в ничейных зонах между секторами, но ни один не передал ни одного изображения. Каждый словно проваливался в лунный грунт. Ясное дело, это только увеличило панику. Возникла ситуация крайней напряженности. Как писала пресса, в качестве превентивной меры Луну следует раздолбать водородными ракетами. Однако сначала такие ракеты надо было заново создавать и тем самым возродить атомное оружие. Именно такие страхи и неразбериха и породили мою миссию.

Мы летели над плотным покровом туч, слегка волнистым, наконец их вершины порозовели в лучах еще скрытого за горизонтом Солнца. Я размышлял о том, почему так хорошо помню все земное и в то же время столь немногое могу вспомнить из того, что произошло на Луне. О причине я сумел догадаться. Недаром с момента возвращения изучал медицинскую литературу. Знал, что существует два вида памяти: кратковременная и долговременная. Иссечение большой спайки не нарушает того, что мозг уже твердо усвоил, свежие же воспоминания, едва возникшие, вместо того чтобы перейти в долговременную память, улетучиваются. А в первую очередь улетучивается то, что человек пережил и заметил перед самой операцией.

Поэтому-то я не помню многое из того, что приключилось со мной на Луне за те семь недель, которые я проплутал от сектора к сектору. В голове осталось только ощущение необычности, но поскольку я не мог облечь его в слова, то не упоминал и в своем отчете. Значит, там не было ничего тревожного, так мне по крайней мере казалось. Никакого сговора, готовности, стратегической конспирации, направленной против Земли. Я воспринимал это как факт. Однако мог ли я поклясться, что мои ощущения отражают реально существующее положение? Что *оно* не знает ничего больше?

Тарантога молчал, время от времени поглядывая на меня. Как обычно при полетах на восток, а под нами был Тихий океан, календарь заикнулся и потерял один день. БОАК сэкономила на пассажирах. Мы получили только по кусочку жареной курицы с салатом перед самой посадкой, как оказалось, в Майами. До вечера было еще далеко. Таможенные собаки обнюхали наши чемоданы, и мы вышли на улицу, увы, слишком тепло одетыми. В Мельбурне было значительно холоднее. Нас ожидал автомобиль без водителя. Тарантога, видно, заказал его еще из Австралии. Погрузив чемоданы в багажник, мы поехали по шоссе в потоке машин, все еще молча, так как я попросил профессора не говорить даже, куда мы едем. Возможно, предосторожность была ненужной, даже совершенно излишней, но я предпочитал придерживаться такой тактики до тех пор, пока не придумаю что-нибудь получше. Впрочем, ему не пришлось ничего мне объяснять. После двухчасовой езды по боковой дороге, увидев большое белое здание в окружении павильонов поменьше, стоявших среди пальм и кактусов, я понял, что мой сердечный друг привез меня в сумасшедший дом. Я подумал, что это не худший вариант убежища. В авто я предусмотрительно уселся сзади и время от времени поглядывал, не едет ли кто за нами следом, однако мне и в голову не пришло, что я могу быть столь важной, прямо-таки драгоценной персоной, чтобы за мной следили менее

традиционными способами, нежели в детективном романе. С современного искусственного спутника можно наблюдать не только за авто, но и сосчитать спички, рассыпанные на садовом столике. Однако об этом я не подумал, вернее, не подумала та половина моего мозга, которая могла и без помощи языка глухонемых понять, в какую историю влип Ийон Тихий.

II. Посвящение

В самое затруднительное за всю жизнь положение я попал совершенно случайно, намереваясь после возвращения с Энциии увидеться с профессором Тарантогой. Дома его не оказалось — он зачем-то полетел в Австралию. Правда, собирался вскоре вернуться, но, поскольку выращивал какую-то особую примулку, требующую частого полива, на время отсутствия поселил в своей квартире кузена. Не того, который коллекционирует надписи, обнаруженные в клозетах всего мира, а другого, занимающегося палеоботаникой. У Тарантоги множество кузенов. С этим я не был знаком. Он встретил меня в домашней куртке и без брюк, поднявшись из-за пишущей машинки, в которую был вставлен лист бумаги, поэтому я собрался было тут же уйти, но он не дал. Я не только не помешал ему, сказал он, но пришел в самое время, ибо он пишет трудную новаторскую книгу, а собраться с мыслями ему гораздо легче, когда он может рассказать суть излагаемой главы, пусть даже и случайному слушателю. Я испугался, решив, что он пишет нечто ботаническое и начнет забивать мне голову лопухами, тычинками и завязями, но, к счастью, этого не случилось. Более того — он довольно сильно меня заинтриговал. С незапамятных времен, сказал он, среди первобытных диких племен крутились всяческие оригиналы, повсеместно почитаемые за сумасшедших. Они пытались жевать все, что попадало на глаза — листья, клубни, побеги, стебли,

свежие и высушенные корни всевозможных растений, при этом мерли как мухи, ведь среди растений, которые они «брали на зубок», уйма ядовитых. Однако это не пугало вновь появившихся нонконформистов, которые брали на себя тот же небезопасный труд. Только благодаря им сейчас известно, каковы столовые достоинства спаржи или шпината, что делать с листьями лавра, а что — с мускатным орехом и что от волчьей ягоды надо держаться подальше. Кузен Тарантоги обратил мое внимание на известный мировой науке факт — дабы установить, какое растение лучше всего годится для курения и вдыхания его дыма, сизифам древности пришлось собирать, сушить, выдерживать, скручивать и превращать в пепел листья чуть ли не 47 000 видов растений, прежде чем они напали на табак, ибо ни на одной ветке не висело таблички, уведомляющей, что, мол, это годится для изготовления сигар, а после измельчения — табака. Полчища подобных прапросветителей брали в рот, грызли, жевали, дегустировали и глотали все, абсолютно все, что бы и где бы только ни росло — под забором или на дереве, и притом в любом виде: вареное, всырую, с водой и без воды, отцеженное и без отцеживания, а также в бесчисленных комбинациях, благодаря чему мы пришли на готовое и знаем, что капуста хороша со свиной, а в rep-dant* к зайчатине идет свекла. Из того, что кое-где не признают к зайчатине свеклу, а предпочитают, например, красную капусту, кузен Тарантоги делает вывод о более раннем возникновении данной общественной формации. Славяне немыслимы без борща. Видимо, у каждой нации были свои экспериментаторы, и уж коли они однажды остановились на свекле, то потомки остались ей верны, пусть даже соседние народы относились к этому овощу пренебрежительно. О различиях гастрономической культуры, обуславливающих различия в национальном характере (корреляция мятного соуса с английским спли-

* В дополнение, под стать (фр.).

ном в случае говяжьей отбивной, например), кузен Тарантоги напишет особую книгу. В ней он покажет, почему китайцы, которых издавна уже так много, любят есть палочками, причем все порубленное, измельченное и обязательно с рисом. Но об этом он будет писать потом.

«Каждый знает,— возвысил он голос,— кто такой Стефенсон, каждый уважает его за банальный локомотив, но что такое локомотив, к тому же не современный, а паровой, по сравнению с артишоками, которые останутся с нами навечно?!» Овощи, не в пример технике, не устаревают, и я застал его как раз за обдумыванием главы, посвященной этой оригинальной теме. Разве Стефенсону, который, кстати, поставил на колеса уже готовую паровую машину Уатта, грозила от такого поступка смерть? Или разве жизнь Эдисона, когда он придумывал фонограф, подвергалась опасности? В худшем случае обоим грозили семейные неприятности и банкротство. Как все-таки несправедливо, что изобретателей технических древностей обязан знать каждый, а великих изобретателей гастрономии не знает никто и никто даже не подумает о том, что следовало хотя бы поставить памятник Неведомому Кухмистеру. Ведь тьма этих безвестных героев пала в страшных мучениях от самоубийственных опытов, например во время сбора грибов, когда не было иного способа отличить съедобные от ядовитых, как съесть собранное и ждать, грядет ли уже последний час.

Почему школьные учебники заполнены сказочками о разных Александрах Великих, которые, будучи сыновьями царей, приходили на готовенькое? Зачем детям знать о Колумбе, открывшем Америку, если он открыл ее случайно, направляясь в Индию, а об открывателе огурца там нет ни слова? Без Америки можно обойтись, впрочем, рано или поздно она дала бы о себе знать сама, а вот огурец не дал бы, и нам пришлось бы обходиться без приличного маринада к мясу. Сколь героичны и светозарны были смерти этих анонимов! Если солдат шел на вражеские окопы не всегда по своей воле, то никто и никогда

никого не принуждал подвергать себя смертельной опасности от неведомых грибков или ягодок. Кузен Тарантоги был бы рад видеть соответствующие таблички, вмуравленные у входа в каждый приличный ресторан, с соответствующими же надписями, вроде «Mortui sunt ut nos bene edamus»* либо хотя бы «Make salad, not war»**. Особенно возле вегетарианских столовых, потому что с мясом было меньше неприятностей. Чтобы прокрутить фарш на котлеты или рубить гамбургеры, достаточно было подсмотреть, что гиена или шакал творят с падалью. То же самое с яйцами. За шестьсот видов сыра французы, возможно, и заслужили небольшую плакетку, но уж никак не памятник и не мраморную доску, потому что большинство своих сыров они пооткрывали по рассеянности — какой-то забывчивый пастух оставил рядом с куском сыра немного плесневеющего хлеба — так родился рокфор. Когда кузен принялся разносить современных политиков, считающих овощи пустячком, зазвонил телефон. Подняв трубку, кузен Тарантоги передал ее мне, сказав, что просят меня. Я сильно удивился: ведь никто не мог знать о моем возвращении со звезд, но вскоре все выяснилось. Кто-то из генерального секретариата ООН хотел узнать у Тарантоги мой адрес, а кузен, так сказать, сделал короткое замыкание, попросив к телефону меня. Говорил доктор Какесут Вагата, чрезвычайный советник по вопросам глобальной безопасности при генеральном секретариате Организации Объединенных Наций. Он желал встретиться со мной по возможности быстрее, мы договорились на следующий день, и, записав себе в блокнот время приема, я понятия не имел, куда сунул голову. Однако в данный момент звонок оказался кстати, прервав поток излияний кузена Тарантоги, который намеревался говорить о перечных приправах. Мне удалось распрощаться, сославшись на срочность дел и пообещав

* Лучше умереть сытым (лат.).

** Делай салат, а не войну (англ.).

щав вскоре наведаться снова (чего делать я вовсе не собирался).

Позже Тарантога сказал мне, что примула засохла, потому что кузен в палеоботаническо-гастрономическом угаре забыл о ее поливе. Явление я счел типичным: тому, кто отдает себя многим, не до единиц. Потому-то у великих усовершенствователей, стремящихся осчастливить сразу все человечество, не хватает терпения на отдельных людей.

Шило не скоро вылезло из мешка. Я не сразу узнал, что мне предстоит подставить голову под топор во имя счастья человечества, выясняя на Луне, что там замышляют хитроумные вооружения. Для начала меня принял доктор Вагатан. Попотчевал кофе мокко и выдержанным коньяком. Это был азиат — сплошные улыбки, азиат истинный, ибо я не узнал от него вообще ничего — так он хранил тайну. Похоже, генеральный секретарь пожелал непременно ознакомиться с моими книгами, но, будучи человеком невероятно перегруженным своими высокими обязанностями, хотел, чтобы я сам посоветовал ему то из написанного, что считаю наиболее существенным. Как бы случайно к Вагатану заглянуло еще несколько человек подписать документы. Отказать было трудно. Разговор шел — а как же! — о роботах, о Луне, в основном о ее исторической роли как атрибута или декорации в любовной лирике. Значительно позже я понял, что это были не обычные беседы, а переход от screening* к cleangans**, ведь кресло, в котором я так удобно расположился, было сплошь нашпиговано датчиками, чтобы по малейшему напряжению мышц изучить мои реакции на слова вроде «Луна» или «робот», именуемые ключевыми раздражителями. Ситуация, которую я оставил на Земле, направляясь к звездам Тельца, в известной мере перевернулась: теперь мою пригодность в качестве разведчика

* Проверка политической благонадежности (англ., разг.).

** Очистка, устранение (англ.).

исследовал и определял компьютер, а мои собеседники служили лишь инструментом для аускультации*. Сам не знаю, как получилось, но через день я снова зашел в бюро ООН, а потом еще раз, коль скоро меня приглашали. Они хотели видиться со мной постоянно и неотступно, я начал вместе с ними обедать в буфете их ведомства, кстати, весьма посредственном, но внекомпанейская цель моих все более частых посещений оставалась неясной. Вроде бы в ООН подумывали об издании собрания моих сочинений на всех языках мира, а их больше четырех с половиной тысяч. Я человек не тщеславный, но идею счел стоящей. Новые знакомцы оказались горячими поклонниками моих «Звездных дневников». Это были доктор Рортей, инженер Тоттентанц и два Киббилькиса, братья-близнецы, которых я научился различать по галстукам. Оба — математики. Старший, Кастор, занимался алгомастикой, то есть алгеброй таких конфликтов, которые фатально заканчиваются для всех впутавшихся в них сторон. (Эту ветвь теории игр иногда называют садистикой, и коллеги называли Кастора садистиком, причем Рортей утверждал, что полное имя Кастора — Кастор Ойл, надо думать, это была шутка). Второй Киббилькис, Поллукс, был статистиком и отличался особым свойством после долгого молчания встревать в разговор с вопросами, не имеющими никакого отношения к обсуждаемой теме, например сколько человек во всем мире ковыряют в данный момент в носу? Будучи феноменальным вычислителем, он высчитывал такие штуки почти мгновенно. Один из четверых обычно ожидал меня в вестибюле размером с ангар для кораблей многоразового использования и провожал к лифту. Мы ехали к Киббилькисам в их лабораторию или к профессору Йонашу Куштыку, тоже, видимо, влюбленному в мои книги, коли он ухитрялся цитировать меня на память с указанием страницы и года издания. Куштык, как

* Выслушивание (*мед.*).

и Тоттентанц, занимался теорией дистантников, или телеферистикой. Телеферистика — новая отрасль роботики, именуемая опосредованием, или переприсущией, то есть передачей присутствия (прежде это называлось telepresence*). Лозунг телеферистов: «Не можешь сам — пошли дистантника». Именно Куштык и Тоттентанц уговорили меня испробовать дистантника, то есть дать себя переприсутить. Кстати, человек, все ощущения которого радиоволны передают дистантнику, зовется передистом, то есть переданным дистанционно. Иногда его еще зовут «дистандером», так как он управляет дистантником.

Я охотно согласился, и лишь значительно позже мне пришло в голову, что все они вовсе не были влюблены в мое творчество, а читали меня по долгу службы, ибо вместе с другими сотрудниками Лунного Агентства, которых я не стану перечислять, чтобы не увековечить их имена, должны были потихоньку втянуть меня в проект, именуемый Лунной миссией. Почему потихоньку? Потому что я ведь мог бы отказаться и вместо Луны отправиться домой, постигнув все секреты миссии. «Ну и что? — может спросить кто-нибудь по глупости. — Появится от того дыра в небе?» А секрет в том, что да, могла появиться. Субъект, выбранный Лунным Агентством из тысячи, должен был обладать величайшей компетентностью и абсолютной лояльностью. Компетентность — разумеется, но лояльность? По отношению к кому я должен был проявлять лояльность? К Агентству? В определенном смысле, поскольку оно представляло интересы всего человечества. Речь шла о том, чтобы ни одно государство и ни одна группа, либо, возможно, тайная коалиция государств не могли узнать результатов лунной разведки, если она удастся, ибо тот, кто первым узнает тамошнее состояние вооружений, тем самым по-

* Телеприсутствие (англ.).

лучает стратегическую информацию, дающую ему преимущество на Земле. Как видим, воцарившийся на ней мир вовсе не был идиллией.

Получалось, что ученые, которые донимали меня своей сердечностью и позволяли, словно ребенку, забавляться дистантниками, фактически по ходу дела проводили исследование моего мозга, точнее, помогали делать это компьютерам, незримо присутствовавшим на всех наших беседах. Кастор Киббилькис со своими сюрреалистическими галстуками сидел там же в качестве теоретика конфликтов, оканчивающихся пирровыми победами, поскольку именно такой конфликт разыгрывался сейчас со мной или против меня, не знаю. Чтобы принять или отвергнуть миссию, мне надо было сначала ознакомиться с ней, а если бы я от нее теперь отказался либо принял и, вернувшись, выдал на сторону лишь мне известные результаты разведки, то сложилось бы положение, которое алгоматики называют предкатастрофическим. Кандидатов было много — различных национальностей, рас, образования, достоинств, я оказался одним из них, но не имел об этом ни малейшего представления. Избраннику предстояло стать делегатом человечества, а не шпионом, пусть даже и потенциальным, какого-либо государства. Криптонимом операции «Отруби» было кодовое наименование PAS (Perfect Assured Secrecy*). А «Отруби» потому, что речь шла о тщательном *просеивании* кандидатов и тем самым о селективно-идеальном отборе разведчика. В зашифрованных рапортах меня именовали Миссионером. «Отруби» скрывали в себе намек на «Сито», напрямую не названное, чтобы кто-нибудь посторонний, упаси боже, не догадался, о чем идет речь.

Объяснили ли мне сказанное до конца? Где там! Тем не менее, когда меня уже окрестили Миссионером

* Абсолютная
(англ.).

высшая

секретности

(ЛЭМ — LEM, Lunar Efficient Missionary*) и я икс раз вылезал в ракету, чтобы через два-три часа опять вылезти из нее в скафандре, увешанном проводами и трубками, так как там снова что-то отказало при стартовом отсчете (countdown**), у меня было достаточно времени, чтобы продумать все происходившее за последние месяцы, и я в конце концов понял скрытую суть игры, которую ЛА вело со мной по высшей ставке. Наивысшей не обязательно для человечества, но для меня, ибо и без всякой алгоматики и теории пирровых побед я пришел к выводу, что в такой ситуации самым верным способом соблюсти PAS было бы укокошить разведчика сразу же по его счастливом возвращении на Землю, когда он уже даст отчет. А поскольку я знал, что теперь они *вынуждены* выслать меня наверх, ибо я оказался наилучшим и наиболее верным из всех кандидатов, то между очередными отсчетами я сказал это своим коллегам — Киббилькисам, Куштыку, Благоузу, Тоттентанцу, Гаррафизе (о Гаррафизе я, возможно, еще скажу особо), которым вместе с несколькими техниками связи предстояло образовать наземную группу обеспечения моей селенологической одиссеи, то есть стать для меня тем, чем для Армстронга и К⁰ был во время миссии «Аполлон» — Хьюстон. Поэтому, желая досадить этим лжецам как можно сильнее, я спросил, известно ли им, кто займется мною, когда я вернусь героем — само Лунное Агентство или подряженная ими «Murder Incorporated»***.

Именно так я и сказал, этими самыми словами, чтобы посмотреть на их реакцию, потому что если они вообще имели в виду этот вариант, то должны были понять меня

* Лунный квалифицированный (умелый, деятельный) миссионер (англ.). Автор здесь и далее обыгрывает аббревиатуру LEM (ЛЭМ). Именно так вначале и назывался американский лунный экспедиционный модуль, впоследствии его стали называть LM (ЛМ) — лунный модуль.

** Отсчет времени в обратном порядке (англ.).

*** Компания по организации убийств (англ.).

с ходу. Они аж замерли, словно их громом поразило. Еще и сейчас вижу ту сцену. Небольшое помещение на космодроме, именуемое ожидальней, обставленное по-спартански — металл, покрытый светло-зеленым пластиком, автоматы с кока-колой, только кресла были действительно удобными — я, в ангельски белом скафандре с головой под мышкой (со шлемом, но так говорится: у кого «голова под мышкой», тот, значит, уже должен лететь), напротив — верные друзья, ученые, врачи, инженеры. Кажется, первым заговорил Кастор Ойл. Что это-де, не они, что это в уравнениях только, мол, сам компьютер, в сугубо математическом выражении решение леммы Perfect Assured Secrecy *оказалось* именно таким, но это ведь абстракция, не учитывающая этического фактора, никогда она не принималась всерьез, и я обижаю всех, говоря в такой момент, подозревая их, и так далее...

— Тэк-тэк! — ответил я. — Ясное дело, всему виной компьютер. Экий паршивец! Но довольно об этике. Все вы, сколько вас тут есть, почти святые, я, впрочем, тоже. Но неужто никому из вас с компьютером во главе не приходило в голову *такое* решение?

— Какое? — спросил отупевший Пирр Киббилькис (называли его еще и так).

— Такое, что я догадаюсь, а когда эту свою догадку проверю, как сделал только что, то сей факт войдет в уравнение, означающее мою лояльность, и тем самым *изменит* этот детерминант...

— Ах, — простонал второй Киббилькис, — конечно, такая возможность учитывалась, ведь это же азбука алгоритмической статистики: я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что я знаю — все это ведь те бесконечные аспекты теории конфликтов, которые...

— Хорошо-хорошо, — произнес я, остывая, потому что меня заинтересовала вычислительная сторона вопроса. — И что у вас получилось в конце? Что такая догадка нарушит мою лояльность?

— Вроде, да,— неохотно ответил Кастор Ойл за брата.— Но градиент падения твоей лояльности после такой сцены (ведь ее тоже предстояло смоделировать...) представляет собой ряд, стремящийся к нулю.

— Так,— почесал я себе нос, перекладывая шлем из-под правой руки под левую.— Стало быть, это *здесь, сейчас уменьшает* математическое ожидание уровня снижения моей лояльности?

— Уменьшает, уменьшает! — сказал он, а его брат добавил, нежно и в то же время испытующе глядя мне в глаза: — Сам, наверно, чувствуешь...

— Угу,— отозвался я, не без удивления отмечая, что они или их компьютер были правы в своих психологических расчетах, потому что моя злость на них значительно уменьшилась.

Над выходом на поле космодрома загорелся зеленый сигнал, одновременно отозвались все звоночки, извещающие о том, что дефект устранен и мне снова надо упаковываться в ракету. Не говоря больше ни слова, я повернулся как по команде «кругом!» и зашагал в их сопровождении, по пути обдумывая соль всей этой истории. Я упреждаю события, но коли уж начал, должен докончить. Когда я покинул стационарную околоземную орбиту и они уже фиг что могли мне сделать, на вопрос, как я себя чувствую, я ответил, что прекрасно и вот только раздумываю, не стакнуться ли мне с лунным *государством*, чтобы дать под зад некоторым земным знакомым. Как же неестественно прозвучал их смех в моих наушниках...

Но все это было потом, после «экскурсии» на псевдолунный полигон и посещения «Джинандроникс корпорейшн». Эта гигантская фирма по оборотам опередила даже «Интернейшнл бизнес мэшинс», хотя и зародилась как ее скромный филиал. Должен пояснить, что «Джинандроникс», вопреки распространенному мнению, не изготавливает ни роботов, ни андроидов, если под такими понимать человекообразные манекены, наделенные человекоподобной психикой. Идеальная имитация чело-

веческого сознания почти невозможна — правда, компьютеры восьмидесятого и всех последующих поколений гораздо разумнее нас, но их интеллектуальная жизнь не похожа на человеческую. Нормальный человек — существо в высшей степени нелогичное, и в этом его человечность. Это разум, не спорю, но сильно замусоренный предрассудками, эмоциями и убеждениями, вынесенными из детства или вместе с родительскими генами. Поэтому робота, выдающего себя за человека (например, при телефонном разговоре), специалист разоблачит запросто. Несмотря на это принципиальное возражение, пресловутая *sex industry** изготавляла для изучения рынка небольшие партии так называемых *s-dolls***. Одни утверждали, что речь идет о *sex dolls*, куклах для любви, другие, что о *seductive dolls* — кокетливых соблазнительницах, или, скорее, соблазнительных кокетках из новых материалов, настолько родственных биологическим, что в хирургии их используют в качестве трансплантатов кожи при ожогах. Эти *femmes de compagnie**** спросом не пользовались. Они были слишком *логичны* — слишком интеллектуальны, попросту говоря, мужчина, общающийся с таким «синим чулком», зарабатывал комплекс неполноценности, к тому же и слишком дороги. Тем, кто мог позволить себе приобрести такую наложницу (самые дешевые, *made in Japan*****, стоили свыше 90 000 долларов за штуку, не считая налога за роскошь), вполне по карману было заводить романы с естественными партнерами. Переворот на рынке совершили только дистантки, или «пустышки». Это куклы, неотличимые от женщин, но «пустые», то есть безмозглые. Я не женоненавистник и, когда говорю «безмозглые», вовсе не повторяю глупостей всяких там Уэйнингеров, отказывающих прекрас-

* Промышленность предметов секса (англ.).

** С-куколка (англ.).

*** Женщины для компании (фр.).

**** Изготовлено в Японии (англ.).

ному полу в разуме, а имею в виду, что дистантник, как и дистантка, — просто манекены, управляемые человеком, то есть — пустые оболочки.

Натянув на себя одежду с сетью вшитых в нее электродов, прилегающих к телу, любой человек мог воплотиться в дистантника или дистантку. Никто не предполагал, какие потрясения эта техника вызовет в жизни человечества: начиная с супружеской жизни и кончая древнейшей профессией мира. Отсюда возникли новые дилеммы для юристов. Закон не признавал интимные отношения человека с так называемой *sex doll* как супружескую измену и основание для развода. Не имело значения, какой была наложница — набивной или надуваемой с помощью велосипедного насоса, был ли у нее передний привод или же задний, автоматическая коробка передач или ручная: об измене не могло быть и речи, как если б кто-то общался с собственным шкафом. Однако телеферические изделия вынудили гражданское право решить, считать или же не считать супружеской изменой связь с дистантником либо дистанткой особы, состоящей в браке. Понятие дистантной измены горячо обсуждалось в специальных журналах и газетах. Это было лишь началом сложных проблем. Например, можно ли изменить собственной жене с ней самой, но более молодой, чем теперь? Некий Адлай Гроуцер заказал в Бостонском филиале «Джинандроникс» дистантку в виде копии собственной жены в возрасте 21 года, а не 59. Проблему осложняло то, что на двадцать первом году жизни миссис Гроуцер еще не была миссис Гроуцер, а считалась женой Джеймса Брауна, с которым развелась двадцать лет спустя, чтобы выйти за Гроуцера. Дело слушалось во всех инстанциях. Судьям пришлось устанавливать, отказывает ли мужу жена, *не желающая* интимно управлять дистанткой, приобретенной супругом. Возможен ли дистантный инцест, садизм и мазохизм. А также педерастия. Какая-то фирма выпустила серию мужекенов, которые можно было, воспользовавшись запасными частями, переделывать

в женокены или даже в гермафрокены. Японцы экспортировали в Соединенные Штаты и Европу гермафрокоенов по демпинговым ценам: одним движением руки можно было менять их пол. Среди заказчиков «Джинандроникс» числилось несколько заслуженных проституток, которые были уже не в состоянии лично ублажать клиентов, но имели многолетний опыт, а поэтому отличались мастерством управления. Естественно, проблемы не сводились только к эротике. Например, некий двенадцатилетний ученик, которому учительница поставила неуд за многочисленные орфографические ошибки в диктанте, воспользовался атлетически сложным дистантником отца, чтобы наставить ей синяков и покрушить всю мебель в квартире. Это был дистантник, выполняющий обязанности сторожа. Модель шла нарасхват. Дистантник, которого держали в будке, должен был охранять дом и сад. С этой целью отец мальчика ложился спать в особой пижаме с вшитыми электродами, стоило только специальному устройству поднять тревогу, и он, не вставая с постели, уже как дистантник, мог справиться даже с несколькими ворами сразу и задержать их до прибытия полиции. Сын стащил у отца пижаму, когда тот отсутствовал. Я не раз видел на улицах пикеты и демонстрации, направленные против «Джинандроникс» и аналогичных японских изготовителей. В них в основном принимали участие женщины. Законодатели нескольких штатов США, где гомосексуализм еще оставался наказуемым, запаниковали, потому что неизвестно было, совершают ли преступные действия гомосексуалист, влюбленный в нормального мужчину, когда посылает тому привлекательную дистантку, чтобы лично управлять ею. Возникли новые понятия, например *telemate* — дистантные подруги любви — любовницы или жены. Когда Верховный суд наконец признал допустимыми, то есть относящимися к компетенции семьи, супружеские отношения *per pro-*

сига* (то есть с использованием дистантников) при взаимном согласии супругов, всплыло дело Кукерманов. Он был коммивояжером, она содержала парикмахерскую. Встречались они редко, потому что она не могла оставить салон без присмотра, он же постоянно бывал в разъездах. Тогда они согласились на введение посредника, но не могли решить, кто должен стать дистантником — муж или жена. Сосед Кукерманов вызвал их гнев, по доброте душевной предложив супругам компромисс: использовать телеферическую пару — дистантник муж и дистантка жена казались ему соломоновым решением. Однако Кукерманы сочли такую идею идиотской и унижительной. Вероятно, не знали, что их спор, после того как о нем сообщили газеты, вызвал так называемую телеферическую эскалацию: известно, что на дистантника тоже можно натянуть одежду с электродами, чтобы он стал передистом для следующего дистантника и так далее. Идею с энтузиазмом воспринял преступный мир. Дело в том, что точно так же, как легко можно обнаружить радиопередатчик, возможно и установить, откуда управляется конкретный дистантник. Этим методом широко пользовалась полиция при раскрытии телеферически совершенных краж со взломом или убийств. Однако если дистантник-исполнитель управляется дистантником-передистом, то, конечно, с помощью пеленгаторов можно добраться до этого второго, но прежде, чем его схватят, истинный дистандер-человек успеет прервать радиосвязь с «промежуточным» передистом и тем самым замести свой собственный след. Каталоги «Телемейт К⁰» и японской фирмы «Сони» предлагали любых дистантников, начиная от лилипута и кончая Кинг-Конгом, а также дистанток, точно копирующих известных исторических личностей, таких, как Нефертити, Клеопатра, королева Наваррская,

* Здесь: по доверенности (лат.).

или современных кинозвезд. Чтобы избежать процессов, связанных с проблемой так называемого «злоупотребления телесным подобием», каждый, кто намеревался держать в своем шкафу копию Первой леди США или жены соседа, пользовался пересылкой нужных копий, предварительно разобранных на составные части, по почте. Следуя инструкции, покупатель монтировал себе вожденную playmate*, не выходя из дома. Кажется, появились даже люди, страдающие так называемым нарциссизмом, которые не любят никого, кроме самих себя; такие заказывали собственные копии. Законодатели задыхались под бременем неисчислимых новых дел, а одновременно становилось ясно, что запретить изготовление дистантников, как запрещается производить на дому атомные бомбы или наркотики, не удастся, так как дистантство превратилось в гигантскую отрасль промышленности, работающей как на нужды народного хозяйства, так и науки и техники, включая космонавтику. Только в виде дистантника человек может высадиться на планетах-гигантах вроде Сатурна или Юпитера. Использовали дистантников и в горной промышленности, при спасательных работах, зачастую высокогорных, а также во время землетрясений и других стихийных бедствий. Дистантник был незаменим при опасных для жизни экспериментах, именуемых «разрушающими». Лунное Агентство заключило специальный контракт с «Джинандроникс» на изготовление лунных дистантников. Вскоре я узнал, что их уже пытались применять в проекте ЛЭМ, но со столь же загадочными, сколь и катастрофическими результатами.

По монтажным цехам «Джинандроникс» меня провожал Паридон Савекаху, главный инженер. Приходилось быть настороже, потому что он по обычаю своего народа называл меня по имени, а у меня все время Паридон путался с пирамидоном. Я был в обществе Тоттентанца

* Подруга игр (англ.).

и Благоуза. Инженер Савекаху жаловался на обилие постоянно меняющихся юридических норм, затрудняющих фирме необходимые исследования и разработку новых моделей. Например, у входов в банки повсюду установили новые датчики, обнаруживающие дистантников, но это еще полбеды. Понятно, банки опасаются дистантных грабежей. Однако вместо сугубо сигнальных устройств многие банки используют термоиндукционные. Едва распознанный из-за размещенной в нем электроники дистантник подвергается невидимому удару волн высокой частоты, как резкий скачок температуры сплавляет контуры и превращает дистантника в лом. Из-за этого у множества покупателей возникают претензии, но не к банкам, а к «Джинандроникс». Кроме того, уже случаются, увы, нападения, даже с применением бомб, на транспорты с дистантками, особенно красивыми. Инженер Паридон дал мне понять, что его фирма подозревает в актах терроризма движение Women's liberation, но пока не имеет доказательств, позволяющих обратиться в суд.

Мне был продемонстрирован весь процесс изготовления дистанток, начиная от сварки ультралегких дюралевых скелетов и кончая покрытием готового «шасси» телоподобной массой. Большинство дистанток изготавливают в восьми вариантах, на жаргоне именуемых «калибрами». Те, что идут по индивидуальным заказам, почти в двадцать раз дороже обычных. Впрочем, дистантник вовсе не обязательно должен походить на человека, однако чем больше он будет отличаться строением от последнего, тем больше трудностей возникает при управлении им. Например, хвост — очень полезное приспособление, помогающее обеспечивать безопасность дистантикам, работающим на большой высоте, при монтаже тросов висячих мостов или кабелей высокого напряжения, но у человека *нечем* управлять этим органом. Потом мы поехали электромобильчиком (учитывая огромные размеры территории) к складам, где осмотрели планетарных и лунных дистантников. Чем сильнее гравитация, тем

сложнее задачи их создателей: слишком маленький дистантник многого не сделает, а слишком большой с приводящими его в движение крупными двигателями оказывается чересчур тяжелым.

Мы вернулись в цех окончательного монтажа. Если доктор Вагатан из бюро ООН представлял собой азиатского дипломата со сдержанно-любезной улыбкой, то инженер Паридон был азиатом-энтузиастом, и его синеватые губы не смыкались — он смеялся, демонстрируя прекрасные зубы.

— Знаете, Ён, на чем кувыркнулась «Дженерал педиуплатрикс»? На прямохождении! Она кувыркнулась вместе со своей моделью-прототипом, потому что та постоянно переворачивалась. Недурно? Ха-ха-ха! Жироскопы, противовесы, сенсоры с double feed-back* под коленями — ничего не помогало. У нас, разумеется, нет никаких проблем, поскольку равновесие дистантника поддерживает дистандер.

Глядя на бело-розовые, как у новорожденных, тела дистанток, которых снимали с конвейера подъемники, так что мы оказались под шеренгой нагих девиц, мерно проплывающих над нашими головами в упаковочный цех, неподвижных, с шевелящимися и волнующимися, словно живые, длинными волосами, я спросил Паридона, женат ли он.

— Ха-ха-ха! — А вы шутник, Ён! Да. Женат и имею детей. Конечно же! Сапожник не ходит в туфлях, которые сам стачал! Понимаете? Но нашим работникам мы в порядке премии даем ежегодно по штуке. Отличный стимул!

— Каким работникам? — спросил я. Зал был совершенно пуст. У конвейеров работали покрытые желтой, зеленой и голубой эмалью роботы с подвижными стрелами, похожие на многочисленных граненых гусениц.

— Ха-ха-ха! У нас еще осталось немного людей. В сортировочной, на техконтроле и упаковке. О, брако-

* Дублированная обратная связь (англ.).

ванный экземпляр. Что-то неладно с ногами. Кривоваты. Как вы относитесь к таким вещам? Бесплатно, на неделю. Можем доставить домой.

— Благодарю,— сказал я.— Повременим. Пигмалионизм не в моем вкусе.

— Пигмалионизм? А, пигмалионизм! Бернард Шоу, кажется! Как же, как же! Конечно, намек понял. У некоторых людей это вызывает протест. Но, согласитесь, лучше изготавливать женокены, чем карабины, а? Продукция для мира. *Make love, not war**. Правда?

— Можно кое с чем не согласиться,— заметил я.— Я видел пикеты перед воротами.

— Да. Проблемы есть. Конечно. Обычная женщина не может сравниться с дистанткой. В жизни прекрасное — исключение. У нас — техническая норма. Закон рынка. Предложение, регулируемое спросом. Что делать — таков мир...

Мы осмотрели помещение для одевания, полное шелестящих платьев, нижнего белья, занятых делом девушек с ножницами и портновскими сантиметрами на шеях, девушек довольно невзрачных, ибо живых, и распрощались с инженером Паридоном, проводившим нас на автостоянку. Тоттентанц и Благоуз на обратном пути были на удивление молчаливы. У меня тоже не было желания разговаривать. Однако день еще не закончился.

Вернувшись домой, я нашел в почтовом ящике большой пакет, в котором оказалась книга с длинным названием «*Dehumanization Trend in Weapon Systems of the Twenty First Century or Upside-down Evolution*»**. Имя автора, Месланд, мне ни о чем не говорило. Том был тяжелый, солидный, большого формата, полный графиков и таблиц. За неимением лучшего, я уселся в кресло и принялся

* Занимайтесь любовью, а не войной (англ.).

** Тенденция дегуманизации в системах вооружения в XXI веке, или эволюция наоборот (англ.).

читать. Над вступлением на первой странице красовался эпиграф по-немецки:

«Aus Angst und Not
Das Heer ward tot»*.

Eugen von Wahnzenstei

Автор именовал себя знатоком новейшей военной истории. Эта история, писал он, ограничена двумя афористическими лозунгами XX века: «FIF» и «LOD», означающими «Fire and Forget»** в начале и «Let others do»*** в конце. Отцом современного пацифизма было благополучие, а матерью — страх. Их скрещение породило тенденцию *обесчеловечивания* войны. Все меньше людей хотело становиться под ружье, и отмирание боевого духа было прямо пропорционально жизненному уровню. Молодежь богатых государств благородную максиму *dulce et decorum est pro patria mori***** считало рекламой моровой заразы. Именно тогда началось падение цен в электронной промышленности. На смену запоминающим элементам «CHIPS» пришли продукты генной инженерии — «CORN». Их называли зернами, так как получали, культивируя искусственные микробы, в основном *silicobacterium logicum Wieneri******, именуемые так в честь отца кибернетики. Горсть таких элементов стоила не дороже горсти проса. Таким образом, искусственный интеллект дешевел, новые же поколения вооружений дорожали в геометрической прогрессии. Самолет первой мировой войны был не дороже автомобиля, второй — двадцати автомобилей, в конце столетия он стоил уже в 600 раз больше. Было подсчитано, что через 70 лет сверхдержава в состоянии будет изготовить не более 18—20 самолетов. Таким образом, на пересечении кривых падения ин-

* От страха и нужды погибают армии (нем.).

** Воодушевить и забыть (англ.).

*** А делают пусть другие (англ.).

**** Приятно и почетно умереть за родину (лат.).

***** Логические силикобактерии Винера (лат.).

теллекта и возрастания стоимости оружия возникла тенденция обезчеловечивания армий. Армии из живой силы превращались в силу мертвую. Это случилось после того, как мир пережил два тяжелых кризиса. Первый — когда нефть резко подорожала, второй — когда вскоре она так же резко подешевела. Классические законы рыночной экономики переставали действовать, но мало кто отдавал себе отчет как в значимости такого явления, так и в том, что фигура затянутого в форму солдата в каске, идущего в штыковую атаку, уже сходит со сцены истории, чтобы занять место рядом с закованным в латы средневековым рыцарем. Только инерция мысли инженеров и техников на некоторое время сохранила крупногабаритное вооружение — танки, орудия, транспортеры и другие боевые машины, предназначенные для людей и громоздкие даже тогда, когда они уже могли идти в бой самостоятельно, без человека. Но эту фазу броневой гигантомании резко сменила фаза спешной миниатюризации. До того все вооружение было приспособлено под человека: подогнано под его анатомию, чтобы он мог успешно убивать, и под его физиологию, чтобы он мог быть успешно убиваем.

Как обычно бывает в истории, никто не понимал, что наступает. Ибо открытия, которым предстояло объединиться в *dehumanization trend in new weapon systems*, свершались в весьма отдаленных друг от друга областях науки. Интеллекtronика породила дешевые, как трава, микрокалькуляторы, а нейроэнтомология наконец-то разгрызла загадку насекомых, которые, как, например, пчелы, живут сообществом, работают во имя общих целей и общаются посредством собственного языка, хотя мозг человека в 380 000 раз больше, чем нервная система пчелы. Рядовому солдату вполне достаточно разума пчелы, лишь бы он был соответствующим образом трансформирован. Боевая эффективность и разум — вещи разные, по крайней мере на поле боя. Главным фактором, повлиявшим на миниатюризацию оружия,

была атомная бомба. Необходимость миниатюризации следовала из простых и известных фактов — но они оставались вне военного знания времени. Когда семьдесят миллионов лет назад на Землю упал гигантский метеорит и на века остудил ее климат, затемнив осколками земную атмосферу, катастрофа эта полностью уничтожила гигантских ящеров, динозавров, почти не коснулась насекомых и вовсе не тронула бактерий. Выводы из палеонтологии были однозначны: чем крупнее действующая сила деструкции, тем меньшие по размерам системы могут ее пережить. Атомная бомба требовала *рассеяния* как солдата, так и армии. Однако идея уменьшения солдата до размеров муравья, кроме как в фантастике, не могла быть осуществлена в XX веке. Ведь человека не рассеешь и не уменьшишь в размерах. Тогда стали подумывать о солдатах-автоматах, имея в виду человекообразных роботов, хотя уже в то время это было наивным анахронизмом. Однако промышленность постепенно избавлялась от человека, но роботы, заменявшие рабочих у конвейеров по изготовлению, например, автомобилей, не были человекоподобны. Они представляли собой избирательно увеличенные *части* человека: мозг с огромной стальной пятерней, мозг с глазами и кулаком, органы чувств и руки. Но атомная угроза не позволяла перенести на поле боя огромных роботов. Так начали появляться радиоактивные *синасы* (синтетические насекомые), керамические ракообразные, змеи и черви из титана, способные зарываться в землю и выбираться из нее после атомного взрыва. Летающие *синасы* были как бы сплавом самолета, летчика и снаряда в едином микроскопическом целом. Одновременно оперативной единицей становилась *микроармия*, она являла собой боевую единицу только как *целое*, подобно тому как только целый *рой пчел* являет собой самостоятельную функционирующую единицу, а одна пчела с этой точки зрения — ничто. Возникали микроармии многих типов, исходящие из двух противоположных принципов. Согласно принципу самостоятель-

ности, такая армия действовала, как военный поход муравьев, волна бактерий или рой шершней. Согласно принципу *телетопизма*, микроармия была всего лишь огромным летящим или ползущим сборищем *элементов* автомонтажа: в зависимости от тактической либо стратегической потребности она направлялась к цели в сильном рассеянии и только там собиралась в предварительно запрограммированное целое. Это было так, как если бы боевые устройства выходили из фабрик не в окончательном виде, а как полу- или четвертьпродукты, способные собираться в боевую машину перед тем, как попасть в цель. Такие армии еще называли самосборными. Наиболее простым примером было автодисперсионное оружие. Запущенную ракету (ICBM*) с ядерной боеголовкой можно обнаружить из космоса спутниковым контролем, а с Земли радаром. Но невозможно выследить сильно разреженные гигантские облака микро-частиц, несущих уран или плутоний, которые собираются в критическую массу у цели — будь то фабрика или неприятельский город.

Некоторое время старое и новое оружие сосуществовало, но массивное, тяжелое вооружение окончательно и бесповоротно сдалось под натиском микрооружия. Ведь оно было почти невидимо. Как микробы тайком проникают в организм животного, чтобы убить его *изнутри*, так и мертвые искусственные микробы в соответствии с заданными им тропизмами проедали стволы орудий, зарядные камеры, двигатели танков, самолетов, прожигали металл либо, добравшись до пороховых зарядов, взрывали их. Что мог сделать самый боевой, увешанный гранатами солдат против микроскопического мертвого противника? То же, что и врач, который собирается бороться с бактериями холеры кувалдой. Против туч микрооружия, самонаводящегося на запрограммированные

* ICBM — intercontinental ballistics missile — межконтинентальная баллистическая ракета — МБР (англ.).

объекты, биотропного, поскольку оно убивало все живое, человек в форме был бессилен, словно римский легионер со щитом и мечом под градом пуль.

Уже в XX веке тактика боя в плотных рядах уступила место рассеянию войск, которые при переходе к подвижной войне подверглись дальнейшему рассредоточению. Но и тогда все еще существовали линии фронтов. Теперь и они исчезли. Микроармии легко проникали через оборонительные рубежи и достигали глубоких тылов противника. Тем временем крупнокалиберное ядерное оружие все явственнее становилось бессильным, его применение попросту не окупалось. Эффективность борьбы с вирусной заразой термоядерными бомбами была ничтожной. Кроме того, стоимость снаряда не может значительно превосходить стоимости уничтожаемой им цели. Ведь крейсерами не охотятся на пиявок!

Самой трудной проблемой безлюдного этапа борьбы человека с самим собой оказалось, как отличить врага от свояка. Эту задачу, уже раньше называвшуюся FOF (Friend or foe*), некогда решали системы электроники, работавшие по принципу пароля и отзыва. Вопрошаемый радиоволнами самолет или снаряд сам, собственным передатчиком, либо отвечал нужным образом, либо подвергался нападению как враг. Этот метод XX века полностью устарел. Новые мастера смертоубийства обратились к миру растений, животных и бактерий. Распознавание повторяло поведение живых видов: их иммунитет, борьбу антигенов с антителами, тропизмы, а также мимикрию, защитные окраски, камуфляж и маскировку. Мертвое оружие зачастую *прикидывалось* невинными бактериями или даже пыльцой растений, но под этой оболочкой скрывалось смертоносное, эродирующее содержимое. Росло также значение информационных столкновений — не в смысле пропаганды, а в смысле проникновения в неприятельскую связь, чтобы поразить ее, либо — как, например, при на-

* Друг или враг (англ.).

летах ядерной саранчи — принудить к преждевременному слиянию в критическую массу и тем самым не допустить до охраняемого объекта. Автор книги описывал таракана, который был прототипом некоторых микросолдат. У таракана на тельце есть несколько тонюсеньких волосков. Стоит им пригнуться от дрожания воздуха, и таракан бросается в бегство, так как эти датчики накоротко связаны с задним нервным узлом, отличающим невинное дуновение ветра от колебаний, вызываемых нападающим.

Углубившись в чтение, я с сочувствием думал о горячих поклонниках мундиров, штандартов и боевых наград за храбрость. Новая военная эпоха должна была стать для них позором, оскорблением их возвышенных идеалов. Автор называл перемены «эволюцией, поставленной вверх ногами» (*upside-down*), потому что в природе вначале возникали микроскопические организмы, которые постепенно превращались в более крупные, в военной же эволюции происходило обратное — микроминиатюризация, а одновременно и человеческий мозг заменялся элементами, воспроизводящими нервные ганглии насекомых. Микроармии возникали двумя этапами. На первом этапе проектанты и создатели безлюдного оружия еще были люди. На втором — мертвые дивизии проектировали, подвергали боевым испытаниям и направляли в серийное производство столь же мертвые компьютерные системы. Людей убрали вначале из армии, а затем из военной промышленности. Явление так называемой «социоинтеграционной дегенерации». Дегенерации подвергся единичный солдат: он становился все меньших размеров и в связи с этим все более простым по устройству. В конце концов у него осталось столько же разума, как у муравья или термита. Но тем большую роль начало играть *социальное сборище* мини-бойцов. Мертвая армия была гораздо более сложной, нежели улей или муравейник, и соответствовала скорее биотопам природы, то есть пирамидам видов, пребывающим в тонком равновесии конкуренции, антагонизма и симбиоза. Легко понять, что сержанту или

капралу в такой армии делать нечего. Вообще для того, чтобы охватить целое, даже при инспектировании армии, не говоря уже о командовании ею, недостаточно разума целого университета. Так что офицерский корпус, как и нищие государства третьего мира, больше пострадал от великих милитаристских переворотов ХХI века. Безжалостное давление тенденции высвобождения армии от человека уничтожило прекрасные традиции маневров, изумительных смен караулов, фехтования, эффектных парадных мундиров, муштры и рапортов. Некоторое время, к сожалению, не слишком долгое, еще удавалось сохранить для людей высшие командные посты, в основном в штабах. Стратегически-вычислительные преимущества компьютеризованных эшелонов командования в конце концов поразили безработицей офицерство самого тяжелого веса вкупе с маршалами. Ковер орденских планок на груди не спас от досрочной пенсии и знаменитейших штабистов. Тогда возникло оппозиционное движение офицерских кадров, которые от отчаяния, вызванного безработицей,— это были профессиональные офицеры — ушли в террористическое подполье. Воистину отвратной каверзой истории было подавление офицерского недовольства микрошпиками и мини-полицией, построенными на принципе упоминавшегося уже таракана, с той разницей, что их боевому духу не мешали ни тьма, ни туман, ни любые виды камуфляжа, применяемые отчаявшимися традиционалистами, верными идеям Ахиллеса и Клаузевица.

Что касается бедных государств, то им приходилось воевать по-старому, живой силой, и лишь со столь же анахронично вооруженным противником. У кого не хватало средств на автоматизацию армии, тот вынужден был сидеть тихо, как мышь под метлой.

Впрочем, и богатым государствам жилось не слаще. Политическая игра, которую вели по старинке, канула в Лету. Уже достаточно давно размытая грань между войной и миром стерлась окончательно. Двадцатый век

уничтожил церемонные ритуалы объявления войны, ввел понятие пятой колонны, массового саботажа, холодной войны и войны *per rгocига**, и это было только началом дальнейшего стирания различий. Торги на конференциях по разоружению направлены уже были не столько на то, чтобы прийти к соглашению, установить равновесие сил, сколько на выявление слабых и сильных сторон противника. Мир с двучленной альтернативой — либо война, либо мир — трансформировался в мир войны, которая была миром, и мира, который был войной. В первой фазе доминировала многоаспектная диверсия, скрывавшаяся под маской официально провозглашаемого мира. Диверсия эта охватывала политические, религиозные и общественные движения, даже столь знакомые и невинные, как движение за охрану окружающей среды от загрязнения, подтачивала культуры, средства массовой информации, использовала иллюзии молодежи и традиционализм стариков. Во второй фазе усилилась криптомилитарная диверсия, по своим последствиям практически неотличимая от войны, с тою разницей, что это была война нераспознаваемая. Кислотные дожди, шедшие, когда обогащенный серой уголь в результате сгорания превращал тучи в разбавленную серную кислоту, знал уже XX век. Теперь начали идти дожди такой концентрации, что они проедали крыши домов, разъедали фабрики, дороги, электрические провода; и при этом невозможно было установить, являются ли они следствием загрязнения природы или же действиями врага, насылающего тучи соответствующим образом направленным ветром. Так делалось во всем. Массовый падеж скота — но были ли эпизоотии естественными или преднамеренными? Шторм, затапливающий берега, — случаен, как некогда, или же результат умело направленных над океаном циклонов? Засуха — обычная, хоть и губительная, или тоже вызванная тайным перемещением воздушных масс, чреватых дождевыми тучами?

* Здесь: через посредство (лат.).

Руки климатическо-метеорологических служб, контрразведок, сейсмического шпионажа, разведывательных служб, эпидемиологов, наконец, генетиков и даже гидрографов были полны работы. Военные службы дифференциального распознавания поглощали все большую часть мировой науки, и в то же время результаты исследовательско-разведочных изысканий становились все туманнее. Обнаружение диверсантов было детской забавой, пока они были людьми. Однако, когда пришлось обвинять в диверсии ураган, град, болезни культурных растений, мор коров, коз, повышение смертности новорожденных и заболеваемость новообразованиями, наконец, *падение метеоритов* (мысль о нацеливании астероидов на территорию противника возникла еще в XX веке), жизнь стала невыносимой. И не только жизнь стариков, но и государственных деятелей, бессильных, растерявшихся, поскольку они не могли узнать ничего определенного от не менее растерянных советников. В курс лекций военных академий включили новые дисциплины, такие, как, например, криптонаступательные и криптоотступательные стратегии и тактики, криптологию и реконтрразведку (то есть введение в заблуждение и обман контрразведок), криптографию, полевую энигматику и, наконец, *криптокриптику*, которая тайным образом обрисовывала тайное использование тайного оружия, неотличимого от невинных явлений природы.

Стерлись фронты и разграничения больших и малых антагонизмов. Чтобы очернить другую сторону в глазах собственного общественного мнения, специальные службы организовывали на собственной территории *фальсификаты* стихийных бедствий с такими свойствами, чтобы их искусственность бросалась в глаза. Стало известно, что некоторые богатые государства, оказывая помощь бедным, вводили в поставляемое (достаточно дешево) зерно, кукурузу или какао определенные добавки, ослабляющие сексуальную потенцию. Таким образом, это была

тайная *наталистическая война**. Мир стал войной, а война — миром. Хотя катастрофическое воздействие подобной тенденции — в виде всеобщей победы, равносильной всеобщему поражению, — на дальнейшее развитие было очевидно, политики, все менее способные влиять на жизнь реального мира, по-прежнему делали свое дело, добиваясь благосклонности избирателей, обещая все туманней все более благодатный оборот событий в недалеком будущем. Война была миром не из-за тоталитарных козней, как это некогда представлял себе Оруэлл, а из-за состояния технологии, стирающей грани между естественными и искусственными явлениями в любой сфере и любой части человеческого мира и его окружения, ибо точно то же происходило и в космическом пространстве.

Там, писал автор «*Dehumanization Trend in Weapon Systems of the Twenty First Century*», где нет разницы ни между естественным и синтетическим белком, ни между естественным и искусственным интеллектом, невозможно отличить беды, организованные хитроумными исполнителями, от несчастий, в которых не виновен никто. Как свет, попавший в черную звездную дыру и поглощенный силами тяготения, не может выбраться из гравитационной ловушки, так и человечество, затянутое силами антагонизма в глубь тайн материи, попало в технологическую ловушку. Следует ли вкладывать все средства в новые перевооружения, зависело уже не от правительств, государственных деятелей, генеральных штабов, интересов монополий или других групп давления, а от всевозрастающего страха, что на открытия и технику, дающие перевес, первой нападет *противная сторона*. Это окончательно парализовало традиционную политику. Участники переговоров не могли ни о чем договориться, поскольку добровольный отказ от Нового Оружия одной стороны застав-

* От лат. *natalis* — относящийся к рождению, война, уничтожающая противника еще до его рождения.

лял другую предположить, что, видимо, потенциальный противник держит за пазухой Еще Более Новое Оружие. Я натолкнулся на математическое выражение теории конфликтов, которое показывало, почему дальнейшие конференции по разоружению не могли дать никакого эффекта. На таких конференциях принимаются определенные решения. Так вот, когда время, потребное на принятие решения, оказывается больше, чем время, нужное для возникновения новшеств, которые радикально изменяют состояние, подлежащее решению, это решение становится анахронизмом уже при его принятии. В каждом «сегодня» приходится решать то, что было уже вчера. Решение перемещается из настоящего в прошлое и тем самым становится игрой простых видимостей. Именно это заставило государства принять женевские соглашения как Лунный Исход Вооружений. Мир вздохнул и подобрел, но ненадолго, ибо страх вернулся — теперь как призрак нападения на Землю необитаемой Луны. Поэтому-то не было более срочной задачи, чем установление диагноза загадки Луны.

Этими словами и заканчивалась глава. До конца книги оставалось еще несколько страниц, но я не мог их раскрыть. Они были как бы склеены. Сначала я подумал, что виной тому капля переплетного клея. Попытался отлепить следующий лист и так и этак, наконец взял нож и осторожно просунул между слипшимися листами. Первый казался чистым, но там, где его коснулось лезвие, проступили буквы. Я потерял бумагу ножом, и на ней появилась надпись: «Готов ли ты взять на себя этот груз? Если нет, положи книгу обратно в почтовый ящик. Если да — открой следующую страницу!»

Я открыл. Она была пуста. Я провел по ней ножом сверху вниз. Появилось восемь цифр, сгруппированных по две и разделенных черточками, как номер телефона. Я разделил следующие листы, но на них не было ничего. «Оригинальный способ вербовки Спасителей Мира!» — подумал я. Одновременно у меня уже туманно вырисовы-

валось в голове, что я мог ожидать. Я закрыл книгу, но она сама раскрылась на странице с цифрами. Мне не оставалось ничего иного, как поднять трубку и набрать номер.

III. В убежище

Это был частный санаторий для миллионеров. Вообще-то о спятивших миллионерах мне слышать не доводилось. Сойти с ума может кинозвезда, государственный деятель, даже король, но не миллионер. Так можно подумать, читая крупнотиражные газеты, которые сведения о падении правительств и революциях публикуют убористым шрифтом в середине номера, а на первой полосе дают сообщения о душевном состоянии абсолютно нагих девиц с большими грудями и о змее, которая влезла цирковому слону в хобот, из-за чего бедняга вломился в супермаркет и растоптал три тысячи банок помидорного супа Кэмпбелла вместе с кассой и кассиршей. Для таких газет сумасшедший миллионер — находка. Однако миллионеры не стремятся к популярности, ни когда бывают более или менее нормальными, ни когда сходят с ума. Приличное помешательство может помочь в карьере кинозвезде, но не миллионеру. Кинозвезда славна не тем, что прекрасно играет в многочисленных фильмах. Возможно, так было раньше. Теперь звезда может играть как кукла, может хрипеть с перепоя, ее голос потом продублируют, может, если ее как следует отмыть, оказаться веснушчатой и вовсе не походить на свое изображение на афишах и в фильмах, но в ней должно быть «нечто», и она имеет это «нечто», если постоянно разводится, катается на машине, обитой горностаями, берет 25 000 долларов за снимок нагишом в «Плэйбое», имела роман с четырьмя квакерами сразу, а уж если, впад в нимфоманию, соблазнила сиамских близнецов пожилого возраста, то может рассчитывать на ангажементы по крайней мере на год. Политику тоже неплохо иметь голос как

у Карузо, играть в поло как сатана, улыбаться как Рамон Новарро, и любить по телевизору своих избирателей. Миллионерам же лишняя шумиха может только помешать, подрывая кредит и, что еще хуже, вызывая панику на бирже. Миллионер должен быть незаметным, спокойным и расчетливым. Если он не таков, то ему следует вместе со своей нерасчетливостью спрятаться получше. Однако, поскольку в наше время от прессы спрятаться чрезвычайно трудно, санатории для миллионеров оказываются невидимыми крепостями. Невидимыми, то есть их недоступность замаскирована и снаружи в глаза не бросается. Никаких охранников в униформе, взмыленных псов на цепи, колючей проволоки, ибо именно это возбуждает и приводит газетчиков в бешенство. Такой санаторий должен выглядеть неинтересно. Прежде всего не называться санаторием для слабоумных. Тот, в который попал я, был приютом для переутомившихся желудочников и сердечников. Тогда как же я с первого взгляда понял, что все это лишь фасад, за которым скрывается сумасшествие? Слишком много хотите сразу. Мы не могли попасть за ограду, пока за нами не пришел доктор Гоус, доверенный Тарантоги. Он попросил меня немного прогуляться по парку, пока он побеседует с Тарантогой. Я подумал, что он принимает меня за полоумного. Видимо, профессор не успел его проинформировать должным образом, и правильно сделал: мы хотели покинуть Австралию побыстрее и без лишнего шума. Гоус оставил меня в одиночестве среди клумб, фонтанов и живых изгородей, нашим багажом занялись две вполне приличные девицы в элегантных костюмах, вовсе не похожие на сестер, и это тоже давало повод к размышлениям, а остальное докончил пузатый старец в пижаме, который, увидев меня, пододвинулся, чтобы дать место на скамейке-качелях, покрытой ковриком. Отвечая любезностью на любезность, я присел рядышком. Некоторое время мы молча раскачивались, потом он спросил, не мог бы я сдать за него мочу на анализ. Впрочем, он выразился более красочно. Я был

удивлен и вместо того, чтобы отказаться, спросил зачем. Это его взволновало. Он слез с качелей и ушел, припадая на левую ногу и громко разговаривая с самим собой, кажется, обо мне, но я предпочитал не вслушиваться. Я поглядывал по сторонам, время от времени инстинктивно косясь на левую руку и ногу, как это делают, когда смотрят на только что полученного в подарок породистого пса, который уже успел покусать нескольких человек. То, что они вели себя спокойно, покачиваясь вместе со мной, меня отнюдь не успокаивало, и, вспоминая последние события, я думал, что тут же, рядом с моим мышлением внутри головы притаилось другое, тоже вроде бы мое, но совершенно недоступное, и что это ничуть не лучше шизофрении, от которой как-никак лечат, и болезни святого Витта, ибо такой больной знает, что может в любой момент пуститься в пляс, я же был пожизненно осужден усмирять выходки собственного естества. Пациенты прогуливались по аллеям, за некоторыми на небольшом расстоянии следовали медлительные машины вроде тех, что используют при игре в гольф, вероятно, на тот случай, если гуляющие утомятся. Я наконец соскочил с качалки, чтобы взглянуть, закончил ли уже доктор Гоус совещаться с Тарантогой, и тут познакомился с Грамером. Его нес на закорках, обливаясь потом, довольно пожилой слугитель с посиневшим лицом — в Грамере было не меньше центнера. Мне стало жаль старика, но я ничего не сказал, только уступил им дорогу, решив, что в моем теперешнем положении лучше ни во что не вступать. Однако, увидев меня, Грамер слез со старика и представился первым. Видимо, его заинтересовало новое лицо. Я растерялся, начисто забыв, под какой фамилией буду числиться в санаторской картотеке, хотя и обговорил это с Тарантогой. Помнил только имя — Джонатан. Грамеру понравилась сердечность — незнакомый человек называет себя по имени — и он попросил, чтобы я называл его Аделейдом.

Его потянуло на разговорчивость. Он дико скучал с тех

пор, как у него стала проходить депрессия. Пока она была, Аделейд не мог скучать. Депрессия, как он объяснил, случилась от того, что он никак не мог уснуть, предварительно немного не помечтав. Для начала мечтал о том, чтобы приобретенные им акции подскочили вверх, а проданные — полетели в тартарары. Потом стал мечтать о миллионе. Заработав миллион, стал грезить о двух, потом о трех, но, начиная с пяти, его это перестало привлекать. Пришлось искать новые объекты для воображения. Мечтать, угрюмо сообщил он, становилось все трудней. Ведь невозможно мечтать о том, что уже имеешь либо можешь запросто получить. Некоторое время он мечтал отделаться от третьей жены, не дав ей ни гроша отступного, но это удалось. Гоус все не появлялся, а Грамер пристал ко мне как банный лист. Некоторое время, для того чтобы уснуть, он думал о людях, с которыми был на ножах. Однако это оказалось ошибкой. Стоило ему распалить в себе ненависть, и сон как рукой снимало, приходилось глотать таблетки, а врач не рекомендовал, учитывая увеличенную печень, и он не видел иного способа отделаться от таких грез, как только исполнить свою мечту. Он уверял, что если не пожалеть тысяч сто долларов, то это пустяк. Конечно, без помощи какой-нибудь «Murder Incorporated», упаси боже. Это глупости, придуманные киношниками. Он нанял эксперта, который делал все вполне пристойно. Как? Ну, в каждом случае по-разному. Убить — не шутка. Человек стал покойником. И все. Что теперь ему сделаешь? Нет, врагов, завистников и злостных конкурентов следует разорять, выказывая им при этом сочувствие, не больше. Очень эффективно и эффективно. Из-за интеллектуального заскока, который он вынужден был скрывать от коллег-миллионеров, он читал книги, даже де Сада. Несчастный осел де Сад! Мечтал о том, чтобы сажать людей на кол, сдирать с них живьем кожу, вспарывать живот, а сам сидел в кутузке и, кроме мух, у него в распоряжении не было ничего. Бедному хорошо! Все его искушает, и все ему нравится. Мечтай

сколько влезет. Всякая красавица ему недоступна. Поэтому, естественно, так процветает порнопромышленность. Надувные любовницы с губками бантиком, цветные иллюстрированные описания оргий, совокуплянки, пасты, мази — все это в конце концов суррогаты и сплошное забивание головы. Ничто так не мучит, как оргия, даже самым лучшим образом обставленная. Не о чем говорить и не о чем мечтать. Эх, иметь бы неутоленную и неутолимую жажду! От его признаний у меня, видимо, сделалось совершенно изумленное лицо, однако Аделейд только покачал головой и сказал, что он, сам того не понимая, подрубил сук, на котором сидел, удовлетворив желание отыгаться на том, на ком хотел. Не зная, о чем бы еще пометать, он страдал хронической бессонницей. Тогда он нанял специалиста по придумыванию новых грез. Кажется, какого-то поэта. И верно, тот подбросил ему несколько недурственных идейек, но мечты, если они стоящие, требуют исполнения, а после этого развеиваются, так что требовалось что-то почти несбыточное. Я заметил, что это, вероятно, не так уж трудно. Передвинуть континенты, например. Распилить Луну на ровные четвертушки. Съесть ногу президента Соединенных Штатов в том соусе, в котором подают уток в китайских ресторанах (я распалялся, зная, что обращаюсь к умалишенному). Жить со светлячком в те моменты, когда он светит особенно ярко. Ходить по воде или, если брать шире, творить чудеса. Стать святым. Поменяться местами с господом богом. Подкупить террористов, чтобы они оставили в покое разных там министров, конгрессменов и других капиталистов и взялись бы за тех, кому действительно следует выдать по первое число, вплоть до соборования.

Аделейд поглядывал на меня с симпатией, переходящей в изумление.

— Жаль, — сказал он, — что мы не познакомились раньше, Джонатан. Во всем этом что-то есть, но, увы, с континентами, лунами, святыми невозможно общаться лично. Настоящая мечта должна затрагивать чувства,

без этого все впустую. Светлячок тоже не воодушевляет. По крайней мере меня. Истинное мечтание не переходит ни в бессильную ярость, ни в чрезмерную похоть, а должно переливаться вроде радуги, понимаешь — немного есть, а немного ее уже нет, и тогда засыпаешь. Днем, наяву, у меня не было на это времени. Тот мой литературщик утверждал, что количество доступных грез обратно пропорционально количеству имеющихся платежных средств. У кого есть все, тот уже не в состоянии мечтать ни о чем. Поменяться местами с богом? Упаси господи! Но вот тебя бы я нанял.

На огромном листе низкого лысого кактуса почивала большая улитка. Выглядела она достаточно отвратительно, и, вероятно, поэтому Аделейд кивнул служителю:

— Съешь,— сказал он, показав пальцем, и вынул из кармана чековую книжку и авторучку.

— За сколько он это сделает? — заинтересовался я. Служитель молча протянул руку за улиткой, но я оставил его.

— Получишь на тысячу долларов больше, чем от мистера Грамера, если это не съешь,— сообщил я, вынимая из кармана записную книжку, которая была оправлена точно в такой же зеленый пластик, что и чековая книжка Аделейды.

Старик замер. На лице миллионера отразилось колебание, достаточно рискованное для меня, поскольку я не знал, дойдет ли дело до торга. Мои нынешние запасы наверняка не достигали тарифа, установленного Грамером. Так что приходилось бить козырями.

— За сколько *вы* съедите это, Аделейд? — спросил я, открывая записную книжку, словно собирался выписать чек. Его это заинтересовало. Слуга с улиткой перестали для него существовать.

— Я дам тебе чек *in blanko*, если ты проглотишь улитку, не разжевав, и расскажешь мне, как она шевелится у тебя в животе,— произнес Грамер голосом, несколько охрипшим от возбуждения.

— К сожалению, я недавно пообедал, а обычая есть между приемами пищи у меня нет,— ответил я, улыбаясь.— Кроме того, Аделейд, у вас заблокированы счета в банках. Признание недееспособности плюс опека. Верно?

— Ошибаешься, Джонатан! «Манхэттен чейз» оплачивает любой мой чек.

— Возможно, но у меня нет аппетита. Вернемся-ка лучше к нашим грезам,— беседа так увлекла меня, что я совсем забыл о своей левой половине, пока она не дала о себе знать. Мы уже отделились от «критической» улитки, когда я подставил миллионеру ножку и стукнул его по шее так, что он грохнулся на траву. Я говорю об этом в первом лице, хотя сделали это мои левые конечности. Пришлось быстро спасти собственное достоинство.

— Прости,— сказал я, стараясь придать словам тон искренней сердечности,— но *это* было моей мечтой.— Я помог ему встать. Он был не столько обижен, сколько обескуражен. Видимо, никто не поступал с ним так ни здесь, ни за пределами санатория.

— Изобретательный ты парень,— сказал он, отряхиваясь,— только больше так не делай, а то у меня мениск выскочит, да и я ведь тоже могу начать *мечтать* о тебе,— тут он неприятно рассмеялся.— Что с тобой?

— Ничего.

— Ясно, а зачем ты здесь?

— Чтобы немного отдохнуть.

В глубине тенистой аллеи показался доктор Гоус. Заметив меня, он поднял руку, призывно помахал ею и направился к павильону.

— Мне пора, Аделейд,— сказал я, хлопнув его по спине.— Помечтаем в следующий раз.

Из раскрытых дверей веяло приятной прохладой. Бесшумные климатизаторы, бледно-зеленые стены, тишина, как внутри пирамиды,— шаги заглушало ковровое покрытие, белое, как мех северного медведя. Гоус ожидал меня в кабинете. Там же был и Тарантога. Он казался

смущенным. На коленях держал папку, набитую бумагами, то и дело вынимал их и клал обратно. Гоус указал мне на кресло. Я сел с ощущением достаточно неприятного возвращения к делам, от которых не могу освободиться иначе, как отделавшись от самого себя.

Гоус принялся за столом читать газеты. Тарантога наконец отыскал нужные бумаги.

— Значит, дело обстоит так, дорогой мой Ийон... Я был у двух прекрасных юристов. Разумеется, имени твоего не называл. Не говорил и о твоей миссии, изложил всю историю так, чтобы осталась только суть. Некто, получивший доступ к проблемам чрезвычайной секретности, ознакомившись с ними, обязан был доложить о результатах правительственному органу. Часть того, что он узнал и должен был сообщить, он забыл, так как, вероятно, это содержится в правом полушарии его мозга. Каковы его обязанности перед теми, кто его направил? Сколь далеко они могут зайти легально, чтобы получить требуемые сведения? Оба ответили, что вопрос сложен, ибо не имеет прецедентов. Если б им занялся суд, он обратился бы к присяжным и мог, хотя и не обязательно, принять их мнение. Во всяком случае, без решения суда ты можешь не соглашаться на какие-либо исследования или эксперименты, которые предположительно потребует пославшее тебя учреждение.

Доктор Гоус оторвался от газеты.

— Чрезвычайно забавная история,— он вынул из ящика стола пакетик с пряниками, высыпал их на тарелку и пододвинул ко мне.— Знаю, мистер Тихий, для вас в ней нет ничего забавного, но забавен любой парадокс типа *circulus vitiosus**.

— Конечно,— ответил я, с отвращением глядя на свою левую руку, которая потянулась за пряником, хотя у меня не было никакого желания к сладкому. Однако, чтобы не показаться невежливым, я надкусил пряник.—

* Порочный круг (лат.).

Достаточно начитался. У обычного человека доминирует левое полушарие мозга, поскольку оно заведует речью. Правое в принципе немо, хотя кое-как понимает простые фразы, а иногда даже ухитряется немного читать, но то и другое проявляется в различной степени. Если левая латерализация выражена несильно, то у правого полушария может быть соответственно больше самостоятельности, в том числе и в использовании языка. Очень редко случается так, что латерализация почти отсутствует и центры речи находятся в обоих полушариях. Тогда возможно заикание либо другие нарушения...

— Очень хорошо,— Гоус благожелательно улыбнулся.— Из сказанного следует, что ваш левый мозг — мы так иногда говорим — явно доминирует, правый же сверхактивен. Абсолютно я в этом не уверен, тут необходимы длительные исследования.

— И в чем же парадокс? — спросил я, стараясь как можно незаметней отвести левую руку, которая опять принялась засовывать мне в рот пряник.

— Может ли допрос вашего правого мозга дать положительный результат, зависит от того, сколь значительна правосторонняя латерализация. Чтобы узнать, будет ли хоть какая-то польза от такого допроса, надо вначале установить степень латерализации, то есть исследовать вас, а чтобы вас исследовать, необходимо вначале получить ваше согласие. Сие означает, что присяжные, которых призовет суд, не смогут сказать ничего более, чем сейчас сказал я, иначе говоря, их приговор будет зависеть от степени латерализации у Ийона Тихого, которую без исследования установить невозможно. Таким образом, вас необходимо исследовать, чтобы ответить на вопрос, можно ли вас исследовать. Понимаете?

— Понимаю. И что вы посоветуете, доктор?

— Ничего, ибо нахожусь точно в таком же положении, как и присяжные вместе с судьей. Никто на свете, включая и вас, не знает, что содержится в вашем правом мозге. Вашу идею использовать язык глухонемых уже

пытались применять на практике, но без существенных результатов, так как правая латерализация в тех случаях была слишком слабой.

— Вы действительно не можете ничего больше сказать?

— Могу. Если хотите избежать осложнений, носите левую руку на перевязи, а еще лучше — в гипсе. Она выдает вас.

— То есть?

Гоус указал на тарелку с пряниками.

— Правый мозг в принципе больше предрасположен к сладостям, нежели левый. Так гласит статистика! Я хотел продемонстрировать вам элементарный способ, с помощью которого можно запросто установить вашу латерализацию. Вы — правша и, значит, должны были тянуться за пряником либо правой рукой, либо не тянуться вообще.

— Но зачем мне ходить с рукой в гипсе? Какая мне от того польза?

Гоус слегка повел плечами.

— Хорошо. Скажу вам то, чего вообще-то не должен был говорить. Вероятно, вы слышали о пираниях.

— Да. Небольшие, страшно кровожадные рыбки.

— Именно. В принципе они не нападают на человека в воде, но если у пловца есть хоть малейшая царапина, достаточно одной капли крови, чтобы они накиннулись на него все разом. Языковые способности правого мозга не выше, чем у трехлетнего ребенка, да и это большая редкость. У вас же они значительные. Если это станет известным, вас могут ожидать серьезные неприятности.

— А может, ему просто пойти в Лунное Агентство? — вставил Тарантога. — Отдать себя под их опеку? Ведь ему кое-что полагается от них, если он ради них подставлял свою шею?..

— Возможно, решение не из худших, но и хорошим его не назовешь. Хорошего просто нет.

— Почему? — спросил я почти одновременно с Тарантой.

— Потому что, чем больше они добудут из правого мозга, тем больший почувствуют аппетит, а это может означать — скажем осторожно — долговременную изоляцию.

— Месяц, два?

— Или год и больше. Правый мозг общается с миром в основном через левый посредством речи и письма. Пока еще не было случая, чтобы правый удалось выучить свободно пользоваться языком. В этом случае ставка настолько велика, что они вложат в обучение больше старания, нежели все специалисты до них.

— Однако что-то же надо делать,— проворчал Тарантога.

Гоус встал.

— Конечно, но не обязательно сегодня, здесь и сейчас. Спешить некуда. Мистер Тихий может побыть у меня несколько месяцев, если пожелает. Быть может, за это время что-нибудь прояснится.

Слишком поздно я убедился в том, что доктор Гоус был, увы, прав.

Решив, что никто не поможет мне лучше, чем я сам, я записал все, что произошло до сих пор, затем наговорил это на диктофон, записки сжег, и теперь зарою диктофон вместе с кассетами в герметичной коробке под кактусом, на котором встретился с улиткой. Слова эти я наговариваю, чтобы использовать остаток ленты. Пожалуй, выражение «встретился с улиткой» не самое удачное, хоть и не знаю почему. Встретиться можно с коровой, обезьяной, слоном, а с улиткой — не очень. Или дело в том, что встреченным можно считать только существо, которое в состоянии тебя заметить? Скорее всего, нет. Не знаю, заметила ли меня улитка, хотя рожки у нее были вытянуты. Может, вопрос тут в размерах? Ведь никто не скажет: «Я встретил блоху». Хотя можно встретить очень маленького ребенка. Не понимаю, зачем я трачу конец

ленты на такие глупости. Сейчас закопаю коробку, а дальнейшие записи буду делать, пользуясь шифром собственного изобретения. Правое полушарие мозга буду называть просто «ОНО» или лучше «ИОН». Во-первых, это очень похоже на «Ийон», а во-вторых, ИОН — то же, что И ОН, Я И ОН, хотя, возможно, это будет не совсем ясно. Однако лента кончается, надо браться за лопату.

8 июля. Страшенная жара. Все ходят в пижамах или плавках. Я тоже. Через Грамера познакомился с двумя другими миллионерами. Струманом и Паддергорном. Оба меланхолики. Струману под шестьдесят, обвислые щеки, огромный живот, кривые ноги и говорит шепотом. Впечатление такое, словно собирается вот-вот выдать бог знает какой секрет. Утверждает, будто болен безнадежно. Последнее время его депрессия усугубляется из-за того, что он забыл причину своих тревог. У него три дочери. Все замужем, но не прочь «пошалить». Разные типчики делают снимки, которые он вынужден выкупать за большие деньги, чтобы их не публиковали в «Гастлере». Желая ему помочь, я предположил, что, возможно, в этом кроется причина его тревог, но он сказал, что нет, с этим он уже свыкся. К тому же он признан недееспособным, и даже если они станут «шалить» в зоопарке, пусть голова болит у его опекунов. Зачем я записываю это, не знаю. Голый миллионер в одних плавках — ужасно нелюбопытная фигура. Паддергорн ничего не говорит. Кажется, вошел в компанию с каким-то японцем и прогорел. Удручающее общество. Однако Гагерстейн, пожалуй, еще хуже. Смеется и пускает слюни. Кажется, эксгибиционист. Надо держаться подальше от этих отвратников. Доктор Гоус сказал, что завтра приедет человек, которому я могу доверять, как самому себе. Он прибудет под видом интерна, но в действительности он этнолог и собирается писать работу о миллионерах из области так называемой динамики малых групп или что-то в этом роде.

9 июля. После отъезда Тарантоги я остался один с Гоусом, его ассистентом и миллионерами, бродящими по парку. Гоус доверительно сказал, что предпочитает не устанавливать степень моей правой латерализации, ибо того, о чем не знает никто, никто не может и выкрасть. Ассистент действительно оказался молодым этнологом. Он открылся мне, взяв слово держать это в тайне, когда узнал, что я не из клана богачей. Он занимается практическими исследованиями. Хочет написать работу об обычаях и психике миллионеров так, как изучают верования первобытных племен. Гаус знает, что у юноши нет ничего общего с медициной, и, кажется, поэтому его привлекает. С этнологом мы вели вечерами длинные беседы в малой лаборатории за бутылкой виски. Рюмками служили пробирки. Кроме Аделейда я познакомился с несколькими другими крезами. Никогда раньше у меня не было столь нудного общества. Этнолог согласен со мной. Его это угнетает, так как он склонен предполагать, что собранного материала не хватит на его труд.

— Знаете что,— сказал я однажды, желая ему помочь.— Махните-ка трактат со сравнительным анализом: богачи раньше и теперь. Ведь государственное меценатство или создание фондов — дело не столь давнее. Еще в Древнем Риме существовали частные меценаты. Покровители искусств. Муз и так далее. Потом разные богачи и князья обеспечивали артистам, художникам, скульпторам недурную жизнь. Видимо, интересовались, хотя и образования не имели. Они же,— я ткнул большим пальцем за спину в окно, выходящее в темный уже парк,— не интересуются ничем, кроме биржевых бюллетеней. Я не прибавлю, если скажу, что достаточно известен. Записки о моих путешествиях вызвали массу писем, но среди миллионов читателей не оказалось ни одного миллионера. Почему? Кажется, больше всего их у вас в Техасе. Здесь таких трое. Они скучны, даже как сумасшедшие. Почему? Латифундии не делали их глупее. Тогда что же? Биржа? Капитал? Каким образом?

— Нет, тут нечто иное. Те бывали, скажем так, верующими. Хотели послужить господу. Умереть безвестно им не хотелось. Иное дело — построить собор, оплатить художников, пусть махнут «Тайную вечерю», «Моисея», что-нибудь большое с куполом, который переплюнет все остальные. В этом у них был свой интерес, мистер Тихий, только виделся он им там, — он указал на потолок, имея в виду рай. — Ну, а коли уж так поступали они, то другие следовали их примеру. Меценатство считалось хорошим тоном. Князь, дож, магнат держали при себе садовников, кучеров, писателей, художников. У Людовика XV был Буше, чтобы делать ему портреты голых дам. Буше — третий класс, верно, но после него что-то осталось, от других мастеров тоже, а после кучеров и садовников — ничего.

— После садовников остался Версаль!

— Положим. А что могло остаться от кучера, кроме бича? Они не разбирались в искусстве, просто видели во всем личную выгоду. Корысть. Сейчас, в эпоху специализации, они не имели бы ничего от своего меценатства... Что с вами? Сердце?

— Нет. Кажется, меня обокрали.

Действительно, я держался за сердце, потому что внутренний карман моей куртки был пуст.

— Невозможно. Здесь нет kleптоманов. Вероятно, вы оставили портмоне в комнате.

— Нет. Когда я вошел сюда, оно еще было в кармане. Я знаю, потому что собирался показать вам свое фото с бородой. Я даже сунул руку за портмоне, но не стал вынимать.

— Не может быть. Мы здесь одни, а я даже не подходил к вам...

У меня мелькнула одна мысль.

— Перечислите точно, по порядку, что я делал с того момента, как мы оказались здесь.

— Вы сразу же сели, а я вынул трубку. О чем мы говорили? О Грамере. Вы рассказывали об улитке, я не ви-

дел, что вы делаете, искал чистые пробирки. Когда я повернулся, вы сидели... Нет, вы стояли. Рядом с тахископом. Здесь. Вы заглядывали внутрь, я подал вам виски... Да. Мы выпили, и вы вернулись на свое место.

Я встал и осмотрел аппарат. С одной стороны стул перед пультом, черная стенка с окулярами, за ней боковые лампы, экран и плоская коробка проектора. Я искал выключатель. Экран загорелся. Я заглянул за перегородку, внутри аппарат был покрыт оксидированными плитками. Между передней стенкой и черной нижней плиткой зияла щель шириной не больше блокнота. Я попытался засунуть туда руку, но щель была слишком узкой.

— Есть здесь какие-нибудь щипцы? — спросил я. — Хорошо бы подлиннее, плоские...

— Скорее всего, нет. Правда, есть зонд. Дать?

— Пожалуйста.

Зонд был металлический, гибкий. Я согнул его в виде крючка, запустил в щель и ощутил довольно мягкое сопротивление. После нескольких неудачных попыток вынырнул черный кожаный уголок. Мне понадобилась вторая рука, чтобы его ухватить, но она упиралась. Я позвал этнолога. Он помог. Это было мое портмоне.

— Ее работа, — сказал я, поднимая левую руку. — В смысле — *его*.

— Но как? Вы ничего не заметили? И главное — зачем?

— Не заметил, хотя это было нелегко. Карман с левой стороны. Ловко, как карманный воришка. Но это как раз функции правого мозга. Координация движений во всех играх, в спорте. Зачем? Могу только догадываться. Это не логическое вербальное мышление, а скорее немного детское. Надо думать, для того, чтобы я исчез как личность. Оно рассудило так: нет документов, удостоверяющих личность, — нет и человека. Во всяком случае, для тех, кто его не знает в лицо.

— Ах... для того, чтобы вы исчезли? Но это же магия. Магическое мышление.

— Что-то подобное. Но это скверно.

— Почему? Оно хочет вам помочь, как умеет. И ничего удивительного, в конце концов *оно тоже* вы. Только немного вычлененное. Отделенное.

— Скверно потому, что, коли оно хочет мне помочь, значит, как-то ориентируется в ситуации, понимая, что мне что-то грозит. Конечно, на этот раз поступок был глупым, но в следующий уже может оказаться медвежьей услугой...

Вечером ко мне заглянул Гоус. Я сидел на кровати в пижаме и осматривал левую икру. Пониже колена красовался крупный синяк.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, но...

Я рассказал ему о портмоне.

— Интересно. И вы действительно ничего не заметили?

Опустив глаза, я вновь увидел синяк и вдруг припомнил короткую боль и причину ее возникновения. Заглядывая в тахископ, я ударился левой ногой обо что-то твердое пониже колена. Видимо, тогда все и случилось.

— Весьма поучительно,— заметил Гоус.— Левая рука не может проделывать сложных движений так, чтобы мышечное напряжение не передалось правой половине тела. Необходимо было отвлечь ваше внимание.

— Этим? — я указал на синяк.

— Именно. Взаимодействие левой ноги и руки. Чувствуя боль, вы около секунды не воспринимали ничего другого. Этого оказалось достаточно.

— И часто так бывает?

— Чрезвычайно редко.

— Значит, если кто-то захочет взяться за меня всерьез, достаточно поступить так же? Например, колоть меня в правую сторону, чтобы она не вмешивалась в дела левой, взятой на допрос?..

— Специалист поступит иначе. Сделает инъекцию амитала в левую шейную вену. Carotis*. Тогда левый мозг заснет, а бодрствовать будет только правый. Несколько минут.

— И этого достаточно?

— Если окажется, что нет, в вену вводят небольшую канюлю и дают амитал капельно. Спустя некоторое время засыпает и правое полушарие, поскольку вены мозга связаны так называемыми коллатеральными. Тогда необходимо переждать немного, и можно начинать снова.

Я спустил штанину пижамы и встал.

— Не знаю, до каких пор могу заставлять себя сидеть здесь и ждать у моря погоды. Лучше знать что-то, чем не знать ничего. Возьмите меня в оборот, доктор.

— А разве вы не можете сделать это сами? Вы же умеете переговариваться одной рукой с другой. Узнали вы что-нибудь таким образом?

— Ничего.

— Оно отказывается отвечать на вопросы?

— Точнее, отвечает непонятно. Я знаю вот что: *она* помнит иначе, чем я. Возможно, целыми образами, целыми сценами. Когда хочет выразить это словами, знаками — получается головоломка. Вероятно, следовало бы все записать и рассматривать как своего рода стенограмму. Так мне кажется.

— Задача скорее для криптологов, чем для врачей. Допустим, удастся сделать какую-то запись. Какая вам от того польза?

— Не знаю.

— Я тоже. А пока желаю спокойной ночи.

Он ушел, я погасил свет и лег, но уснуть не мог. Неожиданно левая рука поднялась и тихо погладила меня по щеке. Она явно жалела меня. Я встал, зажег лампу, принял таблетку секонала и, одурманив таким образом и Ийона и Иона, погрузился в беспамятство.

* Сонная артерия (лат.).

Мое положение было не просто скверным. Оно было идиотским. Я сидел, спрятавшись в санатории, не зная даже от кого. Выжидал неведомо чего. Пытался договориться сам с собой при помощи руки, но хотя она отвечала гораздо охотнее, чем раньше, я ее не понимал. Я копался в санаторской библиотеке, таскал в комнату учебники, монографии, кучи специальных журналов, чтобы наконец узнать, кто или что я такое с правой стороны. Я задавал руке вопросы, на которые она отвечала с явным напряжением доброй воли, более того, научилась новым оборотам и новым словам, что одновременно побуждало меня к дальнейшим беседам и беспокоило. Я опасался, что оно сравняется со мной, возможно, даже перещеголяет меня теперешнего, и я вынужден буду не только считаться с ним, но и слушаться, или же каждое полушарие начнет тянуть в свою сторону, и тогда я разорвусь либо уполовинюсь вконец и стану похожим на жучка, на которого наступили так, что одни его ножки тянут вперед, а другие — назад. Мне снилось, что я куда-то бегу, взбираюсь по каким-то темным скалам, а я даже не знал, которой половиной все это видел во сне. То, что я узнал, перевершив груды книжек, соответствовало правде. Левый мозг, лишенный связи с правым, скудеет. Даже когда продолжает болтать, речь его становится суше, и это видно хотя бы по тому, сколь часто он применяет вспомогательные глаголы «быть» и «являться». Делая записи и потом читая их, я заметил, что именно это происходит со мной. Но, кроме таких деталей, я не мог почерпнуть из специальных работ ничего серьезного. В них была тьма гипотез, совершенно противоречивых, каждую я примерял к себе, и, если она не подходила, меня разбирала злость на тех ученых, которые прикидывались, будто лучше меня знают, что со мной творится. Однажды я уже готов был отбросить все предосторожности и поехать в Нью-Йорк в Лунное Агентство. На следующее утро затея уже казалась мне последним, что следовало делать. Тарантога не подавал признаков жизни, и, хотя я сам просил его

ждать знака от меня, его молчание тоже начинало меня раздражать. В конце концов я решил взяться за себя по-мужски, как это сделал бы давнишний, не рассеченный Ийон Тихий. Я поехал в Дерлин, маленький городок в двух милях от санатория. Жители, кажется, собирались назвать его Берлином, но что-то перепутали с первой буквой. Хотел купить пишущую машинку, чтобы взять левую руку в перекрестный огонь вопросов, записывать ее ответы и набрать их достаточно для того, чтобы проверить, образуют ли они нечто осмысленное. В конце концов, рассуждал я, я могу быть правосторонним идиотом, и только амбиция не позволяет мне убедиться в этом. Блер, Годдек, Шапиро, Розенкранц, Бомбардино, Клоски и Серенги утверждали, что немота правого полушария есть пучина, полная неведомых талантов, интуиции, предчувствий, бессловесной полной ориентации, она даже что-то вроде гения, источника всех тех чудес, с которыми не желает соглашаться рационализм левого: телепатии, ясновидения, перемещения душ в иные измерения бытия, видений, состояний мистического возбуждения и просветления, но Клайс, Цукеркандель, Пинотти, Вихолд, мадам Мейер, Рабоди, Оттичкин, Ньюэрлэ и восемь десятков других экспертов и знатоков утверждали, что ничего подобного. Нет, конечно, резонатор, организатор эмоций, ассоциативная система, отражательная зона мыслей, ну какая-никакая память, но не способная ничего высказать; правый мозг есть алогичное создание, эксцентрик, фантаст, враль, это дух, но в сыром виде, это мука, но и дрожжи тоже, однако хлеб из такой смеси может выпечь только левый мозг. Мнение других было таково: правый — генератор, левый — селектор, поэтому правый мозг отделен от мира, а ведет его, переводит на человеческий язык, выражает, комментирует, обуздывает, делает из него человека мозг левый.

Гоус предложил мне поехать в городок на его машине. Он не был удивлен моим намерением и не пытался отговаривать. Нарисовал на листке главную улицу и крестиком

пометил место, где находился городской торговый центр. Заметил только, что сегодня мне уже не успеть, потому что суббота, а магазин закрывается в час дня. Все воскресенье я таскался по парку, по возможности избегая встречи с Аделейдом. В понедельник нигде не мог найти Гоуса и поехал автобусом, который ходит каждый час. Он был почти пуст. Кроме негра-водителя только двое детей, лизавших мороженое. Городок, лежавший в какой-нибудь миле от санатория, напоминал американские поселки, какими они были лет пятьдесят назад. Единственная широкая улица, телеграфные столбы, дома в палисадниках, невысокие живые изгороди, калитки, возле каждой — почтовый ящик, а самым городком прикидывались несколько каменных домов у пересечения с шоссе штата. Там стоял почтальон и разговаривал с толстым потным типом в цветастой рубашке, хозяином большого пса в строгом ошейнике, поднявшего ногу у фонарного столба. Я сошел около них, и, когда автобус отъехал, оставляя после себя тучи вонючего дыма, поискал глазами торговый центр. Большой, он стоял, блистая стеклами, на противоположной стороне улицы. Два продавца в халатах таскали какие-то ящики из склада и грузили их в фургон. Солнце палило нещадно. Шофер грузовика, сидя в открытой кабине, пил пиво из банки, уже не первой: у него под ногами валялась куча пустых. Это был совсем седой негр, хотя лицо его выглядело нестарым. По солнечной стороне улицы шли две женщины, молодая толкала детскую коляску с поднятым тентом, старшая заглядывала в нее, что-то говоря. Ее голову и плечи прикрывала черная шерстяная шаль, хотя было очень жарко. Женщины как раз проходили мимо открытой автомобильной мастерской, там поблескивало несколько умытых автомобилей, был слышен шум воды и шипение воздуха. Все это я отметил мимоходом, уже спускаясь на тротуар, чтобы перейти на другую сторону, в магазин. Мне пришлось остановиться, потому что большой темно-зеленый «линкольн», стоявший в нескольких

десятках шагов дальше, резко двинулся в мою сторону. Лобовое стекло было зеленоватым, так что я едва видел силуэт водителя. Мне показалось, что у него черное лицо, и я подумал, что это негр. Я остановился на краю тротуара, чтобы пропустить машину, но она резко затормозила рядом. Я подумал, не хочет ли водитель о чем-то спросить, как вдруг кто-то крепко обхватил меня сзади, зажав рот рукой. Это было так неожиданно, что я даже не пытался сопротивляться. Кто-то позади открыл дверцу, я стал вырываться, но не мог издать ни звука, так меня сдавили. Почтальон кинулся к нам и, наклонившись, схватил меня за ноги. Совсем рядом что-то гроыхнуло, и улица мгновенно преобразилась.

Старшая женщина, сбросив шаль на тротуар, повернулась к нам. В ее руках был короткоствольный автомат. Это она выпустила длинную очередь прямо по передней части авто, продырявив радиатор, покрышки, так что поднялась пыль. Седовласый негр уже не пил пиво. Он сидел за рулем, а его грузовик одним разворотом загородил дорогу «линкольну». Кудлатый пес кинулся на стрелявшую женщину и, извиваясь, свалился на асфальт. Почтальон отпустил меня, отскочил в сторону, извлек из своей сумки что-то черное, круглое и швырнул в сторону женщин. Загрохотало, повалил белый дым, молодая женщина упала на колени за коляской, которая почему-то раскрылась, и из нее, словно из огромного огнетушителя, прямо на водителя «линкольна» вырвалась струя пенящейся жидкости. Водитель как раз выскочил на тротуар, и, прежде чем пена залила его лицо, я увидел, что оно закрыто чем-то черным, а в руке — пистолет. Струя пены ударила в лобовое стекло лимузина с такой силой, что оно треснуло и осколки попали в почтальона. Толстяк, все еще державший меня сзади, отступал, стараясь заслониться моим телом. Из гаража выскочили несколько человек в комбинезонах. Они подлетели к нам и оторвали меня от толстяка. На все ушло не более пяти секунд. Ближайшее к улице авто, стоявшее в мастерской, задом выехало

через раскрытые ворота, двое мужчин в халатах накинули на водителя «линкольна» сеть, стараясь не прикасаться к нему — он весь был покрыт липкой пеной. Толстяк и почтальон, уже скованные, влезали, подталкиваемые, в автомобиль, выехавший из мастерской. Я стоял столбом, глядя, как тот, кто только что открывал задние двери линкольна, вылезает, подняв руки, и послушно идет под дулом револьвера к фургончику, а седой негр защелкивает на его запястьях наручники. Никто меня не тронул, никто не бросил мне ни слова. Авто отъехало. Полугрузовичок, в который посадили раненного, а может, застреленного водителя и его сообщника, тронулся, женщина подняла с земли черную шаль, стряхнула с нее пыль, сунула автомат в коляску, снова подняла тент и пошла как ни в чем не бывало дальше. Опять стало тихо и пустынно. Только большой автомобиль на спустивших скатах с растрескавшимися фарами да мертвый пес свидетельствовали о том, что все это мне не привиделось. Рядом с торговым центром в садике, заросшем высокими подсолнухами, стоял одноэтажный домик с верандой. В раскрытом окне, держа трубку в руке и опершись локтями о подоконник, стоял мужчина с загорелым лицом и почти белыми волосами и глядел на меня с многозначительным спокойствием, словно хотел сказать: «Ну, вот видишь?» Только тогда я понял, что было еще более странным, нежели попытка похищения: хотя у меня в ушах еще стоял треск автоматной очереди, взрывы и крик, не открылось ни одно окно и никто не выглянул на улицу, словно меня окружала пустая театральная декорация. Я стоял достаточно долго, не зная, что делать. Покупать пишущую машинку мне расхотелось.

IV. Лунное Агентство

— Мистер Тихий,— сказал директор,— наши люди посвятят вас в детали Миссии. Я же обрисую лишь общую картину, чтобы вы не потеряли за деревьями леса. Женев-

ский договор содержит в себе четыре, я бы сказал так, противоречия. Всеобщее разоружение одновременно с продолжающейся гонкой вооружений — раз. Максимальный темп вооружения при нулевых затратах — два. Полную гарантию каждому государству против неожиданного нападения при сохранении права вести войну, если кому-либо захочется ее вести. Три. И наконец, ликвидацию всех армий, которые, несмотря на это, продолжают существовать. Нет войск, но остались штабы, и они могут замышлять, что угодно. Одним словом, мы ввели расет in terris*. Вы согласны?

— Разумеется,— ответил я.— Но ведь я читаю газеты. Они утверждают, что мы попали из огня в поlying. А однажды я вычитал, не помню уже где, что Луна молчит и заглатывает земных разведчиков, ибо кому-то удалось войти в тайный сговор с тамошними роботами. И какое-то государство стоит за всем, что происходит сейчас на Луне. А Лунное Агентство об этом знает. Что скажете?

— Бредни,— энергично возразил директор. Мы сидели в его кабинете размером с зал. Сбоку на возвышении стоял огромный глобус Луны, покрытый оспинами кратеров. Секторы отдельных государств, раскрашенные зеленым, желтым и оранжевым, как на политических картах, располагались от полюса до полюса, и поэтому глобус походил на детский мяч или освещенный изнутри стеклянный апельсин, очищенный от кожуры. На стене за креслом директора свисал с потолка до пола флаг ООН.

— Таких выдумок сейчас множество,— подчеркнул директор с сожалением на лице и кисло улыбнулся.— В нашем пресс-бюро вы можете ознакомиться с обзором таких сказок. Все высосано из пальца.

— Но движение — я имею в виду неопацифистов-лунофилов, это-то, пожалуй, факт?

— Так называемых лунатиков? Да. Читали их заявления? Программу?

* Мир на земле (лат.).

— Читал. Они требуют соглашения с Луной...

— «Соглашения»! — презрительно фыркнул директор. — Не соглашения, а капитуляции. Но неведомо перед кем! Недоумки. Воображают, будто Луна стала *личностью*, что ее можно считать равноправной стороной в переговорах, в пактах, стороной могущественной и разумной. Что там уже нет ничего, кроме гигантского компьютера, поглотившего все секторы. У страха, мистер Тихий, не только глаза велики, но и мал разум.

— Ну хорошо, но разве и вправду можно исключить какой-то вариант объединения всех видов существующего там оружия, армий, если это, конечно, армии? Разве можно утверждать, будто не произошло ничего подобного, коли ничего не известно?..

— Даже там, где ничего не известно, определенные вещи невозможны. Сектор каждого государства организован в виде эволюционного полигона. Извольте взглянуть, — в руке у директора была маленькая плоская коробочка. Отдельные секторы Луны начали светиться, и скоро весь глобус горел, словно цветной лампийон. — Вот эти, самые широкие, принадлежат сверхдержавам. Разумеется, мы знали, что перевозим, ведь перевозки осуществляло наше Агентство. Мы также производили предварительные работы, сооружали котлованы под СУПИМы — Суперимитаторы. В каждом секторе имеется такой имитатор, окруженный производственным комплексом. Секторы не могут бороться друг с другом. Это исключено. СУПИМ проектирует новые типы оружия, а СЕЛИМ — Селектирующий имитатор — пытается их уничтожить. То и другое представляет собой компьютерную игру. В программах заложен принцип меча и щита. Это немного напоминает такое положение, как если бы каждая сторона поместила на Луне свой двучленный компьютер, который сам с собой играет в шахматы. Но лунные шахматисты вместо фигур играют оружием, к тому же во время игры может изменяться все: правила

игры, движения фигур, их боевая сила, конфигурация шахматной доски.

— То есть как? — удивился я. — Выходит, там нет ничего, кроме компьютеров, имитирующих гонку вооружений? Тогда какая же опасность может грозить Земле... Ведь имитированное оружие не страшнее листка бумаги, на котором оно нарисовано...

— Э, нет! Оптимальные проекты поступают на реальное изготовление. Другое дело, и в том секрет, *когда* поступают. Все выглядит так: СУПИМ проектирует не какое-то одно новое оружие, а всю систему боевых операций. Разумеется, систему безлюдную. Солдат образует единое целое с оружием. Еще лучше это можно понять, обратившись к естественной эволюции. Борьба за существование, понимаете? Борьба за бытие. СУПИМ проектирует, скажем образно, каких-то хищников, а СЕЛИМ ищет их слабые стороны, чтобы уничтожить. Если ему это удастся, СУПИМ придумывает что-то новое, а СЕЛИМ опять наносит контрудар. В принципе такая имитационная игра с постоянным совершенствованием может длиться сколь угодно долго, но каждая из систем по истечении некоторого времени должна начать изготовление реального оружия. По истечении *какого* времени и *какая* эффективность требуется от прототипов — программисты данной страны установили заранее. Ибо каждое государство хотело иметь на Луне реальный склад оружия, арсенал, а не только имитаты в виде планов на бумаге или в памяти компьютера. И здесь тоже имеется противоречие, понимаете?

— Не совсем. Какое?

— Имитируемая эволюция протекает значительно быстрее, нежели реальная. Тот, кто *дольше* ожидает эффектов имитации, получает *более совершенное* оружие. Но пока ожидает, остается безоружным. Тот же, кто решается сократить время иволюции, то есть эволюции имитируемых систем, получает его быстрее. Мы называем это фактором риска. Каждое государство, размещая на

Луне свой милитарный потенциал, должно было заранее решить, что оно предпочитает: хорошее оружие позже или не столь хорошее, но быстрее.

— Странно как-то,— заметил я.— А что происходит, когда все-таки начинается изготовление? Оружие идет на склад?

— Частично. Только частично. Потому что тогда уже начинается настоящая, а не имитируемая борьба, правда, только в пределах данного сектора.

— Квазиманевры?

— Нет. На маневрах бой всегда был ненастоящим; солдаты в принципе не погибали. Там же,— директор указал на светящуюся разноцветными дольками Луну,— идет настоящая война. Повторяю — в пределах сектора. Ничто и никто не может напасть на соседний...

— Значит, сначала разные виды оружия борются и уничтожают друг друга в компьютерах, а потом — в действительности? И что же дальше?

— То-то и оно! Что дальше — не известно! В принципе существует две возможности. Либо гонка вооружений имеет границы, либо — нет. Если имеет, значит, существует «идеальное оружие» и гонка как иволюция в конце концов создает это оружие. Оружие не может победить само себя, и возникает состояние постоянного равновесия. Развитие прекращается. Лунные арсеналы заполняются оружием, которое сдало последний экзамен, и все замирает. Нам бы очень хотелось, чтобы все было именно так.

— А там не так?

— Почти наверняка. Во-первых, естественная эволюция бесконечна, ибо не существует никаких «окончательных», то есть идеально приспособленных к условиям организмов. У любого есть какая-нибудь слабая сторона. Во-вторых, ведь на Луне была запущена не естественная, а искусственная эволюция, к тому же эволюция оружия. Вероятно, каждый сектор старается наблюдать за тем, что происходит в других, и реагирует на измене-

ния по-своему. Военное равновесие — нечто иное, нежели равновесие биологическое. Живые виды не могут быть чрезмерно эффективны в конкурентной борьбе. Почему? Абсолютно ядовитые микробы поубивали бы всех, кем они питаются, в результате погибли бы вместе с ними. Поэтому равновесие устанавливается в природе на уровне ниже гибели. В противном случае эволюция была бы самоубийственной. Развитие же оружия направлено на достижение абсолютного преимущества над противником. У оружия нет инстинкта самосохранения.

— Пойдите,— сказал я, пораженный неожиданной мыслью.— Но ведь каждая страна могла втихую построить на Земле точно такую же систему, как и та, что помещена на Луне, и, следя за ее действиями, узнать, что творит лунный близнец?..

— Э, нет! — воскликнул директор.— Такое невозможно! Ход эволюции непредсказуем. Мы убедились на практике.

— Как?

— Так, как вы сказали. Снабдили аналогичные компьютеры в нашем исследовательском центре аналогичными программами и запустили их. Эволюция прекрасная, только — различная. Все выглядит так, словно вы захотели предсказать ход шахматного турнира в Москве между компьютерами-сверхгроссмейстерами, имитируя соревнования на ста точно таких же компьютерах в Нью-Йорке. Что вы узнаете о московском матче? Ровным счетом ничего. Ведь ни один игрок, будь то человек или компьютер, не делает постоянно одни и те же ходы. Конечно, политики хотели бы получить такие имитаторы, но это ничего не дает.

— Прекрасно. Но коли никто до сих пор ничего не добился и ваши разведчики канули, как камень в воду, как же я могу рассчитывать на успех?

— В вашем распоряжении будут средства, каких не имел еще никто. О деталях узнаете у моих подчиненных. Желаю удачи...

За три месяца я вконец умордовался на тренажерах в центре Лунного Агентства и могу сказать без преувеличения, что телематику освоил досконально. Телематика — искусство руководить дистантником. Раздеваешься догола и напяливаешь на себя эластичную одежду, похожую на одежду аквалангистов, только из более тонкого материала и блестящую, как живое серебро, потому что она соткана из проводочков потоньше паутины. Это электроды. Прилегая к телу, они сквозь кожу улавливают изменения потенциалов в мышцах и передают их дистантнику, который абсолютно точно повторяет любое твоё движение. Впрочем, ничего странного. Гораздо удивительнее то, что ты не только видишь глазами дистантника, но и чувствуешь то, что чувствовал бы на его месте. Беря рукой дистантника камень, ты ощущаешь его форму и вес так, словно взял его собственной рукой. Чувствуешь каждый шаг, а если дистантник ударится обо что-то слишком сильно, то и боль. Я считал это ошибкой, но мой шеф, доктор Мигель Лопец, уверил, что все правильно. Иначе дистантнику постоянно угрожала бы опасность повреждения. Если боль слишком сильна, можно отключить нужный канал, однако лучше просто уменьшить ее с помощью модулятора напряженности боли, чтобы постоянно знать, как чувствует себя дистантник. Дистандер, перенесенный в искусственную кожу, перестает воспринимать то место, в котором он находится в действительности, как бы полностью переселяется в дистантника. Я тренировался на различных моделях. В принципе дистантник вовсе не обязательно должен быть человекоподобным, размером он может быть и меньше гномика и крупнее Голиафа, однако это приводит к различным осложнениям. Если вместо ног у него, допустим, гусеницы, то исчезает ощущение непосредственного контакта с грунтом, подобно тому как это происходит при вождении автомобиля или танка. Если дистантник — гигант вдесятеро крупнее человека, необходимо передвигать его очень медленно, потому что конечности такого

Голиафа весят по несколько тонн и у них соответствующая инерционность, точно такая же на Луне, как и на Земле. Я испытал это с двухсоттонным дистантником, и ощущение было такое, словно я ходил под водой, только сопротивление создавала не вода, а инерционность массивных ног и корпуса. Впрочем, дистантник-гигант был бы только помехой, образуя собой цель размером с башню. Зато мне предстояло командовать чуть ли не взводом более мелких дистантников, именуемых гномами. Впрочем, они скорее напоминали насекомых. Очень забавно, но при таком росте любой камень разрастается до размеров горы и трудно ориентироваться на местности. Тяжелые лунные дистантники выглядели довольно устрашающе. У них были очень толстые ноги, к тому же короткие, чтобы центр тяжести находился по возможности ниже. Такой ЛЭМ удерживает равновесие лучше, чем человек в скафандре, не раскачивается, а руки у него, как у орангутана. Подобные руки оказываются весьма полезными при двадцатиметровых прыжках. Прежде всего я хотел услышать, какие модели применялись в предыдущих разведках и как шло у них дело. Чтобы ознакомить меня с теми неудачными экспедициями, моим опекунам пришлось получить специальное разрешение директора, ибо все, чего я ни касался, было секретным. Секретным, впрочем, была не только сама миссия, но и то, что предыдущие окончились провалом. Вроде бы не хотели усугублять паники, раздуваемой прессой. ЦОМ — Центральная Охрана Миссии — выдавала меня за советника Лунного Агентства, а газетчиков мне следовало остерегаться, как заразы. Правда, можно было бы порасспросить двух разведчиков, вернувшихся целыми и невредимыми, но только по телефону — я в глаза их не видел. Похоже, они теперь носили совершенно другие имена и их самих так перелицевали, что и родная мать не узнала б. Первый, по имени Лон — его наверняка звали иначе, — без труда добрался до зоны радиомолчания, вышел на селеноцентрическую орбиту почти в двух

тысячах миль над Морем Паров и послал вниз броневое дистантника, который опустился на абсолютной пустоши. Не сделал он и ста шагов, как на него напали. Я пытался вытянуть из Лона хоть какие-нибудь подробности, но он все время талдычил одно и то же: шел по равнине Моря Паров один-одинешенек, правда, предварительно осмотрел весь район в радиусе нескольких сотен километров и не заметил ничего подозрительного, как вдруг сбоку, к тому же совсем близко, появился огромный робот, по меньшей мере вдвое крупнее ЛЭМа, и открыл огонь. Лона ослепила беззвучная вспышка — и привет. Потом он сфотографировал место посадки с орбиты: около небольшого кратера лежали останки дистантника, превращенные в груды металлического шлака, а вокруг раскинулась мертвая пустыня. У следующего разведчика было два дистантника, но первый начал кувыркаться сразу же после старта и разбился о скалы, а второй был, собственно, двойным, то есть близнецами. Близнецы — это два телемата, управляемых одновременно одним передистом. Все движения они выполняют совершенно синхронно. Один должен был идти впереди, второй — за ним, на расстоянии ста метров, чтобы видеть, что нападет на переднего. Кроме того, оба находились под охраной микропов. Микроп — от микроскопического циклопа. Это как бы телевизионная камера, состоящая из целой тучи датчиков размером не больше мушки каждый, снабженных микроскопическими объективами. Так вот, целое облако микропов сопровождало близнецов, держась в доброй миле над поверхностью Луны, чтобы наблюдать одновременно и за близнецами и за окрестностями. Человек управлял дистантниками, микропы же передавали изображение непосредственно на Землю, в центр контроля. Результат столь хорошо продуманной и, казалось, огражденной от опасностей экспедиции был в общем-то мизерный. Оба дистантника были уничтожены одновременно в тот момент, когда опустились на лунный песок, причем второй мой собеседник утверждал, что на них

напали два робота весьма своеобразного устройства: низкие, горбатые и невероятно толстые; он помнил, что они появились прямо-таки из ниоткуда и сразу же направились к нему, он тут же прицелился, но даже не успел нажать на гашетку. Увидел бело-голубую вспышку, наверняка лазерную, и пришел в себя на борту. Потом сфотографировал останки дистантников. Однако земной контроль подтвердил только последний пункт его рапорта. Дистантники действительно раскалились и разлетелись мгновенно, словно в них ударили мощным лазером, но источник выстрела обнаружить не удалось. Я просмотрел фильм, который зарегистрировал все замеченное микропами, а особенно внимательно — снимки последних мгновений в максимальном увеличении. Компьютер проанализировал изображение каждого камушка в радиусе двух километров — таков лунный горизонт, а лазером можно бить только по прямой. Все действительно выглядело загадочно. Оба дистантника приземлились вполне нормально, даже не покачнулись, коснувшись прямыми ногами грунта, и медленно зашагали гуськом, потом, как один человек, подняли свои ручные излучатели, словно заметили какую-то опасность, хотя на фотографиях не было видно ничего, и, открыв огонь, одновременно сами получили: один — в грудь, второй — чуть ниже. Лучевой удар разнес их в клочья в облаках пыли и горящего металла. Изображения анализировали на всякий манер, пытаясь установить место, из которого был выпущен лазерный залп, но не обнаружили ничего. В Сахаре не так пусто, как было на снимках. Невидимыми оказались и сами нападавшие и их оружие. В то же время разведчик твердо стоял на своем: в момент нападения он увидел двух больших чудовищно горбатых роботов там, где долю секунды назад их наверняка не было. Они возникли из ничего, прицелились, выстрелили и исчезли. Того, как они исчезали, он не мог увидеть глазами дистантников, потому что они уже распались, но он еще успел с борта заметить опадающую тучу пыли в месте поражения.

Именно в этой части его сообщение совпадало с данными всех микропов. На переданной ими картинке были прекрасно видны раскаленные обломки дистантников в клубах песчаной пыли и ничего больше.

Узнал я не так уж много, но и это не было для меня лишено значения, поскольку означало, что из миссии можно вернуться живым. В связи с непонятным нападением возникли многочисленные гипотезы, включая и такую: на Луне *что-то* взяло на себя контроль над обоими дистантниками, и они уничтожили друг друга взаимным огнем. Однако увеличенные снимки показывали, что они целились вовсе не друг в друга, а в сторону и что — как было видно из точнейших промеров — лазерный огонь, ответивший на их выстрелы, разнес их практически одновременно, через одну десятиллионную долю секунды после того, как они выстрелили первыми. На основании спектрального анализа горящих панцирей даже установили, что лазеры, которыми воспользовалась лунная сторона, были той же мощности, что и лазеры близнецов, но излучали в сдвинутом диапазоне.

На Земле невозможно воспроизвести слабую гравитацию Луны, так что после предварительной подготовки на полигоне я несколько раз летал на орбитальную станцию Агентства, на которой была оборудована специальная платформа с тяготением, в шесть раз меньшим, чем земное. Когда я уже перемещался в шкуре дистантника совершенно свободно, наступила очередь следующей фазы опытов, весьма реалистических, хотя и совершенно безопасных. Однако не скажу, чтобы они были очень уж приятны. Я разгуливал по квазилуне среди маленьких и больших кратеров, не зная, что и когда меня ожидает.

Поскольку мои предшественники ничего не могли сделать вооруженными, штаб миссии решил, что будет лучше, если я отправлюсь без оружия. Мне надлежало просидеть в дистантнике как можно дольше, так как каждая секунда означала множество наблюдений, регистрируемых микропами, тянувшимися за мной наподобие

пчелиного роя. Об эффективной обороне все равно нечего было и мечтать, толковывал мне Тоттентанц, так что мне предстояло вступить в напичканную смертью мертвую глухомань и неминуемо понести поражение, а все надежды возлагались на то, что поражение это будет поучительным. Первые разведчики по понятным психологическим мотивам требовали, чтобы у них было оружие. Всегда спокойнее чувствуешь себя, когда в критический момент держишь палец на спусковом крючке. Среди моих учителей, которых я именовал мучителями, были и психологи. Они заботились о том, чтобы я привык ко всякого рода неприятным неожиданностям. Хотя я знал, что взаправду мне ничто не угрожает, я шагал по искусственной луне, как по раскаленной плите, постоянно крутя головой. Одно дело искать противника с известной внешностью, совсем другое — не иметь понятия, не развалится ли ближайший камень, более мертвый, чем мертвец в могиле, чтобы хлестнуть в тебя огнем. И хотя все это было лишь имитацией, момент каждого такого неожиданного нападения был достаточно неприятным. Правда, самодействующие выключатели прерывали связь между мной и дистантником в момент нападения, однако действовали они с некоторым запозданием, и я не раз чувствовал, что разлетаюсь на куски с оторванной головой и ее глазами вижу собственные потроха, вываливающиеся из распоротого живота. Описать это невозможно. Утешало лишь то, что мои внутренности были изготовлены из кремния и фарфора. Я пережил несколько десятков таких агоний, благодаря чему мог представить себе, какие развлечения ожидают меня на Луне. Разорванный на куски уж не помню в который раз, я отправился к главному телетроннику Сульцеру и выложил ему свои опасения. Быть может, я вернусь с Луны «одним куском», оставив там останки обгоревших ЛЭМов, но что это, собственно, даст? Что можно узнать о неизвестных системах вооружения за несколько долей секунды? Зачем вообще лететь человеку, если он все равно не может там приземлиться?

— Вы же знаете, мистер Тихий, зачем,— сказал он, угощая меня рюмочкой шерри. Он был невысокий, худой и лысый, как колено.— Этого нельзя сделать с Земли. Четыреста тысяч километров — почти трехсекундное запаздывание с управлением. Вы спуститесь по возможности низко. На полторы тысячи километров еще можно. Это нижний уровень Сферы Молчания.

— Не о том речь. Если мы заранее полагаем, что дистантник не продержится ни минуты, то его можно послать туда с микропами, которые регистрируют кончину.

— Мы это уже делали.

— И что?

— И ничего.

— А микропы?

— Показывали немного пыли.

— А нельзя ли вместо дистантника послать что-нибудь в более приличном панцире?

— Что вы называете приличным панцирем?

— Ну, допустим, шар, какие раньше применяли при зондировании океанских глубин. С соответствующими визирами, датчиками и так далее.

— Нечто подобное делали. Не совсем так, как вы говорите, но похоже.

— И что?

— И ничего.

— Что с ним случилось?

— Ничего. Лежит там и по сей час. Связь выдохлась.

— Почему?

— Этот вопрос обошелся нам в шестьдесят четыре тысячи долларов. Если б мы знали, незачем было вас беспокоить.

Такие разговоры в то время повторялись неоднократно. После окончания второй фазы тренировок мне дали передышку. Уже три месяца я жил на тщательно охраняемой территории базы и хотел хотя бы на один вечер вырваться с казарменного положения. Пошел к ответствен-

ному руководителю заслона (его называли «озрзэ») за пропуском. Меня принял выцветший угрюмый человек в рубашке с короткими рукавами, выслушал, состроил сочувственную мину и сказал:

— Весьма сожалею, но выпустить не могу.

— Что? Почему?

— Таков приказ. Официально я больше ничего не знаю.

— А неофициально?

— Неофициально тоже. Вероятно, боятся за вас.

— На Луне — понятно. Но *здесь*?

— Здесь тем более.

— Значит ли это, что до вылета я не могу отсюда выйти?

— Увы, да.

— В таком случае,— сказал я очень тихо и вежливо, как всегда, когда меня раздражает злость,— я не полечу никуда. Ни о чем подобном даже разговора не было. Я обязался подставить свою шею, но не сидеть в каталажке. Я собирался лететь по собственному желанию. Теперь его у меня нет. Силой засунете меня в ракету или что?

— Как вы могли подумать!

Я уперся и в конце конце пропуск получил. Хотел почувствовать себя обычным прохожим, погрузиться в толпу большого города, может, пойти в кино, а больше всего — пообедать в приличном ресторане, а не в буфете с типами, которые бесконечно обсасывали последние минуты Ийона Тихого в дистантнике, взрывающемся как фейерверк. Доктор Лопец отдал в мое распоряжение свой автомобиль, и я выехал с базы, когда уже смеркалось. На обочине шоссе фары высветили человека с поднятой рукой, стоявшего возле небольшого авто с включенными аварийными мигалками. Я остановился. Человек оказался молодой женщиной в белых брюках и свитере, блондинкой с вымазанным маслом лицом. Она предполагала, что у машины заклинило мотор. Действительно, запустить двигатель даже ручкой не удалось, и я предложил под-

бросить ее до города. Когда она брала из машины плащ, я заметил на сиденье рядом с водителем крупного мужчину. Он был неподвижен, словно деревянный. Я вгляделся получше.

— Мой дистантник, — пояснила она. — Сломался. Все у меня ломается. Везла в мастерскую.

Голос у нее был бархатистый, немного с хрипотцой, почти детский. Такой голос я уже когда-то слышал. Я был в этом уверен. Я открыл правую дверцу, чтобы посадить женщину и, прежде чем погасла лампочка над зеркальцем, увидел ее лицо вблизи. Я остолбенел, так она была похожа на Мэрилин Монро, кинозвезду прошлого столетия. То же лицо, то же как бы неосознанно наивное выражение губ и глаз. Она попросила остановиться у какого-нибудь ресторана, чтобы привести себя в порядок. Я притормозил, и мы поехали медленнее, минуя освещенные витрины.

— Сейчас будет небольшой итальянский ресторанчик, вполне приличный, — сказала она.

Действительно, вскоре стала видна неоновая надпись «Ristorante». Я спустился к стоянке. Мы вошли в слабо освещенный зал. На немногочисленных столиках горели свечи. Девушка прошла в туалет, а я постоял некоторое время в нерешительности, потом присел в закутке, отгороженном деревянными перегородками, отделявшими столики, охваченные с трех сторон деревянными скамейками. Было почти пусто. Как обычно, на фоне разноцветных бутылок бармен протирал фужеры, рядом вела в кухню маятниковая дверь, обитая полированной бронзой. В соседней нише сидел кто-то над тарелкой с остатками пищи и, наклонившись, писал что-то в блокноте. Девушка вернулась.

— Есть хочется, — сказала она. — Я стояла больше часа. Никто не хотел останавливаться. Съедем что-нибудь? Приглашаю.

— Хорошо, — ответил я.

Полный мужчина, сидевший к нам спиной, заглядывал

в свой стакан. Между коленками он держал большой черный зонт. Явился кельнер, держа в руке поднос с грязными тарелками, принял заказ и, пнув маятниковую дверь, скрылся на кухне. Блондинка молчала. Вынула из кармана брюк смятую пачку сигарет, прикурила от свечи, подала мне, я кивком поблагодарил ее. Я пытался, не особо всматриваясь, определить, чем же она отличается от той. Ничем. Это было тем удивительней, что множество женщин пыталось сделать себя похожими на Мэрилин, но ни одной это не удалось. Монро была неповторима, хотя не отличалась ни особой, ни экзотичной красотой. О ней написано множество книг, но ни одна не уловила того сочетания ребячливости и женственности, которое отличало ее ото всех. Рассматривая ее снимки еще в Европе, я подумал однажды, а нельзя ли ее назвать девственной? Она была женщиной-девочкой, всегда как бы удивленная, веселая, как капризный ребенок, и скрывающая какое-то отчаяние или страх, как человек, которому некому поведать свою грустную тайну. Моя спутница глубоко затягивалась и выпускала дым струйкой к свече, коптившей между нами. Нет, это было не подобие, а идентичность. Я чувствовал, что, если начну слишком много размышлять, тут же навалятся всяческие подозрения, я ведь не слепой и меня немного удивило, почему, например, она носит сигареты в кармане: женщины никогда так не поступают. У нее же была сумочка, к тому же большая, туго набитая, которую она повесила на подлокотник. Кельнер принес блюда, забыл кьянти, извинился и выбежал из зала. Вино принес другой. Я отметил это, потому что в здешнем ресторане «работали под таверну» и кельнеры ходили перепоясавшись большими салфетками, словно фартуками, до колен. Второй же кельнер держал свою салфетку на согнутой руке. Наполнив рюмки, он не отошел, а только отступил на шаг и встал за перегородкой. Я видел его потому, что он, словно в зеркале, отражался в бронзовой обивке маятниковой двери. Блондинка, сидевшая глубже, вероятно, не могла его видеть. Пицца

была не ахти какая — слишком жесткое тесто. Мы ели молча. Отодвинув тарелку, она снова потянулась за сигаретой.

— Как вас зовут? — спросил я. Мне хотелось услышать незнакомое имя и тем самым ослабить впечатление, будто это сама Мэрилин.

— Сначала выпьем, — сказала она своим хрипловатым голосом. Взяла наши рюмки и поменяла их.

— Это что-нибудь означает? — спросил я.

— Суеверие, не больше.

Она не улыбалась.

— За наш успех!

С этими словами она поднесла рюмку к губам. Я тоже. Пицца была переперчена, и я выпил бы вино одним глотком, но что-то вдруг с треском хлопнуло, выбивая у меня рюмку из руки. Вино облило девушку, расползаясь по белому свитеру, словно кровь. Это сделал второй кельнер. Я хотел вскочить, но не мог. Ноги были глубоко под деревянной скамьей, и, прежде чем я их вытащил, все вокруг пришло в движение. Кельнер без салфетки прыгнул вперед и схватил девушку за руку. Она вырвалась и обеими руками впилась в сумочку, словно хотела прикрыть лицо. Бармен выбежал из-за прилавка. Сонный лысый толстяк подставил ему ножку. Бармен с грохотом повалился. Девушка что-то сделала с сумочкой. Словно из огнетушителя, оттуда вырвался поток белой пены. Кельнер, который стоял рядом с ней, отскочил и схватился за лицо все в белой жиже, стекающей на жилет. Блондинка выстрелила белой струей в другого кельнера, который в этот момент вбежал через маятниковую дверь. Оба отчаянно терли глаза и лица, облепленные белой пеной, словно у актеров, забрасывающих друг друга тортами с кремом в slap-stick comedy*. Все мы оказались в белом тумане, пена с резким ядовитым запахом моментально испарялась, расползаясь мутными клубами по всему залу.

* Фарс, балаган (англ.).

Блондинка кинула взгляд влево и вправо на обоих обезвреженных кельнеров и направила сумочку на меня. Я понимал, что пришел мой черед. До сих пор не могу понять, почему я не пытался заслониться. Что-то огромное зачернело передо мной. Черный экран гукнул как барабан. Толстяк. Он заслонил меня открытым зонтом. Сумочка полетела на середину зала и почти беззвучно взорвалась. Из нее вырвались клубы темного густого дыма и смешались с белым туманом. Блондинка кинулась к кухонной двери. Бармен вскочил с пола и помчался за ней вдоль прилавка. Дверь все еще раскачивалась. Толстяк швырнул бармену под ноги раскрытый зонт. Тот перепрыгнул, потерял равновесие, схватился за прилавок, с грохотом свалил с него рюмки, фужеры, стаканы и влетел в кухню. Я стоял и смотрел на побоище. Обуглившаяся сумочка все еще дымилась между столиками. Белый туман рассеивался, продолжая щипать глаза. Вокруг раскрытого зонта на полу валялись осколки тарелок, стаканов, фужеров, остатки пищи, облепленные белой пеной и залитые вином. Все произошло так быстро, что бутылка кьянти все еще катилась вместе с корзиночкой и наконец докатилась до стены. Из-за перегородки, отделяющей мой столик от соседнего, поднялся мужчина, который писал в блокноте и пил пиво. Я узнал его сразу. Это был тот выцветший тип, с которым я два часа назад препирался на базе. Он меланхолично поднял брови и заметил:

— Ну и стоило ли, мистер Тихий, так добиваться пропуска?

— Плотно свернутая салфетка на коротком расстоянии эффективна против ручного огнестрельного оружия,— задумчиво бросил Леон Грюн, шеф оэрзэ, в просторечьи именуемый Лознгрином.— Каждый французский бретер знал этот способ, еще когда носили пелерины. Парабеллум или беретта в сумочке не поместились бы. Правда, у нее могла быть и дорожная сумка, но для того,

чтобы вынуть крупный пистолет, надобно время. Несмотря на это, я посоветовал Трюфелю взять зонт. Видно, по наитию. Это был сельпектин, доктор?

Химик в ответ почесал за ухом. Мы сидели на базе, в забитой людьми прокуренной комнатке, далеко за полночь.

— Точно не скажу. Сельпектин или другая соль со свободными радикалами в аэрозоли. Радикалы аммония плюс эмульгатор и добавки, снижающие поверхностное натяжение. Под большим давлением — минимум пятьдесят атмосфер. Много же поместилось у нее в сумочке. Видно, у них прекрасные специалисты.

— У кого? — спросил я, но меня как будто никто не услышал. — Какова была цель? Зачем? — снова спросил я уже громче.

— Обезвредить вас. Ослепить, — сказал Лознгрин, приятно улыбаясь. Он закурил сигарету и тут же с отвращением смял в пепельнице. — Дайте что-нибудь выпить. Я перегрелся, словно камин. Черт знает, сколько сил мы тратим на вас, мистер Тихий. Организовать такую охрану за полчаса — это вам не в бирюльки играть.

— Я должен был ослепнуть? Временно или навсегда?

— Трудно сказать. Штука страшно ядовитая. Может, и выкарабкались бы после пересадки роговицы.

— А те двое? Кельнеры?

— Наш человек прикрыл глаза. Успел. У него отличный рефлекс. Однако сумочка была в определенной степени новостью.

— Но почему тот, ложный кельнер, выбил у меня рюмку из рук?

— Я с ним не беседовал. Он не в состоянии говорить. Предполагаю, потому что она поменялась с вами рюмкой.

— В рюмке что-то было?

— На девяносто процентов — да. Иначе зачем бы ей это делать?

— В вине не могло быть ничего. Она тоже пила,— заметил я.

— В вине нет. В рюмке. Не забавлялась ли она рюмкой до того, как пришел кельнер?

— Не уверен. Ах, да. Она вертела ее в пальцах.

— Вот видите. Результат анализа придется подождать. Только с помощью хроматографии удастся что-либо обнаружить, ведь все разлетелось вдребезги.

— Яд?

— Думаю, да. Вас надо было вывести из игры, но не обязательно убить. Думаю, так. Попробуйте встать на их место. Труп невыгоден. Шум, подозрения, пресса, вскрытие, сплетни. Кому это надо? А хороший психоз — другое дело. Вполне элегантный результат. Таких препаратов сейчас множество. Депрессия, умопомрачение, галлюцинация. Я думаю, выпив винишко, вы не почувствовали бы ничего. Лишь завтра, а то и позже. Чем дольше латентный период, тем больше все походит на истинный психоз. Кто сегодня гарантирован от сумасшествия? Никто. Я первый, мистер Тихий.

— Ну, а пена? Аэрозоль?

— Аэрозоль был последним средством. Пятое колесо у телеги. Другого выхода не было.

— А кто такие «они», о которых вы все время толкуете?

Лоэнгрин мягко улыбнулся. Вытер вспотевший лоб носовым платком не первой свежести, неодобрительно взглянул на него, сунул в карман и сказал:

— Вы воистину ребенок. Не все разделяют наше восхищение вашей кандидатурой, мистер Тихий.

— У меня есть замена? Я никогда не спрашивал... есть ли кто-нибудь в запасе. Может быть, через него можно установить, кто...

— Нет. Теперь не держат *одного* дублера. Есть несколько — с одинаковым набором плюсов, и пришлось бы начать новые исследования. Селекцию. Тогда можно было бы о чем-нибудь догадаться, а сейчас — нет.

— Я хотел бы услышать еще одно,— не очень уверенно проговорил я.— Откуда она взялась... такая?

— Это нам отчасти известно,— Лознгрин опять улыбался.— Вашу европейскую квартиру несколько недель назад хорошенько перетрясли. Ничего не пропало, но все было осмотрено...

— Не понимаю...

— Библиотека. У вас есть книга о Монро и два альбома. Видимо, симпатия.

— Вы перетряхнули мою квартиру и ничего не сказали?

— Все стоит, как стояло, даже пыль смахнули, а что касается визита, то не мы были первыми. Вы сами видели, как хорошо, что наши люди проштудировали ваши книги. Мы ничего не говорили вам, чтобы не нервировать. У вас и без того голова забита. Максимальная собранность — необходимое условие. Мы — ваша коллективная няня,— он обвел жестом присутствующих: толстяка, уже без зонта, химика и трех молчаливых мужчин, подпиравших стены.— Поэтому, когда вы потребовали пропуск, я решил, что лучше его дать, чем сплетничать о вашей квартире, так как это бы вас не остановило. Верно или нет?

— Не знаю. Пожалуй.

— Вот видите.

— Хорошо. Но, спрашивая, я имел в виду подобие. Она была человеком?

— Постольку-поскольку. Непосредственно — нет. Хотите ее видеть? Она здесь, лежит в той комнате,— он показал на дверь за спиной. Хотя я его понял, все же долю секунды у меня в голове копошилась мысль, что Мэрилин Монро умерла вторично.

— Продукт «Джинандроникс»? — медленно спросил я.— Так называемая playmate?

— Только фирма не та. Их много. Хотите взглянуть?

— Нет,— отрезал я.— Но ведь кто-то должен был ею... руководить?

— Конечно. Сбежал. Видимо, женщина с большим актерским талантом. Характер движений — понимаете? Мимика — все высший класс. Любителю это не по зубам. Придать такое сходство — как бы это сказать? — вдохнуть *такой* дух — тут требуется школа, тренировка. Правда, после Монро остались фильмы. Это, видно, помогло... Но все равно...— он пожал плечами. Говорил все время он один. За всех.

— Так старались? — сказал я.— Зачем?

— А взяли бы вы в машину старушку?

— Взял.

— Но на пиццу не пошли бы. Во всяком случае, не наверняка, а требовалась уверенность. Чтобы вас заинтриговать. Вы и сами должны отлично знать, дорогой. Давайте кончим с этим.

— Что вы с ней сделали?

Собственно, я хотел спросить: «Вы ее убили?»,— хотя прекрасно понимал бессмысленность такого вопроса. Он меня понял.

— Нет. Дистантник с отсеченной связью сам валится как колода. Кукла.

— Почему же она убегала?

— Потому что, исследуя изделие, можно кое-что узнать об изготовителях. В данном случае, скорее всего, нет, но они хотели свернуть все паруса. Чтобы не осталось ни следа. Уже третий час. Надо беречь себя, мистер Тихий. У вас, с вашего разрешения, сентиментальность прошлого века. Спокойной ночи и приятных сновидений.

На следующий день было воскресенье. По воскресеньям мы не работали. Я брился, когда курьер принес письмо. Со мной хотел встретиться профессор Лакс-Гулиборц. Мне доводилось слышать о нем. Это был спе-

циалист по связи, телематик. Он имел отдельную лабораторию на территории базы. Я оделся и ровно в десять вышел из дома. На оборотной стороне письма он нарисовал, как до него добраться. Среди одноэтажных зданий выделялся длинный павильон, окруженный садом с высокой сеткой. Я нажал раз на кнопку звонка, другой. Вначале над кнопкой загорелась надпись «Меня нет ни для кого», потом замок щелкнул и калитка отворилась. Узкая, посыпанная гравием тропинка вела к металлической двери. Она была закрыта. Ручка отсутствовала. Я постучал. Внутри стояла тишина. Я постучал еще раз. Уже собрался было уходить, когда дверь приоткрылась и выглянул худощавый человек в голубом халате, украшенном пятнами и подтеками. Он был почти лысый, с коротко подстриженными седыми висками, толстые стекла очков уменьшали глаза. Возможно, из-за этих бифокальных очков он выглядел так, словно все время удивлялся своими круглыми рыбьими глазами. Длинный, вынюхивающий что-то нос, массивный лоб.

Хозяин молча отступил. Когда я вошел, он запер дверь, к тому же не на один замок. Коридор тонул в темноте. Он шел впереди, я следом, ведя рукой по стене. Странная конспирация. В сухом горячем воздухе витал запах химикалий. Следующая дверь отошла в сторону. Он пропустил меня вперед.

Я оказался в большой лаборатории, забитой, казалось, до предела. Повсюду громоздились установленные один на другом аппараты из черного оксидированного металла, соединенные кабелями. Спутанные провода покрывали пол. Посреди комнаты красовался лабораторный стол, тоже заваленный аппаратурой, бумагами, инструментами; возле стола стояла клетка, самая настоящая клетка из тонкой проволоки, какие делают для попугаев, но она была так велика, что в ней поместилась бы горилла. Диковинней всего были куклы, штабелями лежавшие вдоль трех стен. Обнаженные, похожие на витринные манекены, без голов или с раскрытыми черепами, с груд-

ными клетками, распаханутыми, словно дверцы, внутри заполненными какими-то соединениями, пакетами пластин, а под столом валялась куча бесчисленных ног и рук. В этом захламленном помещении не было ни одного окна. Профессор смахнул со стула какие-то провода и детали и влез на четвереньках под стол. Он действовал с прытью, которой я от него никак не ожидал. Вытащив из-под стола магнитофон, он включил его и, глядя на меня снизу вверх, приложил палец к губам. Из магнитофона послышался его скрипучий голос: «Я пригласил вас на занятия, Тихий. Пора вам узнать все, что необходимо, о связи. Извольте присесть и слушать. Записей делать нельзя...»

Магнитофонный голос все звучал, а сам профессор приподнял огромную проволочную клетку и жестом пригласил меня войти в нее. Я заколебался. Он бесцеремонно втолкнул меня, вошел следом, взял за руку и потянул вниз, давая понять, что я должен сесть на пол. Сам он уселся напротив, скрестив ноги, так что из-под халата торчали его острые коленки. Я послушался. Все это весьма напоминало сцену из скверного кинофильма о сумасшедшем ученом. В клетке тоже повсюду вились провода, он соединил два из них, и раздалось тихое монотонное бречание. А его собственный голос по-прежнему бубнил из магнитофона, лежавшего снаружи рядом со стулом. Лакс вытащил из-за спины два толстых, похожих на ярмо ошейника, один через голову надел на собственную шею, второй подал мне, показывая, чтобы я сделал то же самое, потом воткнул себе в ухо проводок с утолщением вроде небольшой маслины на конце и опять жестом показал, что я должен сделать то же самое. И тут я услышал в ухе, что говорит профессор.

— Вот теперь можно побеседовать. Задавайте вопросы, но прежде подумайте. Нас никто не услышит. Мы экранированы. Вы удивлены? А удивляться нечему. Даже самым надежным людям не всегда следует доверять, и это правильно.

— Можно говорить? — спросил я. Мы сидели на полу

в клетке так близко друг к другу, что наши колени почти соприкасались. Магнитофон продолжал бубнить.

— Можете. Против всякой электроники найдется своя электроника. Я знаю вас по книгам. Вся эта дребедень вокруг — всего лишь декорация. Вас наметили в герои. Миссия лунной разведки. Вы полетите.

— Полечу,— подтвердил я.

Он говорил, почти не шевеля губами. Я отлично слышал его через микрофон в ухе. Все выглядело достаточно странно, ничего не скажешь, но я решил принять навязанные мне правила игры.

— Ясное дело — полетите. Тысяча человек будет вас поддерживать с Земли. Безотказное Лунное Агентство. Беда только, что его разрывает изнутри.

— Агентство?

— Да. Они снабдят вас дюжиной новых дистантников. Но на самом деле чего-то стоит только один. Мой. Совершенно новая технология. Из праха возник, в прах обратишься и вновь возникнешь. Я вам его позже покажу. Мне надо вам его продемонстрировать. Но сначала получите от меня благословение. Спасительные указания на дорожку.— Он поднял палец. Его глаза, маленькие и круглые за толстыми стеклами, усмехались с добродушной хитрецей.— Вы услышите то, что они хотели, но сначала то, чего они не хотели. Но я так хочу. Я человек старосветских принципов. Прошу внимания. Агентство — организация международная, но ведь невозможно набрать в сотрудники ангелов. На далеких окраинах, допустим на Марсе, вам пришлось бы действовать в одиночку. Один против Фив. На Луне же вы будете лишь вершиной пирамиды. С земным комплексом стратегической поддержки. Вы знаете, кто будет в этом комплексе?

— Не совсем. Но большинство из них знаю. Киббилькисов, Тоттентанца. Кроме них, там еще доктор Лопец. Ну, Сульцер и остальные, а что? В чем дело?

Профессор меланхолически покачал головой. Под высоким проволочным колпаком выглядели мы, вероятно,

весьма комично. А еще непрестанное бречанье и магнитофонная запись.

— Каждый из них представляет противоречивые интересы. Иначе быть не может.

— Я могу говорить *все*? — спросил я, уже предчувствуя, куда клонит этот чужак.

— Можете. Учитывая, что вы от меня услышите, вы не должны доверять никому. Мне тоже. Но кому-то же надо поверить. Затея с переселением, — он указал пальцем вверх, — и с доктриной неведения была, совершенно очевидно, бессмысленной. Все и должно было так закончиться. Если, конечно, это уже конец. Сами заварили кашу. Правда, иначе и быть не могло. Директор говорил вам о четырех осуществленных противоречиях? А?

— Говорил.

— Есть и пятое. Они хотят знать правду, которой знать не хотят. То есть не всякую правду. И не все одинаково. Вы понимаете?

— Нет.

Мы разговаривали, сидя друг против друга на полу, но я слышал его словно по телефону. Он меня тоже. Гудел ток, магнитофон продолжал что-то болтать, а Лакс, часто моргая за стеклами очков, опершись руками о колени, не спеша продолжал:

— Я устроил это, чтобы помешать подслушиванию. Все равно кому и для кого. Хочу сделать, что смогу, так как считаю необходимым. Обычная порядочность. Благодарности излишни. Они будут вам помогать. Но лучше некоторые факты попридержать при себе. Ваш доклад не должен стать исповедью. Мы не знаем, что произошло на Луне. Сибеллиус и иже с ним считают, что эволюция пошла там обратным ходом. Развитие инстинктов вместо развития интеллекта. Разумное оружие — не оптимальное оружие. Оно может, скажем, испугаться. Ему может расхотеться быть оружием. Оно может придумать что-нибудь этакое... Солдату, живому или мертвому, не положено иметь собственных идей. Интеллект — это много-

мерность действий, то есть свобода. Ну и что? Там совершенно иначе. Уровень человеческого интеллекта превышен.

— Откуда вы знаете?

— Кто сеет эволюцию, пожинает разум. Но разум не хочет никому служить. Разве что вынужден. А там не вынужден. Однако я не намерен говорить о том, что происходит там, ибо не знаю. Речь идет о том, что происходит здесь.

— То есть?

— Лунное Агентство должно было перекрыть доступ информации с Луны. Кончилось тем, что именно оно собирается ее получить. Затем вы и летите. Либо вернетесь ни с чем, либо со сведениями, более разрушительными, чем атомные бомбы. Что предпочитаете?

— Минуточку. Прошу не говорить намеками. Вы считаете своих коллег представителями каких-то разведок? Агентами? Да?

— Нет. Но вы можете привести к этому.

— Я?

— Да. Равновесие, существующее с момента заключения Женевского договора, неустойчиво. Вернувшись, вы можете прежнюю опасность заменить новой. Вы не можете стать спасителем мира. Вестником мира.

— Почему?

— Программа переноса на Луну земных конфликтов порочна в самом зародыше. Иначе и быть не могло. Контроль вооружений оказался невозможным из-за их микроминиатюризации. Нетрудно считать ракеты и искусственные спутники, но невозможно пересчитать искусственные бактерии. Или искусственные природные бедствия, или то, что привело к падению естественного прироста населения в третьем мире. Это падение было неизбежным. Только по-доброму его не удалось осуществить. Можно взять под ручки двух человек и объяснить им, что для них выгодно, а что губительно. Но человечество под локоток не возьмешь и всего не объяснишь, верно?

— Какая тут связь с Луной?

— Такая, что гибель не была предотвращена, а лишь перенесена в пространстве и времени. Так не могло длиться вечно. Я создал новую технологию, которую можно использовать в телематике. Для изготовления дисперсантов. Дистантников, способных к обратимой дисперсии. Я не хотел, чтобы моя технология служила Агентству, но это произошло,— он поднял обе руки, словно сдавался.— Сработал кто-то из моих сотрудников. Не знаю наверняка кто и не считаю это столь важным. Под большим давлением неизбежно должна была произойти утечка. Всякая лояльность имеет свои пределы,— он провел рукой по блестящей лысине. Магнитофон продолжал говорить.— Я могу сделать лишь одно: доказать, что дисперсионная телематика еще не пригодна к употреблению. Это я могу. Скажем, на год. Потом они сообразят, что я водил их за нос. Как, по-вашему, мне следует поступить?

— Почему я должен решать? И зачем?

— Если вы вернетесь ни с чем, никто не станет вами интересоваться. Ясно?

— Пожалуй, да.

— Но если вы вернетесь с сообщениями, последствия будут непредсказуемыми.

— Для меня? Так вы меня собираетесь спасать? Из симпатии?

— Нет. Чтобы оттянуть время.

— Разведки? Значит, вы исключаете возможность того, что Луна готовит нападение на Землю? Считаете, что это всего лишь коллективный психоз?

— Психоз не психоз, но слухи и действия, вызванные с определенной целью неким государством, либо государствами.

— Зачем?

— Чтобы взорвать доктрину неведения и возвратиться к политике, проводимой по-старому. По Клаузевицу.

Я молчал, не зная что сказать или думать о его словах.

— Но это только ваши предположения,— выдавил я наконец.

— Да. Письмо Эйнштейна, которое он написал Рузвельту, тоже опиралось лишь на предположение, что можно создать атомную бомбу. Он сожалел об этом до конца своих дней.

— Так, понимаю, а вы не хотите сожалеть?

— Атомная бомба появилась бы и без Эйнштейна. Моя технология тоже. Однако чем позже, тем лучше.

— *Après nous le déluge**?

— Нет, здесь нечто иное. Страх перед Луной был вызван умышленно. Уверен. После удачной разведки вы один страх замените другим. И другой может оказаться хуже, ибо будет более реальным.

— Наконец понял. Вы хотите, чтобы мне *не повезло*?

— Да. Но только с вашего согласия.

— Зачем?

Его беличья с маленькими глазками физиономия неожиданно преобразилась. Он беззвучно рассмеялся, раскрыв рот.

— Я уже сказал, зачем. Я человек старомодных принципов, а значит, сторонник *fair play***. Вы должны сейчас же ответить, а то у меня уже ноги болят.

— Надо было подложить подушки,— заметил я.— Что же касается вашей техники с дисперсией, пожертвуйте ее мне.

— Не верите в то, что я сказал?

— Верю и именно поэтому хочу.

— Стать Геростратом?

— Постараюсь не поджигать храмов. Мы уже можем выйти из клетки?

* После нас хоть потоп (*фр.*).

** Честная игра (*англ.*).

V. Лунный эффективный миссионер

Старт откладывали восемь раз. Во время отсчета то и дело обнаруживались неполадки. Сначала забарахлила климатизация, потом резервный компьютер сообщил о коротком замыкании, которого не было, на следующий раз замыкание было, но о нем не сообщил контрольный компьютер, а при десятом *countdown*, когда уже подошло на то, что я полечу, перестал слушаться ЛЭМ 4. Я лежал спеленутый и оплетенный липкими лентами с тысячами сенсоров, словно мумия фараона в саркофаге, с защелкнутым шлемом, ларингофоном на шее и трубкой подачи апельсинового сока во рту, положив одну руку на рычажок аварийной катапульты, а другую — на ручку управления, пытаюсь думать о вещах приятных и далеких, чтобы не колотилось сердце, за которым на экранах наблюдали восемь контролеров одновременно, не спускающая глаз с показателей давления крови, напряжения мышц, выделения пота, движения глазных яблок, а также электропроводности тела, которые выдают им, в каком страхе пребывает доблестный астронавт, ожидающий сакраментального «НУЛЬ» и грохота, который должен вытолкнуть меня наверх, но всякий раз до меня доходил, предваряемый сочным проклятием голос Вивича, главного координатора, повторяющий: «СТОП! СТОП! СТОП!» Не знаю, были ли тому виной мои уши или что-то играло в микрофонах, только голос его гудел, как в пустой бочке, но я об этом даже не заикался, зная, что если вякну хоть слово, они примутся исследовать акустику шлема, притащив спецов по резонансу, и все это будет тянуться до бесконечности.

Последняя авария, которую техники окрестили бунтом ЛЭМа, была действительно поразительной и идиотской, потому что, среагировав на импульсы контроля, которые должны были лишь проверить его агрегаты, он

начал шевелиться и вместо того, чтобы замереть после отключения, задрожал и собрался было вставать. Мешали ремни. Тогда он, словно чучело в эпилептическом припадке, принялся за них, чуть не разорвал всю эту упряжь, хотя техники поочередно отключали провода питания, не понимая, откуда у него берутся силы. Вероятно, была какая-то утечка тока, а может, наоборот, — приток. Импеданс, capacitance, резистанс* — когда техники не знают, что происходит, они богатством лексикона не уступают медикам во время консилиума у постели безнадежно больного. Как известно, если что-то может испортиться, то когда-нибудь да испортится наверняка, а в системе, состоящей из девяноста восьми тысяч главных контуров и интегральных схем, никакое дублирование не дает стопроцентной гарантии. Такую гарантию, по словам Калевалы, старшего техника, дает только могила — покойник уже не встанет. Калевала любил повторять, что господь бог, создавая мир, не принял во внимание статистику и поэтому, когда начались неполадки в раю, принялся творить чудеса, только было уже поздно и даже чудеса не помогали. Разъяренный Вивич требовал, чтобы директор убрал Калевалу, который приносит нам несчастья. Директор верил в несчастья, но научный совет, в который обратился финн, не верил, так что Калевала остался на своем месте. В такой обстановке я готовился к лунной миссии.

Я не сомневался, что и около Луны что-нибудь да откажет, хотя имитации, контроль и отсчет повторяли до умопомрачения. Меня только интересовало, когда это случится и в какую заварушку я попаду. Когда наконец уже пошло без сучка, без задоринки, я сам прервал countdown, потому что стала неметь слишком туго перебинтованная левая нога, и, словно восставший из гроба

* Электротехнические термины, означающие соответственно: полное электрическое сопротивление, емкость конденсатора и активное электрическое сопротивление.

фараон, я по фонии лаялся с Вивичем, который утверждал, будто сейчас у меня все пройдет само собой и нельзя слишком ослаблять бандажи. Однако я уперся, и им пришлось полтора часа распаковывать меня и вылущивать из всяческих коконов. Оказалось, кто-то — разумеется, никто не признался — помогал себе при затягивании защелок крючком, которым пользуются для набивания и чистки курительных трубок, и прибинтовал его лентой, охватывающей ногу, под коленкой. Из жалости я попросил, чтобы они не проводили следствия, хотя догадывался о виновнике, ибо знал, кто из моих опекунов курит трубку. В невероятно сенсационных романах о полетах к звездам такие штуки никогда не случаются. Там никогда не бывает, чтобы наглотавшийся самых эффективных снадобий астронавт «поехал в Ригу» либо чтобы у него сдвинулась насадка емкости для отправления естественных физиологических потребностей, из-за чего человек может не только обмочиться, но и наполнить этой благородной жидкостью скафандр. Именно такое случилось с первым американским астронавтом во время его суборбитального полета, но по понятным историко-патристическим соображениям НАСА промолчало об этом факте, не сообщив ничего прессе, а когда газетчики все-таки пронюхали об этом, то астронавтика уже никого не интересовала.

Чем больше стараются, чем больше заботятся о человеке, тем вероятнее, что какой-нибудь дурной проводок будет пилить тебе под мышкой, застежка втиснется куда не надо и можно спятить от щекотки. Когда однажды я предложил помещать в скафандре управляемые снаружи устройства для почесывания, все сочли это шуткой и смеялись, но не умудренные опытом астронавты. Это знали, о чем я говорю. Открытый мною «Закон Тихого» гласит: первой начинает свербить и чесаться та часть тела, которую никоим образом невозможно почесать. Щекотка прекращается только тогда, когда случается какая-либо достаточно серьезная авария, ибо тут уж во-

лосы встают дыбом, по коже начинают бегать мурашки, а остальное доканчивает холодный пот, так и льющийся с человека. Сие есть святая правда, но Авторитеты сочли, что об этом не следует говорить, потому что это плохо сочетается с Большими Шагами Человечества, Направляющегося к Звездам. Хорошо бы выглядел Армстронг, если б, спускаясь по лесенке своего ЛЭМа, вместо того, чтобы сказать о Больших Шагах, заметил, что у него щекочет в подштанниках, потому что они сползли. Я всегда считал, что господа, контролирующие полет, которые сидят, удобно развалившись в креслах, потягивают пиво из банок и при этом подают превращенному в мумию астронавту добрые советы, ободряют и утешают, должны бы сначала сами лечь на его место.

Последние две недели, проведенные на базе, были не из приятных. Имели место новые покушения на Ийона Тихого. Даже после приключения с подложной Мэрилин Монро мне не сказали, что приходящую на мое имя почту вначале исследуют специальной аппаратурой для обезвреживания корреспонденции. Эпистолярная баллистика, как ее именуют специалисты, сегодня настолько развита, что заряд, способный разорвать адресата на куски, может находиться между листками сложенных вдвое праздничных поздравлений либо, чтобы было забавней, пожелания счастья и здоровья по случаю дня рождения. Лишь после смертоносного письма профессора Тарантоги, которое чуть не отправило меня на тот свет, и скандала, который я тогда учинил, мне показали эту машинку в бронированном помещении с наклонно установленными стальными блоками для гашения взрывной волны. Письмо вскрывают телехватачами после предварительного контроля рентгеновскими лучами и ультразвуком, чтобы взорвалось запальное устройство, если оно находится в конверте. Однако то письмо вовсе не взорвалось и его действительно написал Тарантога, а целым я остался благодаря тонкому обонянию. Письмо пахло то ли резедой, то ли лавандой, что показалось мне странным и даже

подозрительным, потому что Тарантога — последний человек, который решил бы послать надушенное письмо. Поэтому, когда, бросив взгляд на слова «Дорогой Ийон», я начал смеяться, то с ходу понял, что все это вовсе не от веселья, к тому же истинная интеллигентность не позволяет мне смеяться без причины, словно идиоту, а посему — мой смех противоестествен. На всякий случай я быстренько сунул письмо под стекло, прикрывавшее письменный стол, чтобы читать сквозь него. Слава богу, у меня к тому же был насморк. Я крепко высморкался. Научный совет потом раздумывал, сморкался ли я непроизвольно или же сработал рефлекс разведчика, потому что я и сам не знал, что и как. Во всяком случае, только из-за чоха я вдохнул весьма малую дозу препарата, которым пропитали письмо. Кстати, препарат был совершенно новым. Смех, который он вызывал, был только прелюдией к икоте, настолько упорной, что прекращалась она лишь под глубоким наркозом. Я тут же позвонил Лоэнгрину, но он решил, что я проделываю глупые шуточки, потому что, разговаривая с ним, я то и дело принимался хохотать. С точки зрения нейрологии смех — первая степень икоты. В конце концов все выяснилось, письмо забрали два лаборанта в масках, а доктор Лопец и его коллеги принялись спасать меня чистым кислородом, и когда я уже перестал икать, а только хохотал, принудили читать газетные передовицы за два дня. Я и не предполагал, что за время моего отсутствия пресса и телевидение разделились на два лагеря. Одни газеты и программы давали все подряд, другие — лишь хорошие известия. Меня после возвращения из Тельца потчевали только вторыми, поэтому, будучи на базе, я думал, что после заключения Женевской конвенции мир действительно стал идеальным. Во всяком случае, можно было думать, что уж по крайней мере пацифисты-то чувствуют себя полностью удовлетворенными, но где там. О духе новых времен могла рассказать книга, которую мне однажды подсунул доктор Лопец. Автор доказывал, будто Иисус

был диверсантом, подосланным, чтобы через искушение любовью к ближнему довести до распада еврейскую общину по принципу *divide et impera**, что ему и удалось, а также к гибели Римскую империю, что также удалось, правда, немного позже. Сам Иисус и не догадывался, что он диверсант, да и апостолы тоже не знали, действуя с самыми благими намерениями, тем не менее известно, что вымощено именно такими намерениями. Автор, имени которого я, к сожалению, не запомнил, утверждал, будто каждого, кто проповедует любовь к ближнему и мир людям доброй воли, надобно сразу доставлять в соседний полицейский комиссариат, дабы там установили, кто за этим в действительности скрывается. Поэтому не удивительно, что пацифисты быстренько переквалифицировались. Часть примкнула к движению протеста против кошмарной судьбы съедобных животных. Тем не менее потребление котлет и колбас не уменьшилось. Иные стали проповедовать идею братания со всем живым, а в немецком бундестаге восемнадцать мест завоевала партия пробактеристов, утверждавших, что микробы имеют такое же право на существование, как и мы, так что нельзя их мордовать лекарствами, а надобно перестроить генетически, то есть приласкать, дабы они начали питаться не людьми, а чем-нибудь другим. Всеобщая доброжелательность прямо-таки бушевала в мире. Не было согласия лишь в том, кто мешает ее распространению, хотя все соглашались, что врагов доброжелательности и доброты следует приканчивать. У Тарантоги я видел любопытную новую энциклопедию — «Лексикон страха». Раньше, объясняла книга, источником страха было Сверхъестественное: чары, колдовство, ведьмы с Лысой горы, еретики, атеисты, черная магия, демоны, кающиеся грешники, развратная жизнь, абстрактное искусство, свинина, а в промышленную эпоху страх перекинулся на объекты производства. Новый страх обвинял в губительных дей-

* Разделяй и властвуй (лат.).

ствиях помидоры (вызывают рак), аспирин (прожигает дыры в желудке), кофе (рождаются горбатые дети), масло (известно — склероз), чай, сахар, автомобили, телевидение, дискотеки, порнографию, аскетизм, противозачаточные средства, науку, сигареты, атомные электростанции, а также высшее образование. Я вовсе не удивлялся успеху «Лексикона». Профессор Тарантога считает, что людям необходимы две вещи. Во-первых, ответ на вопрос *кто*, а во-вторых, на вопрос *что*. В первом случае всех интересует, *кто* виноват. Ответ должен быть кратким, указующим, ясным и выразительным. Во-вторых, людям необходимо знать то, *что* является тайной. Уже двести лет ученые раздражали мир тем, что всегда все знали лучше и больше. Как же приятно увидеть их беспомощность, когда речь заходит о Бермудском треугольнике, летающих тарелках, духовной жизни растений, а разве мы не испытываем удовлетворения, когда простая парижанка в моменты *climacter** может предсказать все политическое будущее мира, а профессора в этом деле ни бельмеса не смыслят!

Люди, говорит Тарантога, верят в то, во что хотят верить. Взять хотя бы расцвет астрологии. Астрономы, у которых, как известно, светлые головы и которые должны знать о звездах больше, чем остальные люди вместе взятые, утверждают, будто звездам на нас начихать. Этоде, гигантские шары раскаленных газов, вращающиеся от сотворения мира, и их связь с нашими судьбами наверняка значительно меньше, чем у шкурки от банана, на которой можно поскользнуться и сломать ногу. Однако же никого не интересуют шкурки от бананов, зато серьезные журналы публикуют астрологические гороскопы и даже существуют карманные компьютеры, у которых, прежде чем начать биржевую операцию, можно справиться, благоприятствуют ли ей звезды. Того, кто

* Переломный период в человеческой жизни; по мнению древних, годы, кратные семи (*лат. от гр.*).

утверждает, будто шкурка плода может оказать большее влияние на судьбу человека, нежели все планеты вкупе со звездами, просто не станут слушать. Некий субъект появился на свет только потому, что его папаша, так сказать, вовремя не спохватился и именно поэтому стал его родителем. Родительница, зная, что произошло, принимала хинин, прыгала со шкафа, но это не очень-то помогло. Итак, субъект родился, окончил какую-то школу и теперь работает в магазине подтяжек, на почте либо в паспортном столе. И вдруг он узнает, что все обстоит совершенно иначе. Оказывается, планеты образовывали особую конфигурацию, знаки зодиака самым неумолимым образом располагались именно так, а не иначе, одна половина неба сговорилась с другой только для того, чтобы он мог родиться и встать за прилавок либо же сидеть в конторе. Это возвышает! Вся Вселенная крутится вокруг него и даже если не благоприятствует ему, даже если звезды располагаются так, что фабрикант подтяжек обанкротится, а он из-за этого потеряет работу, это все равно милее, нежели знать, насколько он звездам безразличен и в какой степени они о нем заботятся. Выбей у него это из головы вместе со сведениями о симпатии, которую испытывает к нему кактус в горшочке на окне, и что останется? Босая, бедная, голая пустота и безнадежное отчаяние. Так говорит профессор Тарантога, но, вижу, я слишком удалился от темы.

Запустили меня на околоземную орбиту 27 октября, и, стиснутый сотканым из датчиков исподним, будто новорожденный пленками, я рассматривал родимую планету с высоты двухсот шестидесяти километров, слыша, как техники на базе удовлетворенно охают и удивляются тому, что на сей раз все-таки получилось удачно. Моя первая ступень — я имею в виду главный booster* — отсоединилась как полагается с точностью до долей секунды над Тихим океаном, но вторая не желала, и при-

* Стартовый двигатель ракеты (англ.).

шлось ей помочь. Она упала, кажется, где-то в Андах. Выслушав сакраментальные пожелания доброго пути, я лично взялся за рули и помчался сквозь самую опасную зону к Луне. Вы не представляете себе, сколько железа от старых гражданских и военных спутников окружают Землю. Восемнадцать тысяч, не считая тех, которые понемногу развалились и наиболее опасны, потому что из-за незначительных размеров радар различает их с величайшим трудом. Кроме того, в пустоте полно обычного мусора с тех пор, как все вредные отходы и прежде всего радиоактивные вывозят с Земли мусороракетами. Итак, я летел, соблюдая величайшую осторожность, пока наконец не стало действительно пусто. Только тогда я отстегнул ремни и принялся проверять состояние моих ЛЭМов.

Включал поочередно каждого, чтобы почувствовать себя в нем, и осматривал грузовой отсек их кристаллическими глазами. Вообще-то дистантников у меня было двенадцать, но последний помещался отдельно, в контейнере, содержавшем, если верить надписи, банки с фруктовым соком — для обмана чересчур любопытных. Такой камуфляж не казался мне очень уж удачным, потому что, судя по размерам контейнера, можно было подумать, будто я стану в этих соках купаться. Внутри помещался герметически опечатанный цилиндр светлоглоубого цвета, помеченный буквами ITEM, то есть Instant electronic module*. Там находился дистантник в порошке, top secret**, детище Лакса, и воспользоваться им я мог лишь в случае крайней необходимости. Мне был известен принцип его действия, но не знаю, стоит ли его сейчас раскрывать. Мне не хотелось бы превращать рассказ в каталог изделий «Джинандроникс» и телеферического отдела Лунного Агентства. У ЛЭМа 5 сразу же после включения начались легкие судороги. А раз он имел со мной обратную связь, я тоже начал вместе с ним

* Порошковый электронный модуль (англ.).

** Совершенно секретно (англ.).

трястись, словно в лихорадке, и щелкать зубами. В соответствии с инструкцией необходимо было немедленно сообщить о дефекте базы, но я предпочел этого не делать, зная по собственному опыту, чем такое сообщение пахнет. Они немедленно соберут конструкторов, проектировщиков, инженеров и знатоков электронной патологии, а те, обозленные прежде всего на меня за то, что я-де поднимаю шум из-за такой ерунды, как легкие конвульсии, которые вполне могут пройти сами, начнут выдавать мне по радио противоречивые советы, что с чем соединить, а что разъединить, каким амперажем долбануть бедолагу, потому как электрошок порой помогает, к тому же не только людям, собраться с мыслями. Если я их слушаюсь и это вызовет его новую небезопасную реакцию, они прикажут мне спокойно ждать, а сами примутся за аналоговое или цифровое моделирование, и при этом будут до хрипоты спорить, время от времени уговаривая меня сохранять спокойствие и беречь нервы. Коллектив распадется на два или три лагеря, как это обычно происходит с выдающимися врачами во время консилиума. Возможно, прикажут спуститься в грузовой отсек через внутренний лаз с инструментами, раскрыть ЛЭМу живот и направить на него переносную телекамеру, потому что вся электроника помещается у дистантника в брюхе: в голове для нее не хватит места. Придется мне действовать под управлением знатоков и, если случайно из этого получится что-нибудь путное, то все заслуги они припишут себе, а если ничего сделать не удастся, меня обвинят в бездарности. Когда еще не было ни роботов, ни дистантников и по невероятному везению не портились бортовые компьютеры, то выходило из строя что-нибудь попроще, например гальюн в «Колумбии»* при испытательном полете.

Тем временем я удалился от Земли уже на 150 000

* Один из кораблей многоразового использования системы «Шаттл» (США).

километров и все больше радовался тому, что смолчал о дефекте ЛЭМа. Пройденный путь означал уже свыше секунды запоздания при разговорах с базой; рано или поздно что-нибудь да дернулось бы у меня в пальцах — в состоянии невесомости трудно добиться точности движений, блеснул бы малюсенький огонек, означающий, что я сделал короткое замыкание, спустя секунду я услышал бы хор голосов с соответствующими комментариями. Теперь, заявили бы они, коли Тихий все испоганил, уже ничего сделать невозможно. Так что я помог избежать раздражения и им и себе.

Чем больше я приближался к Луне, тем больше ненужных советов и предупреждений получал по радио, и в конце концов заявил, что, если они не перестанут морочить мне голову всякой чепухой, я отключусь. Луну я уже знаю как собственный карман давным-давно, когда еще существовал проект сделать на ней филиал Диснейленда. Я облетел ее трижды на высокой орбите и повис над Океаном Бурь, потихоньку спускаясь вниз. С одной стороны от меня было Море Дождей, с другой — кратер Эратосфен, дальше Марчисон и Центральный Залив до самого Моря Облаков. Я висел так низко, что остальную часть поверхности, покрытой оспинами кратеров, мне заслонил полюс. Я находился возле нижней границы Сферы Молчания. Пока не обнаружилось ничего необычного, если не считать двух пустых банок из-под пива, которые ожили во время моих маневров. Когда я притормозил, банки, как обычно в спешке брошенные техниками, вылезли откуда-то и принялись летать по кабине, время от времени сталкиваясь с жестяным грохотом то в углах, то над моей головой. Грингорн начал бы их ловить, но мне это и в голову не пришло. Когда подо мной распростерлось огромное Море Ясности, я получил сзади по шлему чем-то так неожиданно, что даже подскочил. Это оказалась жестяная коробка из-под кекса, которым, видно, рабочие закусывали пиво. В базе слышали треск, и тут же посыпались вопросы, однако я соврал, сказав,

что собирался почесать голову, а поскольку она у меня находится в шлеме, то ударил в этот пузырь перчаткой. Я всегда стараюсь быть снисходительным и понимаю, что рабочие *должны* оставлять в ракете то да се. Так было, так есть и так будет. Я пролетел через зону внутреннего контроля без хлопот, — ее сателлитам было приказано с Земли пропустить меня. Хотя программа того не предусматривала, я несколько раз довольно резко включал тормоза, чтобы встрясти отовсюду все, что еще могло там остаться после монтажа и осмотра ракеты. Как огромная ночная бабочка затрепыхался журнал с комиксами, засунутый под шкаф запасной селенографической системы. Проведя молниеносную инвентаризацию — два раза пиво, раз кексы, раз комикс — я решил, что очередные неожиданности уже могут быть посерьезнее. Луну я видел как на ладони. Даже через двадцатикратный бинокль она выглядела мертвой, безлюдной и пустой. Я знал, что компьютерные системы секторов почивают в нескольких десятках метров под поверхностью морей, то есть огромных равнин, образованных некогда разливами лавы, а закопали их так глубоко, чтобы защитить от падающих метеоритов. Несмотря на это, с особым вниманием я вглядывался в Море Паров, Море Спокойствия и Море Плодородия (недурственная была фантазия у древних астрономов, которые так прелестно окрестили обширные каменные пустыни), а потом на втором витке в Море Кризисов и Море Холода, предполагая, что хоть какое-нибудь, пусть едва заметное движение мне обнаружить удастся. Бинокль был высшего класса, на склонах кратеров я мог пересчитать камни, во всяком случае, те, которые были размером с человеческую голову, но ничто нигде не шевельнулось, и именно это особенно интриговало меня. Где же те легионы вооруженных автоматов, те рои бронированных амёб, те колоссы и не менее смертоносные, чем они, лилипуты, уже столько лет беспрестанно рождающиеся в лунных подземельях? Ничего, только осыпи камней и кратеры — от громадных

до крошечных, размером с тарелку, радиальные борозды старой остекленевшей магмы вокруг Коперника, террасы Гюйгенса, на горизонте Платон и повсюду одинаковая, просто непонятная мертвенность. Вдоль экватора, обозначенного Фламстидом, Геродотом, Рюмкером и Заливом Росы, шла самая широкая полоса ничейной земли, и именно там мне предстояло высадиться первым дистантником, после того как корабль осядет на стационарной орбите. Место посадки точно установлено не было. Я должен был определить его сам после разведки всей экваториальной полосы, которая никому не принадлежала, а потому почти наверняка была безопасной. Конечно, никакой практической пользы от облета экваториальной зоны быть не могло. Чтобы выйти на стационарную орбиту, пришлось подняться выше, и после недолгого маневрирования огромный, залитый солнцем диск Луны начал перемещаться вниз все медленнее и медленнее. Когда он замер окончательно, точно подо мной был Фламстид, очень старый кратер, плоский и мелкий, почти по самые края засыпанный туфом. Я висел долго, не меньше получаса, раздумывая, с чего начать, и все еще вглядываясь в лунные осыпи. Дистантникам для посадки не нужны ракеты. Попросту на ногах у них размещены гироскопические тормозные дюзы, и я мог спуститься с нужной скоростью, регулируя только силу отдачи. Дюзы прикреплены к ногам так, чтобы их можно было отбросить одним движением после мягкой посадки вместе с пустым баком из-под горючего. С этого момента дистантник под моим контролем был брошен на произвол лунной судьбы, вернуться он уже не мог. Дистантник — не робот и не андроид. Он полностью лишен собственной смекалки, а является лишь как бы моим орудием, моим продолжением, не способным ни на какую инициативу, и все-таки неприятно было сознавать, что независимо от результатов разведки он обречен на гибель, что я должен буду бросить его на этом мертвом пустыре. Мне даже пришло в голову, что номер четвертый симулировал аварию, чтобы остаться

целым, потому что только ему удалось бы вернуться со мной на Землю. Глупейшая мысль, я ведь знал, что он, как и любой другой ЛЭМ, всего-навсего человекоподобная оболочка, но сама мысль свидетельствовала о моем психическом состоянии. Однако больше ждать было нечего. Я еще раз внимательно осмотрел серое плоскогорье, выбранное для посадки, оценивая расстояние до торчащих над каменными завалами северных скал Фламстида, затем переключил рули на автоматику и нажал клавишу номер один. Смена ощущений, хоть и ожидаемая и столько раз испытанная, была резкой. Я уже не сидел в глубоком кресле перед мерно помигивающими огоньками бортовых компьютеров, у подозрительной трубы, а лежал навзничь на койке, тесной, как гроб с откинутой крышкой. Я медленно приподнялся на локтях и увидел серый, матовый панцирь туловища, стальные бедра и голени с притороченными к ним кобурами тормозных ракет. Перекинул ноги и встал. Магнитные подошвы прилипли к металлическому полу. По сторонам, в напоминающих двухэтажные нары койках, таких же, как та, с которой я только что поднялся, неподвижно лежали корпуса других дистантников. Я слышал собственное дыхание, но не ощущал движений грудной клетки. Не без труда отрывая от стального пола то левую, то правую ступню, я подошел к поручню, окружающему люк, встал на крышку и обхватил себя руками, чтобы не задеть за обрез, когда меня толкнет сверху лапа пусковой установки и я рухну вниз, и принялся ждать отсчета. Через несколько секунд раздался бесцветный голос аппарата. «Двадцать до нуля... девятнадцать до нуля...», — считал я вместе с ним, теперь уже совершенно спокойный, зная, что возврата нет. Однако я инстинктивно напрягся, услышав «НУЛЬ», и одновременно что-то мягко, но с огромной силой толкнуло меня так, что через открывшийся в дне отсека колодец я полетел как камень и, подняв голову, успел на секунду увидеть темное тело корабля на еще более темном фоне неба с бесчисленными точечками

едва тлеющих звезд. Прежде чем корабль слился с черным небосводом, я почувствовал сильный толчок у ног, и тут же меня охватило белое пламя. Тормозные ракетки отработали, и теперь я падал медленнее, но все еще достаточно быстро, так как поверхность приближалась, словно притягивая меня, чтобы поглотить. Пламя было горячим, и я ощущал это через толстый панцирь как неравномерные волны тепла. Я все еще охватывал себя руками и, насколько возможно наклонив голову, глядел на серо-зеленоватые гряды камней и песчаные осыпи растущего на глазах Фламстида. Когда от поверхности засыпанного кратера меня отделяло не больше ста метров, я взялся за размещенную на поясе рукоятку, чтобы дозировать отдачу при все более медленном падении. Пролетел немного в сторону, чтобы обогнуть большой шероховатый камень и встать обеими ногами на песок, и тут что-то засветилось сверху. Я увидел это краем глаза, поднял голову и оторопел.

Метрах в десяти надо мной, выделяясь на фоне черного неба тяжелым белым скафандром, вертикально опускался человек, от ступней до пояса охваченный бледным пламенем тормозных ракет. Выпрямившийся, огромный, держа одну руку на рукоятке управления, он поравнялся со мной и опустился на грунт в тот же момент, что и я. Мы стояли в каких-нибудь пяти-шести шагах друг от друга, неподвижные, будто статуи, словно и он тоже одурел, увидев, что тут не один. Он был точно моего роста. Тормозные ракеты у коленей, уже погасшие, обдавали его огромные лунные ботинки последними порциями седого дыма. Застывший, он, казалось, смотрел мне в глаза, хотя я и не видел его лица за противосолнечным стеклом белого шлема. Мысли мои смешались. Сначала я подумал, что это дистантник номер два, выброшенный из грузового отсека вслед за мной из-за какой-то аварии, но, прежде чем эта мысль меня немного охладила, я увидел на грудной части его скафандра большую черную единицу. Такой же номер стоял и на моем скафандре, и дру-

гого скафандра с единицей в отсеке наверняка не было. Я мог поклясться. Совершенно автоматически я двинулся с места, чтобы заглянуть ему сквозь стекло шлема в лицо, а он одновременно сделал шаг в мою сторону, и, когда между нами оставалось уже не больше двух шагов, я остолбенел. Если б не охватывающая череп изоляция, волосы мои непременно встали бы дыбом: сквозь стекло шлема виднелись два маленьких, черных, нацеленных в меня прутика. Я инстинктивно попятился, так резко, что чуть было не потерял равновесие и не повалился на спину, забыв о необходимой здесь медлительности; он тоже отступил, и тут меня осенило. Я все еще, как и он, правой рукой держал рычажок управления отдачей. Он держал ее левой. Я медленно поднял руку, он повторил мое движение, я пошевелил ногой, он — тоже, и я уже начал понимать (хотя, собственно, ничего не понимал!), что он — мое зеркальное отражение. Чтобы убедиться, я, преодолевая внутреннее сопротивление, подошел к нему, а он ко мне, так что мы чуть не столкнулись грудными выпуклостями скафандров. Медленно, словно собираясь прикоснуться к раскаленному железу, я протянул руку к его груди, а он — к моей, я — правую, он — левую. Моя массивная перчатка с пятью пальцами углубилась в него без следа — просто исчезла, и одновременно его рука скрылась по запястье, погрузившись в мой скафандр. Теперь я уже не сомневался, что больше здесь нет никого и я стою перед собственным зеркальным отражением, хотя не вижу даже признаков какого-нибудь зеркала. Так мы стояли, замерев, но я уже смотрел не на него, а на торчавший за его спиной сероватый камень, который я только что миновал при посадке. Камень находился позади меня, я в этом был совершенно уверен, а значит, я видел не только собственное отражение, но и отражение всего вокруг. Тогда я начал искать глазами место, в котором зеркальное изображение кончалось бы — ведь где-то оно должно было кончиться и перейти в неровности плоских лунных холмов, однако никакого

шва, никакой границы не обнаружил. Не зная, как поступать дальше, я попятился, он тоже пошел задом, словно рак, пока мы не удалились друг от друга настолько, что он уже уменьшился в размерах, и тогда, не знаю почему, я, словно ничего не произошло, повернулся к нему спиной и двинулся вперед, прямо на низко стоящее солнце, которое, несмотря на противосолнечное стекло, сильно слепило меня. Я сделал несколько десятков шагов, покачиваясь по-утиному, чего невозможно избежать на Луне, остановился и взглянул назад. Он тоже стоял на вершине небольшого холма и, повернувшись боком, смотрел в мою сторону.

Дальнейшие эксперименты, собственно, были уже ни к чему. Я стоял, как столб, но в голове прямо-таки гудело от лихорадочных мыслей. Я вдруг только теперь сообразил, что никогда не интересовался, были ли вооружены разведочные автоматы, высланные на Луну. Никто об этом ничего не говорил, а я, осел, не задавал вопросов, потому что они как-то не приходили мне в голову. Если они были вооружены, да еще лазерами, то их молчание после посадки, их неожиданное исчезновение имело очень простое объяснение. В этом следовало убедиться, но как? Прямую связь я имел только с кораблем, висевшим высоко над головой, потому что он двигался по стационарной орбите с той же угловой скоростью, что и поверхность Луны. В действительности-то я находился на борту, а в кратере Фламстида стоял лишь в виде дистантника. Чтобы связаться с Землей, надо было включить передатчик, то есть внутренний датчик в скафандре, который я умышленно выключил, прежде чем покинуть корабль, чтобы во время посадки земные опекуны не мешали мне своими советами сосредоточиться, а они наверняка не пожалели бы их, если бы в соответствии с инструкцией я оставался в радиоконтакте с ними. Повернув рычажок на груди, я начал вызывать Землю. Я знал, что ответ придет с трехсекундным запозданием, но эти секунды показались мне вечностью. Наконец

я услышал голос Вивича. Он засыпал меня вопросами, но я велел ему молчать, сказав только, что опустил без помех и нахожусь на цели ноль-ноль-один, ничто на меня не напало, но о втором дистантнике не пикнул ни слова.

— Ответьте мне на один вопрос, это чрезвычайно важно,— сказал я, стараясь говорить медленно и равнодушно.— Те *дистантники*, которых вы посылали сюда раньше, были снабжены лазерами? Какими? Неодимовыми?

— Ты нашел их останки? Они сожжены? Лежат там? Где?

— Прошу не отвечать вопросами на вопросы,— прервал я.— Раз это мои первые слова с Луны, значит, они очень важны. Какие лазеры были у разведчиков? У Лона и того, второго? Одинаковые?

Минута тишины. Стоя неподвижно под черным тяжелым небом, рядом с неглубоким кратером, заполненным слежавшимся песком, я видел шнурок собственных следов, протянувшихся через три пологих холма к четвертому, у которого стояло мое отражение. Я не спускал с него глаз, одновременно прислушиваясь к неясным голосам в шлеме. Вивич просил информацию.

— У дистантников были такие же лазеры, как и у людей,— голос его прозвучал так резко, что я даже вздрогнул.— Модель Е-М-9. Девять процентов излучения в рентгеновском и гамма-диапазонах, остальное — голубые.

— Свет видимый? Ультрафиолет тоже?

— Тоже. Спектр не может резко прерываться. А что?

— Сейчас. Максимум эмиссии в надсветовой полосе?

— Да.

— Сколько процентов?

Опять тишина. Я терпеливо ожидал, чувствуя, как с левой стороны, там, где его освещало солнце, понемногу нагревается скафандр.

— Девяносто один процент в надсветовых полосах частот. Алло, Тихий. Что там происходит?

— Подожди.

В первый момент сообщение сбило меня с толку, я помнил, что эмиссионная характеристика лазерных ударов, уничтоживших наших разведчиков, была другой. Переместилась к красному. Или это все-таки не зеркало? Вдруг я сообразил, что отраженный луч не должен быть точно таким, как падающий. Даже при обычном стекле. Впрочем, о стекле тут не могло быть и речи. То, что отражало лазерные лучи, могло переместить их спектрально в сторону красного цвета. Сейчас я не мог требовать консультации с физиками. Отложил это на потом, стараясь отыскать в голове крохи забытых сведений из оптики. Переход высокоэнергетических излучений, таких, как рентгеновское или гамма-излучение, в видимый свет не требует дополнительного расхода энергии. Так что он осуществляется легче. Поэтому луч, попадающий на здешнее зеркало, был иным, нежели отраженный. Можно было придерживаться зеркальной теории, не призывая на помощь чудо. Это меня успокоило. Я принялся определять свое положение относительно звезд, как делал на полигоне. Милях в пяти к востоку раскинулся французский сектор, а значительно ближе, в неполной миле, у меня за спиной были границы американского. Следовательно, я находился на ничейной земле.

— Вивич! Слышишь меня? Говорит Луна.

— Да, Тихий! Не было никаких вспышек — почему ты спрашивал о лазерах?

— Вы меня записываете?

— Конечно. Каждое слово.

По голосу чувствовалось, как он нервничает.

— Внимание. То, что я скажу, очень важно. Я стою в кратере Фламстида. Смотрю на восток в сторону французского сектора. Передо мной зеркало. Повторяю: зеркало. Не какое-нибудь обычное, а нечто такое, в чем я отражаюсь вместе со всем находящимся вокруг. Не знаю, что это такое. Прекрасно вижу собственное отражение, то есть дистантника номер один на расстоянии

около двухсот сорока шагов. Отражение опустилось вместе со мной. Не знаю, как высоко простирается отражающая зона, потому что, опускаясь, я смотрел вниз, под ноги. Двойника заметил уже над самым кратером, очень близко. Он находился немного выше. И был крупнее, то есть выше ростом и толще, чем я. Вероятно, зеркало может увеличивать отражаемое изображение. Именно поэтому так называемые лунные роботы, которые прикончили дистантников, казались страшно толстыми. Я пытался прикоснуться к двойнику. Рука проходит насквозь. Никакого сопротивления. Будь у меня лазер и выстрелил я, со мной уже было бы покончено — я получил бы весь отраженный заряд. Не знаю, что будет дальше. Я не могу определить, где так называемое «зеркало» кончается и переходит в нормальную местность. Пока все. Сказал, что знаю. Сейчас больше сообщить нечего. Если будете сидеть тихо, не выключу радио, но если у вас языки чешутся, отключусь, чтобы не мешали. Отключаться?

— Нет. Нет. Прошу проверить...

— Прошу помолчать.

Я ясно слышал с трехсекундным запозданием, как он дышал и сопел в четырехстах тысячах километров надо мной. Я говорю надо мной, потому что Земля стояла высоко на черном небе, почти в зените, мягко-голубая среди звезд. Солнце же было уже низко, и, все еще глядя на своего двойника в белом скафандре, я видел длинную собственную тень, которую он отбрасывал на холмы. В наушниках немного потрескивало, а вообще-то стояла тишина. Я слышал в ней собственное дыхание, понимая, что дышу на борту корабля, а слышу тут, как будто собственной персоной стою рядом с Фламстидом. Мы готовы были к неожиданностям, но все же не на ничейной земле. Похоже было, что они применяют трюк с зеркалом, чтобы всякий живой или мертвый прикончил сам себя сразу же после посадки, даже не понюхав их лунного пороха. Хитро. Сообразительно. Больше того, интеллектуально, но что касается перспектив моей разведки —

скорее плачевно. Они наверняка приготовили еще немало неожиданностей. Откровенно говоря, я охотнее вернулся бы на борт, чтобы обдумать ситуацию и обсудить ее с базой, но я тут же отбросил такой вариант. Конечно, достаточно было одного движения главного штурвала, чтобы разбить предохранительное стекло на груди дистантника и бросить его, однако я это исключал. В дистантнике я был не в большей опасности, чем на борту. Искать источники возникновения зеркала? Допустим, найду, а что мне это даст? Отражение исчезнет. Больше ничего. Известно, что самые умные мысли приходят к человеку во время легкой прогулки. Я пошел, правда, не совсем прогулочным шагом, а скорее пьяным, лунным; сначала переставляя ноги, как на Земле, а потом уже совсем по-лунному, держа их вместе и прыгая, как воробей. Точнее, как большой мяч, который между прыжками долго летит над песчанистым грунтом. Отдалившись таким манером довольно далеко от места посадки, я остановился и глянул назад. Почти на горизонте увидел маленькую фигурку и снова осовел. Несмотря на большое расстояние, я увидел, что это уже не двойник в белом скафандре, а кто-то совершенно другой. Хрупкий, стройный, с горящей в лучах Солнца головой. Человек без скафандра на Луне! К тому же совершенно нагой. Робинзон Крузо, полагаю, так не изумился при виде Пятницы. Я быстро поднял обе руки, но существо не повторило моего движения. Оно не было моим отражением. У него были золотистые волосы, спадающие на плечи, белое тело, длинные ноги, и шло оно ко мне не спеша, как-то неохотно, и двигалось не утиным покачивающимся шагом, а грациозно, словно по пляжу. Подумав о пляже, я тут же понял, что это женщина. Точнее — девушка, блондинка, голая, словно в клубе нудистов. Она держала в руке что-то пестрое, большое и, прикрывая им грудь, приближалась, но шла не напрямую ко мне, а немного в сторону, будто хотела обойти меня на приличном расстоянии. Я уже чуть было не вызвал Вивича, но в последний момент прикусил язык.

Он не поверил бы. Подумал бы, что у меня галлюцинации. Я стоял не шевелясь, пытаюсь рассмотреть черты ее лица, отчаянно соображая, что если б знал, что делать, было бы просто прекрасно. Вопрос правдоподобия, достоверности органов чувств и так далее я уже отбросил, потому что если я и был в чем-то совершенно уверен, так только в том, что мне это не привиделось. Не знаю почему, но мне показалось, что все зависит от ее лица. Вот если б она была такой же, как та ложная Мэрилин Монро из приключения в итальянском ресторанчике, тогда я усомнился бы в состоянии собственных органов чувств, ибо каким же образом какие-то токи, волны, силы, черт знает что еще, могли проникнуть в мою память и выловить именно этот образ? Ведь я даже не стоял на здешнем мертвом грунте собственной персоной. В действительности я все еще сидел на корабле, пристегнутый ремнями к глубокому креслу у рулей, да, впрочем, если бы даже я был здесь сам, что могло так эффективно и точно проникнуть ко мне в мозг? Оказывается, думал я, невозможность тоже бывает разной — большей и меньшей.

Это была сирена с островов, мимо которых проплывал Одиссей. Смертельная приманка. Почему я так думал, не знаю. Я стоял, а она продолжала идти, наклоня время от времени обрамленное рассыпающимися волосами лицо, чтобы погрузить его в цветы, которые держала в руке (на Луне, где никто ничего никогда не сможет понюхать). Она не обращала на меня ни малейшего внимания. Независимо от того, как выглядели и действовали устройства лунной фата-морганы, они должны были функционировать логично как плод логических программ. Это могло стать точкой опоры. Чего-то ведь надо было придерживаться. Невидимое зеркало имело целью обезвредить любого вооруженного разведчика. Увидев противника, он прицелился бы, вначале только для самообороны, а не для выстрела, так как в его задачу входила разведка, а не нападение. Но когда мнимый противник тоже прицелился, разведчик стрелял, чтобы уцелеть, потому что, дав себя

безропотно уничтожить, не выполнил бы запрограммированного заранее задания. Я же этого не сделал. Не применил оружия. Зато вызвал Землю и сказал Вивичу, что вижу. Или мои слова подслушивали? Почти наверняка, нет. Хотя теперь, когда я об этом думаю, мне кажется чудовищной ошибкой, просто катастрофическим упущением во всем разведывательном проекте, что никто не подумал заблокировать от подслушивания связь Тихого с базой. Соответствующий преобразователь, встроенный в мое радио, передавал бы то, что я говорю и слышу с базы, в виде потока закодированных сигналов. Здешние компьютерные подземные арсеналы должны были знать человеческий язык, а если его первоначально и не знали, очень даже легко могли выучить, прослушивая Землю с десятками тысяч ее радиостанций. А если так, то столь же просто они могли принимать телевизионные программы, и именно из них, как Афродита из пены морской, родилась нагая девица. Логично, ничего не скажешь. Коли не робот — ведь не стреляет и даже не пытается толком исследовать собственного близнеца, а надо думать, с этого начал бы сразу любой после посадки — значит, человек. Ну, а раз человек, то наверняка мужчина, потому что люди на такую разведку вряд ли выслали бы первой женщину. Если же мужчина, то его ахиллесову пяту выдает любая телепрограмма. Эта пята — противоположный пол. Значит, в любом случае нельзя было приближаться к искусительнице, ибо это могло мне дорого обойтись. Как дорого, я не знал, но предпочитал опытным путем не выяснять. О правильности такого рассуждения свидетельствовала ее внешность — лицо сирены, потому что историю с той, другой, хотя тоже блондинкой, не мог знать никто. Ее скрывала абсолютная тайна. Или у каких-то лунных оружейников были союзники в Лунном Агентстве? Пока что я это исключал.

Она шла медленно, и у меня было достаточно времени на лихорадочные размышления, но теперь нас уже разделяли всего несколько десятков шагов. Она ни разу

не взглянула в мою сторону. Я пытался разглядеть, оставляют ли ее босые ноги следы на песке (ведь мои ботинки оттискивали на нем каждый шаг), но ничего не увидел. Оставляй она следы, было бы хуже, еще хуже, это означало бы просто поразительное совершенство фата-морганы. Зато я видел ее лицо и вздохнул с облегчением. Это была не Мэрилин Монро, хотя ее черты показались мне знакомыми, вероятно, по какому-то фильму. Скорее всего, лицо украли у какой-то актрисы или другой красотки, потому что оно было не только молодо, но и прекрасно. «Лунная сирена» шла все медленнее, словно не могла решить, остановиться ли и присесть, а может, даже прилечь на солнце, словно на пляже. Она больше не прикрывала грудь цветами. Просто держала букет в опущенной руке. Осмотрелась, нашла большой, слегка наклонный камень с гладкой поверхностью, присела на него, а цветы выпустила из рук. Странно выглядели эти красные, желтые и голубые цветы на фоне мертвого, серо-белого пейзажа. Она сидела боком, а я с таким напряжением, что у меня вот-вот были готовы закипеть мозги, думал, чего ее создатели или хозяева ожидают сейчас от меня как человека и поэтому чего именно я не должен делать. Если б я сообщил Вивичу, кого встретил, это было бы, пожалуй, то, чего *они* хотели, потому что мне не поверил бы ни он и никто другой в центре, о чем, разумеется, и не сказали бы. Решив, что я галлюцинирую, они велели бы бросить дистантника номер один как ненужную уже скорлупу и тем самым вернуться на борт, чтобы нащупать цель номер ноль-ноль-два либо три на другом полушарии Луны и повторить процедуру посадки заново, а перед тем устроили бы консилиум психиатров, чтобы решить, какое снадобье спятивший Ийон Тихий должен отыскать в бортовой аптечке. Аптечка была полнехонька, но я в нее даже не заглянул. Потеряв доверие земных патронов, я тем самым на девяносто девять процентов провалил бы разведку, а это наверняка отвечало намерениям авторов фата-морганы, потому что прикрывало их деятельность

от Земли так же успешно, как предыдущее уничтожение спутникового контроля Луны. Значит, я не должен был обращаться на базу. Флирт тоже, скорее всего, не входил в расчет. Им, надо думать, известно о людях достаточно, чтобы не ожидать, что живой разведчик в скафандре начнет волочиться в лунном кратере за голой девицей. Однако мне наверняка захотелось бы подойти к ней, чтобы осмотреть вблизи, убедиться в ее материальности. В конце концов она и могла быть в высшей степени материальной, то есть не просто голографическим изображением, а реальным созданием. Конечно, она не была настоящей девушкой, но, коснувшись ее, я мог уже не пережить прикосновения. Мина, усовершенствованная на основе присущего человеку полового влечения. Я попал в недурственное положение. Сказать базе, что произошло — плохо, не сказать — тоже скверно, а вплотную заняться сиреной — и опасно и глупо. Значит, следовало сделать то, чего ни один мужчина, на Земле ли, на Луне ли, наверняка не сделает, увидев юную, ладную блондинку голышом. Сделать то, что не предвидела программа ловушки. Осмотревшись, я отыскал неподалеку большой валун, собственно, расколовшийся надвое скальный обломок, за которым мог укрыться, и с вождением глядя на девицу, будто не ведая, куда иду, подошел к камню, и, как только оказался за ним, мои движения стали молниеносными. Я поднял большой камень, который на Земле весил бы килограммов пять, настоящую шероховатую буханку, и взвесил его на руке. Он был твердым и легким, как окаменевшая губка. «Бросить в нее или не бросать, вот в чем вопрос», — подумал я, глядя на сидящую. Опершись спиной о наклонную стенку валуна, она, казалось, принимает солнечную ванну. Я прекрасно видел розовые сосочки ее груди и то, что груди были белее живота, как у женщины, которая обычно загорает в бикини. В голове у меня прямо-таки кипело. Представьте себе реакцию командира, которому артнаблюдатель сообщает по полемому телефону, что на его глазах орудия не-

приятельской батарее превращаются в новорожденных или в люльки. Если бы они попросту прервали мне радиосвязь, на базе уже по крайней мере знали б, что Тихий в затруднительном положении, но, сообщив я, что прячусь от голой блондинки, это означало бы, что я спятил... при действующей связи. Черт побери. Не придумав ничего лучше, я кинул в нее камнем. Он летел медленно, казалось, бесконечно, попал ей в руку, пробил ее навывел и зарылся в песок у ее босых ног. Я ожидал взрыва, но его не последовало. Я заморгал, и вдруг она исчезла. Секунду назад еще сидела, накручивая на палец прядь светлых волос, упираясь локтем в поднятое колено, а в следующий момент — ее уже не было. Даже следа ее тела. Только брошенный мною камень медленно перевернулся, прежде чем замереть, а маленькое облачко поднявшегося песка опало на черную поверхность. Я опять был одинок как перст. Я встал, сначала на колено, потом во весь рост. Тут заговорил Вивич. Видимо, уже не мог вынести дальше моего молчания. По его голосу я понял, что они наблюдали за всей сценой по видео. Ведь облако микропов висело где-то надо мной.

— Тихий! Пропало изображение! Что случилось?

— У вас нет изображения?.. — медленно спросил я.

— Нет. Сорок секунд назад были помехи. Техники думали, в нашей аппаратуре, но уже проверили. Здесь все в порядке. Смотри внимательнее, ты должен их увидеть.

Он имел в виду микропы. Они маленькие, как мушки, но на солнце их действительно видно на большом расстоянии, потому что тогда они блестят, как искорки. Я обвел глазами всю противоположную Солнцу сторону черного неба, но не заметил ничего. Зато увидел нечто другое, более странное. Пошел дождь. Редкие, маленькие темные капельки падали то ближе, то дальше на песок. Одна скользнула по шлему, и, прежде чем упала, я успел ее схватить. Это был микроп, почерневший, словно превращенный жаром в маленькую каплю металла. А дождь про-

должался, хотя все более редкий. Я сказал об этом Вивичу. Спустя три секунды услышал проклятия.

— Сплавлены?

— Похоже на то.

Логично. Если маневр с девушкой был задуман как подрыв достоверности моих сообщений, Земля не могла ничего знать.

— Что с запасными? — спросил я.

Микропы находились под непосредственным контролем техников. Их движения не зависели от меня. На корабле было четыре дополнительных комплекта микропов.

— Второй уже выслан, жди!

Вивич говорил, обращаясь к кому-то и отвернувшись от микрофона, я слышал только далекие голоса.

— Выпущены две минуты назад, — сказал он, тяжело дыша.

— Изображение есть?

— Да. Эй, там, сколько на телеметрах? Мы уже видим Фламстид. Тихий, они спускаются вниз. Сейчас и тебя... что такое?

Правда, вопрос был адресован не мне, но я мог бы ответить, потому что опять пошел дождь из расплавленных микропов.

— Радар! — кричал Вивич, не мне, но так громко, что я прекрасно его слышал. — Что? Разрешающая способность недостаточна? Ах, так... Тихий, слушай! Мы видели одиннадцать секунд, сверху. Теперь опять ничего нет. Говоришь, расплавлены?

— Да. Как на сковороде. Но сковороду здорово подогревали. Получились одни черные шкварки!

— Попробуем еще раз. Со шлейфом.

Это означало, что за микропами первой волны пошлют вторую, чтобы те наблюдали за судьбой летящих впереди. Я ничего от их усилий не ожидал. Здесь уже знали микропов по предыдущим разведкам и умели за них взяться. Каким-нибудь индукционным подогревом, зоной, в которой любая металлическая частичка разогре-

валась от вихревых токов Фуко. Насколько я помню школьную физику. Впрочем, механизм деструкции был для меня не самым главным. Микропы оказались не пригодны, хотя и были прекрасно защищены от радарного обнаружения. Новый, усовершенствованный тип. Созданные на принципе глаза насекомого, рассыпанного так, что его элементарные омматидии* занимали площадь больше восьмисот квадратных метров. Получаемое изображение было голографическим, трехмерным, цветным и резким даже в том случае, если бы три четверти комплекта ослепло. Видимо, Луна прекрасно разбиралась в таких штучках. Sensация не из приятных, хотя ее можно было ожидать. Если вообще что-то и составляло для меня загадку, так только то обстоятельство, что я все еще цел и невредим. Если им так легко удалось смахнуть микропов, то почему и меня не могли прикончить после посадки, когда провалилась затея с зеркальной ловушкой? Почему не перерезали мою связь с дистантником? Правда, телематики утверждали, что практически это невозможно, потому что канал управления весь помещается в диапазоне сверхжестких космических излучений. Этакая невидимая игла, протянувшаяся от корабля к дистантнику, настолько «твердая», как они выразились, что реагировала она, пожалуй, только на гравитационное поле «черной дыры». Магнитное же поле, которое могло бы согнуть или разорвать такую «иглу», требовало мощности в биллионы джоулей. Иначе говоря, пространство между кораблем и дистантником надо было бы заполнить мега- или гигатоннами материи, как бы поддерживая над Луной раскрытый в виде зонта экран термоядерной плазмы. Они либо не могли, либо пока не хотели этого делать.

Может быть, их сдержанность была продиктована не отсутствием средств, а стратегическим расчетом.

* Омматидии — отдельные глазки (ячейки) фасеточного глаза насекомого.

Если разобраться, на Луне до сих пор еще ничто не нападало на разведчиков, будь то автоматы или люди. Они уничтожали себя сами, первыми применив оружие, когда стреляли в собственные отражения. Получалось, что мертвые обитатели Луны решили держать оборону. Такая тактика определенное время могла себя оправдывать. Дезориентированный противник со стратегической точки зрения находится в худшем положении, нежели тот, который уже знает, что на него нападают. С таким трудом обдуманная доктрина неведения как гарантия мира оборачивалась издевкой и опасностью для ее изобретателей.

Наконец Вивич отозвался. Третий комплект микропов добрался до меня невредимым. Я снова появился на экранах. Быть может, подумал я, *они* просто хотели ослепить базу на время игры в фата-моргану. Впрочем, я терялся в догадках. В конце концов даже простое подслушивание земных радиопередач должно было доносить до Луны вести о растущем на Земле чувстве опасности. Панические настроения, подогреваемые значительной частью прессы, передавались не только общественному мнению, но и правительствам. Однако все понимали, что, если возобновить создание термоядерных ракет для удара по Луне, это одновременно будет означать конец мира на Земле. Поэтому либо вот-вот должен был осуществиться удар, направленный на человечество, либо на Луне творилось что-то совершенно непонятное. Вивич вызвал меня снова, чтобы предупредить о начале массовой бомбардировки микропами. Они должны были прилетать группами, волна за волной, не только с моего корабля, но и со всех четырех сторон света — наши решили пустить в ход резервы, складированные под Сферой Молчания. Я и не знал, что они там есть. Я уселся посреди мертвой пустыни и, немного откинувшись назад, уставился в черное небо. Корабля я видеть не мог, но увидел микропы, небольшими блестящими облачками мчавшиеся и сверху, и от горизонтов. Часть повисла надо мной, поднимаясь,

колеблясь и поблескивая, словно рой золотистых мушек, беззаботно резвящихся на солнце. Другие, образующие как бы тылы, можно было увидеть, лишь когда какая-нибудь из неподвижно светящихся звезд помигивала и на мгновение угасала, заслоненная облаком моих микроскопических стражей. На Земле меня видели на всех экранах сверху, анфас и в профиль. Надо было встать и отправляться дальше, но меня охватила полнейшая апатия. Медлительный, неуклюжий в своем тяжелом скафандре, я был в противоположность микропам прекрасной целью даже для стрелка с бельмом. Почему, собственно, я со своей вынужденной медлительностью должен был быть, так сказать, передовой частью разведки? Почему микропы не могли стать моими летучими разведчиками? База согласилась. Мы изменили тактику. Рои золотистых комаров поплыли надо мной широким фронтом к лунному Уралу.

Я шел, внимательно оглядываясь по сторонам. Находился я на плоской волнистой равнине, среди бесчисленных маленьких кратеров, засыпанных почти по края. В одном из песка торчало что-то вроде толстой засохшей ветки. Я взялся за нее и потянул так, словно вырывал из грунта глубоко вросший корень. Помог себе маленькой саперной лопаткой, которую носил притороченной сбоку, и из-под сыпучего песка выглянуло покореженное жаром железо. Это мог быть остаток одной из многочисленных примитивных ракет, которые разбивались о скалы еще в начале освоения Луны. Базу я вызывать не стал, зная, что благодаря микропам они видят мою находку. Я продолжал тянуть странно перекореженные прутья, пока не показалась более толстая ножка, а под ней не блеснул более яркий металл. Все выглядело не очень многообещающе, но коли уж я взялся за корчевку, то продолжал тянуть все сильнее, не опасаясь, что одна из острых проволок проткнет скафандр, потому что я обходился без воздуха, иначе говоря, разгерметизация мне ничем не грозила. Однако что-то вдруг изменилось.

Сначала я не сообразил, почему мне трудно удерживать равновесие. Но тут почувствовал, что мой левый ботинок словно клещи прихватили плоские и выгнутые наподобие подков зажимы. Я попытался его вырвать, решив, что запутался сам, но зажимы держали крепко, и даже острие лопатки не могло их раздвинуть.

— Вивич на месте? — спросил я. Он ответил спустя три секунды. — Похоже, они поймали меня, словно барсук, — сказал я. — Очень похоже на капкан.

Положение было глупейшим. Я попался в примитивную ловушку и не мог из нее выбраться. Микропы, словно взбудораженные мухи, окружили меня, а я дергался как паралитик, пытаюсь высвободить ногу из захлопнувшихся челюстей капкана, в которых ботинок сидел, как в тисках.

— Возвращайся на борт, — предложил Вивич, а может, кто-то из его ассистентов — голос был вроде бы другой.

— Если из-за этого всякий раз бросать дистантников, то недалеко же мы продвинемся, — сказал я. — Надо перерубать!

— У тебя есть карборундовая пила.

Я отстегнул прикрепленный к бедру плоский футляр. Действительно, в нем была миниатюрная дисковая пила. Я подключил ее к скафандру и наклонился. Из-под вращающегося диска брызнули искры. Челюсти, державшие ботинок, уже начали раскрываться, разрезанные почти до конца, когда я почувствовал ногой через материал ботинка нарастающее тепло. Напрягшись, я вырвал ногу из захватов и увидел, что металлическое утолщение, похожее на большую картофелину, из которого выступали корневидные прутья, раскаляется, словно от невидимого пламени. Белый пластик ботинка уже почернел и лущился от жара. Я сделал последнее усилие и, неожиданно освободившись, отлетел назад. Меня ослепила кустистая вспышка, я почувствовал резкий удар в грудь, услышал, как трещит пустой скафандр, и на

мгновение погрузился в непроницаемую тьму. Не потерял сознания, просто меня окружил мрак. Спустя мгновение я услышал голос Вивича.

— Тихий, ты на борту. Отзовись! Первому дистантнику каюк!

Я заморгал. Сидел я в кресле, опираясь о подголовник, со странно подогнутыми ногами и держался за грудь там, где секунду назад почувствовал резкий удар. Собственно, боль, как я только сейчас сообразил.

— Это была мина?..— спросил я удивленно.— Мина, соединенная с самозахватом? Неужто ничего поинтереснее они придумать не могли?

Я слышал голоса, но со мной не разговаривал никто. Кто-то спрашивал о микропах.

— Нет изображения,— сказал какой-то другой голос.

— Не понял. Всех уничтожил взрыв, что ли?

— Это невозможно.

— Не знаю, возможно или нет, но изображение — тю-тю!

Я все еще глубоко дышал, словно после долгого бега, всматриваясь в диск Луны. Весь кратер Фламстид и равнину, на которой я так глупо потерял дистантника, можно было прикрыть одним ногтем.

— Что с микропами? — проговорил я наконец.

— Не знаем.

Я взглянул на часы и удивился: почти четыре часа я провел на Луне. Приближалась полночь по корабельному времени.

— Не знаю, что думаете вы,— сказал я, не скрывая зевоты,— но с меня на сегодня достаточно. Иду спать.

VI. Вторая разведка

Проснулся я отдохнувшим и тут же вспомнил события прошедшего дня. После хорошего душа всегда думается лучше, поэтому я настоял на том, чтобы иметь на

борт туалета с настоящей водой, а не влажные полотенца, которые нищенски заменяют воду. Правда, о ванне нечего было и мечтать. Вместо нее у меня была емкость размером с бочку, вода била струями с одной стороны, а с противоположной ее всасывал сильный ток воздуха. Чтобы не задохнуться под слоем воды, растекающейся в невесомости по всему телу и лицу, перед омовениями я вынужден был надевать кислородную маску. Было весьма неудобно, но уж лучше такой душ, чем никакого. Как известно, когда построить ракету стало уж проще простого, астронавтов мучали неполадки в клозетах, и техническая мысль долго еще билась о стенку головы, прежде чем отыскала решение этой шарады. Анатомия человека трагически не годна для космических условий. Этот крепчайший орешек сгонял сон с вежд астротехников, но несколько не волновал авторов научной фантастики, которые, словно бестелесные духи, попросту его не замечали. Ну, с малой нуждой еще полбеда, правда, только у мужчин. Проблему же большой удалось разрешить, лишь использовав соответствующим образом запрограммированные компьютеры, так называемые дефекаторы, у которых была лишь одна слабая сторона: когда они ломались, возникала драматическая ситуация и тогда уж каждый — спасайся как можешь. В моем лунном модуле это, как ни странно, был чуть ли не единственный компьютер, который от начала до конца работал как швейцарские часы, да будет мне позволено воспользоваться столь хвалебной метафорой. Умытый и освеженный, я выпил кофе из пластиковой груши, закусывая бабкой с изюмом под воронкой сильного эксгаустера*, включенного на полную мощность, так как я предпочитал пожертвовать крошками, нежели задохнуться или подавиться изюминками. Я не из тех, кто отказывается от привычек по любому незначительному поводу. Подкрепившись как следует, я уселся в кресло перед селенографом и, поглядывая

* Эксгаустер — вытяжной вентилятор.

на глобус Луны, принялся не без приятности размышлять, зная, что никто не станет мне навязываться в советчики, потому что я не уведомил базу о том, что проснулся, и там, конечно, думали, что я еще сплю. Зеркальный феномен и нагая девица, несомненно, представляли собою две фазы в попытке установить, кто опустился, и, вероятно, удовлетворили того или то, что уготовило мне такой прием, ибо потом я уже мог лазить по Фламстиду, не подвергаясь ни нападению, ни искушению призраками. Капкан, который оказался миной, в этой картине сидел как бревно в глазу. С одной стороны, *они* прилагают столько усилий, дабы вызвать миражи на ничейной земле, действуя на расстоянии, как того требует ее неприкосновенность, а с другой — закапывают там мины-ловушки, что, вместе взятое, выглядело так, будто я оказался перед армией, вооруженной радарам дальнего обнаружения и палицами. Правда, мина могла остаться от прежних времен, а ни я и никто другой понятия не имели, что творилось на Луне за многие годы полной изоляции. Не разрешив загадки, я взялся за подготовку следующей разведки. Вполне исправный ЛЭМ 2 был детищем фирмы «Дженерал Телетроникс» и сильно отличался от бедняги, которого я так неожиданно потерял, поэтому, прежде чем стать им, я спустился в грузовой отсек, чтобы осмотреть его как следует. Это, насколько я понял, был силач из силачей, такие толстые у него были ноги и руки, соответственно — широкие плечи, тройной панцирь, глухо загудевший, когда я постучал по нему пальцем, а кроме визиров в шлеме у него было шесть дополнительных глаз на спине, на бедрах и на коленях. Чтобы обшелкать конкурентов, запроектировавших первого ЛЭМа, «Дженерал Телетроникс» снабдила свою модель двумя системами специальных ракетных комплексов: кроме тормозных, отбрасываемых после посадки, у бронированного атлета были намертво закрепленные дюзы в пятках, под коленями и одна даже между ягодицами, что должно было — как значилось в инструкции, полной

самовосхваления,— обеспечивать равновесие и, кроме того, позволяло производить восьмидесяти- или стащестидесятиметровые прыжки. Вдобавок ко всему панцирь блестел, как чистая ртуть, чтобы с него соскальзывал луч любого светового лазера. Я в общих чертах помнил, сколь распрекрасен этот ЛЭМ, но не скажу, чтобы меня очаровал его осмотр, ибо чем больше визиров, глаз, индикаторов, дюз, вспомогательных приспособлений, тем большего внимания они требуют, а у меня, человека вполне стандартного, было не более конечностей и органов чувств, чем у любого другого. Вернувшись в кабину, я для пробы включился в этого дистантника, и встав им, а вернее, уже собой, на выпрямленные ноги, познакомился с его безобразно сложным управлением. Кнопка, позволяющая делать большие прыжки, имела форму средних размеров пряника, из которого выходили соответствующие провода, а взять его надлежало в рот. Как же в таком случае разговаривать с базой, ежели у тебя такая, с позволения сказать, кнопка во рту? Оказывается, эластичный пряничек можно было смять пальцами, как пластилин, и вложить за щеку, а достать и надкусить лишь в случае надобности. Однако, если положение было особенно напряженным, я мог, поясняя инструкция по использованию, все время держать кнопку между зубами, остерегаясь только того, чтобы не прикусить ее слишком сильно. О том, можно ли щелкать зубами в случае неожиданного возбуждения, там не было ни слова. Я полизал кнопочку. Вкус у нее был такой, что я сразу ее выплюнул. Сдается, хотя не присягну, на земном полигоне ее чем-то мазали, скорее всего апельсиновой или мятной зубной пастой. Выключив дистантника, я поднялся на более высокую орбиту и помчался вокруг Луны, чтобы нащупать цель номер ноль-ноль-два между Морем Пены и Морем Смита, уже в меру вежливо беседуя с земной базой. Я летел спокойно, как убаготворенное дитя в коляске, пока что-то странное не начало твориться с селенографом. Прекрасный аппарат, пока он действует. Чтобы не во-

зиться с настоящим глобусом Луны, его заменили трехмерным голографическим изображением — вся огромная Луна потихоньку вращалась у меня перед глазами на расстоянии метра, причем прекрасно были видны рельеф, границы секторов и названия их владельцев, так что одно за другим проплывали принятые во всем мире сокращения, которыми обозначаются автомобили: US, G, I, F, SU, S, N и так далее. Однако в один прекрасный момент что-то испортилось, секторы начали переливаться всеми цветами радуги, потом оспинки больших и малых кратеров помутнели, изображение задрожало, а когда я кинулся к регуляторам, восстановилось, но уже в виде девственно белого гладкого шара. Я менял резкость фокусировки, увеличивал и уменьшал контрастность с тем результатом, что спустя некоторое время Луна появилась, но вверх ногами, а потом исчезла вовсе, и никакой силой я уже не мог заставить селенограф действовать нормально. Я сообщил Вивичу и, естественно, услышал, что я что-то не так покрутил. После моего сакраментального, повторенного десяток раз утверждения, что «у меня серьезная проблема», ибо так говорится со времен Армстронга, спецы занялись моим голографом, на что у них ушло полдня. Вначале мне велено было подняться и выйти над Сферой Молчания для того, чтобы исключить помехообразующее влияние каких-то неведомых сил или волн, направленных на меня с Луны. Когда это не помогло, они принялись проверять все интегральные и не интегральные схемы в голографе непосредственно с Земли, я же тем временем приготовил себе второй завтрак, а потом и обед. Приготовить хороший омлет в невесомости затруднительно, потому я снял шлем и наушники, чтобы мое внимание не отвлекала перебранка информатиков и телетроников со специально созданным штабом профессоров. После долгих дебатов оказалось, что голограф *испорчен*, и хотя было известно, какая микросхема отказала, именно ее-то у меня в резерве нет, а посему сделать ничего не удастся. Мне посоветовали поискать обыч-

ные, отпечатанные на бумаге лунные карты, липкой лентой приклеить их к экранам и таким путем выйти из затруднения. Карты я нашел, но не все. Оказалось четыре экземпляра первой четверти Луны, именно той, на которой я уже испытал некие приключения, а остальных — ни следа. Замешательство было что надо. Мне порекомендовали искать получше. Я перевернул ракету вверх дном, но кроме маленького порнокомикса, брошенного техниками обслуживания во время последних приготовлений перед стартом, нашел только словарь слэнга американских гангстеров пятого поколения. Тогда база разделилась на два лагеря. Одни считали, что в таких условиях продолжать миссию нельзя и я должен вернуться, другие же хотели отдать решение мне на откуп. Я присоединился ко второму лагерю и решил опуститься там, где это предусматривалось. В конце концов они могли передавать мне изображение Луны по видео. Изображение было терпимым, но они как-то не могли синхронизировать его с моей орбитальной скоростью и показывали поверхность Луны, то мчащуюся во весь опор, то почти неподвижную. Что еще хуже, садиться мне предстояло на самом краю видимого с Земли диска, а потом двинуться на другую сторону, и тут возникла новая проблема. Они не могли передавать телевизионное изображение напрямую, когда корабль висел над обратной стороной Луны, впрочем, это была бы мелочь, так как передавать изображение можно было через спутники внутренней системы контроля, а они не хотели. Не хотели же по той причине, что о такой возможности как-то раньше никто не подумал, а спутники эти были запрограммированы исходя из доктрины неведения, то есть не могли ничего передавать ни с Земли, ни на Землю. Ничего. Правда, имея в виду поддержание связи со мной и моими микропами, на высокой орбите поместили так называемые спутники-тройняцы, но они не были приспособлены для передачи телевизионных изображений. То есть были, но только изображений, высланных микропами. Об этом страшно

много говорили, пока наконец в безвыходной ситуации кто-то не предложил устроить на базе brain storming*; говоря по-простому, brain storming — это импровизированное совещание, когда каждый может выдвигать самые смелые, совершенно невероятные гипотезы и концепции, а другие стараются его пережеголять. Если говорить еще проще, то речь идет о том, чтобы плести что кому на ум пришло. Этот brain storming длился четыре часа. Болтали ученые до одурения, страшно меня утомили, как-то невольно отклонились в сторону, и уже их интересовало не то, как мне помочь, а кто виноват, не подумав о нормальном изготовлении голографической имитации. Как обычно, когда действуют коллективно, плечом к плечу, виновного не было, они перекидывались упреками как мячом, и в конце концов я бросил свои три гроша, заявив, что буду все решать сам. Я вовсе не видел в этом лишнего риска, ибо он и без того был уже так велик, что одна дробинка ничего не меняла, кроме того, вопрос, буду ли я садиться в секторе US, SU, F, G, E, I, C, CH или под другой буквой, носил чисто академический характер. Само понятие национальной или государственной принадлежности роботов, неведомым по счету поколением заселяющих Луну, было пустым звуком. Как вам известно, а может, и не известно, наиболее сложным при создании лунного вооружения оказалось запрограммировать его так, чтобы оно нападало только на противника. На Земле с этим никогда не было трудностей — для того существуют мундиры, опознавательные знаки на крыльях самолетов, флаги, форма касок, да, впрочем, нетрудно установить, говорит ли пленный солдат по-голландски или по-китайски. С автоматами другое дело. Поэтому возникли две доктрины под дифференциальным девизом FORF, то есть Friend or Foe**. Первая рекомендовала использовать датчики, аналитические фильтры, диффе-

* Мозговой штурм (англ.).

** Друг или враг (англ.).

ренциальные селекторы и подобные диагностические устройства, вторая же отличалась выгодной простотой: враг — это *кто-то другой*, и тем самым все, что не отвечало должным образом на пароль, следовало атаковать. Однако никто не знал, какое направление приняла самостоятельная эволюция оружия на Луне, а значит, что там делают тактически-стратегические программы, чтобы отличить союзника от противника. Впрочем, из истории известно, что эти понятия весьма относительные. Кто очень уж интересуется, может, порывшись в метрических книгах и других документах, установить, была ли у некой особы арийская бабушка, но уже не в состоянии определить, был ли ее предком в эоцене синантроп или скорее палеопитек. Кроме того, автоматизация армий ликвидировала идеологические проблемы. Робот старается уничтожить то, на что его нацелила программа, и делает это в соответствии с методом фокализационной оптимизации, дифференциального диагностирования, а также математических правил теории игр и конфликтов, а вовсе не из-за патриотизма. Так называемая милитарная математика, возникшая в связи с автоматизацией всех видов оружия, имеет не только своих великих творцов и сторонников, но также еретиков и отступников. Первые утверждали, что есть программы, обеспечивающие стопроцентную лояльность боевых роботов, и нет такой силы, которая могла бы их перевербовать, чтобы они оказались абсолютными предателями, другие же уверяли, что таких гарантий не существует. Как всегда, когда проблемы были не по мне, я и теперь руководствовался здравым смыслом. Нет ни шифра, который невозможно было бы разгрызть, ни кода, настолько секретного, чтобы никто не мог его обратить в свою пользу, как о том свидетельствует история компьютерных преступлений. Сто четырнадцать программистов ограждали «Манхэттен чейз бэнк» от вторжения посторонних в его вычислительные средства, а потом прыткий паренек с карманным компьютером в руке, пользуясь обычным теле-

фоном, играючи, влез в глубь секретнейшей программы и, как говорится, попереставил балансы на третью сторону. Как заправский медвежатник, который определенным, весьма драматическим образом оставляет на месте своей деятельности следы собственной личности, чтобы разъярить следственные органы, так и студент ввел в сверхсекретную банковскую программу в качестве визитки приказ: когда аудиторы начнут проверять баланс, перед каждым *есть* и *следует* компьютер должен отстукать «ку-ку». Конечно, теоретики программирования не дали себя «обкукукать», а сразу же придумали другую, еще более сложную программу, которую невозможно взломать. Не помню уж, кто и с этим справился. Впрочем, сказанное не имеет отношения ко второму этапу моей смертоубийственной миссии.

Не знаю, как назывался кратер, в котором я опустил-ся. С севера он немного напоминал Гельвеций, но с юга казался как бы другим. Я высмотрел себе вторую площадку с орбиты, причем наобум. Может, когда-то это была ничейная земля, а может, и нет. Конечно, можно было установить координаты, поиграв с астрографом и замеряя всяческие склонения, наклонения и так далее, но я предпочел оставить это на десерт и хорошо сделал. ЛЭМ 2 был гораздо маневреннее, чем я предполагал со свойственной мне подозрительностью, пытаюсь, как всегда, найти былинку в глазу, но у него был один несомненный минус: климатизацию в нем можно было установить либо до упора вперед, либо на полную катушку назад. Вероятно, я как-нибудь сладил бы с постоянными перескоками от печи к холодильнику и обратно, если б речь шла просто о климатизации скафандра, но дефект не имел с нею ничего общего. Ведь я продолжал сидеть в корабле и мог блаженствовать в его умеренной температуре, но не в порядке было что-то в сенсорах этого ЛЭМа, и он раздражал мою кожу то кажущимся теплом, то холодом. Не видя другого выхода, я каждые несколько минут передвигал рычажок

переключателя. Если б корабль перед стартом не стерилизовали, я наверняка бы загрипповал. Ну, а так только заработал насморк, его-то вирусы каждый носит в носу всю жизнь. Сначала я сам не знал, почему так долго вожусь с посадкой, ведь явно же не из-за страха, и наконец понял настоящую причину. Я не знал названия посадочной площадки. Можно подумать, будто название имело какое-то значение, но факт остается фактом. Вероятно, этим объясняется то рвение, с каким астрономы крестили каждый кратер Луны и Марса и были страшно опечалены, когда на других планетах обнаружили столько гор и впадин, что для них уже не нашлось приличных названий.

Местность была плоская, только на северном горизонте на фоне черного неба выделялись светло-пепельные зубья стройных скал. Песка было сверх меры, и я шел, тяжело переставляя ноги и время от времени проверяя, сопровождают ли меня микропы. Они висели так высоко, что только временами поблескивали, словно искры, быстрым движением отличаясь от звезд. Я находился недалеко от терминатора, границы дня и ночи, но темная половина лунного диска была впереди, где-то за горизонтом, отстоящим мили на две отсюда. Солнце, очень низкое, касающееся огромным диском горизонта за моей спиной, покрывало плоскогорье длинными параллельными тенями. Каждое углубление, даже небольшое, заполнял такой мрак, что я окунался в него, словно в воду. Попеременно погружаясь то в холод, то в жару, я упорно шел вперед, прямо на собственную огромную тень, которая превращала меня в истинного гиганта. Я мог разговаривать с базой, но не было о чем. Вивич каждые две минуты вопрошал, как я себя чувствую и что вижу, а я неизменно отвечал, что прекрасно и что ничего. На вершине покатого холма лежали стопкой довольно большие плоские камни, а направлялся я к ним потому, что увидел там какой-то металлический блеск. Блестела массивная на взгляд, пустая оболочка ка-

кой-то старой ракеты, вероятно, еще времен первых запусков на Луну. Я поднял ее и, осмотрев, бросил. Пошел дальше. На самой вершине холма, где почти не было мелкого песка, который так мешал идти, отдельно от других лежал камень, похожий на плоскую скверно выпеченную буханку хлеба, и, не знаю почему, мне захотелось пнуть его ногой. Может, от скуки, а может, потому, что он лежал в одиночестве. Я и пнул его, однако он, вместо того чтобы скатиться со склона, треснул, но так, что отскочил только кусочек размером с кулак, и поверхность разлома заблестела, как чистый кварц. Правда, мне в голову вбили массу сведений о химическом составе лунной коры, но я не мог припомнить, есть ли в ней чистый кварц, поэтому наклонился, чтобы поднять осколок. Для Луны он был достаточно тяжел. Я подержал его в руке перед глазами, потом, не зная, что с ним делать, хотел бросить и пойти дальше, но не двинулся с места, потому что в последний момент, когда уже выпускал его из рук, он как-то странно блеснул на солнце, замигал, словно в вогнутой поверхности разлома задрожало что-то микроскопическое. Однако я не стал его снова поднимать, а только, наклонившись, довольно долго глядел на него, решив, что это, скорее всего, обман зрения, потому что с камнем действительно творилось что-то странное. Выщербины на поверхности разлома мутнели, к тому же так быстро, что через несколько секунд стали совсем матовыми, а потом начали заполняться, словно изнутри камня проступало что-то. Я не понимал, как это может быть; камень, казалось, истекает полужидкой массой, как надрезанное дерево смолой. Я осторожно коснулся его пальцем, но масса не была липкой, скорее напоминала гипс перед тем, как ему затвердеть. Тогда я взглянул на вторую, более крупную часть и удивился еще больше. Она не только стала матовой, но словно бы сделалась выпуклой в месте разлома, однако я ничего не сказал Вивичу, только стоял, расставив ноги, чувствуя, как Солнце припекает

спину, и не спуская глаз с камня. Он рос, точнее, зарастал. Попросту зарастал, так что через несколько минут обе части, большая и маленькая, которую я все-таки взял в руку, перестали подходить друг к другу, округлились так, что на них уже не стало видно плоскостей разлома. Я ждал, что будет дальше, но больше уже ничего не происходило, словно появившиеся на осколках шрамы затянули какую-то рану. Это было невероятно и лишено всякого смысла, но это было. Тут я сообразил, как легко треснул камень, хотя я его пнул совсем не сильно, и стал искать глазами другие. Несколько камней поменьше лежали на освещенном солнцем скате, и я, взяв саперную лопатку, спустился к ним и, пользуясь ею как топором, стал ударять по каждому поочередно. Они лопались как перезрелые плоды каштана, блестя разломами, наконец я напал на обыкновенный камень, от которого лопатка отскочила, оставив на его поверхности только беловатую царапину. Тогда я вернулся к распавшимся надвое. Они уже, несомненно, зарастали. В кармане на правом бедре у меня был небольшой счетчик Гейгера. Он даже не дрогнул, когда я приблизил его к камням. Открытие могло быть важным, потому что камни так себя не ведут, стало быть, эти были не естественного происхождения, а скорее всего продуктом здешней технологии, и я обязан был их собрать. Я уже потянулся за одним, но вспомнил, что не смогу вернуться на борт, так как проект этого не предусматривал. Химических анализов я тоже не мог сделать на месте, не имея никаких реагентов. Если уведомить Вивича об этом феномене, начнутся бесконечные переговоры, консультации, взволнованные лунологи прикажут мне торчать на холме, разбивать, словно яйца, другие камни, сколько их там не будет, наблюдать, что с ними происходит, выдвигать все более смелые гипотезы, но я чувствовал всеми фибрами, что ничего путного из этого не получится, потому что вначале надо понять, зачем такое явление существует, что за ним

кроется, и тут услышал Вивича, который видел, как я что-то разбиваю саперкой, но не разобрал как следует что. Изображение, передаваемое микропами, вероятно, было не очень резким. Я сказал, что ничего особенного, и отправился дальше. Голова была забита мыслями.

Способность затягивать полученные в борьбе повреждения могла быть очень полезной боевым роботам, если они здесь были, но ведь не камням же. Неужто здешние вооружения под компьютерным контролем начали с пращи и ядра? А если даже так, то на кой ляд каменным ядрам зарастать? И тут, сам не знаю откуда это пришло мне в голову, я подумал, что я ведь здесь нахожусь не как человек, а как дистантник, то есть не в живой, а в мертвой ипостаси. А не могло ли быть так, что развитие лунных вооружений шло в двух независимых направлениях: с одной стороны, создание оружия, нападающего на враждебное и мертвое, с другой — на враждебное и живое? Допустим, так оно и было. «Предположим,— фантазировал я,— что средства, поражающие мертвое оружие, не могут с тем же успехом поражать живого неприятеля, а я напал как раз на эти другие, приготовленные на случай посадки человека. Поскольку же я им не был, эти мины — допустим, что это были мины,— не чувствуя живого тела внутри скафандра, не сделали мне ничего плохого, и вся их активность ограничилась тем, что сколы затянулись. Если какой-нибудь земной разведывательный робот задел бы их ногой, он не обратил бы внимания на их зарастание, потому что наверняка не был бы запрограммирован так, чтобы учитывать столь поразительное и непредвиденное явление. Я же не был ни роботом, ни человеком и поэтому заметил. Что дальше?» Этого я уже не знал, но, если в моей догадке была хоть крупинка истины, следовало ожидать появления других мин, охотящихся уже не на людей, а на автоматы. Поэтому я пошел немного медленнее и более осторожно ставил ноги,

минуя холм за холмом, с неподвижным Солнцем за спиной, время от времени натываясь на большие и средние камни, которые уже не разбивал лопаткой и не трогал ногой, потому что, если они действительно были двух видов, все могло кончиться скверно. Так я прошел добрых три мили, может, немного больше, но не хотелось доставать шагомер: он находился глубоко во внутреннем набедренном кармане, а карман был таким узким, что только с величайшим трудом я мог засунуть в него перчатку; и тут, глянув на юг, я заметил какие-то руины. Особого впечатления это на меня не произвело. На Луне имеется масса осыпей с таким нагромождением каменных обломков, что издали они походят на развалины построек, однако, подойдя ближе, человек видит, что обманулся. И все-таки я изменил направление и, шагая по все более глубокому песку, ждал, когда же скалы проявят свою истинно хаотическую форму, но они не желали. Наоборот, чем ближе я подходил, тем явственнее становились видны потрескавшиеся и закопченные фасады невысоких строений, черные пятна были не обычными тенями, а отверстиями, правда, расположенными не так равномерно, как оконные проемы, но таких огромных дыр, к тому же образующих почти правильные ряды, ни в одной из лунных скал до сих пор не обнаруживал никто. Неожиданно песок перестал осыпаться под ногами. Ботинки ударили в шероховатую стеклянистую поверхность, напоминавшую затвердевшую лаву, но это была не лава, а, пожалуй, расплавленный под действием высокой температуры и застывший песок. Стеклянистая скорлупа ярко горела на Солнце и покрывала весь пологий склон, по которому я поднимался к руинам. Меня отделял от них довольно высокий холм, возвышающийся над всем районом, и, оказавшись на его вершине, я смог окинуть взглядом странные развалины и понял, почему их нельзя было увидеть с орбиты. Они были глубоко погружены в щебень. Будь это действительно развалины домов,

я бы сказал, что щебень доходит до окон. С расстояния каких-нибудь трехсот метров они напоминали хорошо знакомую по фотографиям картину: селение, построенное из камня и развалившееся во время землетрясения. Кажется, в Иране есть такие селения. С орбиты их можно различить только вблизи терминатора, когда низко стоящее Солнце просвечивает навывлет их полуразвалившиеся и как бы взрывом деформированные оконные проемы. Однако я все еще не был уверен, не своеобразное ли это нагромождение скал, и решил подойти поближе. Что-то они мне не понравились, поэтому я взял в руки счетчик Гейгера и все время посматривал на его циферблат. Спускаясь с холма, я даже упал, поэтому включил штеккер «Гейгера» в розетку скафандра и теперь мог слышать его тиканье, если бы район оказался радиоактивным. Оказался, а как же, но только до половины противоположного склона. Едва я вступил на навал, окружающий приземистые дома без крыш с щербатыми стенами (теперь я уже не сомневался, что это не природное образование на Луне), как послышалось плотное пощелкивание. Больше того, щебень не разъезжался под ногами, как обычно бывает со щебнем, потому что был сплавлен в плотную массу. Походило на то, что в центре странного селения произошел взрыв, который долго излучал жар, так что руины, в которые оно превратилось, подплавились, образовав единое целое. Я уже находился совсем рядом с развалинами, но не приглядывался к ним, так как приходилось следить за каждым шагом, осторожно ставя тяжелые ботинки на острые выступы этого огромного террикона, чтобы не поскользнуться между камнями, а это было вовсе не трудно. Только выше, уже напротив ближайших развалин, довольно крутой отвал перешел в стеклянистую поверхность, покрытую черноватыми полосами, похожими на сажу. Идти стало легче, я ускорил шаг и оказался у первого окна. Это было неправильной формы отверстие, вдавленное сверху нависшими камнями. Я за-

глянул внутрь и не сразу — там был плотный мрак — заметил какие-то лежавшие в беспорядке продолговатые предметы. Вползать через разбитое окно не хотелось, потому что при массивности моего дистантника я мог за просто в нем застрять. Я стал искать обходной путь. Если есть окна, то и двери тоже должны быть. Однако я не нашел ни одной. Обходя строение, с такой гигантской силой вдавленное в грунт, что все оно растрескалось и сплющилось, я обнаружил в боковой стене достаточно широкую щель, через которую мог, наклонившись, протиснуться. Там, где солнечный свет непосредственно соседствует на Луне с тенью, световые контрасты настолько велики, что глаз не может с ними совладать, поэтому мне пришлось пройти в угол, нащупать раскинутыми руками стену и, прижавшись к ней спиной, закрыть глаза, чтобы приучить их к темноте. Просчитав про себя до ста, я осмотрелся.

Внутренность напоминала пещеру без кровли, что, впрочем, не делало ее светлее, потому что лунное небо черно, как ночь. И солнечный свет там нельзя узреть в виде светлого столба, падающего сверху через какое-нибудь отверстие, потому что его ничто не рассеивает, подобно воздуху и пыли на Земле. Солнце осталось снаружи и только белым горящим пятном освещало стену напротив угла, в котором я стоял. В ее отсвете у моих ног лежали три трупа. Так мне показалось в первый момент, потому что, хотя и были они почерневшими и деформированными, у них все-таки были ноги, руки, торсы, а у одного даже голова. Прищулив глаза и заслонившись от солнечного пятна рукой, чтобы оно не слепило, я присел над ближайшим из тел. Это не был труп человека, больше того, это вообще не были мертвые тела, ибо то, что мертво изначально, умереть не может. Еще не коснувшись останков, распростертых у моих ног, я понял, что это некое подобие манекена, но, пожалуй, не робота, потому что его вспоротый корпус был пуст. Если не считать немного песка и осколков щебня. Я осторожно потянул его за руку. Он был необычно легким, словно из пенопласта, черным как

уголь, без головы, но ее я заметил у стены. Она глядела на меня тремя пустыми глазницами. Разумеется, я удивился, почему тремя, а не двумя. Круглая ямка третьего глаза зияла пониже лба, там, где у человека находится основание носовой кости, но у странного манекена, пожалуй, никогда не было носа, да это и понятно, если учесть, что на Луне он совершенно не нужен. Остальные манекены тоже в общих чертах напоминали человека. Хотя их сильно покорежило, с первого взгляда было видно, что их человекоподобие и раньше было весьма приблизительным. У них были слишком длинные ноги, пожалуй, в полтора раза длиннее туловища, чересчур тонкие руки, которые к тому же выходили не из плеч, а как-то странно — одна из груди, другая из спины. Так могло случиться, если бы взрывной волной и обвалом повыкручивало конечности одному, но ведь не всем и к тому же одинаково. Возможно, в определенных условиях, кто знает, и удобно иметь одну руку спереди, другую сзади. Сидя во тьме напротив яркого солнечного пятна в компании трех мертвяков, я неожиданно сообразил, что, кроме частого стука счетчика радиоактивности, не слышу ничего, а ведь уже несколько минут, если не больше, до меня перестал доходить голос Вивича. Последний раз я отвечал ему с вершины холма и не упомянул о своем открытии, ибо прежде хотел удостовериться, что не ошибся. Я вызвал базу, но по-прежнему быстро и тревожно трещал только мой «Гейгер». Радиоактивное заражение было значительным, однако я не стал терять времени на его измерение, ведь в любом случае мне как дистантнику оно не могло нанести вреда, но подумал, что радиосвязь нарушил какой-нибудь ионизированный газ, который выделяют растрескавшиеся камни поселка, так что в любой момент я могу потерять связь со своим кораблем. Это меня здорово напугало: мне вдруг показалось, что теперь я останусь здесь навсегда, но бояться-то было нечего, ведь если бы связь прервалась, среди руин и щебня остался бы не я, а дистантник, я же пришел бы в себя

на борту. Впрочем, пока признаков потери власти над дистантником я не ощущал. Мой корабль висел точно над поселком, двигаясь по стационарной орбите так, чтобы все время находиться в зените надо мной. Правда, никто не предвидел ни такого открытия, ни такой ситуации, но нахождение в зените оптимально при маневрировании дистантником, так как обеспечивает минимальное расстояние от дистандера, а значит, и минимальное запаздывание всех реакций. У Луны нет атмосферы, а плотность ионизированного газа или испарений минералов после взрыва была не слишком велика. Нарушилась ли связь базы с микропами, я не ведал, да и не беспокоился об этом; в данный момент мне больше хотелось узнать, что тут происходило, а после уже начать думать зачем и почему. Пятясь через вырыв в стене, я вытащил самый большой «труп», тот, у которого была целая голова. Я называю их трупами, хотя это вовсе и не трупы, но такое определение напрашивалось произвольно.

Радиосвязь не восстановилась и снаружи, однако прежде всего я хотел исследовать бедолагу, который, правда, никогда не жил, но своим видом производил столь же жутковатое, сколь и жалкое впечатление. Он был метров трех ростом, может, чуть меньше, стройный, с сильно вытянутой трехглазой, без следов носа или рта головой на длинной шее, с цепкими руками, пальцы на которых я пересчитать не смог — тонкие части сильнее всего оплавившись. Весь корпус его был покрыт черным шлаком. «Приличная тут была температура», — подумал я, и только тогда у меня мелькнула мысль, что это мог быть поселок вроде тех, какие когда-то строили, чтобы изучать последствия ядерных взрывов, в Неваде и кое-где еще на Земле, с домами, палисадниками, магазинами, улицами, только людей там заменяли животными, кажется, козами и овцами, да еще свиньями, у которых, как и у нас, кожный покров не покрыт шерстью, поэтому у них при термическом ударе появляются такие же ожоги. Не могло ли и здесь происходить нечто подобное? Если б знать первоначаль-

ную мощность ядерного заряда, смявшего поселок и вдавившего его в щебенку, можно было бы на основании теперешней радиоактивности установить, сколь давно произошел взрыв, а, возможно, по составу изотопов и сейчас еще физики сумели бы это сделать, так что на всякий случай я положил в наколенный карман скафандра горсть щебня и снова, уже со злостью, вспомнил, что ведь не вернусь на борт. Однако установить время взрыва было необходимо хотя бы приблизительно. Я решил выбраться из зараженной зоны, восстановить связь с базой и передать сообщение, а уж потом подбросить задачку физикам. Пусть сами додумываются, как проанализировать взятые мной пробы. Не совсем понимая зачем, я поднял несчастного «покойника», легко перекинул через плечо — здесь он весил не больше восьми—десяти килограммов — и начал достаточно хлопотное тактическое отступление. Длинные ноги «куклы» волочились по грунту, цеплялись за камни, и мне приходилось идти медленно, чтобы не рухнуть вместе с ним. Склон был довольно пологий, но я никак не мог решить, то ли идти по скользкой каменной глазури, то ли по щебенке, которая расплзалась под ногами и плыла вместе со мной при каждом шаге. Из-за этого я потерял выбранное направление и вместо того, чтобы взобраться на холм, с которого пришел, вышел на четверть мили западнее между двумя сглаженными валунами, похожими на камни-монолиты, которые геологи именуют «свидетелями». Я положил свою ношу на плоском грунте и сел сам, чтобы передохнуть, прежде чем вызвать Вивича. Пытался высмотреть микропы, но нигде не было и следа их искрящегося облачка, никаких голосов я тоже не слышал, хотя, собственно, они уже должны были доходить до меня. Щелчки счетчика стали уже такими редкими, словно на мембрану падали одиночные песчинки. Услышав неясный голос, я подумал, что это база и, вслушиваясь в него, остолбенел. Из хриплого бормотанья сначала выделились два слова: «Брат родимый... родимый брат...» Минута тишины — и опять: «Брат родимый...»

«Кто говорит?» — хотел крикнуть я, но не отважился. Я сидел, скорчившись, чувствуя, как пот выступает на лбу, а чужой голос снова заполнил шлем. «Иди сюда, брат родимый. Родимый брат, иди ко мне. Не бойся. Не хочу ничего плохого, брат родимый. Иди ко мне. Мы не станем с тобой драться. Родимый брат, приблизься. Не бойся. Я не хочу драться. Мы должны побрататься. Да, братец родимый». Что-то щелкнуло и тот же голос, но совсем другим тоном, коротко, отрывисто, ворчливо бросил: «Клади оружие! Клади оружие! Клади оружие! Брось оружие, не то сожгу. Не пытайся бежать! Повернись спиной! Подними руки! Обе руки! Так! Руки на шею! Стоять, не двигаться! Не двигаться! Не двигаться!»

Опять что-то захрипело, и снова заканючил первый голос, тот же самый, но заикающийся, слабый: «Братец родимый! Подойди. Надо побрататься! Помоги мне. Мы не станем драться». Я уже не сомневался, что болтал «мой» мертвец. Он лежал в той позе, в которой я его оставил, похожий на выпотрошенного паука с разодранным животом и спутанными конечностями, глядел пустыми глазницами на Солнце, не двигался, но что-то из него продолжало звать ко мне. У песенки было два такта. На две мелодии. Сначала о родимом братце, потом хриплые приказы. «Его программа», — подумал я. Манекен или робот вначале должен был заманить человека, солдата, а потом взять в плен или убить. Двигаться он уже не мог и только хрипел в нем, словно закольцованный, недогоревший кусок программы. Однако почему по радио? Если бы он предназначался для войны на Земле, то, пожалуй, говорил бы обычным голосом вслух. Я не понимал, зачем ему радио. Ведь на Луне не могло быть живых солдат, а робота он так не заманит. Вероятно, нет? Как-то все это было лишено смысла. Я смотрел на его почерневший череп, на выкрученные и обгоревшие руки с превратившимися в сосульки пальцами, на вспоротый корпус уже без всякого сочувствия. Скорее неприязненно, сказал бы я, а не просто с отвращением,

хотя он тут был ни при чем. Ведь так его запрограммировали. Разве можно обижаться на программу, отпечатанную на электрических контурах? Когда он опять завел свое «братец родимый», я откликнулся, но он меня не слышал. Во всяком случае, никак этого не проявил. Я встал, а когда моя тень упала ему на голову, он замолчал. Я отступил на шаг. Он снова заговорил. Итак, его возбуждало Солнце. Убедившись в этом, я стал раздумывать, что делать дальше. От манекена-ловушки радости было мало. Уж слишком примитивным было такое «боевое устройство». Надо думать, и лунные оружейники сочли сие длинноногое создание не имеющим никакой ценности, если воспользовались им для выяснения последствий ядерного удара. Чтобы он не морочил мне голову своей бесконечной песенкой, а честно говоря, я и сам не знаю только ли для этого, я начал собирать вокруг куски грунта покрупнее и обложил ими сперва его череп, а потом и корпус так, словно собирался похоронить. Стало тихо, и я услышал тонкое попискивание. Сначала подумал, что это еще он и даже оглянулся в поисках камней, но распознал азбуку Морзе: «Т-и-х-и-й — в-н-и-м-а-н-и-е — т-и-х-и-й — г-о-в-о-р-и-т — б-а-з-а — а-в-а-р-и-я — с-п-у-т-н-и-к-а — с-е-й-ч-а-с — в-о-с-с-т-а-н-о-в-и-т-с-я — ф-о-н-и-я — с-е-й-ч-а-с — в-о-с-с-т-а-н-о-в-и-т-с-я — ж-д-и — т-и-х-и-й».

Стало быть, отказал один из троянцев, поддерживавших между нами связь. «Сейчас его исправят, а как же», — с ехидством подумал я. Ответить я не мог, нечем было. Последний раз взглянул на обгоревшие останки, на белые в лучах Солнца руины построек по ту сторону седловинки между холмами, обвел взглядом черное небо, впустую выискивая микропы, и на авось двинулся к огромной выпуклой скальной складке, которая выступала из песка, словно серое туловище гигантского кита. Шел прямо на черную от тени трещину в скале, похожую на устье пещеры. Прищурился. Там кто-то стоял. Почти человеческая фигура. Приземистая, плечистая, в серо-зеленова-

том скафандре. Я сразу поднял руку, думая, что это опять мое отражение, а цвет скафандра изменила полоса тени, но он не дрогнул. Я остановился. Может, меня охватил страх, может, только предчувствие. Но ведь я пришел сюда не для того, чтобы сбежать, да и куда, собственно? Я двинулся дальше. Он выглядел совсем как человек небольшого роста.

— Алло,— услышал я его голос.— Алло...ты меня слышишь?

— Слышу,— ответил я без особого энтузиазма.

— Иди сюда, иди... У меня тоже есть радио!

Это прозвучало достаточно идиотски, но я направился к нему. Что-то военное было в покрое его скафандра. Крест-накрест металлические ремни на груди. В руках не было ничего. «И то хорошо»,— подумал я, продолжая идти, произвольно замедляя шаг. Он вышел навстречу и поднял руки непринужденным радушным жестом, словно увидел старого знакомого.

— Привет! Привет! Дай бог тебе здоровья... Как хорошо, что ты наконец пришел! Поболтаем... я с тобой... ты со мной... поболтаем... как установить в мире мир... как живется тебе и мне...

Он говорил это добродушным вибрирующим голосом, странно возбуждающим, певучим, затягивая гласные, и шел ко мне через сыпучий песок, широко раскинув руки, словно для объятия, в каждом его движении было столько сердечности, что я и сам не знал, что думать о нашей встрече. Он уже был в нескольких шагах, но в темном стекле его шлема блестело только отражение Солнца. Он обнял меня, прижал, так мы и стояли у серого почти отвесного склона огромной скалы. Я попытался заглянуть ему в лицо. Даже на расстоянии ладони не увидел ничего, потому что стекло его забрала было непрозрачным. Даже никакое не стекло, а скорее маска, покрытая слоем стеклянистой массы. Как же он меня по сему случаю видел?

— Тут у нас тебе будет хорошо, дорогой...— сказал он и ударил своим шлемом по моему, словно хотел рас-

целовать в обе щеки.— У нас очень хорошо... мы войны не хотим, мы добрые, тихие, сам увидишь, дорогой...— говоря так, он одновременно так сильно и резко ударил меня в голень, что я повалился на спину, и тогда он обоими коленями придавил мне живот. Я увидел все звезды, в самом прямом смысле слова, звезды черного лунного неба, мой же несостоявшийся друг левой рукой прижал мою голову к грунту, а правой сорвал с себя металлические ремни, которые сами свернулись в подковообразные скобы. Я молчал, в общем-то ничего не понимая, ибо он приковывал поочередно мои руки к грунту этими скобами, которые вбивал могучими размеренными ударами кулака, и одновременно приговаривал:

— Тебе будет хорошо, дорогой... Мы простые, доброжелательные, мягко настроенные, я тебя люблю, и ты меня полюбишь, дорогой...

— А не братец родимый? — спросил я, чувствуя, что уже не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой.

Мои слова отнюдь не обескуражили его.

— Братец?..— повторил он задумчиво, словно смакуя это слово.— Пусть будет братец! Я добрый и ты добрый! Брат для брата! Ведь мы братья. Верно?

Он поднялся с меня, быстро и деловито ощупал мне бока, бедра, дошел до карманов, вынул из них всю мою добычу, плоскую емкость с инструментами, счетчик Гейгера, отстегнул лопатку, еще раз, уже сильнее, прощупал меня, особенно под мышками, потом попробовал засунуть палец за голенища ботинок и, продолжая старательно обыскивать, не переставал говорить:

— Ты сказал «братец родимый»? А? Возможно, а может, нет. Разве нас родила одна мать? Э-э-эх, мать, мать... Мать — святое существо, братец. Добрая! И ты тоже добрый. Очень добрый! Оружия не носишь. Хитрец, дорогой, хитрячок... Этак себе прогуливается, грибки собирает. Да, милый братишечка, сейчас я тебя облегчу, тебе станет лучше, вот увидишь. Мы мирные люди, простые, мир принадлежит нам.

Говоря так, он снял со спины что-то вроде плоского ранца и раскрыл его. Там сверкнули какие-то остроконечные инструменты. Взяв один из них, он взвесил его на руке, отложил и вынул другой, вроде огромных ножниц, похожих на те, какими солдаты при наступлении разрезали проволочные заграждения. Лезвия сверкнули на солнце, он уселся мне на живот, поднял свой инструмент и со словами «Дай бог здоровья» одним ударом воткнул его мне в грудь. Заболело, хотя не очень. Видимо, дистантник был снабжен глушителями неприятных ощущений. Я уже не сомневался, что сердечный лунный друг выпотрошит меня, как рыбу, и, собственно, должен был бы вернуться на корабль, оставив ему на растерзание корпус, но меня так заворожил контраст между его словами и действиями, что я лежал, словно под наркозом.

— Почему молчишь? — спросил он, с хрустом вспарывая верхний слой моего скафандра. Ножницы были первоклассные, из какой-то чрезвычайно твердой стали.

— Сказать что-нибудь? — спросил я.

— Ну, скажи.

— Ты гиена.

— Что?

— Шакал.

— Хочешь обидеть меня, друга? Нехорошо. Ты мой враг! Ты предатель. Ты умышленно пришел сюда без оружия, чтобы меня обмануть. Я тебе желал добра, но врага надо исследовать. Такова моя обязанность. Таков закон. Ты на меня напал. Не объявляя войны, ворвался на нашу землю святую! Сам виноват! «Брат родимый». Собаке ты брат! Ты хуже пса, а за гиену и шакала ты меня еще попомнишь, но... недолго. Сейчас твоя память кончится вместе с жизнью.

Наконец последние крепления грудного панциря поддались, и он принялся поддевать их, отгибая в стороны. Заглянул мне внутрь и замер.

— Любопытное устройство, — сказал он, вставая. —

Финтифлюшки разные. Я-то простак, но наши ученые поймут. Ты подожди здесь, куда тебе спешить? Теперь спешить некуда. Ты уже наш, дружок!

Грунт задрожал. Повернув голову набок, на сколько было возможно, я увидел еще несколько таких же, как он. Они шли безукоризненным каре, чеканя шаг и высоко выбрасывая ноги, словно на параде. И так старались, что пыль вздымалась. Мой мучитель, видимо, готовился рапортовать, потому что встал по стойке «смирно».

— Тихий, ответь, где ты? — загудело у меня в ушах. — Фония уже в порядке. Говорит Вивич. База. Ты меня слышишь?

— Слышу! — ответил я.

Видимо, обрывки нашего разговора дошли до тех, что маршировали, потому что они припустили бегом.

— Ты знаешь, в каком секторе находишься? — спросил Вивич.

— Знаю. Только что убедился. Меня захватили в плен! И вскрыли!

— Кто? Кто? — забеспокоился Вивич, но мой палач заглушил его слова.

— Тревога! — гаркнул он. — Объявляю тревогу! Берите его, берите!

— Тихий! — кричал издалека Вивич. — Не давайся!

Я понял его. Не в наших интересах передавать новейшую земную технологию роботам. Я не мог даже пальцем двинуть, но выход был. Я изо всех сил стиснул зубы. Услышал щелчок, словно разомкнули контакт, и я погрузился во тьму египетскую. Вместо песка ощутил за спиной мягкую обивку кресла. Я снова был на корабле. Из-за головокружения не сразу отыскал нужную кнопку. Разбил предохранительный колпачок из пластика и до предела надавил на красный кружок, чтобы дистантник не попал им в руки. Фунт экразита разнес его там в пыль. Жаль мне было этого ЛЭМа, но я вынужден был так поступить. Тем и закончилась моя вторая разведка.

VII. Побоище

От десяти следующих посадок у меня остались воспоминания столь же отрывочные, сколь и неприятные. Третья разведка наиболее затянулась, до трех часов, хотя я и угодил в самое пекло регулярной битвы между роботами, похожими на ящериц, к тому же допотопных. Они были так заняты дракой, что не заметили меня, когда белый, как ангел, только без крыльев, я в ореоле огня снизошел на поле брани. Еще спускаясь, я понял почему этот район казался с корабля пустынным. Ящерицы имели защитную окраску, к тому же выпуклости у них на спинах имитировали рассыпанные по песку камни. Передвигались они с умопомрачительной быстротой, и в первый момент я не знал, что делать; правда, пули не свистели, огнестрельное оружие не использовалось, зато от вспышек лазеров можно было ослепнуть. Я, не мешкая, пополз к большим белым валунам — единственному укрытию поблизости — и, высунув из-за них голову, наблюдал за битвой. Честно говоря, я сразу не мог сообразить, кто, собственно, с кем воюет. Ящерицеподобные роботы, похожие на кайманов, перемещаясь прыжками, атаковали довольно ровный склон, спускавшийся в мою сторону. Положение казалось весьма запутанным. Походило на то, что среди атакующих, в их рядах, находился неприятель, возможно, раньше еще был выброшен десант, не знаю, но я видел, как одни металлические ящерицы кидались на других, выглядевших точно так же. В какой-то момент три гнавшиеся за одной оказались совсем близко. Догнали ее, но удержать ее им не удалось: жертва одну за другой откидывала лапы, в которые вцеплялись враги, и удирала, извиваясь змеей. Я не рассчитывал на столь примитивные битвы с вырыванием конечностей и только ждал, когда доберутся до моих ног, однако в пылу боя ни одна ящерица не обратила на меня внимания. Широкой цепью они шли на склон, выплевывая

огненные вспышки лазеров, помещавшихся у них вроде бы в пасти, впрочем, возможно, это были не пасти, а воронкообразно расширяющиеся, как у пищали, стволы. Что-то странное происходило на склоне. Быстро передвигаясь, роботы первой линии, прикрываемые огнем идущих сзади, добирались примерно до половины откоса и там останавливались. Не закапывались в грунт, а шли все медленнее и меняли окраску. Песочные покровы спин начинали темнеть, покрывались сизым дымком, словно от невидимого пламени, потом раскалялись и наконец превращались в горящую труху. Однако не было видно никакого блеска с противоположной стороны, так что вряд ли они становились жертвами огня лазеров. Множество обуглившихся и подплавленных автоматов уже застилало склон, но все новые и новые шеренги мчались на погибель. Только включив дальноvizор, я увидел, что они атакуют. На самой вершине раскинулось нечто огромное и неподвижное, как крепость, но крепость была воистину своеобразной — зеркальной. А может, и не зеркальной, а прикрытой каким-то экраном, его верх отражал черное небо со звездами, а низ — песчаное нагромождение склона. Скорее всего, это было зеркало и экран одновременно, лазерные вспышки, отражаясь, не могли причинить ему вреда, а ниже, там где валялось больше всего трупов, температура превышала две тысячи градусов: это показал болометр, размещенный в моем шлеме. «Какая-то индукционная преграда или что-то в этом роде», — подумал я, как можно плотнее прижимаясь к валу, служившему мне щитом. Малышня нападает, а зеркально-экранная громадина окружила себя невидимым заслоном жара. Очень хорошо, но что мог сделать я, беззащитный, как младенец, между лавинами атакующих пресмыкающихся? Мне не приходилось докладывать базе об этой борьбе, так как у моего третьего дистантника был в резерве специальный реактивный аппарат, внешне похожий на осколок обычного камня. Он изображал собой метеорит, а подозрение мог вызвать только тем,

что не падал, как полагается порядочному метеориту, а летал в двух милях надо мной. Что-то коснулось моего бедра. Оказалось, это лапа робота, который только что порастерял все конечности и превратился в змею. По-немногу двигаясь, лапа ползла вперед и, проскользнув наконец между валунами, за которыми я скрывался, натолкнулась на меня. В этой слепой шевелящейся лапе с тремя остроконечными когтями и покрытием, имитирующим крупнозернистый песок, было что-то отвратительное и отчаянное одновременно. Она пыталась вцепиться мне в бедро, но не могла, не имея опоры. Я с отвращением взял ее в руку и откинул как можно дальше. Она тут же снова двинулась ко мне. Вместо того чтобы как следует наблюдать за ходом битвы, я вынужден был вести поединок с этой ногой, которая неуклонно, словно пьяная, опять подползала ко мне. «Сейчас за ней последуют другие,— пронеслось у меня в мозгу,— и тогда-то начнется потеха». Хорошо хоть база молчала, а то разговор могли подслушивать, и я бы выглядел не наилучшим образом. Скорчившись в тени большого валуна, я замер в ожидании, сжимая в руке саперную лопатку. Сказать по правде, состояние у меня было неважное. Не хватало еще, чтобы в ногу был встроен какой-нибудь радиопередатчик. Попеременно сгибаясь и разгибаясь, она добралась до моих коленей, тогда я одной рукой прижал ее к грунту, а другой принялся рубить острием лопатки. Вместо того чтобы наблюдать за боем, Ийон Тихий занят приготовлением рубленого шницеля из лапок ящериц! Хороша история! В конце концов я, видимо, попал в какой-то чувствительный центр, лапа развернулась коленным суставом вниз и замерла. Я откинул ее и выглянул из-за валуна. Цепи замерли, я едва мог различить отдельные автоматы,— они сливались с местностью. Зато по верхней части склона, слегка покачиваясь, словно корабль на волнах, шествовал неведомо откуда взявшийся паук размером с крупную избу. Сверху плоский, как черепаха, он пошатывался на широко расставленных

многочисленных лапах, колени которых возвышались над ним. Ступал он тяжело, мерно, обдуманно перемещая свои многочисленные ходули, и уже приближался к зоне высокой температуры. «Интересно, что с ним теперь будет», — подумал я. Под брюхом паука виднелось что-то продолговатое, темное, почти черное, похоже, он нес там какое-то боевое устройство. У самой зоны жара он остановился, широко расставил лапы и замер, словно в задумчивости. Бой стих. Только в шлеме слышалось попискивание сигналов, передаваемых непонятным кодом. Это была весьма своеобразная битва; примитивная, как драка мезозойских динозавров миллионы лет тому назад на Земле, и в то же время изощренная, коли эти ящеры представляли собой лазерные автоматы и не вылупились из яиц, а были роботами, напичканными электроникой. Гигантский паук присел, коснулся брюхом грунта и как бы сжался. Я не услышал ничего, впрочем, если б Луна даже разваливалась на части, здесь не услышишь ни гука, ни звука, но грунт дрогнул раз, другой, третий. Дрожь перешла в неустанные колебания — все вокруг вместе со мной начало раскачиваться под действием все более резкой и убыстряющейся вибрации. Я, как сквозь дрожащее стекло, видел лунные холмы с разбросанными между ними сероватыми ящерками, пологий склон противоположной возвышенности, а над ней — черное небо. Контуры предметов расплывались, и даже звезды над горизонтом помигивали, как на Земле, а потом превратились в тающие пятнышки. Вместе с большим валуном, к которому я прижимался, я дрожал, как в лихорадке, истинный камертон, дрожь заполняла меня всего, я чувствовал ее каждой костью, каждым пальцем, все более сильную, она как бы раскачивала все частицы моего естества, чтобы они расползлись, как студень. Вибрация уже отдавалась болью, словно в меня впивались тысячи микроскопических сверлышек; я хотел оттолкнуться от валуна, встать на ноги, чтобы она проникала в меня только через подошвы ботинок, но не мог поше-

велить рукой, будто меня парализовало, и только смотрел, полуослепший, на чудище, которое свернулось в ершистый темный шар — наподобие умирающего паука под сильной лупой. Тут у меня в глазах потемнело, я почувствовал, что лечу в какое-то бездонное пространство, и со спазмой в горле, весь потный, открыл глаза. В ответ мне дружески сверкнуло яркое табло рулей. Я вернулся на борт. Видимо, в опасный момент предохранители сами отключили меня от дистантника. Однако, переждав минуту, я решил возвратиться на Луну, правда, с незнакомым мне прежде ощущением, будто я воплощусь в разорванный на куски труп. Осторожно, словно боясь ошпариться, я толкнул рукоятку, снова оказался внизу и опять почувствовал всеохватывающую вибрацию. Прежде чем предохранитель опять отбросил меня в ракету, я успел, хотя и нечетко, заметить огромную кучу черных останков, медленно сползающую по склону. «Видимо, крепость пала», — решил я, и опять вернулся в собственное тело. То, что дистантник не развалился, придало мне отваги, и я воплотился в него еще раз.

Битва уже кончилась. Вокруг царил мертвый покой. Между останками сгоревших ящерицеобразных автоматов валялись обломки «крепости» — того загадочного устройства, которое защищало доступ к вершине, паук, уничтоживший ее катастрофическим по своим последствиям резонансом (я не сомневался, что это была его работа), лежал распластавшись, как гигантский клубок дрыгающихся конечностей, которые все еще распрямлялись и сгибались в агонии. Эти мерные движения становились все медленнее и наконец прекратились. Пиррова победа? Я ожидал очередного наступления ящериц, но ничто не двигалось, и если б я не помнил того, что произошло, возможно, и не заметил бы даже шлаковидных останков у подножия склона, так они сплывались в единое целое с песчаными складками местности. Я хотел встать, но не мог. Мне едва удалось наклонить голову в шлеме, чтобы взглянуть назад.

Зрелище было не из приятных. Валун, служивший мне прикрытием, раскололся, большая его часть превратилась в груды щебня, в который были погружены мои бедра, точнее, их культы. Несчастный, покалеченный дистантник был теперь лишь безруким и безногим обрубок. У меня возникло странное ощущение, что голова моя на Луне, а тело — на борту, ибо, продолжая созерцать следы побоища под черным небом, я чувствовал ремни, прижимающие меня к сиденью и спинке кресла. Это незримое кресло как бы было со мной и в то же время не было, потому что увидеть его я не мог. Объяснить мои ощущения было нетрудно: датчики, лишенные сигналов, перестали действовать, и я оставался в контакте только с головой, которая под защитой шлема перенесла убийственное дрожание земли, вызванное пауком. Я подумал, что мне здесь уже делать нечего и надо возвращаться целиком. Однако я все еще продолжал лежать, зарывшись корпусом в щебенку и обводя взором освещенный солнцем театр военных действий. Что-то затрепыхалось далеко в песке, словно выброшенная на берег полууснувшая рыба. Один из ящерицеподобных автоматов. Песок осыпался у него со спины, когда он вставал, потом робот присел наподобие кенгуру или, скорее, динозавра и так остался сидеть, последний свидетель и участник битвы, в которой не оказалось победителей. Потом повернулся ко мне и вдруг начал крутиться на месте, все быстрее и быстрее, так что центробежная сила в конце концов откинула в сторону его длинный хвост. Я, пораженный, смотрел на него, а он уже крутился как волчок и от него во все стороны летели куски, потом рухнул на песок, перевернулся несколько раз, ударился о другие трупы и замер окончательно. Хотя никто не читал мне теоретических основ электронного умирания, я ни на секунду не усомнился, что видел именно его кончину, потому что это поразительно напоминало спазмы раздавленного майского жука или гусеницы, а ведь мы хорошо знаем, как выглядит их смерть, хотя и не можем знать, означают ли их по-

следние конвульсии страдания. Всего этого было мне уже предостаточно. Больше того, мне казалось, что каким-то трудно объяснимым образом я связан со случившимся так, словно был его виновником. Однако не для философско-морализаторских рассуждений я отправился на Луну и, стиснув челюсти, разорвал связь с несчастными останками Lunar Excursion Mannequin номер три и мгновенно возвратился на борт, чтобы отчитаться перед базой за результаты последней разведки.

VIII. Невидимый

Тарантога, которому я дал прочитать свои записки, сказал, что я считаю дураками и недотепами всех, кто готовил мою миссию и присматривал за мной. А меж тем Общая Теория Систем математически доказывает, что не существует абсолютно надежных элементов, или деталей, и даже если каждый из них может отказать один раз на миллион включений, то система из миллиона составляющих *должна* в каком-то узле дать сбой. Та же система, лунным окончанием которой был я, состояла из восемнадцати миллионов деталей, так что дурнем, ответственным за большинство моих печалей, является не человек, а *материя*, поэтому, если бы даже все специалисты встали на головы и были сплошь гениями, все могло быть разве что еще хуже, но уж никак не лучше. Вероятно, он был прав. С другой стороны, последствия всех математически неизбежных неполадок сосредоточились на мне, а человек уж так устроен, что, оказавшись в роковых обстоятельствах, не клянет за них атомы или электроны, а поносит конкретных лиц, так что мои депрессии и радиоскандалы тоже были неизбежны. Особую надежду база возлагала на последнего ЛЭМа, ибо он был чудом техники и гарантировал максимальную безопасность. Это был дистантник в порошке. Вместо стального атлета в контейнере хранилась куча микроскопических зернышек, и каждое из них по интеллектуальной насыщен-

ности равнялось суперкомпьютеру. Под влиянием соответствующих импульсов крупинцы начинали объединяться и в конце концов создавали ЛЭМа. Сей секрет именовался Lunar EVASIVE Molecules*. Я мог совершить посадку в виде сильно разреженного облака молекул, мог сосредоточиться в случае необходимости в форме человекообразного робота и столь же успешно превратиться в одного из сорока девяти других запрограммированных существ, при этом, если даже восемьдесят пять процентов зернышек были уничтожены, оставшихся хватило бы для продолжения разведки. Теория такого дистантника, именуемого *дисперсантом*, столь сложна, что никому не по силам уразуметь ее в одиночку, даже если он будет родным дитятей Эйнштейна, фон Неймана, престижистатора и Главного совета Массачусетского технологического института, вместе взятых, плюс Рабиндраната Тагора, так что и я не имел о ней ни малейшего понятия. Знал только, что меня воплотили в тридцать миллиардов разных молекул, более универсальных, нежели клетки живого организма, и что неведомо сколько раз продублированные программы принуждают эти частички соединяться в разнообразнейшие агрегаты, обращающиеся в пыль при одном нажатии кнопки, ко всему прочему в рассеянном состоянии не поддающиеся обнаружению глазом, радаром и всеми видами излучения, за исключением гамма-частиц. Так что, попади я в какую-нибудь ловушку, я мог рассеяться, совершить тактический отход и снова сконцентрироваться в нужной ипостаси. Того, что я чувствую, будучи облаком, занимающим более двух тысяч кубических метров, я объяснить не сумею. Надо хоть раз стать таким облаком, чтобы это понять. Потеряв зрение, точнее, оптические датчики, я мог заменить их почти любым видом других; так же обстояло с руками, ногами, щупальцами и инструментами. Надо было только смотреть, чтобы не пропасть в этом богатстве возможностей. В таком случае винить в не-

* Лунные неуловимые молекулы (англ.).

удаче я мог только себя. Тем самым ученые сняли с себя ответственность за аварийность дистантника и переложили ее на мои плечи. Не скажу, чтобы это сильно поправило мое самочувствие. Опустился я на экваторе на обратной стороне Луны, в самом центре японского сектора, приняв облик кентавра, а точнее, создания с четырьмя ногами, двумя руками в верхней части туловища и дополнительной масксистемой, которая окружала меня в виде высокоразумного газа, названию же «кентавр» я был обязан (из-за отсутствия более точного определения) тому, что в общих чертах отдаленно напоминал это мифическое существо. Хотя с дистантником в порошке я познакомился на полигоне Лунного Агентства, я все-таки проверил, спустившись в грузовой отсек, все ли с ним в порядке, и действительно было странно смотреть, как эта огромная куча слабо поблескивающего порошка после включения выбранной программы начинает шевелиться, пересыпаться, соединяться, слепляться и из нее возникает заданная форма, а после выключения интегрирующего электромагнитного (а может, совсем другого) поля она мгновенно рассыпается, словно песочный куличик. То, что я в любой момент могу разлететься на мельчайшие молекулы и снова собраться воедино, должно было придать мне храбрости. Однако трансформации были в принципе не очень приятными, я воспринимал их как сильнейшее головокружение, отягощенное дрожью, но тут уж ничего не попишешь. Впрочем, такое состояние длилось лишь до тех пор, пока я не воплощался в новую форму. Говорят, справиться с ней мог только термоядерный взрыв, да и то если он произойдет в непосредственной близости. Я выспрашивал, насколько вероятно, что я рассыплюсь полностью от какого-нибудь дефекта, но ничего внятного мне сказано не было. Разумеется, я пытался включить две программы одновременно, чтобы, например, в соответствии с одной обратиться в человекообразного молоха, а с другой — во что-то вроде трехметровой гусеницы с плоской головой и хватателями наподобие ги-

гантских клешней, но из этого ничего не вышло, потому что селектор воплощений действовал по принципу «или-или».

На сей раз я опустился на лунный грунт без эскорта микропов, потому что и сам был в некотором роде множеством микроскопических циклопов (которых техники на своем жаргоне именуют еще миклопиками). За мной тянулся почти невидимый хвост, словно рассеянный туманный шлейф, видимый только тогда, когда он сгущался. С перемещением у меня тоже не было проблем. С присущей мне любознательностью я интересовался, что будет, если окажется, что на Луне тоже возникли подобные протеевы* автоматы, но никто мне не мог ответить, хотя на полигоне запускали друг на друга по два, а то и по три экземпляра одновременно, чтобы они перемешались между собой, как облака, плывущие в разные стороны. Однако в девяноста процентах они сохраняли свою идентичность. Что такое девяностопроцентная идентичность, тоже объяснить непросто — чтобы понять, это надо пережить. Во всяком случае, начало очередной разведки прошло как по маслу. Я даже не оглядывался по сторонам, так как видел одновременно все вокруг, правда, сбоку и сзади в сокращенном ракурсе, как пчела, которая тысячами омматидий своих глаз видит сразу все, но, поскольку никто из моих читателей, скорее всего, никогда не был пчелой, я понимаю, и это сравнение не передает моих ощущений.

То, как отдельные страны запрограммировали свои компьютерные арсеналы, было их секретом, но от японцев, славящихся тем, что сидят они тихохонько, а на самом деле страшно смышленны, я ожидал жестоких неожиданностей. Профессор Хакагава, член нашей группы на базе, тоже наверняка не знал, во что развились прародичи

* Протей — в греческой мифологии морское божество, способное превращаться в различных зверей, в огонь, воду, дерево и т. д. Уже в античности стал объектом аллегорических толкований: так, стоики видели в Протее аллегорию материи.

японского оружия, но лояльно предостерег меня, чтобы я был внимателен и не дал себя обмануть никакими видимостями. Не зная, как отличить видимость от реальности, я бежал по однообразной и плоской местности. Только у самого горизонта маячил невысокий вал огромного кратера. Вивич, Хакугава и все остальные были страшно довольны, потому что телевизионная картинка, передаваемая спутникам-тройням, а с них — на Землю, была четкой, как открытка. Час спустя я заметил среди беспорядочно валявшихся в песке камней какие-то невысокие стебли, которые поворачивались в мою сторону. Они походили на увядшую картофельную ботву. Я спросил, можно ли ее потрогать, но никто не хотел брать решение на себя, а когда я начал настаивать, одни сочли, что обязательно должен, другие же — что лучше не надо. Тогда я наклонил свое туловище кентавра над кустиком покрупнее и попытался оторвать один гибкий стебель. Ничего не произошло. Я поднес его к глазам. Стебель начал извиваться как змейка и крепко охватил мое запястье, но вскоре я убедился, что, если его легонько поглаживать, точнее, щекотать пальцем, он ослабляет нажим. Довольно глупо было заговаривать с этой картофельной ботвой, у которой, ясное дело, не было ничего общего с картофелем.

Я не рассчитывал на ответ и не получил его. Тогда я бросил побеги, шевелящиеся как черви, и галопом припустил дальше. Местность напоминала какие-то неухоженные овощные поля и выглядела довольно идиллически, однако я в любой момент ожидал нападения и даже провоцировал на это псевдоовощи, топча их копытами (именно так выглядели мои ботинки). Вскоре я добрался до длинных грядок с другой мертвой растительностью. Перед каждой грядкой стоял большой щит, на котором огромными буквами было написано: «STOP! HALT! СТОЙ!» и так далее языках на двадцати, в том числе по-малайски и древнееврейски. Несмотря на это, я углубился в здешние огороды. Несколько дальше над самым грунтом

кружились малюсенькие бледно-голубые мушки, которые при виде меня выстроились в буквы: DANGER! ОПАСНОСТЬ! GEFAHR! NIEBEZPIECZEŃSTWO! DANGER! YOU ARE ENTERING JAPANESE* PINTELOU! Я связался с базой, но никто, включая и Хакагаву, не знал, что означает PINTELOU, и я впервые оказался в небольшом затруднении, потому что, как только вступил под дрожащие над песком буквы, мушки облепили меня и стали лазить по всему телу, словно муравьи. Однако ничего плохого мне не сделали, я, как мог, стряхнул их хвостом (вот тут-то он оказался к месту) и побежал дальше, стараясь не выходить из борозды между грядками, и наконец добрался до склона большого кратера. Огороды постепенно переходили во что-то вроде рва, а дальше — в идущую вниз широкую расщелину, настолько глубокую, что я не мог видеть ее дна, заполненного черным, словно сажа, лунным мраком. Неожиданно оттуда прямо на меня выехал огромный плоский танк, гигант, который громко скрипел и грохотал широкими гусеницами, что было особенно странно, ибо на Луне ничего не слышно — ведь там нет воздуха, проводящего звуковые колебания. Однако я слышал грохот и даже хруст щебня под стальными гусеницами. Танк пер прямо на меня. За ним появилась длинная вереница других. Я охотно уступил бы им дорогу, но в узкой расщелине некуда было деться. Я собирался уже обратиться в пыль, как первый танк наехал на меня и проплыл, словно мглистое облачко, только на несколько секунд сделалось немного темнее. «Снова какие-то миражи, фата-моргана», — подумал я и уже смело дал пройти остальным. За танками цепью двигались солдаты, самые что ни на есть обычные, раскосые, со штыками, насаженными на короткие автоматические карабины, впереди — офицер при сабле с флагом в руке, на котором алело солнце. Подразделение прошло сквозь меня, как

* Опасности! (англ.). Опасности! (нем.). Опасности! (польск.). Опасности! Вы вошли в Японский (англ.).

дым, и опять сделалось пусто. В углубляющейся расщелине стало темно, я включил рефлекторы, точнее, так называемые осветители, обрамлявшие мои глаза, и, двигаясь значительно медленнее, добрался до окруженного старыми железяками входа в пещеру. Свод оказался слишком низким, и, чтобы не утруждать себя постоянными наклонами, я превратился в кентавротаксу. Хотя это звучит достаточно глупо, но довольно точно соответствует истине, ибо ноги мои укоротились, и, почти касаясь животом камней, я пробирался все дальше, в глубь лунного подземелья, куда не ступала нога человека. Впрочем, мою ногу вряд ли с полным основанием можно было назвать ногой человека. Я спотыкался все чаще, копыта разъезжались на скользком щебне, поэтому, вспомнив о своих возможностях, я превратил свои конечности в лапы с широкими подушечками, прилегающими к почве, как у льва или тигра. В новом теле я чувствовал себя все более привычно, но мне было не до того, чтобы наслаждаться этим. Время от времени я освещал исчерченные бороздами стены пещеры, наконец уперся в решетку, которая перегораживала проход, и подумал, что японское оружие на удивление почтительно относится к пришельцам, потому что над решеткой у самой кровли светилась крупная надпись **«NO ENTERING! DO NOT TRESPASS THIS BARRIER! KEIN DURCHGANG! ПРОХОДА НЕТ! NE PAS SE PANCHER EN DEHORS! PERICOLOSO! ОПАСНО! GEFAEHRlich!»**, а за решеткой виднелся фосфоресцирующий череп с перекрещивающимися костями и надписью **«DEATH IS VERY PERMANENT»***. Это не остановило меня. Рассыпавшись, я проник сквозь решетку и снова собрался по другую ее сторону. Естественные стены каменного коридора уступили место овальному туннелю со светлым, вроде бы керамическим покрытием. Я постучал по нему пальцем, и в том месте, где он коснулся стены, вырос маленький сучочек, который тут же расплю-

* Смерть необратима (англ.).

щился в табличку «MANE, TEKEL, UPHARSIN!»*. Такое множество предупреждений указывало, что здесь не шутят, но ведь не затем я влез так глубоко, чтобы отступить, поэтому продолжал ползти дальше на своих тихих ногах, чувствуя, как хвост мягко волочится следом, готовый в любой момент прийти мне на помощь. Меня не было видно с базы, но я не волновался. Радио молчало, и я слышал только какие-то тихие, но пронзительные, странно стонущие причитания. Я дошел до более широкого места, в котором туннель разветвлялся. Над левым рукавом светилась неоновая надпись: «THIS IS OUR LAST WARNING»**, над правым не было ничего, и я, естественно, выбрал левый; в нем что-то заблестело: стена, преграждающая дальнейшую дорогу, а в ней огромная бронированная дверь с несколькими замочными скважинами — истинные врата в Сезам или сокровищницу. Я превратил правую руку в облачко и просочил ее понемногу в одну из скважин. Внутри было темно, как ночью в дупле. Потыкавшись во все стороны, я вернулся, так сказать, наружу и повторял зондирования до тех пор, пока через расположенную выше других скважину мне не удалось пройти насквозь, тогда я весь превратился в туман или взвесь молекул и в таком виде преодолел и эту преграду, рассчитывая на то, что уж проникновения непрошенных гостей через замочную скважину не могли предвидеть даже японцы, точнее, их роботы. Я почувствовал что-то вроде духоты, хотя и не буквально, потому что не дышал. Теперь темноту освещала только оторочка моих глаз, однако, припомнив все возможности ЛЭМа, я весь засветился, как большой светляк. Сначала столько света ослепило меня, но вскоре я привык.

* «Исчислено, взвешено, разделено» (халд.). Употребляется как таинственное и грозное напоминание о чем-либо роковом конце. Согласно Библии, эта пророческая надпись, появившаяся на стене, предвещала близкую гибель вавилонского царя Валтасара и раздел его царства.

** Здесь вас предупреждают последний раз (англ.).

Туннель вел прямо, как стрела, все дальше и дальше и наконец добежал до обычного, сплетенного чуть ли не из простой соломы мата; отведя его в сторону, я вошел в обширный зал, освещенный рядами потолочных ламп. Первым, впечатлением было ощущение полнейшего хаоса. В самом центре, разбитые на большие куски, валялись разбросанные в беспорядке поблескивающие фарфором или керамикой обломки, они напоминали взорванный подложенной под него бомбой суперкомпьютер. Рваные кабели, извиваясь, оплетали отдельные сегменты разбитых блоков, покрытых стеклянной крошкой и поблескивающими пластинками интегральных схем. Кто-то здесь уже побывал до меня и здорово напакостил японцам в самом центре их военного комплекса. Однако самым странным было то, что гигантский многоэтажный компьютер развалился от силы, действовавшей изнутри, и к тому же, пожалуй, снизу, потому что его стены, предохраняемые солидным панцирем, разлетелись под действием центробежных сил, рухнув наружу, некоторые из блоков были побольше библиотечного шкафа и походили на него длинными полками, забитыми мириадами потрескавшихся плат. Казалось, какой-то мощнейший кулак ударил в дно колосса и развалил его, но в таком случае я должен был увидеть этот кулак в эпицентре разрушения. Я принялся карабкаться на гигантскую кучу, мертвую, как разграбленные пирамиды, истинную гробницу, опустошенную неведомыми ворами, забрался на вершину развалин и заглянул сверху внутрь. Там кто-то лежал, неподвижный, словно погруженный в честно заработанный сон. В первый момент мне показалось, что это тот самый робот, который так сердечно приветствовал меня во время второй разведки, называя братом, а потом повалил и вспорот, как банку шпрот. Я долго смотрел на фигуру, лежащую на дне неправильной воронки, образованной развалившимся компьютером, вполне человекоподобную, хотя и нечеловеческих размеров. «Разбудить его,— решил я,— всегда успеется, разумнее будет сначала обдумать, что

тут произошло». Японский центр вооружений наверняка не желал подобного вторжения и не мог сотворить его себе сам по принципу харакири. Такую возможность я отбросил как невероятную. Поскольку границы секторов охранялись прекрасно, возможно, сюда проникли, подобно кротам, роя глубокие проходы в скалах, и именно таким путем неведомые исполнители добрались до самого сердца компьютерных арсеналов, дабы обратить их в прах. Чтобы удостовериться, следовало подвергнуть допросу автомат, который, казалось, спал после добросовестно исполненного разрушительного задания. Но что-то мне не очень хотелось это делать. Мысленно я быстро перебрал все формы, в которые мог обратиться, чтобы принять ту, которая обеспечивала бы максимум безопасности во время разговора, — вырванный из сна, он мог отнестись ко мне недружелюбно. В виде облака я говорить не мог, но можно было стать облаком лишь частично, сохранив систему красноречия внутри туманной оболочки. Такое решение показалось мне наиболее разумным. Будить колосса изысканными способами я счел излишним, а просто взял да и столкнул на него солидный кусок бывшего компьютера и как можно скорее преобразился в соответствии с планом. Он получил по голове так, что гора обломков вздрогнула. Покатались наиболее крупные куски электронного щебня. Он сразу же очнулся, вскочил на ноги, вытянулся по стойке «смирно» и рывкнул:

— Задание перевыполнено! Позиция неприятеля захвачена, во имя отчизны! Готов к выполнению дальнейших приказов!

— Вольно! — сказал я.

Видимо, он не ожидал такой команды, но сменил позу, расставил ноги и только тут заметил меня. В нем что-то явственно заскрипело.

— Приветствую тебя! — сказал он. — Приветствую! Дай бог тебе здоровья. Ты что такой растерянный, друг? Хорошо, что ты наконец пришел. Иди сюда, ко мне, по-

болтаем, песенки споем, порадуемся. Тебе будет хорошо у нас. Мы тихие, мирные, войны не хотим, войной брезгуем. Ты, собственно, из какого сектора?..— добавил он совершенно другим тоном, словно в нем неожиданно проснулась подозрительность, потому что следы его мирной деятельности были слишком уж хорошо видны. Наверно, поэтому он поспешно переключился на более подходящую программу. Протянул ко мне правую руку, огромную, железную, и я увидел, что каждый его палец был стволом.

— В друга собираешься стрелять? — сказал я, слегка покачиваясь над свалкой фарфора.— Ну, не жалей, давай, стреляй, братец родимый. Стреляй! Пусть тебе лучше будет.

— Докладываю: поймал японца в камуфляже! — рявкнул он быстро и одновременно выстрелил в меня из всех пяти пальцев. Посыпалось со стен, я же, по-прежнему мягко покачиваясь над ним, осторожно опустил центр речи так, чтобы он не мог его достать, и сгустив наполовину нижнюю часть облака, которым был в это время, нажал на самый крупный из обломков компьютера, так что тот рухнул на него, увлекая целую лавину щебня.

— Атака! — крикнул он.— Вызываю огонь на себя! Во имя отчизны!

— Собой жертвуешь? — успел я бросить, прежде чем полностью превратиться в облако. И в самое время. Что-то задудело, огромная глыба обломков затряслась, и из нее бухнуло пламя. Моего собеседника-самоубийцу охватило синеватое сияние, он раскалился и почернел, но на последнем издыхании успел еще выдать: «Во славу отчизны»,— и начал понемногу распадаться. Сначала отвалились руки, потом от жары лопнула грудь, обнажив какие-то примитивно связанные лыком медные провода, а под конец треснула, видимо, наиболее устойчивая голова. Она раскололась сразу и оказалась совершенно пустой вроде скорлупы огромного ореха. Но он уже стоял раскаленным столбом и, словно бревно, превращался

в огне сначала в головешку, потом в пепел и в конце концов развалился совсем.

Хотя я был туманом, однако чувствовал жар, пышущий из середины руин, словно из кратера вулкана. Я дождал немного, развеявшись по стенам, но ни один новый кандидат в собеседники не выглянул из пламени, взвивающегося вверх, так что еще не тронутые до сих пор люминесцентные лампы на потолке начали лопаться одна за другой и осколки трубок, стекла, провода сыпались на развалины, а одновременно становилось все темней, и этот некогда опрятный, математически круглый зал напоминал теперь сцену из шабаша ведьм, освещенную синим пламенем, которое все рвалось вверх. Жара пробирала даже меня. Видя, что больше тут выискивать нечего, я, собравшись, вплыл в коридор. Наверно, у японцев были какие-то другие, запасные предприятия военной промышленности, впрочем, столь же вероятно, что резервным, а значит, менее существенным, мог быть этот уничтоженный, поэтому, прежде чем приступить к следующему этапу разведки, я счел нужным выбраться наружу и уведомить о происшедшем базу. Коридором добрался до бронированной двери и сквозь замочную скважину просочился на другую сторону. По дороге меня ничто не задержало. Потом я миновал решетку, не без сочувствия поглядывая на предостерегающие надписи, которые не стоили и ломаного гроша, и наконец вдалеке забрезжил выход из пещеры. Только тут я принял форму, близкую к человеческой, уже немного соскучившись по ней — новый, незнакомый мне раньше род ностальгии,— и отыскал валун, подходящий для отдыха. Хотелось есть, но, будучи дистантником, я не мог ничего взять в рот. Однако опасно было оставлять без присмотра столь многостороннего разведчика, чтобы хоть что-нибудь по-быстрому перекусить. Поэтому я отложил обед, решив сначала уведомить своих начальников, а перерыв устроить немного позже, предварительно поместив дисперсанта в каком-нибудь надежном месте.

Я долго ~~выз~~ывал Вивича, но ответом была лишь мертвая тишина. Я проверил счетчиком Гейгера, не заслоняет ли меня и здесь ионизированный газ. Не исключалось, что короткие волны не могли пробиться из узкой расщелины, поэтому без особого желания я превратился в облако, свечей взмыл вверх в черный небосвод и, паря словно птица, опять принялся вызывать Землю. Разумеется, никакой птицей я не был, ведь без воздуха невозможно удержаться на крыльях, но так у меня как-то вырвалось, наверно, просто звучит красиво.

IX. Визиты

С неудачных закупок я вернулся, словно во сне. Сам не знаю, как оказался в своей комнате, так силен был сон, что я не понимал, что же произошло перед магазином. Не имея ни малейшего желания оказаться за столом с Грамером и ему подобными, я съел все печенье, спрятанное в ящике письменного стола, и запил его колой. Уже смеркалось, когда в дверь постучали. Решив, что это Гоус, я открыл. Там стоял незнакомый мужчина в темном костюме, с плоской черной папкой в руке. Не знаю почему, он показался мне представителем похоронного бюро.

— Разрешите? — спросил он. Я молча посторонился. Не оглядевшись, он уселся на стул, где висела моя пижама, положил папку на колени и вынул из нее довольно толстую пачку бумаг, а из кармана — старомодные очки и нацепив их на нос, долго и молча смотрел на меня. Волосы у него были почти седые, но брови черные, худое лицо, опущенные уголки бескровных губ. Я стоял возле стола не двигаясь, а он положил на столешницу визитную карточку. Кинув на нее взгляд, я прочел: «Профессор, доктор Аллан Шапиро». Адрес и номер телефона были напечатаны так мелко, что разобрать их я не мог, но брать карточку в руки не хотелось. Меня охватило безразличие усталости, немного напоминающее сонливость.

— Я невролог,— сказал он.— Достаточно известный.

— Кажется, я вас читал...— пробормотал я неуверенно.— Каллотомия, латерализация функций мозга... верно?

— Да. Кроме того, я советник Лунного Агентства и только благодаря мне вы могли вести себя так, как вам хотелось. Я считал, что в теперешнем состоянии вас следует охранять, но не более. Попытка сбежать была ребячеством. Прошу понять. Вы стали носителем сокровищ, которым нет цены. Geheimnisträger*, как говорят немцы. За всеми вашими поступками постоянно наблюдали, и не только Агентство. Пока нам удалось предотвратить восемь попыток похищения, мистер Тихий. Уже на пути в Австралию вы находились под наблюдением специальных спутников, и не только наших. Всем своим авторитетом я противился требованиям политиков, которым подчинено Агентство, арестовать вас, признать недееспособным и так далее. Некие советы, полученные вашим другом, ценности не представляют. Когда ставка так высока, закон перестает действовать. Пока вы живы, все заинтересованные стороны находятся в положении пата. Такое не может продолжаться до бесконечности. Если они вас не заполучат, то убьют.

— Кто? — спокойно спросил я. Видя, что визит затягивается, я уселся в кресло, сбросив на пол несколько газет и книг.

— Не имеет значения. Вы проявили — так считаю не только я — добрую волю. Ваш официальный рапорт сравнили с тем, что вы писали здесь и закопали вместе с банкой. Кроме того, в качестве tertium comparationis** Агентство располагает всеми записями с базы.

— И что? — спросил я без особого интереса, только потому, что он сделал паузу.

— Частично вы писали правду, а частично вынуждены

* Носитель тайны (нем.).

** Третий документ для сравнения (лат.).

были выдумывать. Это не было преднамеренной ложью. Вы верили в то, что содержалось в рапорте, и в то, что тут написали. Когда в памяти возникают пробелы, всякий нормальный человек пытается их заполнить. Совершенно бессознательно. Впрочем, не известно, стал ли ваш правый мозг действительно сейфом.

— То есть?

— Каллотомия могла быть не случайной.

— А какой?

— Отвлекающим маневром.

— Чьим? Лунным?

— Вполне возможно.

— Это так важно? — спросил я. — Ведь Агентство может выслать других разведчиков.

— Разумеется. Вы вернулись шесть недель назад. Сразу же после того, как был установлен диагноз — я имею в виду вашу каллотомию, — были один за другим высланы три человека из запасных.

— И ничего не вышло?

— Им удалось вернуться. Всем. К сожалению, удалось слишком хорошо.

— Не понял.

— Их ощущения не перекрываются с вашими.

— Ни по одному пункту?

— Вам лучше не знать подробностей.

— Но если вы их знаете, то и вас могут ожидать неприятности... профессор Шапиро, — сказал я, усмехаясь. Он глубокомысленно кивнул.

— Естественно. У экспертов возникла масса гипотез. Результаты анализа приблизительно таковы. Классически построенные дистантники не были для Луны неожиданностью. Неожиданностью стал лишь молекулярный дистантник, то есть последнее ваше воплощение. Однако с того момента и он уже для нее не загадка.

— Что из этого следует для меня?

— Думаю, вы уже догадываетесь. Вы проникли туда глубже, чем ваши последователи.

— Луна устроила им представление?
— Похоже на то.
— А для меня, значит, не устраивала?
— Вы пробили декорацию, по крайней мере частично.
— Почему же я смог вернуться?
— Потому что это было оптимальным решением дилеммы, в смысле стратегической игры. Вы вернулись, выполнив задание, но в то же время не вернулись, то есть его не выполнили. Если бы вообще не вернулись, в Совете Безопасности большинство получили бы противники дальнейших разведок.

— Те, что хотят уничтожить Луну?
— Не столько уничтожить, сколько нейтрализовать.
— Это для меня новость. Каким образом?
— Есть способы. Правда, чрезвычайно дорогостоящие, как всякая новая технология в зародыше. Не знаю подробностей, поскольку так лучше для всех нас и для меня самого.

— Однако кое-что вы все-таки прослышали... — заметил я. — Во всяком случае, речь идет о чем-то субатомном? Не водородные бомбы, не баллистические ракеты, а нечто более дискретное. Нечто такое, чего Луна не в состоянии своевременно обнаружить...

— Для человека, лишенного половины мозга, вы достаточно разумны. Однако вернемся к делу, то есть к вам.

— Чтобы я согласился на исследования? Под патронатом Агентства? Взятый на допрос с правой стороны?

— Все гораздо сложнее, чем вы думаете. Кроме вашего рапорта и записей миссии мы располагаем несколькими гипотезами. Наиболее достоверная звучит примерно так: на Луне столкнулись отдельные секторы. Не произошло ни их объединения, ни взаимоуничтожения, ни создания плана вторжения на Землю.

— Тогда все-таки что же там произошло?

— Если б это можно было установить достаточно определенно, мне не пришлось бы мучить вас. Несомненно, межсекторные заслоны отказали. Милитарные игры

столкнулись друг с другом. Возникли беспрецедентные эффекты.

— Какие?

— Я не эксперт в таких вопросах, но, насколько знаю, компетентных экспертов вообще нет. Мы обречены на догадки под девизом *ceterum censeo humanitatem preservandam esse**. Вы знаете латынь, не правда ли?

— Отчасти. Скажите, чего вы от меня хотите?

— В данный момент еще ничего. Вы, простите, вроде зачумленного во времена, когда еще не было антибиотиков. Я навел на вас, поскольку настаивал на этом и с трудом получил согласие. Скажем — *ultimum refugium***. Количество версий того, что произошло на Луне, вы увеличили страшно. Говоря проще, после вашего возвращения известно меньше, чем до него.

— Меньше?

— Конечно. Ведь не известно даже, содержит ли ваш правый мозг что-нибудь действительно важное. Количество неизвестных возросло, после того как уменьшилось.

— Вы выражаетесь, как Пифия.

— Лунное Агентство перевозило на Луну и помещало в секторах то, что должно было доставлять в соответствии с Женевским соглашением. Но компьютерные программы первого перевезенного поколения остались секретом каждого государства. Агентству они доступны не были.

— Иначе говоря, уже с самого начала возникла чрезвычайная опасностью несообразность?

— Естественно, как следствие мировых антагонизмов. А разве можно отличить программу, которая спустя десятилетия вырвется из наложенных на нее программистами пут, от программы, которая *должна* была определенным образом вырваться?

* Полагаю, человечество должно быть сохранено (лат.).

** Последнее прибежище (лат.). О доводе, к которому прибегают, не имея в запасе лучших.

— Не знаю, можно ли. Но, вероятно, специалисты должны сказать свое слово.

— Нет. Этого никто не может сказать, кроме тех, кто составлял программы.

— Знаете, профессор,— сказал я, вставая и подходя к окну,— у меня создается впечатление, что вы оплетаете меня тонкой сетью. Чем дольше мы беседуем, тем туманнее все становится. Что произошло на Луне? Не известно. Что я там перенес в действительности? Не известно. Почему подвергся этой дьявольской каллотомии? Не известно. Знает ли об этом что-нибудь вторая половина моего мозга? Тоже не известно. По сему случаю будьте любезны коротко сказать, чего вы от меня ждете.

— Вам не следует столь сардонически говорить о любезности. Любезность существовала до сих пор, и к тому же весьма далеко зашедшая...

— Поскольку это было в интересах Агентства, а возможно, и еще кого-то. Или, как вы говорите, меня спасали и охраняли по доброте душевной. А?

— Нет. О доброте душевной не может быть и речи. Это я сказал уже в самом начале. Слишком высока ставка. Настолько высока, что, если бы можно было экстрагировать из вас дельные сведения с помощью убийственных пыток, это давно было бы сделано.

Вдруг меня осенила неожиданная догадка. Я повернулся спиной к темному уже окну и широко улыбнувшись, скрестив руки на руди, сообщил:

— Благодарю, профессор. Я только сейчас понял, кто в действительности охранял меня все это время.

— Я же вам сказал.

— Но я знаю лучше. *Они*. Или *она*,— и открыв окно, я показал на висевший над деревьями лунный серп, резко выделяющийся на темно-синем небосклоне.

Профессор молчал.

— Вероятно, это связано с моей посадкой,— добавил я.— С тем, что я решил собственными ногами пройти по Луне, взять то, что нашел последний дистантник, а смог

я это сделать потому, что в грузовом отсеке был скафандр с посадочной ступенью. Его засунули туда на всякий случай, и я им воспользовался. Правда, не помню, что со мной происходило, когда я опустил свою собственную персону. И помню и не помню. Дистантника я нашел, но это, кажется, был не тот — молекулярный. Помню, что *знал*, зачем опускаюсь: не для того, чтобы спасти его, это было и невозможно и бессмысленно, а для того, чтобы взять *что-то*. Какие-то пробы? Пробы чего? Не могу припомнить. И хотя самой каллотомии я не почувствовал или не запомнил, словно при амнезии после сотрясения мозга, вернувшись на борт, я запихал свой скафандр в особый контейнер, и, припоминая, весь он был покрыт мелкой порошкообразной пылью. Какой-то странной пылью, сухой на ощупь, мелкой, как соль, но ее трудно было стряхнуть с рук. Радиоактивной она не была. И все же я счел нужным умыться так, словно был облучен. Позже я и не пытался выяснить, что это за вещество, правда, у меня не было случая задавать такие вопросы. Когда я понял, что у меня разделен мозг, что я так бездарно влип, то уже даже мысленно не возвращался в ту долину на Луне, ибо у меня были заботы посерьезнее. Может, вы слышали об этом порошке? Порошком от клопов он наверняка не был. *Что-то* я ведь привез... Но что?

Гость смотрел на меня прищуренными глазами сквозь очки, лицо его абсолютно ничего не выражало, как у заядлого игрока в покер.

— Тепло...— сказал он.— И даже горячо. Да, вы привезли *нечто*. Надо думать, потому-то и вернулись живым.

Он встал и подошел ко мне. Оба мы глядели на Луну, невинно светившую среди звезд.

— Lunar Expedition Molecules остался там...— словно про себя произнес мой гость.— Будем надеяться, уничтоженный так, что воспроизвести его невозможно! Вы сами это сделали, хотя ничего об этом не знали, когда спустились в грузовой отсек за скафандром. Тем самым

вы включили AUDEM, autodemolition*, теперь я могу сказать, потому что это уже не имеет значения.

— Для советника по вопросам нейрологии вы отлично информированы,— бросил я, продолжая глядеть на Луну, частично затянутую облаками.— Может, вы знаете, и кто со мной оттуда вернулся? Их микропы? Кристаллическая пыль, не похожая на обычный песок...

— Насколько мне известно, полимеры на основе кварца, какие-то силиконы...

— Но не бактерии?

— Нет.

— Почему это так важно?

— Потому что они последовали за вами.

— Не может быть, ведь...

— Может, потому что так было.

— Разгерметизировался контейнер?

— Нет. Вероятно, вы вдохнули порцию пылинок еще в ракете, снимая скафандр.

— И они во мне?

— Не знаю, там ли еще. То, что это не обычная лунная пыль, было установлено, когда вы направлялись в Австралию.

— Ах, так! И конечно, каждое место, на котором я сидел, брали потом под микроскоп?

— Примерно так.

— И... обнаруживали... эти...

Он кивнул. Мы все еще стояли у окна, а Луна плыла за облаками.

— Об этом знают все?

— Кто «все»?

— Заинтересованные стороны...

— Кажется, еще нет. Несколько человек в Агентстве, а из санитарной службы — только я.

— Зачем вы мне сказали?

* Самоуничтожение (англ.).

— Потому что вы уже сами были близки к разгадке, и я хочу, чтобы вы сориентировались в ситуации.

— Собственной?

— И общей тоже.

— Так меня действительно охраняют?

— Вы же сами только что дали понять.

— Я стрелял вслепую. Да или нет?

— Не знаю. Но это не значит, что никто ничего не знает. Дело имеет различные степени секретности. На основании того, что я слышал от некоторых друзей, совершенно неофициально, исследования идут полным ходом и пока не удалось полностью исключить, что песчинки поддерживают связь с Луной...

— Странные вещи вы говорите. Какую связь? Радио?

— Наверняка нет.

— А существует другая?

— Я прилетел, чтобы задать вам несколько вопросов, меж тем не я вас, а вы меня начинаете выпытывать.

— Кажется, вы собирались честно обрисовать мое положение.

— Но я не могу отвечать на вопросы, на которые не знаю ответа.

— Одним словом, до сих пор меня охраняло само *предположение*, что Луна может заниматься моей судьбой?..

Шапиро не ответил. Комната тонула в полумраке. Заметив выключатель, он подошел, включил свет, и блеск потолочной лампы сразу ослепил и отрезвил меня. Я задернул оконные занавески, вынул из бара бутылку и две рюмки, налил в них остатки шерри, сел и указал ему на кресло.

— *Chi va piano, va sano**,— неожиданно сказал профессор, но только пригубил вино, поставил рюмку на стол и вздохнул.— Человек всегда поступает в соответствии с какими-то образцами, примерами,— сказал

* Кто идет тихо, идет здраво (итал.).

он.— Но в данном случае никаких примеров нет, и все-таки необходимо действовать, ибо из нерешительности ничего доброго не получится. Домыслами мы ничего не добьемся. Как нейролог скажу: существует память кратковременная и долговременная. Кратковременная переходит в долговременную, если не возникнут неожиданные помехи. Вряд ли можно подыскать более существенную помеху, чем иссечение большой мозговой спайки! То, что произошло с вами непосредственно до и сразу же после *этого*, не может остаться в вашей памяти, пробелы, как я уже говорил, вы заполнили домыслами, что же касается остального, то мы даже не знаем, *кто* наступает, *кто* отступает. Ни одно правительство ни при каких обстоятельствах не признается в том, что его программисты не выполнили установленное Женевской конвенцией требование, как утверждалось при всеобщем согласии. Впрочем, если даже кто-нибудь из программистов намеревался что-то изменить, это не имело бы значения, поскольку ни он, да и никто другой не могли предугадать, как могут развиваться события на Луне. Здесь, в санатории, вы в безопасности не в большей степени, чем в клетке с тиграми. Вам кажется это ложью? Во всяком случае, вы, вероятно, не станете сидеть здесь до бесконечности.

— Такой долгий разговор,— заметил я,— а мы все время топчемся на одном месте. Вы хотите, чтобы я отдал себя, назовем это так, под вашу опеку? — я коснулся правого виска.

— Считаю, что вы должны так поступить. Не думаю, чтобы это могло дать слишком много как Агентству, так и вам, но ничего более разумного не вижу.

— Ваш скептицизм, возможно, вызовет мое доверие...— проворчал я вполголоса.— А что, последствия каллотомии действительно необратимы?

— При хирургической каллотомии перерезанные белые волокна наверняка бы не срослись. Это невозможно. Но ведь вам никто не делал трепанации черепа?..

— Понимаю,— ответил я, подумав,— вы пробуждаете во мне надежду; либо хотите меня искусить, либо сами в это верите...

— А ваше решение?

— Я дам ответ в течение ближайших сорока восьми часов. Согласны?

Он кивнул и указал на лежавшую на столе визитную карточку.

— Там номер моего телефона.

— Неужто будем связываться в открытую?

— И да и нет. Никто трубку не поднимет. Вы переждете десять сигналов и позвоните снова. Опять подождете, пока прозвучат десять сигналов, и все.

— Это будет означать мое согласие?

Он встал и кивнул.

— Остальное зависит от нас. А теперь мне пора. Желаю спокойной ночи.

Он ушел, а я еще долго стоял посреди комнаты, бездумно глядя на оконные гардины. Неожиданно погасла потолочная лампа. Я подумал, что она перегорела, но, выглянув в окно, увидел погруженные во тьму санаторские здания. Погасли даже далекие фонари, обычно помигивающие у съезда с шоссе. Видимо, произошла крупная авария. Мне не хотелось идти за фонарем или свечой, часы показывали одиннадцать, поэтому я только раздвинул гардины, чтобы при слабом свете Луны раздеться и принять душ в моей маленькой ванной. Вместо пижамы хотел надеть халат, открыл шкаф и окаменел. Там кто-то стоял, толстый, невысокий, почти лысый, неподвижный как статуя, и прижимал палец к губам. Я узнал Грамера.

— Аделейд...— прошептал я и осекся, потому что он погрозил мне пальцем и молча указал на окно. Я не тронулся с места, тогда он присел, вылез на четвереньках из шкафа, прополз за письменный стол и, все еще не поднимаясь, задернул гардины. Стало так темно, что я едва мог различить, как он, все еще не вставая с колен, возвращается к шкафу и достает что-то квадратное, плоское. Тем

временем мои глаза уже привыкли к темноте, и я увидел, как Грамер открыл небольшой чемоданчик, вынул какие-то шнурки или проводки, что-то там соединил и, продолжая сидеть на ковровой дорожке, прошептал:

— Сядьте рядом, Тихий, надо поговорить...

Я сел, все еще ошеломленный, не способный вымолвить ни слова, а Грамер пододвинулся ко мне так близко, что наши колени соприкоснулись, и сказал тихо, но уже не шепотом:

— В нашем распоряжении по меньшей мере три четверти часа, если не час, прежде чем дадут ток. Правда, некоторые подслушивающие устройства имеют автономное питание, но это — только для фраеров. Мы экранированы по первому классу, Тихий, называйте меня Грамером, вы уже привыкли...

— Кто вы? — спросил я.

— Ваш ангел-хранитель, — он тихо засмеялся.

— Как же так? Ведь вы тут сидите уже давно? Откуда вы могли знать, что я приду именно сюда? Ведь Тарантога...

— Любопытство — первая ступенька в ад, — невозмутимо изрек Грамер. — Не все ли равно откуда, как, зачем. Нас должны занимать более серьезные вещи, Тихий. Во-первых, не советую поступать, как рекомендовал Шапиро. Ничего хуже вы сделать не можете.

Я молчал, а Грамер опять тихонько рассмеялся. Он был явно в отличном настроении. Его голос изменился, он уже не тянул гласные, не был медлительным и явно не казался глуповатым.

— Вы считаете меня «представителем чужой разведки», а? — он сердечно похлопал меня по плечу. — Понимаю, что вызываю у вас восемнадцать подозрений сразу, но обращаюсь к вашему рассудку. Допустим, вы последуете совету Шапиро. Вас возьмут в оборот, нет, не какие-то там мучения, пытки, упаси боже, в их клинике с вами будут обращаться, как с самим президентом. Что-нибудь вытянут из вашей головы, из ее правой части, а может,

не вытянут, так или иначе, это не будет иметь существенного значения, потому что приговор уже давно вынесен.

— Какой приговор?

— Ну, диагноз, результат научного прослушивания через руку, ногу, пятку, какая разница? Прошу меня не прерывать, тогда узнаете все. Все, что уже известно.— Он сделал небольшую паузу, словно ожидал моего согласия. Мы сидели в темноте, и тут я заметил:

— Может прийти доктор Гоус.

— Нет, не может. Никто не придет, не волнуйтесь. Мы не играем в индейцев. Слушайте же. На Луне произошло взаимопроникновение программ разных сторон. Проникли, перемешались, кто начал первым, не имеет значения, во всяком случае теперь. Эффект, грубо говоря, можно сравнить с раковой опухолью. Взаимное бессмысленное уничтожение, различные имитированные и реальные вооружения на разных фазах вторглись друг в друга, по-разному, в разных секторах, противостоят, столкнулись, называйте, как хотите.

— Луна сошла с ума?

— Отчасти. В определенном смысле. Одновременно, когда то, что было запрограммировано, и то, что проистекло из программ, стало разваливаться, начались совершенно новые процессы, никто их раньше на Земле не ожидал, абсолютно никто.

— И что это за процессы?

Грамер вздохнул.

— Я закурил бы,— сказал он,— но не могу, вы же не курите. Какие процессы? Вы привезли их первый след.

— Пыль на скафандре?

— Угадали. Только никакая это не пыль, а силиконовые полимеры, зародыши, как утверждают спецы, ордогеноза, некроорганизации, таких терминов повывдумывали... Во всяком случае, то, что делается там, Земле вообще не угрожает, но именно потому, что не угрожает, вызывает опасность, которой Агентство не хочет.

— Не понимаю.

— Агентство стоит на страже Доктрины неведения, так? Есть государства, которые желают ее падения, да и всей истории с перенесением вооружений на Луну. Нет, я неверно выразился. Все гораздо сложнее. Существуют различные группы воздействия и интересов; одни хотят, чтобы все больше раздуваемая паника вокруг «нашествия Луны» росла, чтобы в ООН либо вне ее возникла коалиция, готовая ударить по Луне традиционно, или нанести термоядерный удар, либо неклассическими методами с помощью новой техники, коллапсной — только не спрашивайте меня, что это такое, об этом в другой раз. Они считают необходимым возобновить крупномасштабное вооружение, ссылаясь на соображения высшего порядка, внепланетные, надгосударственные, ибо ежели нам угрожает нашествие, то надо ликвидировать его в зародыше.

— А Агентство, значит, не желает?

— Агентство само разрывается изнутри, у каждой из противоборствующих сторон там есть свои люди. Иначе и быть не может. Вы стали крупным козырем в игре. Пожалуй, самым крупным.

— Из-за моего несчастья?

— Именно. Ведь невозможно проверить, что вытянет из вас Шапиро и его компания. Кроме нескольких человек, никто не будет знать, действительно ли они получили какую-то четкую, однозначную информацию или попросту сообщают, будто получили, и доведут ее до всеобщего сведения либо сначала до сведения Совета Безопасности, впрочем, не в том дело, кого они уведомят прежде, а в том, что никто, в том числе и вы, не сможете установить, лгут они или говорят правду.

— Скорее всего, будут лгать, коли диагноз уже установлен ими заранее...

— Похоже на то. Я не всеведущ. Во всяком случае, силу они применить не смогут.

— То есть? Шапиро говорил...

— О нападениях? Они были подстроены, мистер Ти-

хий. Да-да. Но подстроены так, чтобы вы не расстались с жизнью: ведь от этого никто ничего не выиграл бы.

— Кто это делал?

— Разные стороны и с разными намерениями. Вначале, скажем, спонтанно и для того, чтобы *заполучить* вас, а потом, когда их попытки провалились, чтобы вас немного поприжать, припугнуть, а когда вы вконец раскиснете, то, по их мнению, сами кинетесь в дружеские объятия Шапиро и компании.

— Подождите. Грамер... так меня хотели напугать или не хотели?

— Вы слишком медленно соображаете. Вначале кто-то, конечно, хотел, но не получилось, а потом в Агентстве поняли, что нечего ждать, пока кто-нибудь опять попытается. Агентство, то есть исполнительный орган так называемой Охраны миссии, устроило несколько небольших представлений в вашу честь.

— Получается, что вначале Агентство меня охраняло, а потом нападало? Так, что ли? Вначале все было подлинным, а потом отрежиссированным?

— Именно.

— Ну, хорошо. Допустим, я все-таки позволю себя обследовать. Что дальше?

— Бридж или покер.

— Не понимаю.

— Начнется своего рода игра. Торговля. Предвидеть можно только самое начало, но не остальное. То, что на Луне не все идет, как задумано, уже ясно. Осталась альтернатива: возникает там угроза Земле или не возникает? До сих пор все указывало на то, что никакой угрозы нет и не будет по самой осторожной оценке ближайшие сотни лет. А может, тысячи, даже миллионы лет, но политики на такой период планировать не могут. До трехтысячного года, во всяком случае, можно спать спокойно. Но кто тогда захочет спокойно спать? Безопасная Луна тоже нужна не всем.

— Зачем?

— Чтобы заявить: ни у одного государства там уже нет арсеналов, нет ничего, лунный проект благополучно скончался, Женевские соглашения потеряли смысл, всякую силу, надо возвращаться к Клаузевицу.

— Но отсюда следует, Грамер, что, так или иначе, все кончится скверно. Если угрожает нашествие, надо что-то предпринять против Луны, а если оно не угрожает, надо вооружаться по-старому, по-земному, так?

— Верно. Вот вы и сообразили. Таков итог.

— Хорошенький итог! В таком случае тайна, заключенная в моей голове, ломаного гроша не стоит...

— Вот тут вы ошибаетесь. В зависимости от того, что они сообщат в результате исследования вашей особы, можно будет составить различные формулки.

— Какие еще формулки?

— Как показали наши компьютеры, не меньше двадцати. В зависимости от результата исследований, не реального, а того, который они огласят в качестве результата.

— И вы этого не знаете?

— Конечно. Они и сами еще не знают. Группа Шапиро тоже не монолитна. И там представлены различные интересы. Дело в том, Тихий, что они не обязательно сообщат стопроцентную ложь. Стопроцентная ложь исключена. Такое было бы возможно лишь в том случае, если бы они были надежно законспирированной группой обыкновенных платных лжецов. А они не могут даже исключить возможность того, что вы в ходе исследований ничего не узнаете о содержимом вашего правого мозга и все-таки неожиданно включитесь в игру.

— Каким образом?

— Не будьте ребенком. Разве вы не можете потом написать в «Нью-Йорк таймс», или в «Цюрихер», или куда-то еще, что они обнародовали искаженный диагноз? Что-то подлатали или неверно интерпретировали? Тогда крупный скандал неизбежен. Достаточно подвергнуть сомнению их выводы, и сразу же отыщутся крупные

специалисты, которые встанут за вас стеной, требуя новых, контрольных исследований. Тогда уж сам дьявол не разберет, где правда, а где ложь.

— Коли так хорошо просматриваете ситуацию вы, почему ее не видят люди Шапиро?

— А что они могут в создавшемся положении делать еще, кроме как уговаривать вас согласиться на аускультацию? Все, хотя и стоят на разных позициях, находятся в безвыходном положении.

— А если меня... убить?

— Тоже скверно. Даже в случае самоубийства подозрения в убийстве разлетятся по всему свету.

— Не верю, чтобы нельзя было повторить то, что удалось сделать мне. Правда, Шапиро говорил, что попытки уже предпринимались, но безуспешные. Однако ведь экспедиции можно повторять.

— Конечно, можно, но и это тоже безвыходный лабиринт. Вы удивлены? Тихий, у нас мало времени. Возник идеальный пат в мировом масштабе, нет таких действий, которые гарантировали бы сохранение *мира*, есть только различные степени риска.

— А что посоветуете вы, мой ангел-хранитель?

— Советую не слушать чужих советов. Моих тоже. Я представляю определенные интересы, не скрываю, меня к вам прислал не господь бог, не провидение, а сторона, которая *не желает*, чтобы возобновилась гонка вооружений.

— Допустим. И что же я должен сделать, по мнению этой стороны?

— Пока ничего... Совершенно ничего. Сидеть смирно. Не звоните Шапиро. Встречайтесь с сумасшедшим стариком Грамером еще несколько недель, а возможно, дней — посмотрим, что будет дальше.

— Почему я должен вам верить?

— Я же сказал, что вы вовсе не обязаны мне верить, я только схематически обрисовал ситуацию. Единственное, что мы сделали,— на часок отключили главный

трансформатор штата, а теперь я заберу свои электронные шмотки и пойду спать. Как вам известно, я ведь миллионер в состоянии депрессии. До свидания, Джона-тан.

— До свидания, Аделейд,— отозвался я.

Грамер на четвереньках направился к двери, открыл ее, в коридоре кто-то стоял, мне показалось, что он подал Грамеру какой-то знак. Грамер поднялся, тихо прикрыл за собой дверь, а я сидел, пока не загорелся свет. Ноги у меня вконец затекли.

Я погасил лампу и лег на кровать. Там, где сидел Грамер, поблескивало что-то похожее на плоское колечко. Я осмотрел его вблизи. В середину был вставлен маленький, свернутый в трубку листок бумаги. «В случае чего»,— гласили кривые, словно в спешке написанные буквы. Я отложил смятую бумажку и попытался надеть колечко на палец. Оно было на удивление тяжелым, возможно, свинцовым? С одной стороны на нем была выпуклость вроде фасолины с небольшим отверстием, словно от прокола иглой. Оно не влезало ни на один палец, кроме мизинца. Не знаю почему, это колечко беспокоило меня больше, чем оба визита. Чему оно могло служить? Я попытался провести им по оконному стеклу, но оно не оставило и следа. Я его даже лизнул. Оно показалось мне солоноватым. Надеть на палец или не надевать? В конце концов я надел, не без труда, и взглянул на часы. Минувала полночь, но сон не шел. Я действительно не знал, чем заняться, как поступать. Меня беспокоило даже то, что левая рука и нога ведут себя совершенно спокойно, и в полудреме их безучастность казалась мне очередным подвохом, на сей раз поджидающим меня изнутри. Как часто бывает, мне снилось, что я не могу заснуть, либо же, заснув, считал, что бодрствую. Некоторое время я пробовал разобраться, сплю или нет, и маялся над этим до тех пор, пока наконец не стало немного светлей. Я подумал, что светает, а значит, мне все-таки удалось поспать несколько часов. Однако свет шел не со стороны задер-

нутого гардинами окна, а сочился из-под двери, выходящей в коридор, и при этом был на удивление ярким, словно на порог моей комнаты у самого пола кто-то направил мощный рефлектор. Я сел и свесил ноги. Из-под двери текло что-то похожее на ртуть. Маленькие шарики катились по паркету, собираясь в плоскую лужу, которая с трех сторон уже добралась к коврику у кровати, а странная металлическая жидкость все прибывала из-под двери. Уже почти весь пол блестел, как ртутное зеркало. Я зажег настольную лампу. Пожалуй, это была не ртуть, скорее жидкость напоминала потемневшее от времени серебро, ее уже было столько, что она подмыла коврик и он шевелился. Свет за дверью погас. Я сидел, наклонившись, широко раскрытыми глазами глядя на то, что творилось с тягучей металлической жидкостью. Она распадалась на микроскопические капельки, капли склеивались в кучки наподобие гриба; потом все вспухло, словно дрожжевое тесто, и, твердея, поднялось вверх. «Несомненно, это сон», — сказал я себе, однако, несмотря на столь категоричное заявление, у меня не было ни малейшего желания коснуться босой ногой «живого серебра». Глупо, но я не столько удивлялся, сколько испытывал удовлетворение от того, как удачно подобрал название. Оно действительно двигалось, как нечто живое, но и не думало превращаться ни в растение, ни в животное, ни в сам не знаю какого монстра, а образовало пустой кокон, какой-то все более человекоподобный панцирь, точнее, не совсем удачно выполненную штамповку панциря с большими дырами и огромной продолговатой щелью спереди. Значительно позже, когда я пытался реконструировать в памяти эти метаморфозы, ближе всего мне показалось сравнение с прокручиваемым обратно фильмом: как будто кто-то вначале соорудил странную разновидность доспехов, а потом стал их разогревать, пока они не расплавились и не превратились в жидкий металл, только все это происходило на моих глазах в обратном порядке. Сначала жидкость, потом выросшее

из нее пустое тело, потому что это все-таки не было панцирем, уже не блестело, а становилось матовым и напоминало большой манекен, что-то вроде витринной куклы с безволосой головой, безгубым и безносым лицом, но с круглыми отверстиями вместо глаз, и наконец манекен стал превращаться в женщину противоестественной величины, нет, не так — в пустую внутри и раскрытую, как шкаф, фигуру женщины, которая, черт побери, выделяла из себя одежду: вначале покрылась нижним бельем, потом на белье появилась светлая зелень платья, и, уже успокоенный тем, что все это мне наверняка снится, я встал с кровати и подошел к «призраку». Тогда платье из зеленого сделалось белым, напоминающим больничный халат, а лицо стало обретать человеческие черты. Светлые волосы прикрыла медицинская шапочка с красной полоской. «Довольно,— решил я.— Надо просыпаться, уж слишком идиотский сон». Но прикасаться к приснившемуся существу у меня желания не было. Я видел всю комнату, освещенную лампой, стоявшей на ночном столике, письменный стол, гардины, кресла, долго стоял в нерешительности, потом снова взглянул на мираж. Женщина очень походила на медсестру Диди, которую я не раз встречал в саду и у доктора Гоуса, но была значительно крупнее и выше. Она сказала: «Войди в меня, потом выйдешь отсюда, возьмешь «тойоту» доктора, выедешь, ворота открыты; только оденься сначала и не забудь деньги, купишь билет и полетишь к Тарантоге. Ну, не стой столбом, как санитарку тебя никто не задержит...» — «Но она больше тебя»,— пробормотал я, очумевший не столько от ее слов, сколько от того, что она говорила вовсе не ртом. Голос исходил из ее тела, которое вместе с белым халатом распахнулось так, что я действительно мог войти внутрь. Только стоило ли это делать? Почему-то я вдруг начал весьма логично мыслить. В конце концов я подумал, что это не обязательно должен быть сон, ведь существует же техника молекулярной телеферистики, я сам испытал ее на себе. Может, передо

мной реальность? Но в таком случае, кто знает, не ловушка ли это?

— Размеры ночью не имеют значения. Перестань думать. Одевайся, только возьми чеки,— повторила «Диди».

— Не понимаю, зачем мне сбегать и кто ты, собственно, такая? — спросил я, начав одеваться, не потому что действительно намеревался впутываться в это непредвиденное мероприятие, а просто в одежде я чувствовал себя уверенней.

— Я — никто, ты же видишь,— сказала она. Однако голос был женский, низкий, приятный, немного глуховатый, откуда-то знакомый, я не мог припомнить, откуда. Я уже шнуровал ботинки, сидя на краешке смятой постели.

— Ну, тогда скажи, кто тебя прислал, мисс Никто? — спросил я, поднимая голову, и не успел прийти в себя, как она упала на меня, вернее обхватила меня, но не руками, а всем своим нутром сразу, и произошло это мгновенно — вот только что я еще сидел на краю постели в пуловере, но без галстука, чувствуя, что слишком туго зашнуровал левый ботинок, а в следующий момент — уже оказался внутри этого пустотелого существа, охваченный его внутренней полостью, словно меня заглотил питон. Я не могу объяснить лучше, потому что никогда ничего подобного со мной еще не случалось. Внутри было вообще-то достаточно мягко, через глазные отверстия я видел комнату, но не мог двигаться так, как хотел, а вынужден был делать то, что хотела она, или оно, а еще точнее — кто-то, вероятно, управлявший дистантником, чтобы затащить меня туда, где с нетерпением ожидали Ийона Тихого. Я напряг силы, чтобы воспротивиться дистантниковому принуждению, но безрезультатно. Мои конечности двигались не так, как бы я хотел, а так, будто их сгибали и разгибали. Рука открыла дверь, нажав ручку, хотя я упирался, как мог. Коридор был слабо освещен ночными зеленоватыми лампочками. Ни живой души. У меня не было

времени, чтобы подумать, кто за этим стоит, все свои мысли я направил на то, чтобы выбраться целым из беды, независимо от того, что меня поглотило, а оно шагало — воистину надетый на меня Франкенштейн, трудно представить себе более идиотское положение. И тут я вспомнил про грамеровское колечко. Но чем оно могло помочь? Даже зная, что его надо надкусить или повернуть на пальце, как поступают в сказках, вызывая спасительного джинна, я не мог этого сделать. Мы — я? — уже подошли к дверям павильона, в тени старой пальмы поблескивал в темноте длинный черный автомобиль. Маятниковая дверь открылась под моей безвольной рукой, и тут же распахнулась задняя дверца авто. Внутри никого не было, во всяком случае, я никого там не увидел.

Я уже садился в машину, точнее, меня сажали, так как я все еще упирался, напрягая все силы, и тут понял свою ошибку. Не следовало сопротивляться, именно этого ждал тот, кто управлял дистанткой. Надо было следовать навязываемым движениям, но так, чтобы они не достигали цели. Наклонившись, уже в дверцах машины, я кинулся вперед, ударился обо что-то головой так, что едва не потерял сознание, и открыл глаза.

Я лежал возле кровати на полу, сквозь гардины пробивался свет, я поднес руку к глазам, от колечка — ни следа. Значит, это все-таки был кошмар? Я не мог сообразить, когда кончилась вечерняя явь. Грамер заходил ко мне наверняка. Я вскочил и заглянул в шкаф, из которого он вылез. Мои костюмы были отодвинуты в сторону, значит, он действительно там стоял, на дне что-то белело. Письмо. Я поднял его — никакого адреса, разорвал конверт. Внутри был один листок, покрытый машинописью, ни даты, ни обращения. В комнате все еще было слишком темно. Окно я открывать не хотел. Сначала проверил, закрыта ли дверь на ключ, — она была заперта, тогда я зажег ночную лампочку и взглянул на бумагу.

«Если тебе снилось похищение, или пытки, или иной вид мучений, а сон был объемный и *цветной*, значит, ты

получил наркотик и тебя подвергли пробному исследованию. Их интересует твоя реакция на определенные снадобья, не имеющие ни вкуса, ни запаха. Мы не уверены, что тебя именно так отравили. Единственный, которому ты можешь доверять, кроме меня,— твой врач. Улитка».

Улитка. Стало быть, письмо написано Грамером. Он с равным успехом мог говорить и правду, и ложь. Я попытался возможно подробнее вспомнить, что говорил Шапиро, а что — Грамер. Оба были согласны в том, что Лунный проект провалился. Дальше их желания расходились. Профессор хотел, чтобы я позволил себя исследовать, а Грамер — чтобы я ждал неведомо чего. Шапиро представлял Лунное Агентство — так, по крайней мере, он утверждал. Грамер о своих начальниках не пикнул. Однако почему, вместо того чтобы предостеречь меня, он просто оставил письмо? Или в игре участвовала еще одна, третья, сторона? Оба столько всего мне наговорили, и тем не менее я так и не узнал, почему, собственно, то, что находится в моем правом мозге, столь важно. Быть может, я проглотил что-то, что сначала усыпило мое несчастное немое правое полушарие, и поэтому оно вообще не давало о себе знать. Когда? Скорее всего, предыдущим днем. Допустим, так оно и было. Зачем? Походило на то, что все, занятые охотой на Тихого, не знают, что делать, и тянут время. В их игре я был неизвестной картой — может, крупным козырем, а может, шестеркой. И одни не дают другим выяснить истину. А не усыпили ли они мое правое полушарие, чтобы я не мог договориться сам с собой? Вот это я мог незамедлительно проверить. Я взял левую руку в правую и уже известным способом обратился к ней.

— Как дела? — спросил я пальцами. Мизинец и большой палец дрогнули, но как-то слабо.

— Алло, ты слышишь? — просигналил я.

Безмянный палец коснулся подушечки большого, изобразив кружок, что означало «Привет».

— Ладно-ладно, привет, но как ты себя чувствуешь?

— Отстань.

— Говори немедленно, как себя чувствуешь? Пойми, у нас общие интересы.

— У меня болит голова.

Да, в этот момент я почувствовал, что и у меня тоже болит голова. Я уже здорово поднаторел в неврологии и знал, что эмоционально я не разделен, потому что аффекты располагаются в центральном мозге, которого каллотомия не коснулась.

— У меня тоже. Она болит у нас. Понимаешь?

— Нет.

— Как так «нет»?

— А вот так.

Меня пот прошиб от нашего молчаливого разговора, но я решил не отступать. «Вытяну из него сейчас все, что удастся,— решил я,— любой ценой». Вдруг меня осенило. Язык глухонемых требовал большой ловкости пальцев. А ведь с незапамятных времен я привык к азбуке Морзе. Тогда я раскрыл ладонь левой руки и принялся указательным пальцем правой рисовать на ней попеременно точки и тире. Для начала SOS. Save our souls. Спасите наши души. Тыльная сторона левой ладони позволила царапать себя довольно долго, потом вдруг сжалась в кулак и дала мне солидного тумака, так что я даже подскочил. Я было подумал, что ничего не получится, но она выпрямила палец и давай царапать мне точки и тире на правой щеке. Да, она отвечала, ей богу, отвечала азбукой Морзе!

— Не щекочи, а то получишь.

Это была первая фраза, которую я от НЕГО услышал, точнее, почувствовал. Я сидел не шелохнувшись, словно статуя, на краю кровати, а рука продолжала сигналить:

— Осел.

— Я?

— Ты. Давно так надо было.

— Почему же ты не дал знать?

— Сто раз давал, идиот. Ты не замечал.

В самом деле, теперь я вспомнил, что она уже неоднократно царапала меня и так и этак, но до меня, до левой части моей головы, не доходило, что это был Морзе.

— Господи! — нацарапал я. — Так ты можешь говорить?

— Лучше, чем ты.

— Тогда говори. Спасешь меня, то есть нас.

Не знаю, кто из нас приобретал сноровку, но молчаливая беседа шла все быстрее.

— Что случилось на Луне?

— А что помнишь ты?

Неожиданный поворот ситуации поразил меня.

— Не знаешь?

— Знаю, что ты писал. А потом положил в коробку и закопал. Так?

— Так.

— Ты писал правду?

— Да. То, что запомнил.

— Они тут же выкопали. Кажется тот, первый.

— Шапиро?

— Не помню имен. Тот, что глядел на Луну.

— Ты понимаешь то, что говорят голосом, обыкновенно?

— Плохо. По-французски лучше.

Я предпочел о французском не расспрашивать.

— Только Морзе?

— Лучше всего.

— Тогда говори.

— Ты запишешь, а они украдут.

— Не запишу. Даю слово.

— Положим. Ты знаешь что-то, и я знаю что-то.

Сначала скажи ты.

— А ты не читал?

— Я не умею читать.

— Хорошо... Последнее, что я помню... Я пытался установить связь с Вивичем, после того как выбрался из разрушенного подземелья в японском секторе, но у меня

ничего не вышло. Во всяком случае, я ничего не припоминаю. Знаю только, что потом я опускался сам. То мне кажется, что на Луне я хотел забрать что-то у дистантника, который куда-то влез... или... что-то обнаружил... но не знаю, что и даже который это был дистантник. Молекулярный, пожалуй? Нет? Не помню, что с ним стало. А то...

— С тем, в порошке?

— Да. Но ты, наверно, знаешь...— осторожно подсказал я.

— Сначала до конца расскажи мне свое,— ответил он.— Что тебе кажется «а то»?

— Что там вообще не было никакого дистантника, а может, и был, но я его уже не искал, потому что...

— Потому что?..

Я замаялся. Стоит ли говорить, что мои воспоминания порой напоминают странный сон, содержание которого невозможно передать словами, и от него остается лишь ощущение чего-то чрезвычайно необычного?

— Не знаю, что ты думаешь,— поцарапала меня левая рука,— но знаю, что ты что-то замышляешь. Чувствую это.

— Чего ради мне что-то замышлять?

— Того ради. Интуиция — это я. Давай, говори. Что тебе кажется «а то»?

— Порой у меня такое ощущение, будто я опустился по вызову. Но кто вызывал — не знаю.

— Что ты написал в отчете?

— Об этом — ничего.

— Но у них был контроль. Записи. Они знают, опустился ли ты потому, что получил сигнал с Луны, или же сигнала не было. Они перехватывали сообщения. Агентство знает.

— Не знаю, что известно в Агентстве. В глаза не видел записей, сделанных на базе. Ни фонии, ни визии. Ничего. Ты же знаешь.

— Знаю. И кое-что еще!

- Что?
- Ты потерял порошкового.
- Дисперсанта? Конечно, потерял, коли потом сам влез в скафандр и...
- Дурачок. Ты иначе его потерял.
- Как? Он развалился?
- Нет. Они его забрали.
- Кто *они*?
- Не знаю. Луна. Что-то. Или кто-то. Он там перевоплощался. Сам. Было видно с борта.
- Я это видел?
- Да. Но уже потерял контроль. Над ним.
- Тогда кто же им управлял?
- Не знаю. От корабля он был отключен. Но продолжал видоизменяться. По всем программам.
- Не может быть.
- Было. Больше ничего не знаю. Опять Луна внизу. Я там был. То есть ты и я. Вместе. Потом Ийон упал.
- Что ты плетешь!
- Упал. Это была каллотомия. Тут у меня пробел. Потом снова борт, и ты убирал скафандр в контейнер, и сыпался песок.
- Значит, я опускался, чтобы посмотреть, что произошло с молекулярным дистантником?
- Не знаю. Возможно. Не знаю. Тут пробел. Для того и была каллотомия.
- Умышленная?
- Да. Возможно. Наверняка так. Чтобы ты вернулся и не вернулся.
- Это мне уже говорили. Шапиро. И Грамер, кажется, тоже. Но не так явно.
- Потому что это игра. Что-то они знают, чего-то им недостает. Наверно, у них тоже проблемы.
- Погоди. Почему я упал?
- Глупыш. Из-за каллотомии. Отключилось сознание. Как было не упасть?
- А песок? Пыль? Откуда она взялась?

— Не знаю. Ничего не знаю.

Я долго молчал. Уже совсем рассвело. Подходило к восьми. Но я не видел ничего, так лихорадочно размышлял. Лунный проект развалился? Но на его развалинах не только продолжалась бессмысленная борьба, но и подкопы — в них одновременно возникало что-то, чего никто на Земле не программировал, не ожидал? И это что-то уничтожило лаксовского дисперсанта? Вернее, перехватило над ним контроль? Но этого я не помнил, видимо, сказала каллотомия. Теперь так: перехваченный ими дистантник заманил меня на Луну либо с плохими намерениями, либо с какими-то другими, неизвестными. С плохими? Чтобы лишить меня памяти? Какой ему был в том прок? Пожалуй, никакого. Может, он собирался что-то мне дать? Ведь если он хотел только что-то сообщить, садиться мне было не к чему. Предположим, он дал мне ту пыль? Тогда что-то — кто-то, — не желая, чтобы операция удалась, рассек мне мозолистое тело и тем самым парализовал мозг. Допустим, так оно и было. Тогда то, что командовало дисперсантом, спасло меня? Но шла ли речь о спасении Тихого? Пожалуй, нет. Им было важно, чтобы информация дошла до Земли. Мелкая, тяжелая пыль и была этой информацией. Я должен был привезти ее с собой. Да. Таким образом, часть головоломки я уже сложил. Только не совсем ясно, что она означает. Поэтому я как можно скорее изложил свою гипотезу моей второй половине.

— Возможно, — ответила она наконец. — Пыль они получили. Но этого им недостаточно.

— И отсюда нападения, спасения, уговоры, визиты, кошмары?

— Похоже. Чтобы ты отдал себя им на растерзание. То есть меня.

— Но они ничего не узнают, если ты не знаешь больше, чем говоришь...

— Думаю, не узнают.

— Но если там возникло нечто настолько могущест-

венное, что сумело завладеть молекулярным дистантником, то оно могло бы и напрямую связаться с Землей? С Агентством, с базой, с кем угодно. И уж во всяком случае с теми, кого Агентство выслало после моего возвращения.

— Не знаю. Где опускались новые?

— Не знаю. Во всяком случае, похоже, противоречивые интересы есть и *здесь* и *там*. Что могло возникнуть *там*? Из тамошнего рака, разложения, как это назвал Грамер? Кажется, ордогенез. Рождение порядка? Ордунунга? Какого порядка? Электронной самоорганизации? Зачем? С какой целью?

— Если что-то и возникло, то без всякой цели. Как жизнь на Земле. Электронные «гении» попередрались. Программы развалились. Одни как попки повторяли одно и то же, другие распадались полностью. Устраивают зеркальные ловушки. Фата-морганы...

— Может быть... может быть...— повторял я, оцепенев в странном упоении.— Возможно. По крайней мере, я могу себе это представить. Если вообще наступило всеобщее разложение и взаимонападение и если из него что-нибудь могло вырасти, какие-то фотобактерии, вирусы из интегральных схем, то наверняка не везде, а только в определенном, особом месте. Как исключительное стечение обстоятельств... И начало распространяться. Такое я еще могу себе представить. Хорошо — но чтобы из *чего-то* возник *кто-то*!.. Нет! Сказки! Ни один молекулярный дух не мог там появиться на свет. Разум на Луне, из свалки электроники? Чистейшая фантазия.

— Тогда *кто* перехватил власть над молекулярным дистантником?

— Ты уверен, что это произошло?

— По отдельным косвенным признакам. Выбравшись из японского завала, ты не мог установить связь с базой? Так?

— Так, но не имею понятия, что произошло потом. Я пытался связаться не только с базой, но и через ком-

пьютер корабля со спутниками-тройняцами, чтобы узнать, видят ли меня через микропы. Но никто не отвечал. Никто. Значит, вероятно, микропы опять были испорчены, расплавлены и в Агентстве не знают, что случилось с тем дистантником. Знают только, что вскоре после этого я спустился и вернулся. Остальное — домыслы. Что скажешь?

— Это и есть косвенные признаки. Единственный человек, который знает больше,— изобретатель дисперсанта. Как его зовут?

— Лакс. Но он — сотрудник Агентства.

— Он не хотел давать тебе своего дистантника?

— Он поставил это в зависимость от моего решения.

— Тоже признак.

— Ты думаешь?

— Да. Он опасался.

— Опасался? Что Луна?..

— Нет такой технологии, которую нельзя было бы разгадать. Он мог опасаться этого.

— И это произошло?

— Вероятно. Только иначе, чем он предполагал.

— Откуда ты можешь знать?

— Всегда все бывает иначе, чем можно предполагать.

— Понял,— сказал я после продолжительного молчания.— Это не мог быть «захват власти». Скорее гибридизация! То, что возникло там, соединилось с тем, что возникло тут, в лаборатории Лакса. Да, не исключено. Одна рассеянная электроника поглотила другую электронику, тоже способную к диссипации, метаморфозам. У моего молекулярного дистантника была зачаточная собственная память, содержащая программы преобразований, наподобие кристалликов льда, которые сами ухитряются соединяться в миллионы различных снежинок. Всякий раз возникает шестиугольная симметрия, правда, каждый раз другая. Да! У меня была с ним связь, и даже в определенном смысле я все еще был им. Но при этом только давал команды на трансформацию, а делал это он

сам на месте, на лунной поверхности и в подземелье.

— У него был интеллект?

— Честно говоря, не знаю. Водителю не обязательно знать устройство автомобиля. Я умел им управлять и воспринимал то, что воспринимал он, но не знал его конструкции. Возможно, он мог вести себя не как обычный дистантник, пустая скорлупа, а как робот, но об этом мне не было известно.

— Но Лакс знает.

— Вероятно. Однако я предпочитаю не обращаться к нему, во всяком случае напрямую.

— Напиши.

— Ты спятил!

— Напиши так, чтобы понял только он.

— Они перехватывают письма. О телефоне тоже не может быть и речи.

— Они перехватывают письма, но ты не подписывайся.

— А почерк?

— Напишу я. Ты продиктуешь по буквам.

— Получатся каракули.

— Ну и что? Я хочу есть, хочу на завтрак омлет с вареньем. Потом составим письмо.

— Кто его пошлет. И как?

— Сначала завтрак.

Вначале письмо казалось задачей невыполнимой. Я не знал домашнего адреса Лакса. Впрочем, это было не самым трудным. Надо было просить его о встрече, но так, чтобы не понял никто, кроме адресата. А ведь всю мою корреспонденцию изучали лучшие специалисты, значит, требовалось перехитрить всех. Никаких шифров. Кроме того, я не знал, кому доверить отправку письма. Что еще хуже, Лакс, возможно, уже не работал в Агентстве, а если б каким-то чудом письмо даже дошло до него и он захотел бы со мной связаться, орды агентов и разведчиков не спускали бы с него глаз. К тому же специальные спутники на стационарных орбитах неустанно наблюдали

за местом моего пребывания. Гоусу я «верил» так же, как и Грамеру. К Тарантоге путь тоже был закрыт. Конечно, на профессора можно было положиться, как на самого себя, но я не мог придумать, как уведомить его о моем (или нашем) плане, не привлекая к нему внимания. Впрочем, и так в каждое его окно наверняка был нацелен сверхчувствительный лазерный микрофон, а когда он покупал в супермаркете пшеничные отруби и йогурт, то и другое просвечивали, прежде чем он переложит покупки из каталки в машину. Махнув на все рукой, сразу же после завтрака я отправился в городок тем же автобусом, что и в первый раз. У входа в торговый центр на стойках блестело глянец множество художественных почтовых открыток, я долго рассматривал их, наконец нашел подходящую, ниспосланную самой судьбой. На красном фоне в большой золотой клетке сидела почти белая сова с огромными глазищами, обрамленными перьями. Я был не настолько глуп, чтобы схватить эту открытку сразу, а сначала отобрал восемь вполне невинных, добавил одну с попугаем, потом еще две, купил почтовые марки и пешком возвратился в санаторий. Городок словно вымер. Только в нескольких садиках копались люди. Из автомастерской, напротив того места, где разыгралась известная сцена, неторопливо выезжали машины, проходя в потоках воды между вращающимися валиками голубых щеток. Никто вроде бы не шел за мной, никто не следил и не пытался похитить. Солнце припекало, через час я был уже дома, сменил пропотевшую сорочку, предварительно приняв душ, и принялся сочинять поздравления знакомым: Тарантоге, обоим Киббилькисам, Вивичу, двум кузенам Тарантоги, не слишком краткие, но и не чересчур пространные, естественно, ни словом не упомянув Агентство, миссию, Луну, только любезности, невинные воспоминания, ну и свой обратный адрес. А почему бы и нет? Чтобы подчеркнуть шутливый характер посланий, на цветной стороне каждой открытки я что-нибудь подрисовал: двум черно-белым пандам, предна-

значавшимся близнецам, — усы и галстуки; голову таксы, адресованной Тарантоге, окружил ореолом; сову снабдил очками, какие носил Лакс, а на жердочке, за которую она держалась когтями, изобразил мышку. Как ведет себя мышка, особенно рядом с совой? Тихо-тихо. Этакий тихий мышонок. Лакс был человеком сообразительным и должен был понять намек. К тому же мы ведь у него действительно сидели вместе в клетке. Написав всем, что я охотно бы с ними встретился, я то же самое спокойно написал и ему, добавив благодарность за оказанное внимание, а в постскриптуме передал наилучшие пожелания от миссис П. Псиллиум. Так вот, *Plantago Psyllium* — латинское название сухой пыли растения, и если бы цензоры Агентства заглянули в словарь Уэбстера либо в энциклопедию, то непременно узнали, что так же называется и средство для очищения желудка. Сомневаюсь, чтобы им было что-нибудь известно о пыли с Луны. Возможно, Лакс-Гулиборц тоже о пыли не знал, тогда открытка оказалась бы холостым выстрелом, но большего я позволить себе не мог. Шапиро я звонить не стал, Грамер не пытался заговаривать со мной, полдня я провел возле бассейна, а с тех пор, как поговорил со своей второй половиной, она сохраняла полное спокойствие. Только вечером, перед тем как заснуть, я обменялся с нею несколькими фразами. С запозданием мне пришло в голову, что, может, лучше было бы послать Лаксу открытку с попугаем, а не с совой, но дело уже было сделано, оставалось только ждать. Прошел день, второй, третий, ничего не происходило. Дважды возле фонтана в саду я раскачивался на скамье-качелях под балдахином с Грамером, но он даже не пытался возвращаться к этой теме. У меня было ощущение, что он тоже чего-то ждет. Он потел, сопел, стонал, жаловался на ревматизм, явно был не в духе. От скуки я вечерами смотрел телевизор и проглядывал прессу. Лунное Агентство занималось психотерапией, сообщая, что-де анализ данных лунной разведки продвигается и никаких отклонений и аварий в секторах

не обнаружено. У газетчиков эти ни о чем не говорящие коммюнике вызвали возмущение, они требовали, чтобы специальная комиссия ООН выслушала директора Агентства и руководителей отделов, добивались проведения пресс-конференций, чтобы получить пояснения по вопросам, вызывающим беспокойство общественности. А в общем-то походило на то, что никто ничего не знал.

Вечерами ко мне забегал Рассел, тот молодой этнолог, который собирался написать работу о верованиях и обычаях миллионеров. Большую часть материалов составляли беседы с Грамером, однако я не мог сказать ему, чего они стоят: ведь Грамер только играл роль креза, настоящие же миллиардеры, особенно техасские, были скучны до тошноты. На простых миллионеров они смотрели свысока. У них были собственные секретари, которые жили здесь же, в санатории, массажисты, гориллы, каждый размещался в отдельном павильоне. Павильоны охранялись так, что Расселу пришлось оборудовать у меня на чердаке специальную обсерваторию с перископической подзорной трубой, чтобы на худой конец хотя бы заглядывать к ним в окна. Он был в отчаянии, потому что ничего оригинального спятившие миллиардеры не делали. Не зная, чем себя занять, Рассел спускался ко мне по лесенке, чтобы поболтать по-человечески. Благополучие, распространившееся после перебазирования вооружений на Луну, вкупе с автоматизацией производства повлекло за собой неприятные явления. Рассел именовал их «эпохой пещерной электроники». Ширилась неграмотность, тем более что даже чеки уже никому не надо было подписывать, достаточно было оттиска пальца, остальным занимались компьютеры-считчики. Американская медицинская ассоциация окончательно проиграла схватку за спасение профессии врача, потому что компьютеры ставили все более точные диагнозы и отличались бесконечным терпением при выслушивании пациентов. Компьютеризованный секс тоже оказался в опасности. Изощренные в эротике аппараты вытесняло чрезвычайно простое устройст-

во, так называемый оргиак. Оно выглядело как наушники из трех частей с маленькими электродами, которые надевались на голову, и имело рукоятку, напоминающую детский револьвер. Нажимая на курок, человек испытывал величайшее наслаждение, так как определенным образом подобранные колебания раздражали соответствующие центры в глубине мозга, не нужно было ни о чем заботиться, трудиться до седьмого пота, тратить на содержание дистантника или дистантки, не говоря уже об обычных ухаживаниях или матримониальных обязанностях. Оргиаки захлестывали рынок, а кому хотелось иметь наилучшим образом подогнанный, шел на примерку, разумеется, не к какому-то там сексологу, а в центр РО (расчетного оргазма). И хотя «Джинандроникс» и другие фирмы, изготавливавшие уже кроме синтефамок ангелов, ангелиц, наяд, русалок и микронимфоманок, из шкуры лезли вон, прозвав «Orgiastics Inc.» «Onanistic Inc.», — это не очень-то помогало при сбыте. В большинстве промышленно развитых стран ликвидировали всеобщее обязательное образование. «Быть ребенком, — гласила доктрина дешколяризации, — все равно, что быть осужденным на ежедневное заточение в камере психических пыток, именуемых обучением». Только сумасшедшему потребно знать, сколько мужских сорочек можно сшить из 18 метров ситца, если на одну сорочку уходит $7/8$ метра, или же — с какой скоростью столкнутся два поезда, если первый из них ведет со скоростью 180 километров в час восьмидесятилетний пьяный машинист с насморком, а второй — со скоростью на $54/8$ километра в час меньше ведет дальтоник, при условии, что на 23 километра пути приходится 43,7 семафора доавтоматической эры.

Точно так же абсолютно ни к чему знать о королях, войнах, захватах, крестовых походах и прочих свинствах из древней истории. Географии лучше всего обучают путешествия. Надо только уметь ориентироваться в ценах на билеты, а также в расписаниях полетов. Зачем иностранные языки, коли достаточно воткнуть в ухо мини-

переводчик? Естественные науки обескураживают и развращают юные умы, а пользы от них никакой, коль скоро никто не может стать врачом или даже дантистом (с тех пор, как в массовое производство пошли дантоматы, самоубийства ежегодно совершали около 30 000 эксдантистов в обеих Америках и в Евразии). От обучения химии столько же пользы, как и от изучения египетских иероглифов. Впрочем, если какой-нибудь родитель испытывает непреодолимое желание дать образование своим чадам, он может воспользоваться домашним экзаменатором. Но с тех пор, как Верховный Суд постановил, что дети столь старосветски мыслящих пап и мам имеют право апелляции, домашне-семейное воспитание, в том числе и указанное выше, ушло в подполье, и только последние садисты усаживали своих разнесчастных отпрысков перед педагогерами. Педагогеры пока еще разрешали изготавливать и продавать, во всяком случае в Соединенных Штатах, а для привлечения покупателей фирмы бесплатно прилагали к ним что-нибудь заманчивое из огнестрельного оружия. Письмо постепенно заменялось пиктограммами, даже на таблицах с названиями улиц и на дорожных знаках. Рассел особенно не расстраивался таким положением вещей, считая, что овчинка выделки не стоит, ибо все равно сделать ничего не удастся. На свете еще доживало несколько десятков тысяч ученых, но средний возраст доцента составлял уже 61,7 года, а смена не спешила подрастать. Все тонуло в такой трясине благосостояния, что — как утверждал Рассел — вести о грозящем вторжении с Луны большинство людей воспринимало с удовлетворением, а разговоры о панике были придуманы прессой и телевидением, дабы не угас интерес. Государственное судопроизводство было завалено так называемыми делами S/Orgiak (S—suicidal, самоубийственный), потому что, долбя током в центр наслаждения между лимбической системой и гипоталамусом, похоже, можно было скончаться с чувством величайшего удовлетворения. Что касается трансцендеров — трансцендентальных ком-

пьютеров, позволяющих устанавливать связь с иным миром, то и здесь возникали проблемы правоведческого характера. Речь шла о том, является ли такая связь иллюзией или реальностью, однако изучение общественного мнения показало, что покупателей это различие, казалось бы, колоссальное, совсем не волнует. Поэтому агиопневматоры пользовались большим спросом, ибо позволяли напрямую общаться со святым духом; почти все костелы, церкви и так далее боролись с агиопневматизмом, но результаты пока были мизерными. «*Mundus vult decipi, ergo decipiatur*»,* — закончил свое философствование мой этнолог, когда показалось дно бутылки бурбона. Полевые исследования миллиардеров так его разочаровали, что он переключился с окон богачей на солярий, где нагишом загорали сестры и санитарки. Мне это показалось, прямо говоря, странным, ведь он вполне мог просто пойти туда и рассматривать любую вблизи, но в ответ он только пожал плечами. «Несчастье, — сказал он, — состоит именно в том, что уже можно».

В зале отдыха нового павильона копались монтажники, заканчивая установку воображекторов. В воображектор вводят прокасу (программную кассету), и в пустом пространстве перед аппаратурой возникает изображение. Собственно, даже не изображение, а искусственная действительность. Например, Олимп, кишачий греческими богами и богинями, или что-нибудь более обыденное — двуколка, полная особ высшего света, влекомых сквозь возбужденные толпы на гильотину. Либо Аленушка и ее братец Иванушка перед избушкой Бабы Яги, объедающиеся пряниками. Или, наконец, монастырская трапезная, в которую только что ворвались татары или марсиане. А уж то, как будут развиваться события, зависит исключительно от зрителя. Под ногами у него две педали, пальцы — на ручке управления. Сказку можно превра-

* Мир желает быть обманутым, пусть же его обманывают (лат.).

тить в бойню, устроить восстание богинь против Зевса, головы, падающие в корзину гильотины, снабдить крылышками, вырастающими из ушей, чтобы они полетели куда-нибудь, или дать им прирасти к телам, чтобы воскресить. И вообще, можно все. Ведьма делает из Иванушки котлеты, но можно ее ими же удавить либо дать обратный ход, чтобы все было наоборот. Гамлет может украсть сокровища Дании и сбежать с Офелией или Розенкранцем, если нажать клавишу «гомо». Воображектор снабжен клавиатурой вроде фисгармонии, только вместо звуков там возникают другие эффекты. Инструкция — довольно толстая книга, но можно запросто обойтись и без нее. Несколько движений ручкой управления — и становится ясно, что, двигая ее влево, включаешь вначале садомат, а потом извращатор. Толкнув же в другую сторону, ударяешься в лиризм, разные приятности и вообще happy end. Если б не то, что оба мы были под хмельком, нам бы эта забава быстро надоела, да и так через четверть часа мы отправились спать. Санаторий приобрел двадцать воображекторов, но почти никто ими не пользовался. Доктор Гоус был весьма опечален таким оборотом. Он ходил от пациента к пациенту и уговаривал воспользоваться аппаратурой, мол это, самая лучшая психотерапия. Однако оказалось, что ни один миллионер, а тем более миллиардер слухом не слыхивали об Аленушке, Иванушке, Бабе Яге, не говоря уже о греческой мифологии, Гамлете и средневековых монахах. Гильотину они вообще считали увеличенной машинкой для обрезания сигар — значит, все это, вместе взятое, не стоило ломаного гроша. Доктор Гоус, вероятно, считая это своей обязанностью, сам ходил в воображекторный зал и, присаживаясь на кресло, запускал басни, революции, средневековья, скрещивал Шекспира с Агатой Кристи, засовывал каких-то спелеологов в жерло вулкана и вытаскивал их оттуда порядком подгоревшими, но целыми и невредимыми. Меня он тоже уговаривал, но я отказался. Я все еще ожидал какого-нибудь знака от Лакса, а Грамер вроде бы тоже чего-то

ждал, и, вероятно, поэтому избегал меня. Надо думать, не получил новых инструкций. В принципе я чувствовал себя вполне прилично, тем более что прекрасно общался сам с собой.

Х. Контакт

Был уже конец августа, и, зажигая по вечерам настольную лампу, я закрывал окно от ночных бабочек. Мое отношение к насекомым в принципе отрицательное, за исключением божьих коровок. Я не люблю бабочек, но терплю их, но вот бабочки ночные, не знаю почему, повергают меня в панику. А именно в этом августе их вылупилось множество, и они беспрестанно толкались за окнами моей комнаты. Некоторые были такими большими, что я слышал, как они мягко бьются о стекло. Даже вид их был мне неприятен; я хотел задернуть гардины и тут услышал стук. Четкий и резкий, словно кто-то постукивал снаружи по стеклу металлическим прутиком. Я подошел к окну с лампой в руке. Среди беспорядочно трепыхавшихся насекомых одна бабочка оказалась совершенно черной, она была крупнее других и поблескивала отраженным светом. Отлетая от окна, она ударяла в него с такой силой, что дрожала оконная рама. Больше того, у этой бабочки вместо головы было что-то вроде маленького клюва. Я стоял как зачарованный, глядя на нее, потому что она била в стекло не беспорядочно, а с регулярными паузами, по три раза, отлетала ненадолго и снова возвращалась. Три точки, пауза, три точки, пауза, и наконец я понял, что она отстукивает букву «S» азбукой Морзе. Признаюсь, я не сразу решился открыть окно, хотя уже смутно догадывался, что это не живое существо, но мысль впустить в комнату обычных бабочек сдерживала меня. Однако в конце концов я пересилил себя и приоткрыл окно. Она тут же влетела через щель и уселась на бумагах, посреди стола. У нее не было крыльев, и вообще она не походила ни на бабочку, ни на какое-нибудь

насекомое. Скорее всего, она выглядела как черная блестящая маслина. Я непроизвольно попятился, когда «маслина» неведомо как взлетела и, повиснув в каком-нибудь полуметре над столом, забренчала. Она явно не вылупилась из куколки и потому не вызывала у меня отвращения. Все еще держа лампу в левой руке, я протянул правую к «маслине». Она позволила взять себя в руки. Была твердой — из металла или пластика. Я опять услышал то же бречание, на этот раз три точки, три тире, три точки. Я приложил ее к уху, и до меня донесся слабый, далекий, но четкий голос человека.

— Говорит сова. Говорит сова. Слышите меня?

Я воткнул «маслину» в ухо и, сам не знаю как, сразу же дал нужный ответ.

— Говорит мышь. Говорит мышь. Слышу вас, сова.

— Добрый вечер.

— Приветствую,— ответил я, и, понимая, что предстоит долгий разговор, заслонил окно и еще раз повернул ключ в замке. Теперь я уже прекрасно слышал Лакса. Узнал его голос.

— Можем говорить свободно,— сказал он и тихонько рассмеялся.— Нас никто не понимает, я использовал scrambling* собственного изобретения. Однако будет лучше, если я останусь совой, а вы мышью. О'кей?

— О'кей,— ответил я и одновременно погасил лампу.

— Это было не очень трудно,— сообщил мой собеседник.— Вы поступили толково. Я сразу сообразил.

— Но как...

— Мыши лучше не знать. Мы сейчас общаемся неким воровским образом. Пусть мышь убедится, что я не подставной партнер. Перед нами разные части головоломки. Сова начнет первой. Пыль — вовсе не пыль. Это весьма любопытно устроенные микрополимеры, обладающие электрической сверхпроводимостью при комнатной

* Зашифрованная передача (англ., радио).

температуре. Некоторые из них соединились с остатками того бедняги, который остался на Луне.

— Что это значит?

— Еще рано искать точный ответ. Пока что у меня есть лишь несколько предположений. Через знакомых мне удалось достать щепотку порошка. В нашем распоряжении около получаса, потом то, что позволило нам установить связь, зайдет за горизонт мыши. Я не мог сделать этого днем, риск был бы значительно больше, хотя у нас тогда было бы больше времени.

Мне было страшно интересно узнать, каким образом Лаксу удалось прислать свое металлическое насекомое, однако я понимал, что спрашивать об этом не должен.

— Говорите, сова. Слушаю.

— Мои опасения подтвердились, но с обратным знаком. Я предполагал, что на Луне что-то родится из получившейся мешанины, но не думал, что там возникнет что-то такое, что сможет воспользоваться нашим посланцем.

— Нельзя ли яснее?

— Мне пришлось бы пользоваться техническим жаргоном, а это ни к чему. Скажу то, что считаю похожим на правду, настолько просто, насколько смогу. Произошла иммунологическая реакция. Не на всей поверхности Луны, конечно, но по крайней мере в одном месте, и отсюда началась экспансия некроцитов. Так я предварительно назвал *пыль*.

— Откуда они взялись и что делают?

— Из логически-битовых развалин. Некоторые ухитряются пользоваться солнечной энергией. Впрочем, это не столь уж удивительно, потому что систем с фотоэлементами было там великое множество. Количество некроцитов я оцениваю в несколько миллиардов. Секрет в том, как бы это сказать, что Луна постепенно научилась противодействовать любому виду вторжений. Только не думайте, что там возник какой-либо интеллект. Как известно, мы победили гравитацию, покорили

атом, но далеки от победы над насморком и гриппом. То, что на Земле возникли биоценозы, позволяет сказать, что на Луне возник некроценоз. Из всей тамошней неразберихи, взаимных подкопов и нападений. Одним словом, система щита и меча побочно, без воли и ведома программистов, умирая, породила некроциты.

— Но что, собственно, они делают?

— Вначале, мне кажется, они выполняли роль самых древних земных бактерий, то есть просто размножались, а, надо думать, их было множество видов и большинство погибло, как обычно происходит в процессе эволюции. Спустя какое-то время начали выделяться симбиотические виды, поскольку это идет на пользу и тем и другим. Но повторяю: никакого интеллекта, ничего близкого. Они просто способны к огромному количеству преобразований, как вирусы гриппа, например. Однако в противоположность земным бактериям они не являются паразитами, потому что им не на ком паразитировать, если не считать тех компьютерных руин, из которых они «вылупились». Но это была только их начальная питательная среда. Все осложнялось тем, что одновременно началось раздвоение всех видов возникавшего там оружия, пока программы могли действовать, в какой-то степени придерживаясь исходных положений.

— Догадываюсь. На оружие, направленное против всего живого, и оружие, нацеленное на мертвое же оружие?

— Хитрая вы мышка. Так должно было быть. Но от первичных некроцитов, возникших, вероятно, много лет назад, уже, пожалуй, ничего не осталось. Некроциты переросли в селеноциты. Иначе говоря, начали объединяться, чтобы выжить, обрести универсальность, как, скажем, обычные микробы, которые под влиянием антибиотиков повышают свою вирулентность, приобретая иммунитет.

— Но что играло роль антибиотиков на Луне?

— Об этом можно говорить долго. Прежде всего,

разумеется, опасными для селеноцитов оказались те продукты военной автоэволюции, которые имели задание уничтожать любую «вражескую силу».

— Не очень понимаю.

— Ну, как же? Ведь агональная фаза лунного проекта имеет место *сейчас*, долгие годы там развивались специализация и прогресс оружия, вначале имитированного, а затем реального, и некоторые из его видов принялись за селеноциты.

— Ага, трактовали их как «врага», которого следует уничтожить?

— Конечно. Отличный допинг. Что-то вроде орудий, из которых фармацевтическая промышленность бьет по бактериям. Это привело к акселерации развития. Селеноциты вышли победителями, оказались более совершенными. Человек может болеть насморком, но насморк не может болеть человеком. Надеюсь, это ясно, не правда ли? Огромные, сложнейшие системы играли там роль людей.

— А дальше?

— Очень любопытный и совершенно неожиданный поворот. Иммуность из инертной стала активной.

— Не понимаю.

— Они перешли от обороны к наступлению. Ускорили, к тому же резко, развал лунной гонки вооружений...

— Пыль?

— Пыль. А когда там остались уже только догорающие останки изумительного Женевского проекта, селеноциты получили неожиданное подкрепление.

— А именно?

— Дисперсанта. Они воспользовались им. Не столько уничтожили, сколько поглотили, или, лучше сказать, произошел логически-электронный обмен информацией. Гибридизация. Скрещивание.

— Как такое могло случиться?

— Все не так уж необычно, я ведь тоже исходил из силиконовых полимеров с полупроводниковыми харак-

теристиками. С другими, конечно, но адаптивность *моих* молекул в общих чертах подобна адаптивности лунных. Родство далекое, однако родство. В конце концов, если исходить из одного и того же строительного материала, получаешь сходные результаты.

— И что теперь?

— Именно этого я еще до конца не разгрыз. Ключом может быть ваша посадка. Зачем вы опустились на Море Зноя?

— В японском секторе? Не знаю. Не помню.

— Ничего?

— Вообще-то, ничего.

— А ваша правая половина?

— Тоже нет. Я уже могу с ней вполне сносно общаться. Но прошу это держать в секрете. Хорошо?

— Я придержу это для себя. Для верности не спрошу даже, как вы это делаете. Что она знает?

— Что, когда я вернулся на корабль, карман скафандра был полон пыли. Но откуда она там взялась — не знает.

— Вы могли сами набрать ее на месте. Только вопрос — зачем?

— Судя по всему, я, пожалуй, действительно сделал это сам. Не могли же селеноциты забраться в карман своими силами. Но я ничего не помню. Что известно Агентству?

— Пыль вызвала сенсацию и панику. Особенно тем, что следовала за вами. Вам это известно?

— Да. Сказал профессор Ш. Он был у меня неделю назад.

— Уговаривал дать себя исследовать? Вы отказались?

— Напрямую — нет, но играл на оттяжку. Тут есть по крайней мере еще один такой тип. Отсоветовал мне. Не знаю, от чьего имени. Прикидывается пациентом.

— Таких рядом с вами не один.

— Что значит «шли следом за мной»? Селеноциты шпионили?

— Не обязательно. Можно стать носителем бактерий, ничего о том не ведая.

— А история со скафандром?

— Да, твердый орешек. Кто-то вам всыпал пыль в скафандр или вы сделали это сами. Только, повторяю, зачем?

— Вы не знаете?

— Я не ясновидец. Положение в общем достаточно сложное. *Зачем-то* вы опускались. *Что-то* нашли. *Кто-то* хотел, чтобы вы забыли и о том и о другом. Отсюда каллотомия.

— Значит, по меньшей мере три антагонистических стороны?

— Не то важно, сколько их, а то, как их распознать.

— Но, собственно, почему это так важно? Рано или поздно провал Лунного проекта станет явным. А если даже селеноциты стали «иммунной системой» Луны, как это может повлиять на Землю?

— Двойко. Во-первых, что, впрочем, предполагалось еще раньше, возвращением гонки вооружений. А во-вторых, и это главная неожиданность — селеноциты начали интересоваться *нами*.

— Людьми? Землей? Не только мной?

— Вот именно.

— Что они делают?

— Пока только размножаются.

— В лабораториях?

— Прежде чем наши парни сообразили, что к чему, они уже успели разлететься по всему белу свету. За вами пошла только малая толика.

— Размножаются? И что?

— Я же говорю: пока ничего. Они размером с ультра-вирус.

— Чем питаются?

— Солнечной энергией. Я слышал оценки. Их уже несколько триллионов в воздухе, в океанах — повсюду.

— Совершенно безвредные?

— Пока да. Но именно это вызвало всеобщее беспокойство.

— Почему?

— Это же так просто: не только с большой высоты, но и взятые в руку, они выглядят как мелкий песок. Значит, коли вы высадились, то имели к тому повод. Какой? Это они хотят понять.

— Но если я ничего не помню — ни я, ни остальное... мое?..

— Они не знают о том, что вы *договорились*. Кроме того, амнезии бывают разного типа. Под гипнозом либо в иных особых условиях можно из человека извлечь то, чего он сам никоим образом никогда не припомнит. А с вами они поступают так осторожно и мягко из опасений, что шок, сотрясение мозга или что-то другое повредят или окончательно сотрут то, что, может быть, вы знаете, хотя и не помните. Кроме того, наших людей раздражают склоки. Речь идет о методике исследований... Впрочем, пока что это пошло вам на пользу.

— Кажется, начинаю понимать, какова моя роль в этой лунной истории... Но почему следующие разведки не дали результатов?

— Кто вам сказал?

— Мой первый гость. Невролог.

— Что конкретно?

— Что разведчики, правда, вернулись, но для них там устроили театр. Так он выразился.

— Это неправда. Насколько я знаю, было три разведки. Две телеферических, причем все дистантники уничтожены. Моего уже не применяли, только обычных. Правда, у них были специальные ракеты, чтобы запустить пробы грунта на корабль, но из этого ничего не вышло.

— Кто их уничтожил?

— Не известно. Очень скоро связь прервалась, а когда они опускались, район в радиусе нескольких миль был покрыт облаками или тучами, непроницаемыми для радаров.

— Это для меня новость. А третий разведчик?

— Сел и вернулся. Полная амнезия. Очнулся только на борту. Так я слышал. Правда ли, не совсем уверен. Я его не видел. Чем туманнее становится ситуация, тем больше они нагнетают секретность. Поэтому я не знаю, привез ли он пыль тоже. Предполагаю, что беднягу исследуют, но, скорее всего, безрезультатно, коли так сильно заботятся о вас.

— Что мне делать?

— Мне кажется, дело обстоит скверно, но не безнадежно. Селеноциты в достаточно короткое время парализуют остатки лунного вооружения. Они действуют методом коротких замыканий. В первую очередь выводят из строя то, что им угрожает. Лунный проект, правда, уже втихую списан в убытки, но не в этом дело. У нас тут есть несколько перворазрядных информатиков, которые считают, что Луна начнет интересоваться Землей. Девиз: «Селеносфера проникает в биосферу».

— Значит, все-таки вторжение?

— Нет. Хотя мнения и разделились. Скорее всего, нет. Во всяком случае, не в традиционном понимании. Земля отправила на Луну множество джиннов в герметически закупоренных сосудах, те вырвались, начали драться друг с другом, пока в виде побочного продукта не возникли мертвые, темпераментные микроорганизмы. Это не похоже на преднамеренное вторжение. Скорее на пандемию.

— Не вижу разницы.

— Я могу проиллюстрировать это только образно. Селеносфера ведет себя по отношению к любым чужакам как иммунная система по отношению к чужеродным телам. Антигенам. Если даже и не совсем так, то у нас нет других понятий, чтобы это уразуметь. Два разведчика, побывавшие там после вас, располагали новейшим типом оружия. Не знаю деталей, но это не было оружие ни обыкновенное, ни ядерное. Агентство хранит в секрете, что произошло на Луне, но пылевые тучи были столь ве-

лики, что их удалось заметить и сфотографировать во многих астрономических обсерваториях. Больше того, когда тучи опали, район изменился. Возникли провалы, что-то вроде кратеров, ничем не похожих на типичные кратеры Луны. Этого Агентство, конечно, не могло скрыть, поэтому молчит. Только тогда они взялись за ум и наконец-то сообразили, что чем мощнее используемые для разведки средства, тем сильнее может быть контрдействие.

— Значит, все-таки...

— Нет, не «все-таки», потому что Луна — не противник или враг, а что-то вроде гигантского муравейника. До меня дошли такие странные предположения, что и повторять не хочется. Пора заканчивать. Сидите спокойно. Пока они не растеряют остатки разума, ничто вам не грозит. Я уезжаю на три дня. В субботу, в это же время, если смогу, вызову вас. Будьте здоровы, боевой миссионер!

— Пока,— сказал я, но не был уверен, что он услышал, потому что наступила мертвая тишина. Я вынул из уха блестящую маслину и, немного подумав, спрятал в коробку с помадками, завернув, словно конфету, в станиоль. У меня было достаточно времени и материала для раздумий, но ничего больше. Прежде чем лечь, я отдернул гардины. Ночные бабочки уже улетели, видимо, привлеченные светом, льющим из других окон. Луна плыла за облаками. «Наделали мы дел»,— сказал я себе раздраженно, натягивая одеяло на голову.

На следующий день Грамер постучал, когда я еще лежал в постели, и сообщил, что Паддергорн вчера заглотил вилку. Он уже несколько раз глотал что-нибудь из столовых приборов в целях самоубийства. За ним здорово присматривают, неделю назад он проглотил рожок для ботинок. Ему сделали эзофагоскопию — рожок оказался полуметровой длины, тогда он стащил у кого-то в столовой вилку.

— Его интересуют только столовые приборы? —

в меру вежливо спросил я. Грамер тяжело вздохнул, застегнул пижаму и сел в кресло рядом с кроватью.

— Нет, не только...— проговорил он на удивление тихо.— Плохо дело, Джонатан.

— Как кому, Аделейд. Я, во всяком случае, не намерен ничего глотать.

— Нет, действительно, дело дрянь,— повторил Грамер. Он скрестил руки на животе и принялся крутить большими пальцами.— Боюсь за тебя, Джонатан.

— Будь спок,— ответил я, поправляя себе подушку и подкладывая под спину думку.— Я под надежной защитой. Может, слышал о некроцитах?

Это его так поразило, что он замер, полуоткрыв рот, а его лицо без особых усилий приняло то глуповатое выражение, с которым он ходил, изображая из себя миллионера с неутоленными мечтами.

— Вижу — слышал. И о селеносфере, небось, тоже? А? Или ты не удостоен такой степени посвящения? А о жалкой судьбе так называемого коллаптического оружия из последних разведок, может, что-нибудь знаешь? И о тучах на Море Зноя? Нет, об этом тебе уж наверняка не сказали...

Он сидел и, посапывая, глядел на меня своими рыбьими глазами.

— Будь ласков, подай вон ту коробочку со стола, Аделейд,— с улыбкой попросил я.— Люблю перед завтраком полакомиться сладеньким...

Поскольку он не шелохнулся, я слез с кровати за помадкой и, вернувшись под одеяло, подsunул ему коробку, прикрыв уголок большим пальцем.

— Угощайся.

— Откуда ты знаешь? — наконец хрипло проговорил он.— Кто... ведь...

— Напрасно нервничаешь,— сказал я не очень внятно, потому что марципан прилип у меня к небу.— Что знаю, то знаю. И не только о моих приключениях на Луне, но и о неприятностях коллег.

Он опять онемел. Оглянувшись, словно был впервые в моей комнате.

— Радиостанции, передатчики, тайные провода, антенны и модуляторы, да? — спросил я. — Нет тут ничего, только вот вода немного капает из душа. Видно, уплотнение сдало. Чему ты удивляешься? Или действительно не знаешь, что *они* находятся *во мне*?

Он растерянно молчал. Потер вспотевший нос. Взялся за мочку уха. За этими признаками отчаяния я наблюдал с явным сочувствием.

— Может, споем что-нибудь на два голоса? — предложил я. Помадки действительно были вкусные, но приходилось следить, чтобы их не осталось слишком мало. Облизнув губы, я взглянул на Грамера.

— Ну, шевелись, скажи что-нибудь, ты меня пугаешь. Ты боялся за меня, теперь я боюсь за тебя. Думаешь, у тебя будут неприятности? Если станешь вести себя правильно, попротежирую, сам знаешь где.

Я блефовал. Но, собственно, почему бы мне и не блефовать? Уже то, что несколько моих слов так подействовали на него, свидетельствовало о беспомощности его патронов, кем бы они ни были.

— Обещаю, что не стану называть имен и организаций, не хочу доставлять тебе дополнительных хлопот.

— Тихий... — простонал он наконец, — бога ради... нет. Этого не может быть. *Они* вовсе не так действуют.

— А разве я сказал, *как*? Видел я сон, ведь, по сути дела, я ясновидец.

Грамер вдруг решился. Приложил палец к губам и быстро вышел. Убежденный, что он вернется, я спрятал коробку под сорочками в шкафу и успел принять душ. Даже побрился, прежде чем раздался тихий стук. Он сменил халат на белый костюм, а в руке держал что-то большое, завернутое в банное полотенце. Он задернул гардины и принялся вытаскивать из узла аппаратики, установил их черными раструбами к стенам. Свисающий из черной коробочки проводок включил в розетку и при-

нялся что-то делать, страшно сопя при этом. Огромный живот ему ужасно мешал, да и лет ему, пожалуй, было под шестьдесят. Он долго ползал на коленях, воюя со своей электроникой, наконец, не вставая с коленей, выпрямился и, поморщившись, вздохнул.

— Ну, давай поговорим. Коль уж так получилось...

— О чем? — удивился я, натягивая через голову самую красивую сорочку с необыкновенно практичным темно-голубым воротничком. — Выкладывай, если тебе невтерпех. Давай, поплачься мне в жилетку, какие страхи испытываешь из-за меня. О том типе, который уверял тебя, будто я заперт здесь крепче, чем муха в бутылке. Впрочем, говори, что хочешь, исповедуйся, облегчи душу. Увидишь, как полегчает.

И неожиданно, ни с того ни с сего, словно игрок в покер, который перебивает пульку, не имея ничего на руках, бросил:

— Ты из которого отделения, из четверки?

— Нет, из пер... — он осекся. — Что ты обо мне знаешь?

— Ну, довольно, — я сел верхом на стул. — Надеюсь, ты не думаешь, будто я скажу что-нибудь за так?

— Что ты хочешь услышать?

— Можешь начать с Шапиро, — сказал я безмятежно.

— Он из ЛА. Это факт.

— Но он не *только* невролог?

— Нет. То есть, да, но у него есть и другая профессия.

— Продолжай.

— Что ты знаешь о некросфере?

— А ты?

Положение становилось неясным. Быть может, я переборщил. Если он был агентом разведки, все равно какой, он не мог знать слишком много. Крупным экспертам таких ролей в принципе не поручают. Но положение было исключительное, так что я мог и ошибаться.

— Довольно играть в прятки, — сказал Грамер. Он

был в отчаянии. Белый пиджак пропотел у него под мышками насквозь.

— Сядь лучше рядом,— буркнул он, опускаясь на коврик.

Мы сели внутри круга, образованного его аппаратами и проводками, как будто собирались выкурить трубку мира.

XI. Да саро*

Не успел он заговорить, как послышался шум мотора и по саду за окнами проплыла большая тень. Грамер широко раскрыл глаза. Гул ослаб и спустя минуту вернулся. Над самыми деревьями, перемалывая ротором воздух, повис вертолет. Дважды хлопнуло, словно кто-то откупорил бутылки гигантских размеров. Вертолет висел так низко, что я видел людей в кабине. Один приоткрыл дверцу и еще раз выстрелил из направленной вниз ракетницы. Грамер вскочил. Я не думал, что он может так резко двигаться. На всех парах он выскочил из комнаты, задрал голову. Из вертолета выпало что-то блестящее и скрылось в траве. Машина взревела, взвилась вверх и исчезла. Ползая на коленях, Грамер копался в траве, нашел контейнер размером с футбольный мяч и, не поднимаясь с колен, разорвал большой конверт. Известие, видимо, было очень серьезным, потому что конверт задрожал у него в руках. Потом он взглянул на меня, побледневший и изменившийся в лице. Еще раз взглянул на бумагу и встал. Смял ее в кулаке, спрятал за пазуху и, не спеша, не давая себе труда выйти на тропинку, пошел напрямую, через газоны. Вошел в комнату, молча пнул самый большой из аппаратов противоподслушивания, раздался треск, и из щелей металлической кассеты повалил синеватый дымок от короткого замыкания. Я продолжал сидеть на полу, а Грамер топтал бесценные при-

* Снова, сначала (итал., муз.).

боры, рвал провода, словно и в самом деле спятил. Наконец, рассопевшись, уселся в кресло, сняв предварительно пиджак и повесив его на моем стуле. Потом, словно только теперь заметил меня, взглянул мне в глаза и громко охнул.

— Это я от злости,— объяснил не совсем понятно.— Наверно, пойду на пенсию. Твоя карьера тоже кончилась. Забудь о Луне. Шапиро можешь послать цветную открытку. Предположительно на адрес Агентства. Они еще какое-то время будут командовать по инерции.

Я молчал, подозревая какой-нибудь новый подвох. Грамер вынул из кармана большой клетчатый платок, отер вспотевший лоб и взглянул на меня то ли с сочувствием, то ли с обидой.

— Началось два часа назад и прет на всех парах сразу повсюду. Человече, ты можешь себе это представить? Мы пацифицированы вконец! Тут и за океаном, от полюса до полюса и обратно! Глобальные потери около девятистот миллиардов! Включая космос, потому что первыми отказали спутники. Что ты глазеешь? — добавил он обиженно.— Не догадываешься? Я получил письмо от дядюшки Сэма...

— Слабоват я по части догадок...

— Думаешь, мы продолжаем игру? А? Нет, братец. Игра окончена. Опиши свои приключения, Агентство, миссию, что хочешь. За несколько недель заработаешь на остаток жизни. Гарантированный бестселлер. И никто у тебя волоса на голове не тронет. Только поспеши, а то типы из Агентства опередят. Может, уже сидят над воспоминаниями о минувшей эпохе...

— Что случилось?

— Все! Ты когда-нибудь слышал о softwars*?

— Нет.

— А о corewars?

— Какие-то компьютерные игры?

* Математическое обеспечение (англ.).

— Ну, вот видишь — знаешь, однако! Да. Программы, которые уничтожают все другие программы. Их изобрели еще в восьмидесятих годах. Тогда они были совсем простенькими. Так, баловство программистов. Это называлось инфекцией интегральных схем, забава. Дуарф, Крипер, Райдер, Рипер, Дарвин и куча других. Не знаю, какого дьявола я сижу здесь и излагаю тебе патологию цифроники? — удивился он. — Сколько это мне стоило здоровья! Я должен был подцепить тебя на крючок, а теперь вот стал таким добрым, что просвещаю, вместо того чтобы искать новую работу.

— Дядюшка Сэм прислал тебе письмо на вертолете? Что, почты уже нет? — спросил я, все еще пытаюсь учуять очередной подкоп. Грамер вынул чековую книжку, накорябал что-то поперек бланка, сложил его бумажной стрелой и запустил мне на колени.

«Миссионеру на память от верного Аделейда», — прочел я.

— Во что сейчас играем? — поднял я на него глаза.

— Ничего иного не осталось. Дядюшка поздравляет тебя тоже, а как же. Почты уже нет. Нет вообще ничего. Ничего, — он нарисовал руками круг. — Ничегошеньки! Я же говорю — началось два часа назад. И незачем искать виновных. Твой профессор тоже стал безработным. Тот добрый старикашка! Хорошо хоть, я вовремя успел купить себе дом. Буду выращивать розы, возможно, ягоды, в качестве товара в обмен на товар. Банкам тоже крышка! Душно мне...

Он начал обмахиваться чековой книжкой, потом взглянул на нее с отвращением и кинул в корзину для бумаг.

— *Rex vobiscum*, — сказал он, — *et cum spiritu tuo**. Пропади все пропадом!

Я начал что-то понимать. Его отчаяние не было притворным.

* Мир с вами, с духом твоим (лат.).

— Вирусы? — медленно спросил я.

— А ты становишься догадливым... Так точно, доблестный миссионер. Раздолбал все вдрызг! Ведь ты притащил на Землю тот хитрый порошок. Теперь тебе могут дать Нобелевскую за борьбу за мир либо расстрелять за всеземную государственную измену. Нобеля, пожалуй, не жди, но место в истории тебе обеспечено. Приволок заразу, а какую — губительную или благодатную — увидим через годы. Найдешь себя в любой энциклопедии.

— Может, на пару с тобой, — предложил я, еще не совсем понимая, что за катастрофа разразилась. Но Грамер явно не играл. За это я мог поручиться обеими половинками моего несчастного мозга.

— Была еще такая программа когда-то — «Червячок». «Червь», — флегматично, словно его только что разбудили, заметил Грамер. — Сейчас, знаешь ли, хорошему специалисту в моем деле необходимо высшее образование. Не те времена, когда достаточно быть привлекательной женщиной, лечь с клиентом в постель, выкрасть документы, пофотографироваться в ванне — и айда на контактный пункт. Нет, сначала кандидатская по математике, потом по информатике, потом высшее специальное, полжизни, чтобы вообще начать работать.

— Шпионом?

— Шпионом? — он пожевал губами и презрительно пожал плечами. — Шпионом, — повторил еще раз, взялся обеими руками за темно-синие подтяжки с белыми звездочками и раза два, оттянув, шлепнул ими по сорочке. — Не говори глупостей. Я государственный служащий, функционер со специальными полномочиями во имя высших интересов. «Шпион» так же подходит ко мне, как корове седло. Впрочем, это уже не имеет теперь никакого значения. Из их «червивых» программ возникла теория информационной эрозии — слышал о такой?

— Краем уха.

— Ну, конечно. Потом оказалось, что это изобрели вовсе не профессора от компьютеризации, а бактерии

примерно четыре миллиарда лет назад, плюс-минус двести миллионов. Не будем мелочиться. Уже у каждой из самых древних клеток, тех первых, была своя программа, и они поедом ели друг дружку, потому что еще не было никого, кто мог бы заработать лишай или рак. Но нашим великим экспертам такая мысль и в голову не пришла. Знания помешали! Всего несколько раз такие штуки проделывали в ходе молчаливой конкуренции консорциумов, чтобы парализовать чужие компьютеры. Тогда-то и возникли battle programs*. Небось, читал?

— Но это было давно...

— Сорок или пятьдесят лет назад. Именно поэтому теперь все и полетело в тартарары... Ведь, кроме палки, кухонного ножа, да пистолета, сейчас не сыщешь ни одного некомпьютеризованного оружия. Всюду программы, программки, процессоры. Ну и дожили... Ты пытался куда-нибудь позвонить?

— Сегодня нет. А что?

— А то, что АТС тоже не работают. Слушай! Эти вирусы проникли всюду одновременно! Радио слушаешь?

— Нет. Да у меня его и нету.

— Безголовые! Все же было ясно с самого начала. А у них ума — как у первого попавшегося вируса. Но вирулентности — эрозийности — хоть отбавляй! Не знаю, — пожаловался он стене, на которой висела репродукция «Подсолнухов» Ван Гога, — чего ради я тут с тобой сижу? Пойду, пожалуй, прогуляюсь, а может, повешусь. На этих проводах.

Он пнул ближайший аппарат.

— Но то, что с фасада выглядит сложнейшим секретом, с черного хода обычно оказывается простым, как проволока. Мы послали на Луну самые лучшие программы по проектированию оружия? Послали. Они совершенствовались икс лет? Еще как! Они полезли друг на друга на полном пару? Конечно, иначе и быть не могло. Кто

* Военные программы (англ.).

победил? Как всегда, тот, кто в минимальном объеме сконцентрировал максимальную вирулентность. Победили паразиты, молекулярная малышня. Я даже не знаю, нарекли ли их уже как-нибудь. Я бы предложил *Virus lunaris racemifacies**. Меня только интересует, кто и что затащило тебя на Луну, заставило там опуститься и привезти сюда эту добродетельную чуму? Теперь можешь мне сказать — в частном порядке, потому как правительствам никакой разницы. Теперь уже никакой.

— Все программы уничтожены? Память в компьютерах, все? — ошеломленно спросил я. Только теперь до меня дошли размеры открытия.

— Так точно, мистер чумной миссионер. Я имел в виду чуму из новеллы Эдгара Аллана По. Это ты привез! Не думаю, чтобы умышленно, откуда тебе было знать? Мы перебрались прямо в первую половину девятнадцатого века. С точки зрения техники и вообще. Чуешь? С той разницей, что тогда все-таки были пушки. А теперь их придется вытаскивать из музеев.

— Погоди, Аделейд, — прервал я. — Почему именно в девятнадцатый? Ведь тогда уже были прилично вооруженные армии...

— Ты прав. Собственно, положение беспрецедентное. Как после этакой негласной атомной войны, во время которой полетела вся инфраструктура. Промышленная база, связь, банки, автоматизация. Уцелели лишь простые механизмы, но ни одного человека, ни одной мухи не задело. Впрочем, нет, наверняка было множество несчастных случаев, только из-за отсутствия связи никто толком ничего не знает. Ведь и газеты давно уже печатаются не по методу Гутенберга. Редакции тоже удар хватил. Даже не все приборы в автомашинах действуют. Мой «кадиллак», например, уже труп.

— Надеюсь, служебный? — заметил я. — Так что не переживай.

* Вирус лунный миротворческий (лат.).

— Верно,— согласился Грамер.— Теперь верх возьмут бедняки. Четвертый мир. У них ведь еще остались старые «ремингтоны», может, даже «лебели» тысяча восемьсот семидесятого года и оружие, скорее всего копья, бумеранги, палицы. Теперь это стало «оружием массового уничтожения». Можно ожидать нашествия австралийских аборигенов. Они у себя давно уже у власти. Но ты можешь мне сказать, зачем спускался там вниз, а? Ну, чего ты боишься?

— Ты серьезно думаешь, что я знаю? — удивился я, впрочем, не очень, так как чувствовал, сколь мизерной стала моя особа и мое положение.— Понятия не имею. Готов пожертвовать тебе пять процентов от будущих гонораров за мой бестселлер, если ты сумеешь это объяснить... После такого обучения ты должен быть прозорливее Шерлока Холмса. Давай, рассуждай! Все факты тебе известны не хуже, чем мне.

Он меланхолично покачал головой.

— Не знает,— сообщил он подсолнухам Ван Гога, до которых уже добралось Солнце. Они отбрасывали желтоватый отблеск на мою смятую постель. Ноги у меня занемели от сидения на корточках, я встал, вынул из шкафа спрятанную за одеждой бутылку бурбона, из холодильника достал кубики льда, налил себе и ему и предложил похоронный тост — над могилой разоружаемых вооружений.

— У меня высокое давление и сахар,— заметил Грамер, вертя в пальцах стакан.— Но один раз не в счет. Да будет так. За наш умерший мир!

— Почему «умерший»? — запротестовал я.

Мы сделали по глоточку. Грамер поперхнулся, долго кашлял, отставил недопитое вино и потер себе щеку. Я заметил, как скверно он выбрит. Слабым голосом, словно за одно мгновение постарев на десять лет, сказал:

— Чем выше кто-то вознесся на своих компьютерах, тем ниже упал. Они сожрали все программы,— он ударил

себя по карману, в котором лежало письмо от «дядюшки Сэма». — Поминки. Конец эпохи.

— Почему? Если есть лекарства против обычных вирусов...

— Не городи чепухи. Какое лекарство воскресит труп? Ведь от всех программ на земле, под водой и в космосе не осталось ничего. Даже письмо они вынуждены были привезти на старом вертолете, потому что в новых типах все остановилось. В восемь с небольшим началось... А наши идиоты думали, что это обычная зараза.

— Везде одновременно?

Напрасно я пытался вообразить себе хаос в банках, на аэродромах, в учреждениях, министерствах, больницах, вычислительных центрах, университетах, школах, фабриках...

— Точно не известно, связи нет, но из того, что до меня дошло, получается, что сразу.

— Как такое могло случиться?

— Видимо, ты привез зародышевые формы, или споры. Зародыши начали лавинообразно размножаться, пока достаточная концентрация в воздухе, воде — всюду не вызвала их активизации. Лучше всего от опасностей были ограждены программы вооружения на Луне, ну а с земными дело у них пошло как по нотам. Тотальная битодемия. Паразитарный битоцид. За исключением всего живого, потому что на Луне они не имели дела ни с чем живым. Если б не это, вероятно, они ухайдакали бы нас вместе с антилопами, муравьями, сардинами и травкой вдобавок. Успокойся! Мне уже расхотелось читать тебе лекции...

— Если все обстоит так, как ты говоришь, то все начнется снова — по-старому.

— Конечно. Через полгода или через год найдут средство против *Virus lunaris bitoclasticus** — напустят

* Вирус лунный, пожирающий информацию (лат.).

на него контрвирус, и мир опять полезет в очередную кабалу.

— Так, может, ты не потеряешь места?

— С меня лично хватит,— категорически заявил он.— Не то, чтобы я не хотел, просто уже стар. Новая эпоха требует нового образования. Противолунной информатики и тому подобное. Вероятно, Луну подогреют термоядом, стерилизуют, правда, на это потребуются миллиарды, но расходы окупятся, будь спок.

— Чьи? — спросил я. Странный был этот Грамер — все время прощался со мной, но и не думал вставать, чтобы уйти. Я вдруг подумал, что просто ему надо выплакаться в мою жилетку, ведь я один во всем санатории знал, кто он такой. Не идти же к психиатрам со своей поломанной жизнью.

— Чьи? — повторил он.— Как чьи? Всех изготовителей оружия, всех отраслей промышленности. Всех. Повытаскивают из архивов старые чертежи, сначала восстановят немного классических устройств, ракет и примутся за компьютерные трупы. Ведь все hardware* стоят, как законсервированные мумии. Только software черти съели. Подожди несколько лет. Сам увидишь.

— История никогда не повторяется один к одному,— заметил я и, не спрашивая, долил ему бурбона. Он выпил до дна, не поперхнулся, только лысина покраснела. В луче солнечного света, падающего через окно, играли маленькие блестящие мушки.

— Чертовы мухи, конечно, вышли целехонькими,— угрюмо выдавил Грамер, глядя в сад, где больные в ярких халатах и пижамах, как ни в чем не бывало слонялись по аллеям. Небо было голубым, светило Солнце, ветер играл кронами больших каштанов, фонтанные поливочные устройства мерно вращались, играя радугой в водяных брызгах, а тем временем один мир погибал и уходил в безвозвратное прошлое, а сменяющий его даже еще

* Вычислительные устройства (англ.).

не показался на свет. Я не стал делиться с Грамером этой слишком банальной мыслью. Только разлил остатки вина.

— Хочешь спить? — сказал он, но выпил, оставил стакан, наконец встал, набросил на плечи пиджак и установился, положив руку на дверную ручку.

— Если вспомнишь... знаешь, что... напиши. Сравним.

— Сравним? — повторил я, как эхо.

— Видишь ли, между нами говоря, у меня есть на сей счет свое мнение.

— Зачем я опускался?

— Отчасти.

— Так скажи.

— Не могу.

— Почему?

— Не имею права. Я, того, присягал. Служба — не дружба. Мы с тобой сидели по разные стороны стола.

— Но стола-то больше нет. Не будь таким служакой. Впрочем, могу дать слово, что буду держать язык за зубами.

— Ишь ты! Напишешь, издашь и будешь утверждать, что к тебе вернулась память.

— Ну, хорошо. Беру в долю. Шесть процентов моего гонорара.

— Расписку дашь?

— Разумеется.

— Двадцать!

— Перетягиваешь струну.

— Я?

— Я уже и без тебя начал догадываться, что ты можешь сказать.

— Э?

Он занервничал. Видимо, знаниями-то его напичкали, а вот настоящей выучки не дали. Я решил, что он не слишком-то хорошо подходит к своей профессии, но вслух не сказал. Все равно он собирался на пенсию.

— Ну, так говори... — буркнул он.

— Если скажу, цента не получишь.

За его спиной зеленел сад. По аллее на инвалидной коляске ехал старый Паддергорн с полуметровым рожком в руке, который он держал словно древко штандарта. Служитель, толкая кресло, попыхивал его сигарой. В нескольких шагах позади шел телохранитель Паддергорна в шортах, мускулистый, загоревший под бронзу, в белой шляпе с большими полями. Его лицо заслонял открытый цветной комикс. На свободном ремне болталась кобура и била его по бедру.

— Говори или прощай, дружище,— сказал я.— Ты же знаешь, Агентство в любом случае опровергнет все, что я опубликую...

— Но если упомянешь меня как информатора, у меня будут неприятности...

— Ничто так не уменьшает неприятностей, как деньги. А впрочем, упомяну тебя, если ты мне *ничего* не скажешь... Кроме того, я считаю, что тебе следует подлечиться. Нервное расстройство. Сразу видно. Что ты так смотришь? Ты уже все высмотрел.

Он молчал. Дрогнули щеки. Мне стало его немного жаль.

— Не сошлешься на меня?

— Изменю имя и внешность.

— Все равно узнают.

— Не обязательно. Думаешь, тебя одного ко мне приставили? Вы во всем виноваты, верно?

Он возмутился.

— Никакие не мы. У нас нет ничего общего с Лунным Агентством. Это они!

— Как и зачем?

— Не знаю точно как, но знаю зачем. Чтобы ты не вернулся. Если бы ты туда спустился, все осталось бы по-старому.

— Но ведь не навсегда. Рано или поздно...

— Этого они и хотели. Чтобы «поздно». Опасались твоего доклада.

— Допустим. А пыль? Откуда она взялась в моем скафандре? Как они могли о ней знать?

— Знать не знали, но Лакс чего-то боялся. Поэтому и крутил с дисперсантом.

— И это до вас дошло? — удивился я.

— Его ассистент — наш человек. Лоджер.

Я вспомнил первый разговор с Лаксом. Действительно, он говорил, что кто-то из его сотрудников копает под него. Вся история выглядела в новом свете.

— Каллотомия — тоже они? — спросил я.

— Понятия не имею. — Он пожал плечами и добавил: — И не узнаешь никогда. Никто не узнает. При самой высокой ставке правда перестает существовать. Остаются одни гипотезы. Версии. Как было с Кеннеди.

— Президентом?

— Сейчас ставка еще выше. Весь мир! Большей не существует! Теперь напиши, что обещал...

Я вынул из стола лист бумаги и шариковую ручку. Грамер стоял, отвернувшись к окну. Я подписался и подал ему письменное обязательство. Он взглянул и удивился.

— Ты не ошибся?

— Нет.

— Десять?

— Десять.

— Ну, что ж, баш на баш. Ты добавил, и я тебе добавлю. На Луну тебя *должен был* притащить дисперсант.

— Хочешь сказать, что Лакс? Не верю!

— Не Лакс. Он ничего не знал. Лоджер знал все планы. К нескольким десяткам программ он добавил еще одну. Нехитрый фокус. Это же программист.

— Значит, все-таки вы...

— Нет. Он работал на три стороны одновременно.

— Лоджер?

— Лоджер. Но он был нам нужен.

— Хорошо. Дисперсант вызвал меня. Я опустил. Ну, а как с песком?

— Чистейшая случайность. Этого никто не предвидел. Если ты не вспомнишь той минуты сам, никто уже в этом не разберется. Никогда.

Он сложил листок вдвое, спрятал в карман и бросил от двери:

— Держись!

Я видел, как он шел к главному павильону. Прежде чем он скрылся за живой изгородью, левая рука взяла меня за правую и пожала. Не скажу, чтобы такое выражение одобрения меня обрадовало. Но, так или иначе, надо было жить дальше.

Май 1984 г.

Конрад Фиалковский

НОМО ДИВИСУС



Konrad Fiałkowski

HOMO DIVISUS

**Wydawnictwa radia i telewizji
Warszawa 1981**

© by Konrad Fiałkowski, Warszawa 1979, 1981.

1 Когда он открыл глаза, было светло и за огромным, во всю стену окном он увидел голые ветви деревьев, а сквозь них — параллелепипеды домов с дисками направленных антенн на крышах. Снаружи хозяйничал ветер, налетавший порывами с гор, но здесь он слышал лишь удары собственного сердца — стены не пропускали извне ни звука. Всем телом он чувствовал озноб. Гладкая, без единой морщинки простыня натянута по самый подбородок. Он хотел пошевелить ногой... и не смог. Его охватил страх.

Некоторое время он лежал, ни о чем не думая, потом мозг снова заработал. На улице весна, ранняя весна... Или поздняя осень? Тогда же была зима, смерзшийся снег на шоссе. Поворот казался простым, но, уже повернув руль, он понял, что скорость слишком велика. Мелькнула мысль, что из виража не выйти. Красные огоньки столбиков по ту сторону шоссе катастрофически надвигались. Он был уверен, что им не выдержать массы машины. За мгновение до удара успел выключить зажигание — он был старым водителем и хорошо знал, что такое смерть в огне. Еще ему запомнились пятна снега на серой скале. Удара он не почувствовал...

«И все-таки я жив, — подумал он. — Вероятно, подлатили, как смогли, а потом поглядывали, выживу ли. Ну что ж, кажется, я их не разочаровал. Привезу им цветы и благодарность с того света. Привезу на кресле-каталке, а уж потом буду думать, что дальше. А может, мне повезло и я буду ходить. Но вот лицо... Что с лицом?» — Он попытался отыскать глазами зеркало, но не нашел. Голые стены, как ему показалось, отражали больше света, чем обычные, словно их покрыли люминесцентной краской.

Где-то едва слышно прозвенел звонок. Он услышал его только потому, что в комнате стояла абсолютная тишина. Попытался поднять голову, но шлем сдавливал виски. И тут он услышал голос:

— Ты проснулся. Мы ждали твоего пробуждения, —

голос женщины был мягким, казалось, она стоит рядом, но в комнате никого не было. — Вероятно, ты ощущаешь слабость, озноб. Не волнуйся, это в порядке вещей и скоро пройдет. Еще немного, и ты сможешь совершать далекие прогулки, а зимой бегать на лыжах. Будешь здоров, совершенно здоров, как и прежде...

— Ты уверена?

— Да. Мы проверили каждую твою мышцу, каждую косточку. Все переломы срослись. Мозг функционирует нормально. Никаких особых повреждений. Если захочешь, мы постараемся, чтобы ты забыл об аварии на шоссе.

— Забыл?

— Если захочешь.

Он помолчал. Стены светились все ярче, а может, это только казалось.

— Я давно здесь? — спросил он наконец.

— Давно. Уже весна. Еще несколько дней, и распустятся почки...

— Я выйду отсюда... сам?

— Да. У тебя впереди еще много-много лет. Ты молод, Стеф Корн.

— Ты знаешь мое имя?

— Разумеется. Ты мой подопечный.

— Понимаю. Ты меня оперировала?

— Оперировал Тельп. Твой ведущий. Он придет позже.

— А ты?

— Я и так здесь.

— Ты только разговариваешь со мной.

— Скоро ты увидишь меня. А пока ты нуждаешься в изоляции. Ты еще очень слаб.

— У меня такое ощущение, будто я возвратился после долгого отсутствия.

— Не понимаю.

— Несчастный случай. Вероятно, все было очень серьезно. Странно, что я остался жив.

— Тогда ты думал...

— Ни о чем я не думал. Даже не боялся.

— Тебе повезло, Стеф. Следом за тобой ехал грузовик. Тебя вытащили, и через несколько минут ты был уже в клинике.

— Помню, я обогнал его перед самым поворотом. Представляю, как переволновалась Кара. Когда она сможет меня навестить?

— Кара?

— Да. Моя жена.

— Ты еще очень слаб. Закончится изоляция, тогда посмотрим.

— Долго мне ждать?

— Не думай об этом. Сейчас ты заснешь. Мы и так заговорились сверх положенного. Ты проснешься бодрым и уже не будешь испытывать озноб.

— Но я не хочу спать,— сказал он и тут же почувствовал, что его клонит в сон. Ответа он не услышал.

— Ты проснулся? Отлично,— он увидел склонившего над ним невысокого мужчину; его большие темные глаза имели то странное выражение, которое свойственно только близоруким.— Я Тельп, твой ведущий. Как самочувствие, Корн?

— Терпимо,— Корн подтянул ноги и сел. Шлем исчез. В комнате было очень светло, и сначала ему подумалось, что это от солнца. Но за окном шел дождь, и только стены светились ярким желтоватым светом.

— Отлично,— повторил Тельп.— Ты даже представить не можешь, как я доволен. Попробуй встать,— он подал Корну руку.

«Я могу двигаться, честное слово, могу двигаться»,— подумал Корн. Босыми ногами он коснулся ковра, которым был выстлан пол комнаты, и встал.

— Я совсем не чувствую слабости.

— Ну и прекрасно. Так и должно быть. Первое

время ты ощутишь некоторый избыток сил, потом при-
выкнешь.

— Не понимаю.

— Механизм этого явления объяснить довольно
сложно. Но так оно и есть. Ты стал сильнее, несомненно
сильнее, чем прежде.

— Укрепляющее лечение?

— Что-то в этом роде,— Тельп улыбнулся, и Корн
увидел, что тот молод, одних с ним лет, а может, и мо-
ложе.

Он сделал несколько шагов. Ходить было нетрудно.

— Попробуй пройти еще немного, закрыв глаза,—
попросил Тельп.

Корн дошел до стены и вернулся обратно. Тельп был
явно удовлетворен. Тогда Корн решился:

— А лицо? Как мое лицо?

— Хочешь посмотреть на себя?

— Да.

— Зеркало,— сказал Тельп, обращаясь неизвестно
к кому.

— Сейчас принесут?

Тельп улыбнулся и показал на стену. Часть ее отража-
ла внутренность комнаты, и, подойдя ближе, Корн увидел
себя. Это было его лицо, может, немного изменившееся,
но наверняка его. В первый момент он не мог понять,
в чем разница, потом сообразил. На лице не было ни
морщинки.

— Пластическая операция? — спросил он.

— Пришлось кое-что подправить,— снова улыбнул-
ся Тельп.— Надеюсь, ты не в претензии?

— Пожалуй.

Он смотрел на свое отражение. Коротко, очень корот-
ко подстриженные волосы, кожа на черепе натянута,
словно ее распирает изнутри, странный переливчатый ма-
териал комбинезона плотно облегает тело. Он взглянул
на Тельпа. Тот был в таком же костюме. Ни одной пу-
говицы.

— Как его снимают? — спросил Корн.

Тельп подошел и слегка потянул ткань возле ворота. Ткань разошлась вдоль невидимого шва. Корн заметил на груди тонкие побелевшие рубцы.

— Перекраивали?

— Да. Но все срослось прекрасно, как видишь.

— Я совершенно не чувствую швов, — сказал Корн. — Вообще, насколько я понимаю, все, что ты сделал со мной, — первоклассная работа.

— В самом деле, я могу гордиться твоим телом.

Корн взглянул на Тельпа, лицо хирурга посерьезнело.

— Это было очень трудно?

— Не то слово — совершенно внове. Уникальная операция. Ты со временем убедишься в этом. Ну а сейчас твой организм работает без малейших сбоев, как отличный гоночный автомобиль, совершенно исправный, с большим ресурсом. У тебя все впереди. При желании можешь стать даже космонавтом.

— Тут девушка упоминала о лыжах...

— Девушка?

— Да, которая говорила со мной, когда я проснулся.

— А, это была Кома. Она присматривает за тобой. Я всего лишь врач: операция, послеоперационные процедуры. Потом, конечно, я тобой тоже интересовался, но уже не как хирург, понимаешь?

— Да. Наверно, у тебя много пациентов? У Кары их всегда масса.

— У кого?

— У Кары, моей жены. Ты ведь с ней общался.

— Да-да...

— Она меня сюда и поместила. Это какая-то очень современная клиника.

Тельп молча смотрел, как шевелятся на ветру ветви в окне.

— Одно можно сказать с уверенностью, Корн, — проговорил он наконец. — Своей жизнью ты обязан Кома.

— И тебе...

— Моя роль,— Тельп замялся,— в определенном смысле вторична.

— Не понимаю.

— Об этом мы еще успеем поговорить. А теперь поешь. Первый настоящий завтрак после долгого искусственного питания. Ты доволен?

— Еще бы.

— Возможно, пища покажется тебе несколько странной, но ты пока на диете. А меня ждут пациенты.

Корн хотел было спросить, когда кончится изоляция, но в этот момент в распахнувшиеся двери въехал столик и запахло бульоном. Тельп пододвинул ему стул.

— Присядь и поешь. Хочешь послушать музыку? Еще древние оценили ее влияние на процесс пищеварения.

— Здесь есть радио? — Корн обвел взглядом стены.

— Только динамик. Что хочешь послушать?

— Все равно,— Корн сел и развернул салфетку. Послышался тихий щелчок и вслед за ним первые такты мелодии.

— Это ты включил?

— Нет. Автомат,— ответил Тельп и вышел.

«Автомат. Автоматизированная больница»,— подумал Корн, принимаясь за еду. Эта мысль снова пришла ему в голову, когда он встал, а столик самостоятельно ретировался в раскрывшуюся на мгновение дверь. Заинтересовавшись тем, что станет со столиком дальше, он подошел к двери, но опалесцирующие желтоватые створки уже сомкнулись. Он вернулся на середину комнаты, глянул в окно на серое предвечернее небо, лег на кровать и уснул. Ему снилось памятное утро на шоссе, покрытом тонкой коркой льда, образовавшейся за ночь после вечерней оттепели. Он опять обгонял неуклюжие автобусы, мчась к проступающим у горизонта горам. Обогреватели работали безотказно, и в машине было тепло. Въезжая на серпантин, он насвистывал марш, оставшийся в памяти

еще с детских лет. И вдруг — смерзшийся снег на шоссе, резкий поворот руля и спазм в желудке, когда колеса оторвались от покрытия. Он проснулся. Бешено колотилось сердце. Тут же он услышал, как кто-то сказал:

— Опять неконтролируемый сон. Это недопустимо. Сколько можно повторять!

— Схема рекомбинации предусматривает такую фазу,— произнес уже знакомый женский голос.

— Мне нет дела до ваших фаз! Он мой пациент.

Корн открыл глаза. У кровати стоял Тельп. Больше в комнате никого не было.

— Он проснулся. Займись им. Я скоро вернусь.

Корн взглянул на дверь, но и там тоже никого не было. Тельп смотрел ему в глаза.

— Неприятная штука. Но это пройдет. Скоро ты будешь видеть нормальные сны.

— А почему она вышла?

— Она вернется. Еще несколько дней ты будешь под ее опекой. Кома следит за процессом твоей адаптации.

— Она психолог?

— И психолог тоже. Ну, я пойду. У тебя подскочило давление и участился пульс. Я зашел взглянуть, в чем дело.

— Знаешь, с меня довольно,— сказал Корн.

— Не понимаю.

— Мне надоела изоляция. Я чувствую себя здоровым, совершенно здоровым, хочу видеть родных, знакомых. Выйти отсюда.

— Скоро выйдешь.

— Это я уже слышал.

— А что бы ты еще хотел услышать? — Тельп внимательно посмотрел на него.— Когда кончится период адаптации. Еще немного — два, три дня. Потом выйдешь и остальное решишь сам. Но эти несколько дней придется потерпеть. Ты взрослый человек, Корн,— в дверях

Тельп обернулся,— тебе тридцать один год, у тебя все впереди. Помни об этом всегда.

Тельп вышел, а Корн уставился в потолок, теплившийся слабым голубоватым светом, он пытался понять, что в действительности имел в виду врач с широким лбом, еще не дрожавшими пальцами и близорукими глазами. Потом потолок погас.

Корн открыл глаза от легкого прикосновения ко лбу. В комнате снова было светло. На стуле рядом с его кроватью сидела девушка.

«Словно сошла с портрета,— подумал Корн,— с портрета кого-то из старых мастеров, которые видели мир таким, каков он есть».

— Ты Кома? — спросил он.

— Да. Вот я и пришла.

— Знаю. Ты психолог. Руководишь процессом моей адаптации.

— Можно сказать и так. Но весь этот процесс сводится к беседе,— она говорила спокойно, выразительно, как хороший лектор.

— С чего ты хочешь начать?

— Безразлично. Когда-то ты увлекался астрономией, верно?

— Да. В школе. Откуда ты знаешь?

— Считаю, что я знаю о тебе очень много и впредь не удивляйся. Договорились?

— Да. До поступления на факультет биофизики я и в самом деле интересовался астрономией.

— Меня порадовало, когда я это обнаружила. С теми, кто по ночам смотрел в небо, легче разговаривать. Они какое-то время находились как бы вне времени. Такое остается на всю жизнь.

— Не понимаю.

— Понимаешь, только не отдаешь себе в этом отчета. Вспомни...

Он хотел сказать, что не знает, о чем вспоминать, но тут ощутил на лице вечерний ветер, веющий с опален-

ной солнцем пустыни, и вспомнил небо в ярких вечерних звездах. Это было давно, лет десять, может, двенадцать назад: растрескавшаяся дорога, низкие глинобитные мазанки, блеяние коз, а потом равнина и развалины, с которых они смотрели на небо.

— Над пустыней звезды кажутся ближе, — говорил старик с раскосыми глазами, — и поэтому обсерваторию построили здесь. Ночами они смотрели на небо, а утром, когда всходило солнце, спускались в подземелье на отдых. Прошла почти тысяча лет, как они ушли, но и сегодня они жили бы точно так же.

Корн помнил лицо старика. Он вел старую развалюху-автобус, жевал табак и торговался о цене за проезд. Потом была ночь, и когда они возвращались по шоссе через пустыню, звезды над ней были еще ближе.

— Ты знаешь и о той обсерватории? — спросил Корн.

— Да. Но тогда ты был еще слишком молод и тебе все казалось неизменным, вернее, очень медленно изменяющимся. Так бывает всегда. Если мы начинаем замечать изменения, значит, подходит старость. И тогда дни становятся короче, лето сливается с зимой и следующим летом, а осени и весны мы почти не замечаем.

— Зачем ты все это говоришь?

— Потому что время — твоя проблема.

— Проблема?

— Да.

Он, не понимая, внимательно смотрел на девушку, на ее неподвижные темные глаза и гладкие, собранные на затылке в большой узел волосы. Потом перевел взгляд на ее руки, но увидел лишь два светлых пятна, кисти приобрели четкость, только когда он присмотрелся.

«Как на экране у плохого киномеханика, — подумал он. — Вероятно, что-то неладно с мозгом. Впрочем, хорошо, что я вообще вижу».

— Сколько тебе лет, Кома? — спросил он.

— Это важно?

— Думаю, да. Ты разговариваешь со мной, словно

старшая сестра, которая вводит в жизнь братишку, а ведь, наверно, ты еще играла в песочнице, когда я сдавал выпускные экзамены.

— Я никогда не играла в песочнице,— спокойно сказала Кома, и все-таки Корну показалось, что он ее чем-то обидел.

— Согласен, сравнение не из удачных. Но в любом случае, ты моложе меня. По-моему, ты хочешь что-то сказать. Так скажи прямо и ясно.

Она некоторое время не отвечала, потом улыбнулась.

— Одно я скажу тебе прямо и ясно, Стеф. Наши с тобой беседы — моя работа. Я знаю, что делаю, и нам придется еще немного поговорить, если ты не очень устал.

— Я не устал, и давай покончим с этим как можно скорее. Потом можно будет просто поболтать.

— Вряд ли тебе захочется... Скажи, ты никогда не думал стать космонавтом?

— Конечно, думал. Как и каждый парень моего поколения.

— А будучи взрослым?

— Возможно. Не помню.

Однако он помнил. Это было после высадки на Венеру первой экспедиции. Сидя у телевизора, он видел несметные толпы на улицах, флажки с серебряными эмблемами космонавтов и цветы, цветы, цветы, которые девушки бросали в машины. А в машинах — знакомые по газетным фотографиям лица вернувшихся оттуда. А вот тех, кто возвратился в металлических ящиках, установленных в грузовых отсеках ракет, не показывали, но они были здесь, незримые, придавая еще большую значимость героизму живых. Он опоздал тогда в кино, потому что передача затянулась, а ему хотелось досмотреть все до конца. Но тогда ему уже было столько лет, что он не мог представить себя рядом с ними. Возможно, он еще сумел бы вообразить себя там, на Венере, выходящим из ракеты в белесые испарения планеты.

— В роли космонавта мне трудновато себя представить,— признался он.

— Экспедиция к далеким планетам, возвращение спустя многие годы...

— Нет, это не для меня.

Она помолчала.

— А имя профессора Бедфорда тебе ни о чем не говорит?

— Нет. Какая-нибудь теорема, закон? А может, я должен его помнить по какому-нибудь съезду?

— Нет. Это было задолго до твоего рождения. Твой отец наверняка знал это имя.

— Так позвони отцу и спроси, если тебе так необходимо.

— Не шути.

— Я говорю вполне серьезно.

— Я знаю, кто такой Бедфорд. Впрочем, неважно, чем он занимался. Он вошел в историю как первый человек, который дал себя заморозить. Он умирал от рака, состояние было безнадежным, его тело охладил, так что в организме прекратились все жизненные процессы. Потом его поместили в герметическую оболочку и погрузили в жидкий азот. Теоретически процесс был обратимым. Но только теоретически... В то время никто не в состоянии был его реанимировать.

— И он согласился?

— Да. Это было его желание. Переждать, пока люди не научатся возвращать замороженным телам жизнь и вылечить рак. Для него время остановилось.

— Он умер?

— Нет, он по-прежнему ждет. Он находится вне времени, как космонавты, которые летят к Урану или Нептуну. Когда он проснется, Вега переместится на небе и в глубине Космоса разгорятся новые солнца.

Корн смотрел на Кому, видел ее неподвижные глаза и лицо, черты которого становились тем четче, чем пристальней он вглядывался.

— Для него время будет такой же проблемой, как и для меня? — спросил он.

— Да.

Корн понял. Итак, он находится в другом времени. Сколько прошло лет? Не столетий, конечно, а лет,— ведь люди остались такими же, как и он, быть может, немного другими, но все-таки обычными людьми. А может, они иные, только являются ему в таком обличье, которое он знает, в обличье, предназначенном для таких, как он, путешественников, вынырнувших из жидкого азота? А мир изменился, и объективно существующая картина мира иная, чуждая и, значит, пугающая? Он смотрел на ровно светившиеся стены и старался не волноваться.

— Сколько... сколько лет прошло? — наконец спросил он.

— Полвека. С небольшим.

— Это много? — спросил он и тут же подумал, что такой вопрос не имеет смысла. Однако она поняла.

— Пожалуй, много,— Кома смотрела на него своим отсутствующим взглядом.

— Сейчас мне было бы больше восьмидесяти...

— Не думай так. Тебе тридцать один год. Помни — тридцать один! Только это правда и только это имеет значение. Ты возвращаешься из путешествия, из далекого путешествия, как космонавт.

— Ты веришь в то, что говоришь? А, Кома?

— Верю.

— Ну и что? Это же другой мир.

— Люди остались такими же. Остальное — технический декорум.

— Возможно, такими же, но не теми же. У меня была семья, друзья.

— У тебя все впереди...

— Что ты можешь еще сказать... Но все будет не так просто.

— Ты предпочел бы умереть, не просыпаться?

— Не знаю. Пожалуй, нет,— он перевел взгляд со

стен на лицо девушки и снова увидел светлое пятно.

— Это был единственный выход, не считая смерти.

— Бедфорд...

— Да. Только у тебя изначально было больше шансов. Он еще ждет. Для него мир будет еще сложнее...

— Но он согласился сам!

— Какое это имеет значение? Ты давал согласие на свое рождение?

Корн взглянул на Кому, и ему захотелось остаться одному.

— Похоже, я для тебя... подопытная свинка. Не иначе, ты пишешь диссертацию,— съязвил он и тут же пожалел о сказанном.

— Я не пишу диссертацию,— сказала она.— Просто я хочу облегчить тебе жизнь в нашем несколько изменившемся мире.

— Итак, изоляция окончилась?

— Да. Одежда ждет тебя,— она показала на приоткрытый стеной шкаф. Корн мог поклясться, что раньше шкафа там не было, но промолчал.— Завтра посмотришь несколько стереофильмов...

— ... и можно будет уйти?

— Да.

— В любой момент, хоть сразу же?

— Да. Только я не советовала бы торопиться. Впрочем, поступай, как знаешь. И еще одно: вот твой знар,— она протянула ему маленькое металлическое колечко с выбитыми на нем знаками.

— Это что? Удостоверение личности?

— Больше. Единственная вещь, которая тебе действительно необходима. Запомни свой знар. Можешь забыть свое имя, но знар — «знак распознавания» — помни всегда.

Стены потускнели, и лицо девушки стало расплываться. «Я не хочу засыпать»,— подумал он и погрузился в забытие.

Проснувшись, он прикоснулся ко лбу и нащупал углуб-

ление, оставленное шлемом. Был день. На деревьях за окном трепетали первые маленькие листочки.

2 Упражнение он проделывал не спеша. Легко подтянулся, коснувшись подбородком перекладки. Металл был гладким и прохладным. Он расслабил мускулы и резко опустил на всю длину рук. Взглянул на Рода, который стоял на эластичном полу, во вмятине, образовавшейся под тяжестью его тела.

— Продолжай,— приказал Род.

Корн разжал левую руку и повис на одной правой. Сильнее стиснул пальцы на перекладке, посмотрел на прозрачный купол зала и начал подтягиваться. «Рука работает, как машина,— подумал он. Я отдаю приказ, и она запросто подтягивает меня вверх. Если б еще пальцы были послушнее...» Он распрямил руку и снова повис на ней. Ни с того ни с сего подумалось, что пол сейчас представляет собой модель силового поля с точкой перегиба в месте, где стоит Род. Эта мысль на мгновение отвлекла его. Род подумал, что он отдыхает.

— Устал?

Корн покачал головой.

— Тогда другой рукой,— сказал Род.

Корн хотел показать, как легко перебрасывает массу тела с одной руки на другую, разжал пальцы правой, но пальцы левой начали сжиматься мгновением позже, чем следовало, и он почувствовал, что падает. Пол принял его своей пружинящей поверхностью. И вдруг Корн вспомнил: падение, черные стены шахты, едва уловимый запах сероводорода и погружение в вязкую массу, расступившуюся под тяжестью его тела. Слизь, тягучая слизь залепила глаза, рот, слизь с привкусом молока, потом спазм в груди, прервалось дыхание, сознание заполнил страх... А до того была лаборатория с пульсирующими контрольными экранами и светящимися табло, ведущими обратный отсчет времени.

Он взглянул на Рода.

— Все в порядке.
— Повторишь? — просил Род.
— Конечно,— Корн начал взбираться вверх по канату. Он помнил — тогда были скобы, были слишком высоко, чтобы дотянуться до них из слизи. Еще немного, и он повис на правой руке, подтянулся, рука работала, как автомат, без всяких усилий.

Душ был теплый, упругие струи массировали мышцы плеч. Род ожидал его у выхода из кабины, где поток теплого воздуха разгонял по коже капли воды, пока они не испарились.

— Тренировка пальцев,— заметил Род,— самое сложное. Но это необходимо. Сила мускулов — еще далеко не все. Надеюсь, на них ты не в обиде? — он взглянул на Корна.

— Работают, словно отлично смазанные подъемники. Они вышли в коридор — длинный мерцающий туннель без окон и дверей с овальным потолком. Пол слегка пружинил под ногами.

— После обеда поплаваешь, а потом — на центрифугу.

— Я плохо переношу перегрузки. Это так необходимо?

— Да. Иначе мы не включили бы центрифугу в программу. Обедать идешь?

— Попозже. Сейчас у меня встреча с Комой.

— С кем?

— С Комой, психологом. Ты не знаешь ее?

Род внимательно посмотрел на него.

— Нет. Откуда мне знать? Мое дело — ваши мускулы, спорт, вождение. Остальное меня не интересует. И психологи тоже. Мне нет до них дела.

— Напрасно. Очень милая девушка.

— Мне нет до них дела,— повторил Род.— К счастью, я здоровый, нормальный человек.

— А я, значит, нет?

— Ты? — Род смотрел куда-то в глубь коридора. — Ты тоже, но коль уж попал к нам... А, да что говорить! — он махнул рукой. — Ну, пока. Встретимся в бассейне.

Род сделал несколько шагов и остановился перед цифрами, вспыхнувшими на полу коридора. Это был номер его выхода. Стена расступилась, Корн почувствовал легкий порыв теплого воздуха, и Род прошел сквозь стену, которая тут же помутнела и снова засветилась зеленым светом, как и весь коридор.

Корн тоже отыскал свой номер и сквозь расступившуюся стену попал в лабораторию Комы. Ее, конечно, не было на месте. Он видел ее только в те минуты, когда надевал шлем. Вероятно, она не хотела с ним встречаться, когда активность его мозга не фиксировалась мнемотронами и не могла стать объектом анализа. Огромное кресло со шлемом стояло на возвышении посреди комнаты, темным пятном выделяясь на фоне молочно-белых окон, пропускавших приглушенный дневной свет. В пол уходили толстые жгуты проводов в пластиковых оболочках, а на одной из стен безжизненно поблескивали серые экраны.

— Ты пришел? — услышал он голос Комы. — Садись в кресло, сейчас я поставлю новые мнемотроны.

Корн поднялся по ступенькам, сел и почувствовал, как меняется кривизна спинки и подлокотников кресла: укрытые в обшивке датчики считывали форму его тела. Сверху был виден пульт управления. Сейчас придет Кома и, как всегда, изучающим взглядом посмотрит ему в лицо. Засветились экраны. На пульте замигали огоньки, Корн откинул голову на подголовник — шлем сдавил виски, мгновение забытья, контуры предметов расплылись, потом снова обрели нормальные пропорции и формы.

Вошла Кома и встала за пульт. Она посмотрела на него именно так, как он и ожидал. Он попытался улыбнуться, но она этого, казалось, и не заметила.

— Твой знар, Стеф?

— Я повторял уже сотни раз.

— Повтори еще! Сейчас дети запоминают номер сво-

его знара раньше, чем собственное имя. Ты перескочил через эти детские упражнения, приходится наверстывать. Итак, твой знар?

— АСМИ-3-139-221.

— Прекрасно. У каждого человека свой знар...

— ... и по этому знару Опекун распознает его,— закончил Корн.— А твой знар, Кома?

Впоследствии он никогда не мог понять, зачем задал этот вопрос. Может, попросту надоело изо дня в день повторять одни и те же ответы, которые одинаково хорошо были известны и ему и Кома еще прежде, чем был задан вопрос. Может, играючи, ненадолго хотел поменяться с Комой ролями, хотя это и было невозможно, ведь не она, а он сидел в кресле со шлемом на голове, она же наблюдала за его реакциями по кривым на экранах пульта управления. Он задал свой вопрос и увидел, как у Комы застыло лицо.

— Не следовало этого говорить,— проговорила она.— Зачем ты это сделал? Почему люди такие...?

— Но Кома...

— Играла в песочнице, пишу диссертацию — ты и это говорил мне.

— Не понимаю. Я действительно не понимаю, что ты имеешь в виду.

Девушка собралась ответить, но вдруг застыла, и Корну, глядевшему на нее сверху, показалось, что она прислушивается к каким-то голосам. Потом она взглянула на Корна и машинально поправила волосы.

— Итак, знар свой ты помнишь. А мышцы? Как с ними?

— Думаю, нормально.

— Никаких осложнений?

Корн немного помолчал.

— Значит, Род уже доложил тебе, что я сорвался?

— Не расстраивайся. Временная неподвижность пальцев. Так бывает с каждым.

— Здесь совсем не то, Кома...

— А что же? Не можешь вспомнить?

Он не хотел, но воспоминания нахлынули помимо его воли.

Шахта, запах гнили, слизь...

— Нет! Ты принуждаешь меня думать об этом! Не хочу! Слышишь?!

Кома глядела на него, ничего не понимая.

— Прости,— сказал он.— Почему-то вспоминается то, чего я никогда не переживал. Не мог переживать. Я никогда не был в такой лаборатории. И эта... слизь с привкусом молока...

— И что еще?

— Шахта, в которую я падал, обратный отсчет...

Она подошла и коснулась его руки.

— Не думай об этом, Стеф,— сказала она.— Ничего такого не было. Все это неправда. Порой нам снятся места, в которых мы никогда не бывали, и события, в которых никогда не принимали участия. Проснувшись, мы не можем сказать, привидилось ли нам это или происходило в действительности. Ты, Стеф, пробуждаешься от сна, долгого, многолетнего сна,— Кома наклонилась к нему и он увидел ее лицо вблизи. «Странно,— подумал он,— когда она успела подняться? Ведь только что была внизу». Ему подумалось, что тут был какой-то сбой, нарушение непрерывности во времени и пространстве. Такое бывает в стереовидении, при смене плана, но не в жизни. Он не понимал этого, и его неуверенность, по-видимому, отразилась на сигналах мозга, воспринимаемых аппаратурой, потому что кривые на экранах заструились волнами, и Кома тут же заметила это, хотя ему казалось, что она смотрит только на него.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего. Ничего особенного.

У него не было от нее секретов, он доверял ей, она была единственным связующим звеном между миром, записанным в его мозге, и миром, его окружающим. Но не мог же он сказать этой девушке, что воспринимает ее

как стереовизионное изображение, ее, чье прикосновение он все еще ощущал на своей руке.

— И однако тебя что-то...— она на мгновение заколебалась, подыскивая нужное слово,— беспокоило.

Он подумал, что она совершенно точно сформулировала то, что отразили всколыхнувшиеся кривые.

— Уверяю тебя, ничего...

— Стеф,— сказала Кома, внимательно глядя на него,— я не могу сегодня установить с тобой полного контакта. Это скверно. Ты мне не веришь?

— Если я кому-нибудь и верю, так это тебе.

— Я знаю, ты думаешь о своем видении и хочешь, чтобы я тебе все разъяснила. Как, почему... А я не могу. И ты перестал мне доверять. Словно ребенок, который начинает понимать, что родители не всемогущи.

— Не шути, Кома. Я не ребенок.

— Но механизм реакций у тебя тот же,— она вернулась к пульта управления,— а объяснить тебе всего я не могу. Что делать, ты должен с этим примириться и, несмотря ни на что, верить мне.

Кома ждала. Конечно, следовало бы все рассказать ей, и все-таки он не рассказал. Корн понимал, что обижает девушку, которая отдает ему несколько часов ежедневно, хотя у нее наверняка есть парень, которому она говорит, что сегодня опять не может с ним встретиться, потому что у нее есть пациент, очень сложный случай, требующий много времени и внимания, и тот парень не любит его, Стефа Корна, не любит безымянного пациента Комы, попросту не любит того, чем занимается Кома без него.

Кома выжидающе смотрела на Корна. Он понял, что обязан что-нибудь сказать.

— Почему... почему я почувствовал вкус молока?

— Не было никакого вкуса. Это сон, всего лишь сон, один из многих снов в твоей жизни,— лицо Комы, которое только что было четким, начало расплываться. «Я засыпаю»,— подумал Корн и увидел уже не Кому, а заснеженный склон, ограниченный далеко внизу темной по-

лосой леса, чувствовал свою скорость и сухой морозный ветер. Он зажмурился — солнце, отражаясь от снега, слепило глаза, мышцы подрагивали, амортизируя мелкие неровности ската. Впереди мелькал желтый лыжный костюм девушки, временами исчезающий в облаке снежной пыли, когда она неуловимым движением лыж меняла направление. Он догонял ее, мчась напрямик, не снижая скорости и сознавая, что где-то преступил грань собственных возможностей, с тем чувством, которое только и дает полное удовлетворение. Слева замелькали первые сосны. Неожиданно девушка скрылась, и он видел только клуб снега, все медленнее скатывавшийся вниз, а потом — неподвижную фигурку — желтое пятно и черные штришки отброшенных лыж. Он ехал прямо на нее, ощущая то тиснение в груди, которое зовется страхом. Он испугался за нее, за ту девушку, ни лица, ни имени которой не мог вспомнить, но знал, что она близка ему. Разворачиваясь, почувствовал, как тело наливается свинцом, но выдержал и погасил скорость. Припал боком на снег и, протянув руку в перчатке, откинул капюшон ее курточки. Это была Кома. Она смеялась.

Корн проснулся. Шлем соскользнул с головы. Видно, он слишком резко шевельнулся во сне и зажимы съехали. За пультом никого не было. Он оперся о подлокотники и встал, чувствуя облегчение, которое приходит после удачного спуска, и слабость в мышцах, еще помнящих напряжение. Тепло комнаты доставило ему радость, такую же, как тепло натопленной избы, в которуюходишь, отстегнув и отряхнув от снега лыжи. Он осмотрелся. Экраны были мертвы. Откуда-то из соседнего помещения доносился голос Тельпа.

— ... я возражаю. Исследования не окончены, результаты не обработаны...

— Прекратим ненужный спор,— проговорил кто-то голосом Комы.— Решение принято. Твоя работа...

— Моя работа не самое главное. Он мой пациент.

— Мой также.

— ... в том смысле, как и любой из нас. Но его физическое состояние...

— Тельп, ты работаешь здесь достаточно долго и знаешь, что такие решения не отменяют. Разговоры на эту тему закончены...— Кома говорила спокойно, может быть, несколько громче обычного.

Наступило молчание, потом Корн услышал шаги. Врач вошел в комнату. Щеки его горели, Корн шевельнулся, и тогда Тельп заметил его.

— Прощай, Стеф. Больше мы не увидимся.

— Что-то случилось?

— Ты уезжаешь. Вскоре тебе сообщат официально. Ты был лучшим пациентом, чем я — врачом.

— Не понял.

— Видишь ли, в наше время врачи одновременно и конструкторы, конструкторы рук, голов и воспоминаний. Воспоминаний пациента, разумеется. Мы не только программисты и ремонтники, как было встарь. Сейчас человека можно переконструировать, подправить так, что он сможет полететь на спутники Урана и, командуя автоматами, работать в вечном мраке и космической стуже тамошних штолен, отлично видя и не испытывая холода. Или, допустим, трудиться в морских глубинах без скафандра, словно глубоководная рыба. И быть счастливым... Но с этим труднее. Ты хотел бы быть счастливым, Стеф?

— Считаешь, будет очень трудно?

— Не знаю. Это зависит от тебя тоже. И я хотел бы, чтобы ты знал еще одно. Ты представляешь собой неведомую конструкцию. Медицинский эксперимент.

— Ты уже говорил.

— Да, но я хочу, чтобы ты это понял.

— Эксперимент, мне думается, удачный. Я чувствую себя прекрасно.

— Но ты стал иным. Не таким, каким был, и не таким, как другие люди.

Корн молчал, Тельп внимательно смотрел на него.

— Ты меня понял?

— Не очень. Что значит «иным»? Я этого не ощущаю.

— Не можешь ощущать, потому что не можешь вылезти из собственной кожи и взглянуть на себя со стороны. А то, что ощущаешь, считаешь естественным. Но со временем некоторые факты убедят тебя в обратном.

— Зачем ты это говоришь?

— Хочу, чтобы ты знал. Ты — человек, а я, как бы то ни было, врач и обязан тебе сказать.

— Это все?

— Предпочитаешь не знать?

«Не знать», — подумал Корн. Теперь-то он уже знал и его желание или нежелание не имело никакого значения.

— В чем состоит... модификация? — спросил он.

— Во множестве небольших корректировок, но прежде всего в том, что ты нестабилизирован. Иначе я поступить не мог, Корн.

— Нестабилизирован?

— Да. И можешь перестать быть неожиданно, вдруг и, возможно, бесповоротно.

— Умереть?

Тельп как-то странно взглянул на него.

— Нет. Не умереть, а просто перестать *быть*.

— Не понимаю. О чем ты?

— Я обязан был тебе это сказать, обязан, иначе с человеком нельзя. И прости мне хотя бы ты, потому что я мог *этого* не делать, и здесь мне нет оправданий.

Тельп отвернулся. Корн хотел схватить его за руку, но пальцы соскользнули с гладкой ткани.

— ... нет оправданий, — еще раз повторил Тельп, и стена, раздвинувшись, пропустила его. Он вышел не оглянувшись, и, когда Корн кинулся следом, стена уже плотно закрылась и мягко, упруго оттолкнула его.

— Тельп несколько странноват, не правда ли? — услышал он голос Комы и обернулся, но ее не было. — А ты уезжаешь в институт, где будешь работать и жить, как все люди. Это следующий этап адаптации.

— Но он... почему он так странно говорил?

— Возможно, хотел задержать тебя здесь подольше. Он не понимает, что ты не только пациент, но и человек. Ты не можешь неделями жить в изоляции. Тесты, плавание, беседы со мной — это еще не все. Человек должен работать, встречаться с себе подобными, созидать, быть частью человечества. Иначе он начинает думать о том, чего не было, испытывает чувство одиночества и теряет ощущение счастья.

— Понимаю. Но то, что он говорил...

— Говорится многое, и впоследствии об этом либо сожалеют, либо забывают. Не обижайся на него. Это крупный врач, творец, только, как у всех людей такого типа, его нестандартный разум приводит к тому, что он видит мир в искаженном свете.

— Значит, он говорил неправду?

— Нет. Но это была другая правда, его правда. Ведь то, что клетки твоего организма за время твоей жизни совершают несколько десятков делений, а потом жизнь прекращается — тоже правда, но разве из-за этого люди отказываются любить, радоваться солнцу? Он говорил с самим собой, а не с тобой, Корн. Это его, а не твоя проблема.

— А что будет со мной?

— Ты задаешь известный вопрос. Прежде ты никогда об этом не думал? Наверняка думал, просто не помнишь. Однако он помнил.

Он видел отца, склоненного над бумагами в теплом кругу света от древней настольной лампы. Отец был историком и знал об удивительных вещах, которые уже тогда были прошлым, но еще жили в памяти стариков. Он был историком времен, которые связывали с началом атомной эры, атомными реакторами, испытаниями атомных бомб, времен волнений и надежд. Когда Корн однажды вошел в его комнату, за окном была ночь, пахли левкой, а деревья по другую сторону улицы заслоняли восходящую луну. Перед отцом лежал маленький пожелтевший

листок бумаги, покрытый неровными рядами букв, отпечатанных на старой, еще ручной пишущей машинке. Отец поднял голову и, увидев нерешительность сына, сказал: «Иди, прочти». Корн не понял тогда этого странного стихотворения, но потом не раз перечитывал его и помнил до сего дня. «О чем это?» — спросил он тогда. «Прочти вслух», — сказал отец. Тогда он поднял листок и неокрепшим, еще не вполне мужским голосом, прочел:

Он придет зимой, когда оттепель плавит снег,
Или весной, когда яблоня белеет цветами,
Или летом, когда вечер отдает тепло дня,
А может, осенью, когда листва устилает землю,

И опалит уста

И выжжет очи.

Полыхая жаром солнц,

Обесцветит облака.

И остановит в полете пчелу,
И превратит в уголек муравья,
И испепелит людей,

Которые когда-то смеялись

Устами, которые были,

Глазами, которые были,

Легкими, уже превратившимися

В радиоактивный прах.

А Солнце останется, и облака останутся,

И лес распустит почки,

И застрекочет укрытый в мураве кузнечик,

И проскрипит мутант

О людях, которые были,

А потом исчезли,

О солнцах, что горели,

А потом угасли,

О домах, что поднялись,

А потом рухнули

И звездах, которые смотрели

На все по ночам.

«Не понимаю,— сказал он, кончив читать.— Это неправда». «Этого не было,— сказал отец.— Но это правда тех времен». «Не понимаю, зачем ты этим занимаешься».

Ведь это бессмысленно,— он говорил с убежденностью сверхзнания, присущего юности.— Теперь нет и не будет таких проблем». Отец взглянул на него как-то особенно серьезно: «Ошибаешься, сын. Только наивные представляют себе дорогу в будущее в виде автостреды. Нет. Дорога эта будет трудной, крутой, но мы пройдем по ней, и только это действительно имеет значение».

3 Он проснулся от толчка. Голова была тяжелой, как после короткого забытья в конце напряженного трудового дня. Сначала ему показалось, будто он вздремнул ночью в поезде, задержавшемся ненадолго на маленьком темном полустанке, а рывок и скрежет — просчет неловкого машиниста, слишком резко тронувшего состав. Потом, уже поняв, что это не поезд, он подумал, что такая ассоциация — далекое воспоминание о какой-то поездке в детстве, и только тут сообразил — ведь он никогда не ездил по железной дороге. Может, отец когда-нибудь рассказывал о такой поездке? Он не задержался на этой мысли, потому что увидел на экране плиты посадочной площадки, а за нею — горы. Полукруглый пульт управления помигал огоньками, кабина слегка покачивалась на амортизаторах, которые только что коснулись поверхности.

— Полет закончен,— послышался голос из-за высокого подголовника.— Когда откроется выход, нажми кнопку справа от кресла, отключи блокаду и покинь стратор. Автопилот благодарит тебя за пользование его услугами. Он всегда в твоём распоряжении,— что-то щелкнуло, и левая стенка кабины поползла вниз.

В щель проскользнул солнечный луч, стена, постепенно опускаясь, приняла горизонтальное положение, и он почувствовал, как горячий наружный воздух вытесняет холодный, климатизированный воздух кабины. Стена сложилась гармошкой, и, когда образовавшиеся ступени коснулись земли, он нажал кнопку, как велел автомат.

Щурясь от яркого света, Корн спустился на бетонные

плиты, его охватил сухой, горячий воздух пустыни. За прямоугольником площадки, местами осмоленной выхлопами стартующих ракет, стоял открытый вездеход, а возле него — мужчина и женщина. Женщина в белом платье без рукавов была выше мужчины, и вначале он подумал, что это Кома. Но подойдя ближе, увидел совершенно незнакомые черты. Мужчина курил трубку.

— Я Норт. Берт Норт,— представился мужчина,— а это моя жена Эльси.

Женщина улыбнулась, и Корн увидел ее крупные белые зубы и темные, серьезные, не улыбающиеся глаза. Мужчина подал ему руку и внимательно взглянул на него снизу ясными, почти лишенными радужной оболочки глазами.

— А ты — Корн, наш новый манипулянт.

— Манипулянт?

— Ну да. Принимаешь лабораторию незабвенного Тертона, разве не так?

— Не знаю...— ответил Корн, немного помолчав.

Норт с интересом рассматривал его.

— Что значит, не знаю? — спросил он наконец.— Такие вещи положено знать.

— Кома должна была все объяснить мне уже здесь, на месте.

— Кома? Это еще кто?

Корн заметил, что разговор явно нервировал Норта.

— Вероятно, какой-нибудь очередной персонификат Опекуна,— заметила Эльси.— Сейчас все больше людей получают в свое распоряжение собственные персонификаты.

— Радуйся, что у меня его нет.

— Ты прекрасно знаешь, что мне это безразлично,— спокойно сказала Эльси.— Мне уже давно все безразлично.

— Ну, хорошо, хорошо,— махнул рукой Норт.— Небольшое семейное препирательство,— пояснил он, глядя на Корна.— А то, что ты сказал, вполне возможно. У нас

несколько часов нет связи с Опекуном. Где-то разрыв цепи.

— Значит, Комы нет...— проговорил Корн. «Не понимаю, о чем они,— подумал он при этом,— но ведь не могу же я приступить к работе, ничего не зная о ней».

— Я же говорю, разрыв цепи. Ты не единственный,— Норт усмехнулся,— кто это глубоко переживает.

— Едемте же наконец,— поторопила Эльси.— Корн наверняка не привык к таким температурам и мечтает о ванне.

Они сели в вездеход. Вел Норт. Дорога была прямая и ровная — бетонные плиты, уложенные прямо на песок. Вскоре въехали в тень, отбрасываемую острой вершиной какой-то горы. Солнце спряталось, и Корн видел только красное небо, более красное, чем в его времена. Опустились сумерки, такие же, какие он оставил позади, в тысячах километров к северо-востоку, в институте, в котором он, Корн, перестал «ожидать». Сквозь низкое, еле слышное гудение двигателя, не такого, какими были двигатели его времени, пробивался стрекот цикад, он чувствовал на лице дуновение ветерка и улавливал в нем запах шалфея.

— Тертон любил здешние края,— сказала Эльси.— Может, и ты полюбишь.

— Тертон любил свою работу,— поправил Норт.— Он был лучшим из всех известных мне манипулянтов.

— Тертон — это тот, что умер?

— Твой предшественник,— пояснил Норт.— У него случилась авария в старой лаборатории... Видимо, защита была недостаточной.

— Я принимаю его лабораторию?

— Да. До сих пор она была опечатана. Полгода не могли найти замену. Только ты...

— Я в этом не разбираюсь. Вы, конечно, не в курсе, но, кажется, совершена ошибка. Я не манипулянт.

— Не шути. Тебя прислали по специальному решению Опекуна, а он не ошибается.

Корн не ответил. Сумерки сгущались, пустыня поне-

многоу теряла краски. Норт включил дальние огни. Через стекло была видна светлая полоса бетона и песок по обочинам.

— Взгляни на огни справа. Это институт,— сказала Эльси.

Норт резко затормозил. Корн схватился за спинку переднего сиденья.

— Что случилось? — встревожилась Эльси.

— Кажется, еще один из четвертого павильона,— ответил Норт, открывая дверцу.

Корн тоже выскочил из машины и увидел посреди дороги темный предмет. Это было какое-то животное. Корн подошел ближе. В свете фар животное напоминало кошку средней величины, только вместо шерсти у нее были иглы в несколько сантиметров длиной, которые отражали свет.

— Надо его взять,— сказала Эльси.

— Не стоит. Не выживет,— Норт тронул ногой иглы, которые отозвались характерным металлическим звоном.— Днем у них еще есть какие-то шансы, но сейчас, когда температура упала...— он еще пошевелил животное, и Корн увидел, что у того дрогнули лапы.

— Что это? — спросил он.

— СМ-3. Другого названия нет. Генетически далекий потомок кошки.

— А иглы?

— Для излучения избытка тепла. В общем, не очень удачная биоконструкция. Практически бесполезная, не выдерживает ночных температур пустыни. У нас было еще несколько экземпляров для продолжения опытов, но я слышал, сегодня утром по чьему-то недосмотру они сбежали из клеток. Последнее, что им остается после всех экспериментов. Они жаждут свободы и... погибают.— Норт столкнул животное на обочину.— Здешним стервятникам будет неприятный сюрприз. Они не привыкли к подобным шедеврам эволюции.

Машина двинулась. Когда они проезжали мимо, животное еще раз блеснуло в свете фар.

— Я помню проект уничтожения малых грызунов пустыни.

— Вот именно,— отозвался Норт.— Но... откуда ты это знаешь?

«Действительно, откуда?» — подумал Корн, напрасно пытаясь отыскать в памяти соответствующую информацию.

— Вероятно, кто-нибудь рассказывал там, на севере,— сказала Эльси.— Вы ведь ни о чем другом не говорите, только о своих экспериментах.

— Маловероятно. Эксперимент носит ограниченный характер, о нем даже у нас не все знают.

— Не помню. В самом деле, не помню,— сказал Корн, чувствуя неловкость от сознания, что ему не верят.

— Любопытно,— заметил Норт и больше к этой теме не возвращался.

Они остановились перед зданием, напоминавшим бетонированные бункеры, в которых Корну довелось как-то побывать еще с отцом. Тот говорил, что бункеры остались со времен войны. Война кончилась задолго до рождения отца, но Корн знал о ней много — часто говорил с отцом, когда еще был мальчиком, а в таком возрасте запоминают все, о чем говорят отцы. Он помнил, что после войны началась атомная эра, а сама война была беспощадна и жестока, как эволюция, и так же, как в процессе эволюции, в ней решался основной вопрос: жизни и развития. Больше никогда он бункеров не видел, потому что в его времена дома строили вверх, а не вкапывали в землю. В толстых, слегка наклонных стенах были пробиты широкие окна, в них горел свет.

— Я буду здесь жить? — спросил Корн.

— По крайней мере, пока. Займешь комнату Тертона. В глубине расположены лаборатории. Это очень старое здание, и не только снаружи. Наверху размещаются

жилые комнаты в стиле прошлого века, не очень удобные. Видишь ли,— Норт замялся,— в определенном смысле Тертон был человеком со странностями. Хотел жить только здесь и здесь же хранил свой архив.

— Но ведь...

— Скажи ему прямо, Берт,— прервала Эльси.

— Хорошо. Тертон просил, чтобы именно его преемник сам перенес архив и записи. Он, знаешь, иногда пользовался ручкой. Оригинал.

— Что значит, просил?

— Он неоднократно упоминал об этом в разговорах. Признаться, я не вижу здесь смысла, так что, если хочешь, я поселю тебя в гостинице, а завтра прикажу перенести архив в обычный павильон.

— Берт, мы же договорились...

— Пусть Корн решает сам. В конце концов, нельзя человека силой заставлять жить в таком помещении.

Корн взглянул на Эльси.

— Я поживу здесь несколько дней,— сказал он.— А там посмотрим...

Оставшись один, он осмотрел комнату. Двустворчатые двери, какие порой можно увидеть в стереовизоре, большой дубовый письменный стол, вероятно, еще более древнее кресло, покрытое потрескавшейся, местами протертой кожей. В остальном обстановка была обычной: стереовизор, ключ к мнемотронам с большим серым экраном для чтения и калькулятор Опекуна с отверстием для знара. У Корна было такое ощущение, будто он давно знает и эти вещи, и то, что за небольшой раздвижной дверью расположена уютная спальня с широкой кроватью и подушкой, расшитой драконами, происхождение которой он должен был бы помнить. Информация эта таилась где-то на краю его памяти, но когда он сосредоточивался, чтобы извлечь ее, она расплывалась, и он уже начал сомневаться, была ли она там вообще. Он стоял перед дверью и, когда, почувствовав его присутствие, она отошла в сторону, увидел кровать, подушку и шлем,

висевший на толстом пружинном захвате, укрепленном в стене. «Шлема здесь не было», — подумал он, и только тогда сообразил, насколько абсурдна эта мысль. Он, «ожидавший» все то время, когда комнату занимал Тертон, не мог этого помнить.

Ванная была дальше. Он дернул блузу, и она разошлась вдоль невидимого шва. Корн все еще не мог привыкнуть к этому, и подумал, что сорочка, которую он носил полвека назад, нравилась ему больше. Он уже собирался принять душ, когда динамик, расположенный где-то под потолком, тихо загудел.

— Можно к тебе на минутку?

Он взглянул на экран интервьюера и увидел лицо Эльси.

— Сейчас?

— Да.

— Пожалуйста.

Он привел блузу в порядок, прошел в кабинет и отворил дверь. Эльси вошла и осмотрелась.

— Наверно, ты здесь все изменишь?

— Не знаю. Пожалуй, нет. Я еще не думал.

— Тертон любил эту комнату. Вечерами он работал дома, а не в лаборатории, — Эльси присела в одно из двух современных удобных кресел, стоявших у стены рядом с небольшим столиком. — Принеси мне молока, пожалуйста.

Когда он вернулся со стаканом, она стояла возле письменного стола.

— Здесь не было никаких его бумаг? Я тебе говорила, что он иногда писал ручкой на бумаге?

— Не было.

— Видно, забрали после его смерти. Берт не сказал, но он никогда ничего мне не говорит.

— Если что-нибудь обнаружу, свяжусь с тобой по интервьюеру, — сказал Корн.

— Лучше не надо. Я еще приду сюда или загляну к тебе в лабораторию.

Корн думал, что теперь-то Эльси уйдет, но она снова села, держа в руке стакан с молоком.

— Видишь ли, Тертон был величиной. Пожалуй, единственным настоящим ученым во всем институте.

— Слышал.

— Не только ученым... Он не пользовался фантотроном. Считал, что человек должен жить только по-настоящему. Тебя это удивляет, как и всех,— добавила она, видя, что Корн молчит, и после паузы допила молоко.— Я хотела, чтобы ты, продолжая его исследования, хотя бы знал, что для него было самым важным, и не считал его... Впрочем, ты все равно не поймешь.

— Не пойму?

— Нет. Молодой манипулянт, присланный по специальному распоряжению Опекуна. Представляю себе, сколько тестов ты должен был пройти, прежде чем тебя выбрали. Всех нетипичных, которые не пользуются фантотронами и вообще не вписываются в заранее оговоренные рамки, отбраковывают уже в самом начале. Тертон всегда говорил, что здесь необходимы люди с ограниченным воображением, которые думают только о том, что делают. Другие не выдержат.

— А Тертон?

— Он был исключением. Талант, знания, опыт. Просто не было другого профессора, другого манипулянта, который мог бы делать все то, что делал он. А теперь здесь ты. Я представляла тебя иначе.

— Почему?

— После информации Опекуна. Искусственно регенерированный человек с предварительно записанной информацией.

— О чем ты?

— О тебе. Я ожидала что-нибудь вроде автомата, а ты... Ты оказался такой же, как все. Поэтому я и пришла.

Он молчал. Откуда-то от желудка к горлу подступала тошнотворная волна тепла. Что-то, видимо, творилось

с его лицом, потому что он заметил, как Эльси глубже втиснулась в кресло.

— Ты... ты не знал?

— Уходи! Сейчас же! — его голос прозвучал как-то по-новому.

Эльси встала, обогнула кресло и подошла к двери.

— Корн, я не знала, я не хотела... Я должна сказать тебе еще кое-что.

— Уйди! — повторил он.

Хлопнула дверь. Так обычно в пьесах на исторические темы заканчивалась сцена. Но здесь все продолжалось, и металлические подлокотники кресла по-прежнему отражали гротескно искривленные стены комнаты.

Итак, Кома не сказала о том, что у него модифицирована память. Обманула его. Но что это значит? Может, то, что его мозг воспринимает образы, звуки, цвета, которые не вызывают ответа в стертых процедурами воспоминаниях? Что он воспринимает мир искаженным, не знает об этом и знать не может? Что он не такой, как остальные, и отличается настолько сильно, что навсегда останется таким?

Проснувшись там, в институте, он думал о космонавтах, звездах и... бульоне. А о своей квартире на шестнадцатом этаже, Каре — жене, присутствие которой он ощущал, даже когда ее не было дома, о книгах, написанных еще до его рождения, и самолетах, садившихся в черной пелене газов где-то там, за окнами, на аэродроме, — обо всем этом он почти не думал. А ведь все это должно было существовать в его воспоминаниях. Он помнил смешного плюшевого кота на полке над кроватью, высокооборотный миксер, звук которого всегда слышал в субботу после обеда, когда Кара готовила праздничные ватрушки, и старые часы, отбивавшие время даже ночью, когда он просыпался и чувствовал, что одинок, так одинок, как может быть одинок только человек. Тогда он отдергивал занавеску и смотрел на далекие мигающие огни аэродрома. В институте, перестав «ожидать», он никогда не чув-

ствовал этого. «Регенерированный человек с предварительно записанной информацией», — так сказала Эльси.

Он оттолкнул кресло, откатившись, оно глухо ударилось о стену. Открыл дверь, пробежал по коридору, выскочил наружу в ночь. Светила луна, мигали далекие звезды, и со стороны пустыни веяло холодом. Несколько минут он бежал по серой бетонированной полосе, потом свернул с нее. Ноги вязли в песке, но он продолжал бежать, не чувствуя усталости. Даже дыхание почти не участилось. «Работаю, как исправный автомат», — подумал он и перешел на шаг. Он шел, пока не заметил большие многорукие кактусы, которые росли поодаль друг от друга, неподвижные неподвижностью камней, а не растений. Их тени были едва заметны на песке. Неожиданно он услышал голос:

— ... хорошо, что я тебя встретила. Вчера мне казалось, что я не выдержу здесь больше ни дня, в этом песчаном аду, — медленно, словно с трудом говорила девушка. Мужчина отвечал шепотом, и Корн не расслышал ответа.

— Знаешь, и лодки и деревья на искусственном озере — все кажется фальшивым, словно в фантотроне, потому что, как взглянешь в небо, видишь стервятников. А по берегам озера нет даже камышей, только песок. Все здесь искусственное, как ваши животные в павильонах.

Мужчина снова что-то сказал.

— ... Знаю, ты не любишь об этом говорить. Теперь это не имеет значения...

Корн отошел, стараясь ступать так, чтобы песок не очень скрипел под ногами. Луна опустилась, и Корн, глядя в пустыню, видел четкие вершины гор. Песка под ногами становилось все меньше, спустя некоторое время он увидел сухие стебли растений, а еще дальше — какие-то постройки. Хотел обойти их стороной, но услышал позади тяжелые шаги и остановился. Кто-то продирался сквозь сухостой. Наконец он увидел громадную человеческую тень. Когда она приблизилась, он понял, что перед ним андроид. Подобных роботов Корн видел только на экране

во время адаптации. «Они сильные, полезные и безопасные,— вспомнил он голос Комы.— Всегда выполняют приказы человека, а их псевдопсихику можно изменять в зависимости от поставленных задач».

— Здесь ходить запрещено,— проговорил андроид хрипловатым голосом.

— Почему? — Корн сделал шаг навстречу роботу.

— Изолированные павильоны. Здесь ходить запрещено,— повторил тот.

— Я здесь работаю,— сказал Корн и одновременно подумал, что оправдывается перед автоматом. «Об этом Кома ничего не говорила».

— Вход с другой стороны. Здесь ходить запрещено,— снова проговорил робот.

Корн пожал плечами и хотел обойти андроида, но тот с ловкостью, которой Корн от него не ожидал, преградил дорогу.

— Пропусти,— приказал Корн.

— Здесь ходить...— завел свое автомат. В его монотонном хриплом голосе Корну почудилась насмешка.

— Пропусти, я — человек!

Андроид не шевельнулся.

— ... человек! Слышишь? — Корн протянул руку к андроиду и ощутил под пальцами скобу.

— Я не могу тебе подчиниться,— упорствовал андроид.— Здесь ходить запрещено.

— Изменяю приказ,— сказал Корн, как его учила Кома.— Отойди.

— Приказ неизменяем.

— Отойди! — стиснув скобу, прошипел Корн.

— Ты не можешь изменить приказ,— еще раз повторил андроид.

— Я не могу... Ты думаешь, что только такие, как я, не могут...— он рванул за скобу.

Андроид покачнулся. В темных до сих пор окнах павильонов загорался свет, слышались голоса. Корн рванул снова. Оболочка выгнулась и со скрежетом рас-

крылась. Андроид отступил на шаг. Корн увидел, что хвататель с растопыренными металлическими пальцами приближается к его руке. Он хотел отвести руку, но металлические пальцы схватили его за запястье. Он ожидал боли, но датчики, видно, почувствовали тепло его тела: пальцы разжались и отпустили руку.

— Видишь, я человек,— проговорил Корн.— У меня человеческие руки. Теперь меня пропустишь! Отойди!

— Ты не можешь изменить приказ...

— Ах, ты...— Корн всем телом навалился на робота. Андроид покачнулся и упал, ломая ветки. Чтобы подняться, быстрым движением подтянул хвататели, но Корн заметил темное отверстие в его корпусе и ударил ногой. Раздался хруст кристаллов, из-под подошвы посыпались голубые искры, и андроид замер. Послышались шаги. В лицо Корну ударил луч фонаря.

— Зачем ты сломал робота? — спросил кто-то из темноты, светя Корну прямо в глаза.

— Он не пропускал меня, а я не смог изменить приказ.

— И поэтому сломал его,— засмеялся мужчина с фонарем.— Откуда ты?

— Я новый манипулянт.

— Прости,— фонарь погас.— С тобой ничего не случилось? — Мужчина подошел ближе.

— Нет.

— Я Готан, из второй лаборатории. Он на тебя не напал?

— Нет.

— Практически такого не бывает, но мало ли что... Подойдите и заберите его,— сказал он громче.

Корн увидел, как два андроида ухватили лежавшего собрата за корпус и понесли куда-то.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Готан после недолгого молчания.

— Прекрасно... Глупейшее недоразумение.

— Они жестко запрограммированы,— сказал Готан.— Некоторые из наших детищ бывают небезопасны,

например те, что находятся вон в том павильоне. Почему ты не сказал, что работаешь манипулянт? Он наверняка знает твой знар и пропустил бы тебя немедленно.

— Я забыл,— тихо ответил Корн.

— Тебя проводить? — спросил Готан.

— Как хочешь. Я живу в квартире Тертона.

— Я пойду с тобой. Вряд ли ты ночью сам найдешь дорогу. Когда прилетел?

— Сегодня.

— Норт говорил о тебе. Ты ученик Тертона?

— Нет. Я никогда не видел Тертона.— «Все здесь говорят о Тертоне,— подумал Корн.— Видят во мне ученика, воспитанника, продолжателя его дела, а я всего лишь дебютант. Знаю только его квартиру, к тому же подозрительно хорошо».

— Профессор Тертон,— сказал Готан,— был большим специалистом! Но, честно говоря, с чужинкой. Он вносил столько изменений в нашу работу, что порой мы не очень-то понимали его намерения. Например, он исключил сверхсистему из плана экспериментов и начал с ее помощью анализировать радиосигналы из Космоса, какие-то удивительные космические шумы. Он заручился согласием Опекуна, а стало быть, и Всемирного Совета. Но при этом остановил работы в нулевом павильоне... Остановил полностью. Даже после его смерти там ничего не делали. Объекты стареют, а опыты стоят. Потом, когда объекты перевалят за второй год жизни, все придется начинать сызнова. Говорю тебе, Корн, нейроники клянут его и не вылазят из фантотронов. Норт очень ждал тебя. А ты будешь слушать Космос? Кажется, это была идея деятелей из Центра Прослушивания из-за озера.

— Возможно. Только не знаю, сумею ли?

— Не скромничай. У нас таких не держат,— Готан засмеялся.— Сплошные гении, причем большинство — непризнанные! Не будь фантотронов, с ними тут и не выдержишь. Приступаешь завтра?

— Вероятно.

— О работе я, пожалуй, никому не скажу. Будем считать, что произошла обычная авария...

— Как хочешь.

— Думаю, для тебя это не имеет значения. Я знаю,— неожиданно сказал Готан другим тоном,— всему виной пустыня и ветер. Когда он дует три дня кряду, то можно свернуть шею собственной бабушке. Тогда я всегда отправляюсь в тайгу. Один, без девушки. Знаешь, я родился в тайге.

— Улетаешь?

— Шутишь. Фантотроном. Я даже не охочусь. Нахожу себе местечко где-нибудь на высоком берегу у реки. Полежу на солнышке, немного поплаваю, посмотрю на дым костра и возвращаюсь. Потом дня два хожу нормальным человеком.

Готан остановился.

— Ну, вот и бункер Тертона. Твой павильон, хотел я сказать,— он указал рукой на освещенный вход.— Если завтра будешь свободен, загляни в мою мастерскую.

— Приду, если будет время,— сказал Корн.

Он подал руку Готану и, прежде чем войти в круг света, посмотрел в сторону гор. Луна уже спряталась, и их не было видно. О голубую лампу, горевшую над входом, бились ночные бабочки.

4 Он торопливо шагал по улице своего города. В руке — маленький черный портфель. Не дожидаясь зеленого света, пересек Аллею сосен. Движение здесь было редкое. На тротуарах играли дети. Деревья с проклюнувшимися почками отбрасывали длинные тени на газоны перед одноэтажными домиками старого района. Позади них вздымались серые стены высотных зданий. Там он жил. На веранде одного из домиков, завернувшись в плед, сидела в кресле пожилая женщина. Прикрыв глаза, она грелась на солнце. Он видел ее всегда в солнечные летние дни, возвращаясь с работы, и был удивлен, что старушка еще жива и ничуть не изменилась. Мино-

вав невысокие торговые павильоны и бетонированные съезды в подземные гаражи, он подошел к своему дому. Машинально сунул руку в карман, забеспокоился было, что нет ключей, но они оказались на месте, он вынул их и отворил большую застекленную дверь. Немного подождал кабину лифта. Рядом стоял мужчина, которого он, кажется, знал, но не настолько, чтобы поздороваться. В кабине ехали вместе. Мужчина вышел на девятом этаже, Корн поехал на свой, шестнадцатый.

Когда дверь лифта закрылась за ним, он почувствовал легкое беспокойство. Подойдя к своей двери, повернул ключ и уже в прихожей почувствовал запах обеда. Кара была на кухне, он поставил портфель в прихожей и заглянул туда. Она стояла к нему спиной и что-то делала на кухонном столе. В окно светило солнце, и он видел только ее силуэт и подсвеченные волосы.

— Пришел,— сказала она и повернулась, поправляя прическу. Он знал это ее движение, но было в нем что-то новое, чего он не мог определить.

— Кара,— он подошел и заглянул ей в лицо.

Это была не Кара.

— Кома? Почему ты здесь?

Она поцеловала его.

— Мы же здесь живем, Стеф.

— Мы... вдвоем?

— Да.

— Но Кара... Здесь жила она.

— Разве я не похожа на нее? Приглядиись внимательнее,— Кома подошла к окну — теперь он видел ее всю.

— Похожа,— согласился он.— Но ты — Кома.

— Кара изменилась за эти годы, но я немного она, может, даже больше, чем ты предполагаешь. Почему ты не узнаешь меня, Стеф?

— И ты действительно здесь?

— Да.

— А Кара?

— Нет другой Кары. Теперь меня зовут Кома.

Он смотрел на нее. Она прильнула к нему.

— Сейчас подам обед.

— Обед?

— Ну да. Ведь мы всегда обедаем вместе. Дома.

Она больше не обращала на него внимания и, склонившись над столом, занялась приготовлениями. Некоторое время он стоял в нерешительности. Все было таким, как он помнил, и одновременно неуловимо иным. Так, у микроволновой плиты отсутствовала эбонитовая ручка, которую он когда-то сделал сам, отчего и запомнил. Но когда он взглянул на плиту снова, эбонитовая ручка уже была на своем месте. Он вышел в коридор и через приоткрытую дверь заглянул в кабинет. Здесь все было по-прежнему. Стол, унаследованный от отца, старый глобус Луны с крестиками на местах первых посадок космонавтов в прошлом веке и книги, длинные ряды пестрых корешков. Здесь все совпадало. В этой комнате он помнил каждую мелочь. Сел на стул, вытянул ноги и почувствовал, как спинка стула приспосабливается к форме его спины. Он замер. Ведь стул был старый, тоже прошлого века — простой деревянный стул, сотни которых еще пережили начало эпохи автоматизации. Он откинулся еще раз, но спинка была уже твердой, как всегда. Некоторое время он сидел неподвижно, потом резко отодвинул стул и прошел на кухню, стараясь воспроизвести в памяти лицо Кары, ее волосы, улыбку. Но помнил только лицо Комы, и ничего не мог с этим поделать. Он уже знал, что в кухне увидит Кому. Сначала еще хотел увидеть Кару, но, войдя, забыл о ней.

— Тебе что-то нужно? — спросила Кома.

— Нет, ничего... — он некоторое время смотрел на нее, а вернувшись в кабинет, почувствовал удовлетворение от того, что Кома рядом и он слышит ее голос. А потом, ночью, когда он смотрел на помигивавшие вдали огни аэродрома, прислушиваясь к гулу пролетающих самолетов, знал, что он не один, и это было счастье.

Кома встала первой. Когда она будила его, на ее плечи

был накинут кусок лиловой ткани, которая, пока он соображал, что это такое, превратилась в платье с глубоким вырезом на груди, купленное им еще до их свадьбы. Он удивился, что спустя столько лет оно еще живо, но не стал задумываться над этим. От Комы исходил аромат кофе.

— Завтрак готов, Стеф,— сказала Кома.— Ты сегодня переспал.

— Который час?

— Восемь. Тебе пора.

— А почему ты еще дома?

— А где я должна быть?

— Как где? На работе.

— Я не работаю, Стеф. Когда могу, я всегда с тобой.

— Понимаю, ты уже не та. Ты другая. Кома.

— Да, я Кома. А кофе стынет.

После завтрака она сказала:

— Тебе пора, Стеф. Они ждут.

— Кто?

— Твои сослуживцы. Они ждали тебя столько месяцев. Ты не должен опаздывать.

— Надо идти?

— Да. Я буду ждать тебя.

Ее лицо пошло волнами, расплылось, растаяли полки с книгами, старые часы и все, на что он смотрел.

Он лежал на кровати Тертона, сквозь щель в гардинах светило яркое солнце пустыни и тихо шумели климатизаторы, нагнетая холодный, чистый воздух. Маятником раскачивался шлем над головой.

Засветился экран видео, и появилось лицо Норта.

— Мы ждем тебя, Корн.

— Хорошо. Иду,— отозвался он, все еще ощущая на губах вкус кофе.

По штольне, когда-то пробитой в скале, Корн прошел к лифту и дотронулся до кнопки вызова.

— Прикасайся к кнопке знаром,— сказал хрипловатый голос.

— Забыл.

— Не понимаю. Я специализирован. Прикасайся к кнопке знаром.

Он сделал так, как было велено, и дверь лифта раскрылась. Здесь оканчивался античный мир старого бункера. Лифт был уже из новой эпохи. Корн вошел и почувствовал невесомость — кабина ринулась вниз. Падение продолжалось минуту, может, чуть дольше, потом кабина остановилась. Корн прикинул: над головой были сотни метров камня. Кабина раскрылась и вытолкнула его в коридор, который мягко подхватил его, поддерживая упругими выпуклостями, и выбросил к блестящему пузырю. Когда Корн проник в него, пузырь раздулся до размеров большого зала. Посреди стоял Норт.

— Я жаждался тебя, — сказал он. — Как прошла первая ночь в нашей пустыне?

Корн хотел ответить, что первая ночь — его забота и Норту нет до этого дела, но подумал, что не за тем пришел сюда, чтоб препираться.

— Что дальше? — спросил он.

— Я буду тебя страховать, но, вероятно, ты понимаешь, что это чистая формальность. Если ты даже начнешь растворяться в своем коллоиде, мне туда не войти. Самое большее — я могу сообщить Опекуну.

— Почему не войти?

— Вход меня не пропустит. Дальше может идти только манипулянт.

— А роботы?

— Ну и роботы, конечно. Но они и без того там и никогда не выходят.

— Так что же я должен делать? Сообщить знар?

— Не шути. Тут тебя распознают по голосу и коду, содержащемуся в белках твоих клеток. Никто, кроме тебя, туда не войдет.

— Но что я должен делать? — повторил Корн, не зная, как объяснить этому человеку, что не умеет даже пройти дальше. — Как я туда попаду?

— Не понимаю тебя, Корн.. Просто пройди сквозь стену. Ну, смелее,— подбодрил Норт, видя, что Корн сделал несколько неуверенных шагов и остановился перед блестящей пленкой пузыря.— Входи в нее.

Корн сделал шаг, и пленка расступилась. Он оказался в большом овальном туннеле, который то расширялся, то сужался подобно кровеносному сосуду под напором кровотока. Корн почувствовал легкий удар в спину, и его понесло вперед. По стенам туннеля с невероятной скоростью проносились серые тени. Останови их, возможно, они оказались бы какими-то фигурами. Коридор выплюнул его в эллипсоидальный грот, освещенный белым рассеянным светом. Посреди грота находился пульт управления с креслом.

«И пульт, и кресло выглядят так, словно их привезли из музея и поставили на сцену в качестве декорации»,— подумал Корн.

После обтекаемых коридоров эти знакомые ему угловатые предметы выглядели архаично.

Потом он сидел за пультом управления, глядя, как вспыхивают пучки линий на экранах, нажимая белые клавиши стимуляторов. Неожиданно сообразил, что помнит эти клавиши так же хорошо, как подушку с драконами, а их назначение знает так, словно вернулся сюда после перерыва на обед. А ведь он был уверен, что не бывал здесь никогда.

Он ожидал момента, когда линии на экранах успокоятся и заструятся медленными волнами, которые кто-то когда-то сравнил с альфа-ритмом. Кресло мягко охватывало его тело, а нажимая клавиши фонии, он слышал всеприсутствующий шум преобразованных в звуки напряжений, тех самых, которые вычерчивали кривые на экранах. Иногда ему казалось, что он находится в огромном засохшем лесу, а в кронах дерзьев шумит ветер. Когда-то в детстве он видел такой лес — у деревьев уже не было листьев и стояла тишина. Тянуло дымом из далеких труб.

Он ждал, зная, что это мгновение может наступить

через минуту или через час, когда сверхсистема, состоящая из миллиардов нейронов, войдет в ритм, согласованный с его собственным. Тогда в его мозге возникнет что-то вроде гипертрофированного сознания, и так будет продолжаться до тех пор, пока сверхсистема не отторгнет его, распадаясь на множество взаимодействиеформирующих ритмов.

Эксперимент продолжался. Линии на экранах дрожали, а он безошибочно, с точностью, источника который не понимал, управлял прекрасно знакомым процессом, словно родился с этим знанием, и оно было столь же естественным, как и рефлекс, смежающий на мгновение веки. Ему даже не надо было сосредоточивать внимания на процессе, и он управлял им ловко, без усилий.

Мысли его были о том, как жарким днем он поедет с Комой в сосновый лес, как они будут смотреть на облака, плывущие над кронами деревьев, вдыхая аромат разогретой смолы, но тут хаотические разблески на экране оборвались, утолщенная главная линия ритма искривилась, приняв форму, которую — он это знал! — можно было разложить на гармонические составляющие.

Он придвинулся ближе к экранам, неосознанным движением включил запись эксперимента и счетчики обратного отсчета, отмеряющие время, по истечении которого независимо от дальнейших обстоятельств эксперимент будет автоматически прерван. Это была страховка, и где-то на дне сознания он помнил, что сам ввел ее, вопреки мнению тех, кто утверждал, будто период слияния со сверхсистемой ограничен и система по прошествии определенного времени отторгнет его самостоятельно. Шум в динамиках стих, и он слышал только слегка искаженный тон основной частоты с периодически изменяющимся напряжением.

Белковая нейроидальная масса, ограниченная стенками каналов, была созданием более чем мыслящим. Она обладала надсознанием и при том была лишена органов чувств, которые питали бы ее информацией. Она пребы-

вала в том состоянии, которое не в силах представить себе человек, несравнимом даже с состоянием изолированного мозга новорожденного, в определенной степени помнящего то, что он воспринял, еще будучи мозгом плода, пребывающего в утробе матери.

И тут вдруг Корн подумал, что все то, что он сейчас наблюдает, уже когда-то происходило, имело точно такое же начало, а потом наступило нечто, чего он не помнил, но было какое-то настолько сильное ощущение, что он почувствовал беспокойство, а потом страх. Несколько мгновений Корн пытался вспомнить, что же это было, но не смог и начал уже сомневаться, было ли вообще что-нибудь подобное.

Он склонился над пультом, чтобы подготовить первую серию импульсов для входа в сверхсистему. Серия складывалась из многих вполне определенных комбинаций раздражителей, причем некоторые из них вызывали разряд высокого напряжения. Это была серия, вводимая, вероятно, раньше Тертоном, потому что Корн нашел ее запись во вспомогательных мнемотронах, вернее, знал, что ее следует искать там.

Он нажал клавишу ввода, но едва лишь первые комбинации импульсов поступили в сверхсистему, как изображение на экране распалось на ряд регулярно повторявшихся блестящих точек, а в динамике послышалась странная монотонная дробь. Страх, который он ощутил раньше, вернулся, но теперь он был конкретным и обессливающим. Корн старался преодолеть его, подумал даже, что он сравним с первородным страхом человека, но одновременно почти автоматически прервал вводимую серию. Палец нажал клавишу блокирования почти без вмешательства сознания. Тогда он понял. Его действия были запрограммированы, а экран и звук представляли собой сигнал, на который он отреагировал. Но если это так, значит, когда-то он уже участвовал в подобном эксперименте. «Невероятно,— подумал Корн.— Абсурдная мысль больного мозга». Но потом вспомнил шахту, мо-

лочный привкус на губах и ловкость, с которой его пальцы бегали по клавишам незнакомой аппаратуры. Сейчас его охватил такой же всепоглощающий, парализующий страх, который в опасный момент заставляет замирать насекомое.

Изображение на экране и звук изменились. Вспыхивавшие точки сгруппировались в центре экрана, динамик гудел на низких частотах. Сверхсистема ждала, и он знал, что не может обмануть ее ожидания. Он подумал о шлеме. Шлем висел за спиной — он связывал с аппаратурой непосредственного обмена информацией между массой и мозгом человека и служил для ввода человека в сверхсистему. Руки автоматически сами надели на голову шлем и поджали электроды. Он все еще смотрел на счетчики, когда рука передвинула на пульте рычажок нужного контура.

Белые испарения распадалась на отдельные клочья. На фоне настойчивого морского приboя он слышал глухое биение пульса. Одновременно он помнил все, а закономерности знакомых явлений складывались в бесконечную пирамиду аналогий. Не существовало изолированных, несравнимых структур. Он был всем и везде, а надо всем этим властвовало время и сознание ограничения во времени, сознание конца. Одновременно он понимал, что все это память одного человека, многовариантная, с бесчисленным множеством экстраполяций в будущее, и все же память одна, память его, Джулиуса Тертона. Счетчики досчитали до нуля, туман развеялся, а он сидел в кресле со шлемом на голове.

Потом с трудом стянул шлем, наклонился, коснувшись виском холодной металлической крышки стола. Он еще чувствовал давление электродов и головную боль. Мысли ворочались тяжело, медленно, словно после многочасовой работы над проблемой, решения которой никак не можешь отыскать, хотя чувствуешь, что оно где-то здесь, рядом.

Потом, немного отодвинув кресло, он нажал невиди-

мую кнопку сбоку от пульта, ее место он хорошо знал и помнил. Примитивный, древний, встроенный собственными руками механизм сработал и со щелчком выдвинул плоский металлический ящик. Точно такой тайничок он обнаружил в своем старом доме в письменном столе матери и нашел там фотографии улыбающихся молодых женщин и снимки автомобилей, которые можно было встретить в музеях, а также приглашение Роберту Тертону на бракосочетание людей, имена которых ни о чем ему не говорили. Здесь, в тайнике, лежала обычная тетрадь в жестком переплете и шариковая ручка, стержни к которой еще можно иногда достать у антикваров. В тетради содержались заметки, касавшиеся опытов, которые он проводил еще в университете, когда читал лекции по нейронным структурам, а также об экспериментах, которые вел уже в институте, и самых последних, когда он прослушивал Космос. Он листал странички до тех пор, пока не нашел запись, сделанную примерно год назад:

«... Я думал, что изображение на экране изменяется случайным образом, но, оказывается, она вычерчивала ритмы, вызывающие у меня состояние депрессии. Вначале я не обращал на это внимания, но однажды заметил, что некоторые сигналы, связанные с электрошоком, передаю ей менее охотно. Видимо, вначале система обнаружила, что моя активность снижается после депрессиогенных ритмов, и стала применять их всякий раз, когда я начинал передавать ей сигналы шока. Надо признать, что она выучилась этому молниеносно. Полагаю, она также нащупала ритмы, вызывающие у меня состояние, близкое к эпилепсии. Помню, несколько раз я ненадолго терял сознание и даже был у врача. Врач что-то говорил о переутомлении, но это ерунда. Впрочем, она вычеркнула это из своего репертуара, потому что, находясь в таком состоянии, я вынужден был прерывать работу, а ведь я для нее единственный источник информации о нашем мире. Интересно, когда она начнет меня поощрять (состояния эйфории?) за удлинение времени работы с нею.

Я заранее принял некоторые меры предосторожности. Установил автомат, отключающий систему через определенное время. Считаю, что это было необходимо, так как, если б она синтезировала нужный ритм, я оказался бы в положении крысы в классическом эксперименте с самовозбуждением и повторял бы эксперименты до бесконечности, награждаемый за это достаточно эффективно. И в конце концов умер бы перед экраном от истощения. Конечно, это преувеличение (ведь существует воля), но пример с крысой достаточно убедителен...»

Следующая запись:

«У меня была Эльси. На нее это действует гораздо сильнее. Я специально давал системе импульсы с разрядами. Мне мир перестал нравиться через несколько минут, Эльси же была в таком состоянии, что я вынужден был прервать эксперимент и отвезти ее домой. Конечно, я не сказал ей ни слова, зато выслушал все, что можно услышать от женщины в таком состоянии. Я запретил ей приходить в лабораторию и решил блокировать вход в сверхсистему. Не исключено, что когда-нибудь после такого сеанса Эльси могла бы покончить с собой. Разумеется, можно ликвидировать экран и выключить звук, но не для того я стал манипулянтom».

Он перелистнул несколько страниц. Он помнил эти записи и знал, что было дальше.

«... конечно, в рапорте Опекуну я не сообщил всего. Даже самая совершенная мнемотронно-перерабатывающая система, каковой является Опекун, не в состоянии предвидеть всех последствий. Норт и другие слепо верят в него, но, несмотря на то что Опекун представляет собой самообучающуюся систему, контролируемую Всемирным Советом, он был создан на конкретном этапе развития человечества, когда еще не было сверхинтеллектуальных систем. Кроме того, я слишком долго работаю с самообучающимися системами и отлично понимаю, что какой-либо контроль над столь сложным, охватывающим весь мир комплексом, как Опекун, по меньшей мере иллюзорен.

Я всегда подозревал, что может наступить такой момент, когда Опекун перестанет подстраиваться к человечеству, а начнет подстраивать человечество к себе. Ни Норт, ни другие твердолобые с этим не согласны. Их вера в Опекуна нерушима, так же, впрочем, как и остальных восьми миллиардов (за малым исключением). Если даже что-либо и произойдет, они просто не заметят.

Однако, возвращаясь к основному вопросу, я верю, что Интерпретацию смогут осуществить только сверхинтеллектуальные системы. Они работают на качественно ином уровне, превышающем все, с чем человек сталкивался до сих пор.

Я перечитал написанное, и мне показалось, будто я в чем-то оправдываюсь перед самими собой. Вероятно, так оно и есть, но я не привык играть в кошки-мышки с собственной совестью. Во всяком случае, прежде чем передать результаты выше, я должен проверить, как выглядит непосредственный обмен информацией со сверхинтеллектуальной системой, а также возможно ли в произвольный момент прекратить его. Думаю, это может быть небезопасно».

В записи, датированной следующим днем, он прочел:

«Первая проблема решена. Я непосредственно подключился к системе (через стандартные каналы того же типа, что и у Опекуна). Ощущение неповторимое (да и то, скорее всего, ограниченное, учитывая пропускную способность стандартного канала). Во всяком случае, наш язык слишком беден, чтобы описать то, что я чувствовал. Параллельное мышление. Когда-то меня учили, что тот, кто замечает аналогии между явлениями — нормален, тот же, кто улавливает аналогии между аналогиями — гений. Эта система — гений высшего порядка!»

Еще выводы: я абсолютно против того, чтобы подключать мутантов из нулевого павильона непосредственно к системе. Этаким кошкоподобный субъект может сделаться разумнее человека. То, что им предстоит действовать на Венере, не убедит меня в безопасности мероприя-

тия. В конце концов, Венера находится на конечном расстоянии от Земли, а, кроме того, опытные подключения пришлось бы делать здесь. Подключения к системе следует (если вообще это нужно) зарезервировать исключительно для людей. Возможно, в новых условиях отпадет необходимость в Опекуне. В любом случае не кошки! Кошки и без того достаточно разумны! Кончаю. Я принял мегадозу антидепрессивных средств. Начал вторую фазу эксперимента — дезинтеграцию системы в качестве наказания за мое немедленное отключение, и она довела меня до такого состояния, что мне захотелось повеситься! Если завтра это повторится, выключу экран и звук...

Однако выбора нет. Ей необходима информация о моем мозге, а не мое сознательное в ней присутствие. Охотнее всего она держала бы меня в подключенном состоянии так, чтобы читать мою память во всех возможных направлениях и познавать мир. За это она намерена награждать меня состояниями эйфории. Но когда я подключаюсь со своим сознанием и начинаю мыслить в ней, это, видимо, искажает ее ритмы, и она немедленно переводит меня в бессознательное состояние. Однако эти мгновения сверхсознания стоят многого! Когда я хочу заставить ее смириться с моим участием, она бурно реагирует и пытается отключить меня. Тогда я применяю электрошок и дезинтегрирование. Опасная игра. Хотелось бы знать, каковы мои шансы... Это настолько небезопасно, что я бросил бы все и вернулся к предыдущим экспериментам, в которых мой мозг в нее не включается, но ставка слишком высока. Сигналы идут, и Космос вызывает к нам. Ни мы, ни наши автоматы никогда не находили Интерпретации. Думаю, именно в сверхинтеллектуальной слизи скрыт шанс понимания, возможность Интерпретации. Человек может взглянуть на эти сигналы только через нее, став на достаточно долгий промежуток времени ее частицей. Если это даже только тень возможности, за нее стоит заплатить любую цену. При такой перспективе моя жизнь не имеет значения. Впрочем, я свяжусь с Опекуном и Советом. Ес-

ли что-нибудь произойдет, они будут действовать... А если это не удастся им, то верю — придут другие...»

На этом записи обрывались. Он глядел на чистые листы, зная, что следующий день был тем днем, когда его обнаружили в шахте в состоянии клинической смерти, а роботы объявили тревогу сразу же, как только он там оказался, и только поэтому его память стала частью памяти человека, которого зовут Стеф Корн.

5 Он передвинул рычажок, расположенный на боковой стенке пульта управления. Ничто не шелохнулось, и он подумал было, что в его отсутствие демонтировали механизм, который он с таким трудом и упорством сюда встроил. Когда оборудовали изоляционный пузырь, он сделал все, чтобы пульт не заменили чем-нибудь более современным, безотказным и блестящим. Он даже пригрозил, что прекратит работу, и лишь тогда Опекун уступил. Он отказался от персонификата, предложенного Опекуном, и поэтому был от него в определенной степени независим. Конечно, он понимал, что его независимость достаточно эфемерна и представляет собой скорее психологический комфорт, нежели реальность, однако в данном случае Опекун уступил. А теперь аппаратура не действовала.

Он дернул рычажок снова, и наконец пульт дрогнул, повернулся на четверть оборота вокруг вертикальной оси, помещенной в углу, и приоткрыл квадратную шахту два на два метра.

Тертон встал, подошел к шахте и наклонился над ней. Вниз уходили скобы, вделанные в стены, обычные металлические скобы из нержавеющей металла, установленные когда-то по его приказу роботами, которым он доверял, потому что верил в безотказность решений, принимаемых простейшими рабочими механизмами, так как единственной управляющей системой, достаточной для их действия, является мозг и тело человека.

В шахте было темно, лишь слабо отражала свет серая

синтетическая облицовка стен, и поэтому он не видел того, что находится внизу. Зато, несмотря на фильтры и вентиляторы, явственно чувствовал сладкий дурманящий запах. Это был запах тропических джунглей в душный жаркий полдень, когда быстрее гниют стебли увядших растений, а в лужах оживает мутная грязно-черная вода.

Он еще раз взглянул на скобы, до которых не мог дотянуться тогда, засасываемый массой, залепившей ему глаза и заполнившей рот сладковатой жижей с привкусом молока.

Тогда он перестал *быть*.

Вспомнив об этом, он почувствовал озноб. Ощущение всеобъемлющего страха, проникавшего в сознание из более молодых в эволюционном отношении частей мозга, страха, присущего всем живым системам в тот момент, когда они перестают *быть*, еще и сейчас не покидало его.

Он вернулся к пульта, поднял рычажок, и пульт встал на прежнее место, скрыв шахту.

Он сел в кресло и в тот же момент маленький прямоугольный экран в углу засветился сероватым светом. На нем появилось лицо Норта.

— Все в порядке, Корн? — спросил он.

— Да, — ответил Тертон. — Все нормально. Не мешай.

Норт взглянул удивленно, и Тертон подумал, что ответил как всегда, когда Норт, которого он недолюбливал, мешал ему работать. «Видно, Корн так с Нортом не разговаривает», — решил он. Потом, когда экран погас, он еще подумал, что начал *быть* только здесь, в экспериментальном пузыре, а не раньше, снаружи, как было условлено. Несоответствие озадачило его и обеспокоило. Входя сюда, он был еще Корном. То, что он будет Корном для всех них, этой толпы глупцов с раздутой амбицией, он знал и раньше. Но ведь здесь он должен был оставаться собой, все время собой, а Корну положено *быть* только тогда, когда ему на голову наденут шлем. Для него, Тертона, это должен был *быть* просто сон без сновидений. Для

того же человека — имитированная реальность, единственная реальность, в которой тот мог быть. Ибо только сны Тертон хотел отдать Корну.

Что-то здесь не получилось. Он решил поговорить с Опекуном и поставить все на свои места.

Окончательные эксперименты, их вторая фаза, были делом слишком серьезным для такой игры в прятки: то он, то Корн. Во всяком случае, игры с ним — Джулиусом Тертоном.

Тетрадь с записями — открытая на последней странице — лежала на пульте. Он взял ручку и записал:

«Возобновление экспериментов. Опыт первый. Собственно, ощущения те же, но в то же время неуловимо другие. По-видимому, индивидуальные подсознательные характеристики включаемой системы (в данном случае мозга Корна) каким-то образом влияют на целое. Необходимо изучить детально, ибо это может привести к отклонениям...» Слово «отклонениям» он дважды подчеркнул. «Ощущение всеприсутствия и всемогущества сильнее, отчетливей». После минутного раздумья он дописал в скобках: «чище». «Возможно, мой теперешний мозг просто моложе, менее истрепан годами. Ведь в юности мы все воспринимаем интенсивнее и полнее...»

Он перечитал последние фразы и обратил внимание на почерк. Буквы старых записей были резче, угловатее, сейчас же они стали более округлыми и выписанными, без той хаотической разбросанности, так присущей ему. В конце концов, не это главное. Ведь мыслит он, как прежде, остается самим собой, Джулиусом Тертоном. И это важнее всего. В конечном итоге такого рода гибридизация это не руки, сложенные для молитвы, которые потом приступают каждая к своим обязанностям, а сложение мозгов навсегда, по крайней мере в категориях их собственного времени.

Такая интерпретация его устраивала, и он тут же перестал думать об этом. Сработал принцип — отбрасы-

вать проблемы, устоявшиеся и не поддающиеся никакому воздействию с его стороны.

«Остаюсь самым собой...— мысленно повторил он.— Но где доказательства, что я остался самым собой?» Заведения Тельпа в момент краткого пробуждения сразу после операции, когда тот — Корн — находился на связи с Опекуном в своем нереальном мире? Либо то, что он сам управлял стратором, когда летел сюда, в институт? Ведь Корн никогда не водил стратора, и Опекун опасался, как бы с ним, этим ценнейшим гибридом, чего-нибудь не приключилось. И все-таки, когда стратор уже приближался к месту, он, Джулиус Тертон, исчез, заглох, как выключенный двигатель, мгновенно, без предупреждения, а Корн, вероятно, начал *быть*. А что происходило потом, между посадкой и его пробуждением здесь? «Корн украл у меня эти дни»,— подумал Тертон. И впервые почувствовал неприязнь к тому человеку, Стефу Корну, жизнь которого знал, изучил во время своего второго пробуждения. До сих пор он не испытывал этого чувства к тому полумальчишке, для которого жизнь остановилась в те самые годы, когда Тертон еще только родился.

Он нажал кнопку вызова, и на экране появился Норт.

— Я кончил,— сказал Тертон.

— Прекрасно. Как прошло?

— Как всегда.

— Что значит, как всегда? Ведь ты, ты же впервые...

Тертон понял, что ответил неудачно.

— Надеюсь, ты не думаешь, что я не работал на имитаторах,— сказал он после короткой паузы.

— Ты говорил другое, Корн.

«Что этот Корн сказал или не сказал еще?» — подумал Тертон.

— Говорить можно всякое.

— Понимаю. Но зачем?

— Чтобы тебе было о чем думать в свободное от работы время, Норт.

— Я гляжу, ты уже вошел в роль великого манипулянта, Корн.

— Я никогда из нее не выходил. Запомни это и дай наружный сигнал об окончании эксперимента.

— Да, конечно,— сказал Норт и выключил экран.

Спустя минуту Тертон прошел через стенку пузыря и остановился рядом с Нормом.

— Ты несколько раздражен, Стеф,— заметил Норт.— Я понимаю, это утомительно.

— Как любая работа, если делать ее как следует,— Тертон хотел спросить еще, как у Норта обстоят дела. Ему известно было, что тот пытается дополнить Эйнштейна, как он сам это называл, и пока безуспешно, но отказался от вопроса — ведь Корн мог еще не знать об этом.

— Помнишь, где выход? — спросил Норт.

— Найду. Можешь не провожать. До встречи.

Он прошел к лифту, поднялся наверх и уже через минуту входил в свою комнату. «Здесь по крайней мере Корн ничего не изменил,— подумал он.— Может, попросту не успел». Потом заметил шлем, которого раньше не разрешал у себя устанавливать, и почувствовал раздражение, но подумал, что эта вещь необходима Корну, и такая плата за «гостеприимство», как он это мысленно окрестил, пожалуй, была не слишком высока.

Судя по положению солнечных зайчиков на полу, уже перевалило за полдень. Тертон подошел к апровизатору, заказал привычный набор блюд и спустя немного времени вынул из контейнера подогретый обед. Поел, но сытости не почувствовал. «У юности другие требования,— подумал он,— но все равно больше не получишь». В тот же момент он понял, что думает так о желудке, который, однако же, был и его собственным — другого не было. «Придется и к тебе приспособливаться»,— добавил он, но все-таки больше есть не стал. После обеда раскинулся в кресле, подложив под голову любимую подушку с драконами, и потребовал соединить его с Тельпом, сообщив знар, который прекрасно помнил.

Экран погас, а когда засветился снова, на нем появилась лаборатория Тельпа,— приборы, аппаратура, мониторы и, наконец, сам хозяин.

— Здравствуй, Тельп! — приветствовал его Тертон.

— О, Корн. Здравствуй! Рад тебя видеть.

— Ты один, Тельп?

— Да, а что?

— Это я. Настоящий я.

— Ах, так,— Тельп был серьезен.— Все идет нормально?

— Нет. Потому и звоню.

— В чем дело?

— Это не видеофонный разговор,— сказал Тертон.— Я хочу, чтобы ты приехал.

— Когда?

— Хотя бы сегодня.

— Исключено. У меня иницированы препараты.

— Тогда завтра.

— Я предпочел бы...

— Ты же знаешь, что я не могу прилететь к тебе. А для дискуссии с Опекуном я потом всегда выберу время.

— Но, видишь ли...

— Дружище. Мы знакомы слишком давно. Я знаю тебя с рождения, да и ты знаешь меня достаточно, чтобы приехать, если я прошу. В конце концов, система, в которой я оказался, продукт твоего, а не моего воображения.

— В своих работах я рассматривал это только в теоретическом плане. Ты же знаешь.

— Неважно. Напару с Опекуном ты реализовал свои идеи на практике, и теперь я нуждаюсь в тебе. Ты — врач.

— Иногда начинаю сомневаться.

— Придержи свои сомнения при себе, пока не доведешь все до нужного состояния. То, что мы имеем в данный момент,— твой несомненный успех, но отнюдь не окончательный.

— Понимаю. Пожалуй, действительно придется завтра прилететь.

— Значит, договорились. Кланяйся матери. Спрашивала обо мне?

— Да. Я сказал, что ты уже вернулся.

— Но без подробностей?

— Конечно, как ты и хотел.

— Значит, до завтра, Кев. Предупреди меня, я встречу.

— Не надо. Он бы так не поступил.

— Пожалуй, ты прав. Значит, как всегда, в беседке.

— Хорошо. До завтра.

Полностью Тертон стал собою к вечеру. Он лежал неподвижно, наблюдая, как лучи резкого предвечернего солнца проникают сквозь жалюзи, рисуют светлые полосы на обивке кресла и медленно ползут по полу. Остальная часть комнаты была погружена в полумрак, только в углу светился пустой серый экран, отключенный от внешнего мира.

Тертон поднялся, потянулся, сбросил тунику и вошел в кабину электризера. С удивлением обнаружил, что плоская пластиковая воронка прибора, излучавшего наэлектризованные частицы мѳя, исчезла, а на ее месте появился знакомый по старинным картинам душ. Можно было вызвать по интеркому мастера, но он воздержался — вторжение робота внесло бы диссонанс в этот приятный вечер. Тертон нажал кнопку и почувствовал на теле струйки воды.

— Холоднее, — сказал он и подождал, пока струи примут нужную температуру.

Обсыхая в потоке воздуха, он случайно прикоснулся рукой к подбородку и почувствовал под пальцами щетину. На секунду он замер — уже много лет проблемы бритья для него не существовало. Решил дело это отложить на будущее и тут услышал звонок интеркома. Взглянул на экран. Эльси. Он не мог условиться с ней на сегодняшний вечер, но подумал, что в конце концов Эльси —

это Эльси, и если она хочет его видеть, то мужчина в его возрасте должен быть доволен. Неожиданно он сообщил, что Эльси пришла повидаться не с ним, а с Корном.

— Входи,— сказал он и быстро натянул одежду.

Когда он вышел в комнату, Эльси стояла в дверях, как-то неуверенно оглядываясь, что для нее было необычным.

— Садись,— сказал он,— очень приятно, что ты помнишь обо мне и вечером. Поужинаем вместе, выпьем кофе.

Она смотрела на него с удивлением, и он не мог понять почему.

— Добрый день,— произнесла она наконец.— Прости, что пришла так рано, но вчера я наговорила много лишнего.

— Ерунда, дорогая,— размышляя о том, что она могла сказать тому парню, ответил он.

— Дорогая...?

— Что-нибудь не так? Заранее прости.

— Не понимаю,— сказала Эльси.— Сегодня ты говоришь совершенно иначе, словно...— она внимательно посмотрела на него.

— Пустое, Эльси. Вероятно, у тебя какие-то заботы. Не думаю, что ты пришла только ради того, чтобы взглянуть на меня. Норт будет не в восторге...

Кажется, он снова сказал что-то не то.

— Корн, ты...— она замялась,— как-то изменился.

— Я сегодня работал.

— Думаешь, результат контакта со сверхсистемой? Тертон всегда говорил...

— Тертон? Кто это? — он не мог удержаться от такого вопроса и подумал, что он первый в истории человек, который мог задать именно такой вопрос, сохраняя на лице непроницаемую и столь совершенную маску.

— Я же тебе говорила. Это был великий манипулянт. Он здесь работал.

— Тот, что погиб, утонул в органической слизи? К тому же по собственной глупости.

— Зачем ты так. Это был большой ученый, а кроме того, человек, который мог быть твоим отцом.

— Этакий замшелый дедуля, погрязший в своих экспериментах, которые в конце концов поглотили его в буквальном смысле этого слова.

— Не совсем так. Молодым он определенно не был. Конечно, ты — моложе.

— Норт тоже не юноша,— сказал Тертон и тут же подумал, что всегда особенно любил Эльси, когда она молчала.

— С Нортом меня ничто не связывает,— сказала она.— Я думаю, это заметно.

— Кроме нескольких лет совместной жизни.

— Откуда ты это знаешь, Корн? Он тебе сказал?

— Достаточно того, что знаю.

— Но то, что я сказала, правда.

— В конечном итоге важен был только Тертон. Не так ли?

— Так, но это было раньше, гораздо раньше его гибели. Он был большой ученый.

— Однако ты не ушла к нему.

— Не ушла. Впрочем, он, пожалуй, всерьез никогда этого и не хотел. А потом и я не хотела.

«Это правда,— подумал Тертон.— Я никогда не хотел остаться с нею. Но она...» — он еще помнил вечер второго, может, третьего дня до того, как перестал *быть*. Они поехали в горы на небольшом двухместном вездеходе, который с тихим урчанием взбирался на любой перевал. Они сидели на камнях, а вокруг стояли высохшие сосны. Солнце уже висело над самым горизонтом, и в долинах сгущался мрак.

— Брось свои эксперименты,— сказала тогда Эльси,— и уедем отсюда куда-нибудь, где много воды, где белые облака. Ты заметил, что здесь почти никогда не бывает облаков?

— Здесь просто-напросто пустыня, а деревья и трава растут только там, куда подведена вода.

— Да. Трава вдоль канала зеленая, но она напоминает газон, а не настоящую траву. Так как, поедем?

Он знал, что никуда с ней не поедет, что она — девушка для этой пустыни, для этого института и таких вечеров, когда он заканчивал эксперименты и у него появлялось немного свободного времени, точно так же, как существовали девушки для других городов, в которых он жил, и других институтов, в которых он работал. Однако он был уже достаточно стар и никогда не говорил «нет», разве что действительно его вынуждали на это.

— Возможно,— сказал он,— но у меня впереди еще столько экспериментов...

Теперь это были эксперименты Корна, а он, Тертон, скрытый за его маской, мог их проводить. И была также Эльси, девушка для этой пустыни, этого института и этих экспериментов.

— Ну, по крайней мере с ним-то ты покончила,— бросил он.

— Покончила, но жаль, что он умер. Он был хороший человек.

«Надо же,— подумал Тертон,— даже в лучшие юношеские годы я при всем желании не мог себя так назвать».

— Значит, теперь ты одна...

Эльси взглянула на него как-то по-особому.

— Да, одна...

Он подошел к ней и поцеловал.

— Ой, манипулянт,— сказала Эльси,— не слишком ли ретиво начинаешь?

— Возможно, но у меня не больше времени, чем было у Тертона.

— Но ты молод. Ты же моложе меня.

— Возраст, дорогая, есть величина переменная, изменяющаяся независимо от нашего желания.

— Не философствуй. Ты начинаешь напоминать мне Тертона.

— Он был скучен?

— Иногда. Лучше поцелуй меня еще.

Потом, когда они лежали рядом, снаружи, за окнами было уже темно.

«То, что я написал в тетради,— правда и касается всех восприятий,— подумал Тертон.— Хорошо быть Корном и иметь тридцать лет».

— Мне пора,— сказала Эльси.

— Норт?

— Да. Он не любит, когда я возвращаюсь поздно.

— Знаешь, Эльси, а ведь ты натуральная девка,— сказал он.

— Почему? Я уже рассказала тебе о себе и Норте.

— Я не о Норте. Я о Тертоне.

— Шутишь. Он мертв.

— Стало быть, это не в счет?

— Ну, знаешь ли! И вообще, не понимаю, о чем ты. Ревнуешь к мертвому? Пожалуй, перебарщиваешь. И вообще, ты какой-то странный. Неуравновешенный. Я думала, манипулянтами становятся люди с более устойчивой психикой.

— Неверно думала, дорогая. А то, что ты девка,— это уж точно.

— Повторишь еще раз, и я больше не приду никогда.

— А ты уверена, что я захочу, чтобы ты пришла?

— Уверена. Захочешь. А что до Тертона, то я восхищалась его знаниями, интеллектом. Зато ты — мужчина.

— А он не был?

— Ты все о своем. Чего ты, собственно, хочешь? Я должна говорить о нем дурно только потому, что лежу с тобой? Знаю, многие женщины поступают именно так. Но это не по мне. К тому же это глупо. Нет человека. Есть только воспоминания. А он был хорошим человеком.

— Если б мы еще верили в ад, будь я на месте Тертона, непременно отыскал бы тебя, дабы ты свидетельствовала в мою пользу, чтобы не попасть на сковородку.

— Опять чудишь. Я пошла...

— До свидания.

Она вышла, а он продолжал лежать с закрытыми глазами. «Каким вообще-то человеком был Тертон?» — подумал он. Потом потянулся. «А все-таки неплохо быть и Корном». Он вызвал робота и велел ему обрезать идущие к шлему провода у самой стены. Он знал, что ночью шлем, управляемый датчиками, сам наделся бы ему на голову, а тогда из небытия выплыл бы Корн.

6 Утром Тертон связался с компьютерами института и поселка и узнал, что стратор Тельпа уже в пути. Он отыскал свою большую соломенную шляпу от солнца, которую когда-то привез из Мексики. Темные очки лежали на месте, в ящике стола, где он оставил их много месяцев назад. Шляпа была немного великовата, а очки сползли с носа, однако это не очень ему мешало. На улице стояла жара, и, выйдя из климатизированного помещения, он сразу же ощутил горячее дыхание пустыни. Он вызвал маленький двухместный вездеход и поехал через поселок. При повороте на главный тракт, который вел к настоящему озеру, бывшему в нескольких минутах езды, он увидел мужчину, который размахивал шляпой, и остановил вездеход.

— В чем дело?

— Привет, манипулянт. Я Готан.

— Очень приятно.

— Не узнаешь?

— Я встречаю столько людей,— Тертон пожал плечами.

— И вправду не помнишь? Позавчера вечером. У тебя были неприятности с роботом.

— У меня?

— Ты просто разбил его,— сказал мужчина, и Тертон заметил, что человек, с которым он разговаривает, почувствовал себя обиженным.

«Опять Корн»,— подумал он.

— О, конечно. Прости сразу не узнал.

— Тогда было темно,— улыбнулся Готан.

— Ну и что с роботом? — поинтересовался Тертон.

— Лом,— почему-то обрадовался Готан.— Ну и сила у тебя, манипулянт. Голыми руками справиться с таким роботом! Завидую. Сегодня не работаешь?

— Нет. Перерыв в экспериментах.

— Кажется, вчера тебя искал Опекун. Был контакт?

— Конечно,— солгал Тертон.

— Видно, что-то срочное. Он вызывал тебя открытым кодом на всех каналах.

— Опекун всегда слишком спешит. У него электронные системы, а у нас всего лишь белковые, куда нам за ним!

— Не забывай о моем приглашении,— напомнил Готан.— Загляни, если выкроишь времечко.

— Непременно,— Тертон махнул рукой и отпустил педаль.

Позади остались последние дома, до автострады и канала было несколько километров. Уже виднелась зелень вдоль берегов, и он подумал, что мир с настоящими деревьями и травой не идет ни в какое сравнение с миром фантастории, и пожалел, что в поселке нет зелени. Конечно, подвести воду было нетрудно, но когда-то решили, что вокруг поселка должна быть пустыня. В пустыне сбежавшие обитатели павильонов, странные химеры и псевдозвери, вариации человека на тему эволюции, не могли уйти далеко и становились добычей собственных творцов, а если очень уж посчастливится — стервятников.

Он пересек автостраду, протянувшуюся от горизонта до горизонта, по ней мчались машины на воздушных подушках. Все они казались одинаковыми — при такой скорости различить их было невозможно.

Дальше путь лежал вдоль канала, берега которого поросли камышом. Неожиданно за стеной расступившегося камыша он увидел рыбака. Тот сидел на берегу, уставившись на поплавок: нечто неизменное в реке време-

ни и потоке веков, точно такой же, как и неисчислимые поколения рыбаков, смотревших в воду до него.

Беседка стояла у озера, искусственного водохранилища. Несколько десятилетий назад на его месте была пустыня. Вдали, на едва видимом его берегу, белели почти не различимые отсюда постройки Центра Космического Прослушивания. Антенн не было видно, но он знал, что они находятся там, и их ажурные конструкции, нацеленные в одну точку Космоса, медленно перемещаются в ожидании сигналов, которые могут появиться вновь.

Он оставил вездеход на площадке и неспеша пошел по теневой стороне аллеи к беседке. Вокруг нее цвели в эту пору южные кустарники. Выйдя из тени деревьев, он почувствовал, как солнце припекает спину, и уловил легкий запах воды и тины. На берегу мальчишки с криками спускали на воду лодку.

Вход в беседку встретил его прохладным климатизированным воздухом. Прозрачный купол пропускал только часть солнечного спектра. Сквозь стены видны были кусты, деревья и озеро, а внутри веял легкий ветерок, но ветерок искусственный. Здесь тоже росли цветы и кустарники, правда, немного отличные от тех, что были снаружи, но граница, разделявшая их, была почти невидима глазу, надо было знать, где находятся стены, чтобы их заметить.

Тельп, как всегда, ожидал его у куста жасмина. Там стояла скамейка и столик с контейнером апровизатора. Тельп потягивал через соломинку искрящийся сок.

— Здравствуй, Джуль,— он поднялся и протянул Тертону руку, но Тертон отметил про себя, что Тельп сказал это не как всегда, когда они встречались здесь раньше. Тельп, видно, тоже почувствовал это, потому что добавил:

— Знаю, что это ты, но не могу привыкнуть. Сейчас ты мой ровесник, Джуль.

— Я уже давно чувствую себя твоим ровесником.

Ты скверно выглядишь, Кев.

Тертон всегда называл Тельпа по имени, когда они были одни, вернее, начал называть после того, как несколько лет назад они встретились на симпозиуме по белковым протезам. О том, что Тельп принимал участие в симпозиуме, Тертон не знал, и, увидев его в зале, почувствовал себя стариком.

— Много работы, — вздохнул Тельп. — Приходят сотни людей, но лишь немногим мы можем помочь.

— Надеюсь, для меня ты все-таки выкроишь время. Я неважно себя чувствую в новом «костюме», — Тертон усмехнулся, но Тельп смотрел на него серьезно, без улыбки. — Ты ведь можешь это сделать?

Тельп молчал.

— Я хочу полностью контролировать свой организм, — твердо сказал Тертон. — Полностью. Когда тело пробуждается, это должен быть я, когда работаю — тоже я, когда воспринимаю истинную реальность — я и только я. Корн может существовать в своей имитированной действительности и наслаждаться, общаясь с персонификатами Опекуна, когда я сплю. Как видишь, я не эгоист, — добавил он, чтобы смягчить резкость своих слов.

Тельп продолжал молчать.

— Это невозможно, Джуль, — сказал он наконец. — Невозможно.

— Не дури. Мы оба знаем, что возможно. Я не такой крупный специалист, как ты, Кев, но общие понятия о пересадке психики у меня есть. Я читал все твои работы. Разумеется, это никогда не применялось в таких масштабах, как со мной, но помех технического характера практически нет.

— Ты прав, Джуль, нет.

— Тогда в чем же дело?

— Все не так просто. Только к стволу яблони можно привить ветви другого дерева. Но после этого яблоня перестает быть яблоней. Теперь ее задача состоит в том,

чтобы черпать из земли соки и питать плодоносящий побег. Здесь не яблоня, здесь два человека — ты и он.

— Ты же знаешь, что он такое.

— Знаю. Но он есть, он живет, мыслит, чувствует. Это человек, Джуль.

— Когда мы с тобой ходили по холодильникам, ты рассуждал по-другому.

— Я не знал, что все получится именно так, не представлял себе всего, во всяком случае, представлял иначе. Прости.

Тертон помнил тот день, когда они спустились в холодильное помещение. Получив его рапорт, Опекун предложил именно такое решение. Уже потом, в институте трансплантации, он случайно встретил Тельпа. Впрочем, возможно, встречу организовал Опекун. Уже тогда Тельп показался ему немного странным, но они долго не виделись — оба много работали, и оказалось, что им почти нечего сказать друг другу.

— Идея технически осуществима,— сказал тогда Тельп,— но ты понимаешь, почему мы этого не делаем. Конечно, на сей раз ситуация совершенно иная, ибо речь идет о проблеме существенной для всех нас, для всего человечества. Но все же локально, для наиболее заинтересованного, конкретного человека, суть дела не меняется.

Тельп говорил это, когда они уже вышли из лифта и по длинному коридору направились к холодильникам. В шлюзе роботы натянули на них скафандры,

— Термическая изоляция,— пояснил Тельп.— Там минус пятьдесят—шестьдесят. Конечно, в общих помещениях. В камерах — температура жидкого азота.

Когда они уже вошли в просторный зал, стены которого представляли собой сотни плит со скобами в центре, Тертон спросил:

— Много их здесь?

— Тысячи,— ответил Тельп.— Их свезли со всей Земли. Видишь, там, у входа, третья сверху, это камера

Бедфорда, первого человека, решившегося на замораживание еще где-то в начале второй половины двадцатого века. Таких секций несколько. Нас сейчас интересует именно эта. Ближе ко входу мы храним тела, попавшие сюда после недавних несчастных случаев. Но их немного. Несчастья случаются редко, а если уж случаются, то тела обычно не остаются. А по другим причинам теперь никто в юности не умирает.

— И поэтому вы решили взять... материал из прошлого столетия?

— А какая в конце концов разница? Биологически человек в таком масштабе времени неизменен. Мы могли бы спокойно использовать для трансплантации тела древних.— Тельп подошел к небольшому пульту с экраном.— Я выбрал для тебя кандидата, Джуль, из нашего века. Его звали Стеф Корн, он был биофизиком. На тридцать первом году жизни он попал в аварию. Масса повреждений. Двумя, тремя пересадками их не ликвидируешь. К сожалению, его придется киборгизировать, но — и это главное — мозг его не поврежден. Перед аварией он был совершенно здоров, характеристика его тканей полностью совпадает с твоей. Я думаю, нет смысла искать что-нибудь другое.

— Ну, что ж, Кев, если ты так считаешь...

— Это не мое мнение. Компьютер произвел сравнительный анализ всего имеющегося у нас материала. Я хотел бы показать тебе его лицо, конечно не то, что сохранилось после аварии, а портрет, который компьютер сделал с учетом предполагаемой реконструкции.

Тельп протянул руку к пульту, и Тертон увидел на экране молодое лицо, не очень выразительное, как обычно при компьютерном синтезе. Лицо было симпатичное, без особых примет; по распоряжению Тельпа компьютер показал его еще и в профиль.

— Хорошо,— согласился Тертон.

— Значит, задержим его для тебя... на тот случай, возможность которого вы с Опекуном не исключаете.

Теперь это лицо было его лицом, и в него всматривался Тельп. Тертон встал, подошел к апровизатору и заказал два стакана сока. Один поставил перед Тельпом, второй пододвинул себе.

— Не понимаю твоих возражений, Кев. Но ясно одно: в такой системе я жить не хочу и работать в ней... трудно.

— Если б не эта, как ты говоришь, система, ты бы уже не существовал.

— Неправда. Я прервал бы эксперимент. Я ясно видел опасность. Передал бы все Опекуну, а значит, Всемироному Совету. Я продолжал эксперимент, потому что получил ваши гарантии.

— Не прервал бы, Джуль, не прервал. Знаешь, мальчишкой я был влюблен в тебя. Ты был моим идеалом. Потом, когда я подрос, я взглянул на тебя,— Тельп на мгновение замаялся,— несколько иными глазами. Ты большой ученый, один из лучших нейроников нашего времени. Это известно всем — от твоих студентов до коллег. И ты сам знаешь, что значит для тебя твоя работа. У тебя нет друзей, никого действительно близкого и, прости... никаких интересов вне работы. Ты не прервал бы экспериментов тогда и не прервешь их сейчас, в этой, возможно, несколько обременительной ситуации. К тому же таких экспериментов. У тебя нет выхода, Джуль.

— Много ты знаешь.

— Больше, чем ты думаешь. Я похож на тебя, только, возможно, не так способен и жесткости во мне поменьше. Порой я даже подозреваю, что в наших жилах течет родственная кровь.

— Я никогда не говорил тебе ничего подобного.

— Моя мать тоже. Впрочем, сейчас это для меня уже не важно...

— Ну, хорошо. Если мы так похожи друг на друга, ты согласился бы жить в этом теле? Здесь,— Тертон показал на свою голову,— живет еще один человек. Я не вижу его, не чувствую его присутствия, но знаю, что в лю-

бой момент, стоит мне только заснуть, прикрыть глаза, как только шлем контакта с Опекуном окажется у меня на голове, я могу перестать *быть*. Подумай, я впадаю в состояние, которое не назовешь ни сном, ни смертью. Это нечто среднее. Я никогда не знаю, проснусь ли, ведь он может сделать все, даже убить себя... и меня. Он начал с того, что раскурочил робота, но он же ведет и мои эксперименты, а ты знаешь, какую это создает опасность. И если б это была смерть. Для нас, тех, кто действительно мыслит, смерть — неизбежное следствие жизни, то есть часть самой жизни вместе со всей ее неотвратимостью и бескомпромиссностью, прекращение всего, что было. Но прекращение окончательное. То же, что происходит со мной, это мерцание жизни. Попросту гротескная пародия на жизнь. Я не человек. Я... мысляк, существо, которое, внешне являясь человеком, функционально представляет собой автомат, потому что его в любой момент можно на какое-то время отключить.

— Что тебе сказать? Не каждый огонь вечно горит ярким пламенем. Порой он угасает, порой разгорается, но тем не менее не гаснет.

— Это не ответ. Сделай что-нибудь. Ты должен мне помочь! Сделай еще одну операцию. Вскрой этот череп и убери ЕГО. Так жить невозможно.

— А ты подумал о нем? Мы вдохнули в него жизнь, он перестал *ожидать*, увидел мир, людей, себя. Начал жить.

— А те, кого вы всего этого лишаете, те, что *ожидают* в холодильниках, они ведь тоже хотели жить и думали о жизни, когда их тела погружались в жидкий азот. А вы расчленяете их, используете отдельные части, элементы, а остальное сжигаете. Запоздалый церемониал погребения. Вы убиваете их, дорогой мой, а ведь они не мертвы. Они только *ожидают*.

Тельп побледнел, и Тертон заметил это.

— Мы используем только тела, о которых точно знаем, что они не пригодны для жизни.

— Не шути. Что значит «знаем»? Знает кто? Современная наука? Тот, кто помещал их в азот, тоже «знал», что все они нежизнеспособны, а сегодня оказалось — далеко не все. А вы уверены, что через сто, двести, тысячу лет их не удастся вернуть к жизни? Всех. Ведь практически они могут *ожидать* вечно.

— Это вопрос техники, Джуль, и только. Человек может жить, жить по-настоящему как человек лишь в том времени, в котором он родился и вырос. Потом... потом он превращается в анахронизм, в музейный экспонат. Он не понимает нового мира, этот мир ему чужд. Для того, кто перестал бы *ожидать* через тысячу лет, быть может, единственным нечуждым местом был бы зоопарк. Отсюда вопрос: имеем ли мы право будить их через столько лет? Ведь это люди, которые после пробуждения хотят жить, мыслить, понимать. Хотят быть счастливыми. Они *ожидают* не для того, чтобы просто когда-то проснуться,— Тельп замолчал.— Об этом много думали и я и другие. Даже теперь, по прошествии всего нескольких десятков лет, мы создаем ему, Корну, имитированную действительность, тот мир, который он знал. Мы обязаны это для него сделать...

— Так пусть он всегда живет в своем имитированном, а не в моем реальном мире. Мир — не его, а мой. Он отнимает у меня мои дни, мои часы, потому что мы неумолимо стареем вместе, он и я.

— Он дал тебе столько новых часов, столько лет. Не жалея их для него. К тому же неизвестно, правы ли мы?

— Не понимаю.

— Правильны ли наши предвидения, истинны ли наши суждения о человеке, которому предстоит начать *быть* в новой действительности.

— Заметь, это сказал не я, а ты.

— Сомнения — фундамент науки. Мы хотим это проверить. И поэтому Корн иногда выглядывает в наш мир.

— Значит, такова правда? — проговорил Тертон после долгого молчания.

— Да. Одновременно это и эксперимент. Эксперимент, который, возможно, наконец ответит на вопрос, могут ли *ожидающие* жить в новом времени, где-то между годами своего рождения и далеким будущим, которое им вообще не известно,— Тельп замолчал.

Тертон глядел сквозь прозрачные стены на озеро, где мальчишки уже спустили лодку и подняли парус, и он сейчас казался всего лишь белым штришком на фоне темно-голубой воды.

— Да. Теперь я понимаю, что вся наша беседа была беспредметной. Ты не изменишь ничего, потому что не хочешь и, вероятно, не можешь. Но почему я? Почему выбрали меня, ты или кто-то там еще?

— А смог ли бы ты ответить, будучи на моем месте?

— Не знаю. Но как мне жить дальше?

— Жить и все. Не ты первый, не ты последний. Природа уже давно указывала на такую возможность. Известны по меньшей мере несколько случаев. Я говорю только о тех, что изучены и подробно описаны. В прошлом веке во Франции жила женщина с двумя совершенно различными, попеременно сменявшимися индивидуальностями. Это были два существа в одном теле. И дожила до преклонных лет. Конечно, нам известно только то, что происходило в последние столетия. А сколько таких погибло в застенках, сгорело на кострах инквизиции...

Тертон молчал.

— И знаешь, Джуль, что я еще скажу? Ты справишься. Но этот парень... Мне его действительно жаль...

Тертон рассмеялся так громко, что Тельп подозрительно взглянул на него.

— Что с тобой?

— Ничего,— продолжая смеяться, ответил Тертон.— Просто ты напоминаешь мне старуху, срезающую в саду цветы для букета и одновременно страдающую от того, что им предстоит завянуть.

— Ну, знаешь... Впрочем, я говорил, что ты выдержишь, Джуль. Именно поэтому когда-то я перестал смотреть на тебя влюбленными глазами. Божества должны быть великими, неподражаемыми и немного неловкими в своем величии.

— И все-таки это забавно, Кев. Эксперимент в эксперименте. Пожалуй, ты перещеголял меня. Мне бы такого не придумать. Да, дорогой мой, дети всегда обходят отцов и создают проблемы, которые потом сами и их последователи вынуждены разрешать. Что ж, на сегодня довольно.

— Я сожалею, Джуль... честное слово.

— Не страдай, пройдет,— Тертон встал.— Однако мне надо немного познакомиться с Корном,— сказал он.— В конечном счете благодаря тебе он тоже управляет моим телом.

— Все, что мы знали о нем — чем он был, каким был, передано тебе.

— Не о том речь. Я должен войти в его имитированный мир. Его действия здесь в определенной степени обусловлены тем, что происходит там. Я должен это знать и понимать.

Тельп стоял в нерешительности.

— Ты так считаешь? И ты сможешь сориентироваться в его мире?

— У каждого из нас есть опыт работы с фантотронами. Это ведь то же самое.

— Не совсем. В фантотроне ты имеешь жестко заданную структуру, а влияешь только на процесс. Как и в жизни. Мир таков, каким ты его застал, и ты можешь только действовать в нем.

— А там... у него?

— Там ты можешь влиять и на структуру. Это выглядит так, словно ты своими мыслями изменяешь реальность. Мы слишком мало знаем о его времени, о тех деталях, наличие которых позволяет ему воспринимать имитированный мир как реальный и собственный. Поэтому,

когда он подумает о чем-нибудь, представит себе что-то, что было в том его мире, но о чем мы не знаем, это немедленно вводится в структуру.

— Понимаю. Например, если он представит себе бегемотов на улицах города его времени, они там появятся.

— Вот именно.

— Забавно. И много он уже напридумывал?

— Нет. Он просто заполняет свой мир деталями.

— Хорошо. А как с противоречиями? Если, например, он вообразит себе, что проникает сквозь стены, либо, что у бегемотов шесть ног...

— Противоречия, которые можно установить объективно, немедленно отсеиваются и не вводятся в структуру имитированного мира.

— А логические противоречия?

— С этим хуже. Но в конце концов это проблема не новая. Ошибки синтаксического характера можно распознать и не вводить. Проблемой остаются семантические ошибки.

— Понимаю. Так как же попасть туда, в его имитированную действительность?

— Это тоже не просто. Всякий раз, когда он надевает контактный шлем — начинает «работать» его индивидуальность. Если в момент включения шлема существуешь ты, твоя индивидуальность угасает, если он — остается.

— Ясно. Так как же?

— Ты считаешь, что это действительно необходимо?

— Полагаю, да.

Тельп задумался.

— Кев,— сказал Тертон,— все, что произошло до сих пор, я могу понять. Возможно, я и сам поступил бы не иначе, если даже объектом таких действий был ты. Но то, о чем я прошу, думаю, ты можешь сделать для меня, Джулиуса Тертона, которого знаешь чуть ли не с пеленок и, вероятно, немного любишь.

— Хорошо,— решился Тельп.— Я введу поправку в программу, но только на один сеанс. Помни, что в том мире ты — Корн и неотличим от него.

— Ясно. Знаю. Спасибо, Кев. Прощай! — Тертон встал и, не глядя больше на Тельпа, вышел. Посмотрел на озеро, но белого штриха паруса там уже не было. Домики Центра Космического Прослушивания по другую сторону озера расплылись в тумане, стелющемся над водой.

Направляясь к вездеходу, он уже знал, что станет делать.

7 На обратном пути и за обедом он обдумывал свои действия. Окончательно решился к вечеру, когда продумал все до конца, вплоть до предварительных тестов, тщательно увязав их с принципиальными элементами так, чтобы все вместе взятое образовывало единое целое. Конечно, для существа дела это, возможно, и не имело значения, однако он не видел причин, мешающих реализовать задуманное таким образом, чтобы не только достичь намеченной цели, но и получить конструкцию, которая бы ему нравилась.

Когда все было решено, он вызвал робота и приказал установить шлем на прежнее место. При этом в который уже раз мелькнула мысль, что робот выполняет приказы, не задавая вопросов, и в этом его преимущество перед человеком. Закончив работу, робот удалился. Тертон надел шлем, поджал электроды и... очутился в странном помещении, из окон которого был виден город, а еще дальше — лес и поля. Он с удовлетворением отметил, что Кев выполнил свое обещание.

— Ты уже вернулся? Как прошли эксперименты? — послышался голос из глубины квартиры, и в комнату вошла женщина. Тертон не ожидал встретить ее здесь и подумал, что Корну везет, точнее, везло в жизни.

— Какая ты красивая,— сказал он.

— Что... Стеф, что с тобой? — удивилась женщина.

— Я буду повторять это ежедневно, потому что это правда,— ответил Тертон, одновременно соображая, как бы узнать ее имя.

— Общение со сверхсистемой идет тебе на пользу,— на ее лице мелькнула счастливая улыбка. «Может, она и верно его любит,— подумал Тертон.— Конечно, так, как может любить персонификат Опекуна, то есть, пока не снят шлем».

— Обед готов,— сказала женщина.

— Спасибо. Я поел там,— Тертон заметил, что это ее огорчило, но он не любил вводить питательные жидкости в организм во время сеанса, имитированным элементом которого был прием пищи.— К тому же я жду посетителя.

— Ты не говорил...

— Старый знакомый, возможно, несколько экзотичный, но если он появится, нам надо будет кое-что обсудить.

— Что?

— Неважно. Этакая послеобеденная беседа. Только не удивляйся его внешности,— Тертон уселся в кресло, подумал, что хорошо бы еще под голову любимую подушку с драконами, и тут же почувствовал мягкую опору, но даже не обернулся, уверенный, что драконы будут на своем месте. «Итак, структура изменяется,— подумал он.— В обычном фантотроне за подушкой пришлось бы сходить, как в жизни».

— Я сварю тебе кофе,— сказала женщина.

— Я должен называть тебя как-то так, чтобы новое имя больше соответствовало твоей внешности...

— Кома тебе уже не нравится?

— Почему же, тоже красиво, но, может, удастся придумать что-нибудь еще.

— Маешься бездельем, Стеф? — Кома прикинулась недовольной, но он знал, что это неправда.

«Ну, ему пора»,— решил Тертон. Он заранее придумал своего посетителя и знал, что сейчас тот позвонит. Знал

также, как он будет выглядеть, потому что именно таким его придумал. Подушка была тестом номер один. Внешний вид объекта второго теста находился на грани синтаксической ошибки, но Тертону необходимо было знать, насколько эластичны фильтры системы. Объект не был синтаксическим абсурдом, тем не менее вероятность его появления здесь была близка к пределу невозможного.

Как он и хотел, раздался звонок. Тертон сам пошел отворить дверь. Объект оказался на месте.

— Входи,— пригласил Тертон.— Давненько не виделись.

Он посмотрел на Кому и увидел на ее лице удивление. На пороге стоял ацтек в головном уборе с перьями экзотической мексиканской птицы, названия которой Тертон не знал, но помнил внешний вид украшения, и для Опекуна этого оказалось достаточно.

«Прекрасно,— подумал он,— появление в городе столь странно одетого человека синтаксические фильтры допустили. Все, что он скажет, уже будет ошибкой имитированной действительности, но, видимо, информация такого рода не проверяется, а берется непосредственно из центральных мнемотронов, где, разумеется, эти факты есть и должны быть, как и все, что известно нашей цивилизации».

— Садись,— бросил он ацтеку, указывая на кресло.

— Что ему здесь надо? — спросила Кома.

— Не мешай, милая. Увидишь сама. Меня интересует период между «двенадцатым» и «третьим домом»,— повернулся он к гостю.

— Значит, также «тринадцатый кролик», «первый камыш» и «второй кремневый нож»,— ацтек говорил странным, немного хриловатым голосом.

Тертон не установил заранее звучания голоса, но тут же представил его себе таким, каким хотел бы услышать.

— Да,— ответил он.

— 1514—1521 годы,— сказала Кома.— Что у тебя за странные интересы, Стеф?

«Отлично, Опекун,— подумал Тертон.— Уже понял, о чем мы».

Результат теста оказался положительным, поэтому можно было уже кончать игру, выпроводив индейца из квартиры, но Тертону хотелось, чтобы Кома еще послушала ацтека, так как рассказ гостя был декорацией его плана.

— Расскажи, как все началось,— сказал он.

— Еще за десять лет до прихода испанцев на небе явилось первое зловещее знамение — огненные колосья кукурузы, свисающие огненные полотнища, казалось, утренняя заря пронзает небо, снизу — широкая, сверху — острая...— начал ацтек.

— Зодиакальный свет или полярное сияние. Точно не установлено,— вставил Тертон.

— Вот уже сердцевину неба охватило оно. И вырвался вопль из уст людских, и ужас обуял все живое. И было это в году «двенадцатый дом». Второе страшное знамение явилось здесь же. Сам по себе возгорелся ясный огонь, никто его не раздувал, случилось это в доме Колибри с Юга.

— Это был Бог города,— сказал Тертон.

— Знаю, не мешай,— Кома внимательно слушала.

— Оказалось,— продолжал ацтек,— возгорелся столб деревянный. Изнутри вырвались огненные колосья кукурузы, полыхающие языки огня. Очень быстро уничтожили они все балки дома. И чем больше воды лили люди, чтобы погасить пламя, тем сильнее оно разгоралось. Третье страшное знамение — молния ударила в дом божий, соломой крытый, в святилище Бога Бирюзы. Редкий дождь моросил. А однажды солнце еще не зашло, как пала на землю огненная бирюза, трижды поделенная. И это было четвертым предзнаменованием.

— Потом ученые установили, что это был метеорит,— сказал Тертон, глядя на Кому.

— Оттуда,— продолжал ацтек,— прилетела она, с захода солнца, и бежала на восток, подобная дождю из огненных цветов. Далеко тянулись косы ее.

— Достаточно,— сказал Тертон.

Индеец замолчал.

— Продолжай,— попросила Кома.

Этого Тертон не планировал.

— Он спешит. Через час улетает на страторе.

— Ты хотел сказать «на самолете»,— поправила Кома.

— Я не очень спешу,— отозвался ацтек.— Знаешь, Корн, я не помню, где познакомился с тобой.

«Так. Опекун берет инициативу в свои руки»,— раздраженно подумал Тертон. Это не входило в его планы.

— Не помнишь? У пирамид в Теотигуакане, где ты работаешь гидом,— Тертон решил подкинуть Опекуну объяснение.— Ты, конечно, переборщил, прилетев сюда в своем рабочем наряде,— добавил он.

— Позвольте снять перья,— сказал ацтек и положил свой головной убор у ног.— И зачем я сюда пришел? Кажется, я всегда навещаю Корна, когда бываю в этом городе.

— Да. Ты не помнишь его, Кома? — рискнул Тертон.— Мне казалось, вы с ним однажды беседовали.

— Возможно,— отозвалась Кома.

— Его трудно не запомнить. Тогда он тоже спешил на самолет.

— Да. Припоминаю,— сказала Кома, а ацтек встал и поднял с пола свой удивительный головной убор.

«Ну, кое-как пробился через контроль Опекуна,— подумал Тертон.— Счастье, что Опекун — всего лишь компьютер, громадный компьютер, и для него даже то, что почти совсем невероятно, немедленно перестает быть необычным, если только это каким-то образом может быть проверено. С человеком было бы труднее».

— Я пойду,— проговорил ацтек.— До следующей встречи.

— Прощай,— Тертон проводил гостя до порога и старательно прикрыл дверь.

Когда он вернулся в комнату, Кома сидела в кресле и смотрела на него.

— Ты какой-то странный, Стеф,— сказала она.— В чем дело?

— Может, немного устал и еще должен поработать.

— Сейчас?

— Да.

— Что будешь делать?

— Рассчитывать.

— Что?

— Ты никогда не была такой любопытной, Кома. Просто расчеты для следующих экспериментов.

— Сам? Без компьютера?

Она вышла на кухню, а он сел к письменному столу и потянулся за бумагой и шариковой ручкой, которой и сам иногда пользовался в своей реальности. Здесь, разумеется, ручка тоже была, потому что она принадлежала этой реальности.

«Вот прихватить бы ее отсюда»,— подумал Тертон. Свою ручку он с трудом отыскал несколько лет назад в антикварном магазине. «Ведь и ручка и все остальное — всего лишь иллюзия»,— подумал он, зная, что устройства, конструирующие эти иллюзии, лишь немногим менее сложны, чем мозг человека, но быстроедействие их в миллионы раз больше, и поэтому такие иллюзии настолько совершенны, что даже ему, старому манипулянту и профессору нейроники, подсказывают нереальные желания.

Он принялся за расчеты. Вычисления были нетрудными, но он уже отвык считать сам, поручать же их компьютеру не хотел, потому что тогда пришлось бы посвятить в расчеты Опекуна, а так лишь результаты попадали в имитированную действительность.

Он начал с массы, которая дала бы нужный эффект, потом уточнил потери в атмосфере и скорость. Уже закончив предварительные расчеты, понял, что распад

глыбы должен произойти в атмосфере. Тогда он увеличил массу так, чтобы хоть один осколок, прошедший сквозь атмосферу, выполнил условия. Получилась чудовищная величина. Он проверил исходные данные и вычисления — все было правильным. Увлеченный работой, он не заметил, как подошла Кома и встала у него за спиной. Он почувствовал прикосновение ее руки к волосам и обернулся. Она смотрела не на него. Она смотрела на листок бумаги, на формулу Эйнштейна, на ее трансформацию: в левой части равенства энергию заменила масса.

Он знал, что она заметила это, но еще не поняла. Тогда он встал и заслонил собою листки.

— Подожди, Стеф,— сказала Кома.— Ты считаешь что-то интересное.

«Она не должна этого видеть,— подумал Тертон.— Опекун получает информацию непосредственно через нее. Не должна...»

Он обнял ее и поднял. Поднял легко — избыток сил в его теле действовал и здесь, в имитированном мире. Она удивленно смотрела на него, пока он нес ее к окну.

«Это фантом. Это всего лишь фантом»,— повторял он себе.

Кома поняла, только когда была уже возле окна. Она закричала, и он увидел в ее глазах страх. Попыталась вырваться, но он был сильнее.

— Стеф...— он выбросил ее наружу. Она крикнула что-то еще, а потом была уже слишком далеко, чтобы он мог ее слышать.

— Это же фантом,— еще раз повторил он тихо. «Когда я выключаю проектор и с экрана исчезает лицо любимой женщины,— подумал он,— не убиваю же я ее. И изображение на экране, и эта девушка, Кома,— фантомы. Разница только в сложности генерирующей их аппаратуры. Вот и все». Но в то же время он знал, что в чем-то различие все-таки есть и чувствовал себя так, словно убил человека.

Теперь надо было действовать быстро. Имитированная действительность должна реагировать так же, как действовал бы оригинал. Правда, он не знал, что делали с такими, как он, в прежние времена, но наверняка общество преследовало их. И сейчас реакция должна была быть аналогичной. Он собрал листки с вычислениями и бросился к лифту.

В кабине никого не было, и, глядя на мигающие номера этажей, он с нетерпением ждал, пока лифт опустится. Внизу, в остекленном холле, девочка ела мороженое, а какие-то люди, вероятно, родители, выкатывали на улицу прогулочную коляску. Он разминулся с ними в дверях, которые норовили закрыться, но присматривавший за створками автомат не допускал этого — фотоэлемент реагировал на присутствие людей. «Фантомы, — подумал Тертон, — такие же декорации, как и все эти дома».

Возле стены собралась толпа. Он даже не глянул туда, а быстро направился к садам, которые видел сверху, из окна. В этих садах он придумал себе убежище, на много сотен метров погруженное в глубь земли, прикрытое сверху бетоном, с климатизаторами и экраном, с шахтами запасных выходов и пороховыми зарядами, на случай, если б их засыпало обломками. Он подумал, что, вероятно, запланировал все слишком примитивно, потому что совершенно не знал, как строились убежища в те времена, но в конечном счете это не имело особого значения. Он всегда мог дополнить конструкцию необходимыми деталями, воображая их по мере необходимости, а единственным условием, которому все это должно было удовлетворять с самого начала, была защита перед первым ударом. Лишь это было действительно существенно. Он не боялся имитированной смерти, но боялся имитированной боли, которую невозможно отличить от реальной.

Кроме того, что было особо важно, он не знал, чем в имитаторе завершается сеанс в случае смерти героя. Вероятнее всего, все заканчивалось так же, как во сне,

когда, падая с большой высоты, мы в последний момент просто просыпаемся. Однако уверенности не было, и он предпочитал не рисковать, тем более что еще существовал Корн, которому, несомненно, он отрезал бы возможность проникновения в имитированную действительность, умерщвляя имитированное тело, которое одолжил у него. Его план был другим, более сложным и тонким. Имитированная действительность должна была остаться открытой и доступной, но одновременно такой, в какой Корн не захотел бы быть. Это, конечно, сводило на нет эксперимент Тельпа, но в реальной действительности Корн не нужен. Он, Тертон, единственный, кто действительно знает, что такое сверхсистема. Корн всего лишь дебютант, к тому же не из способных.

Улица упиралась в сады. Именно так он и запомнил ее, глядя из окна. Подойдя к воротам, за которыми начинались деревья, он оглянулся на белые громады небоскребов. В одном из них, первом в ряду, было то окно. Он не знал точно, которое. «Декорация, современная аппликация из токов и реакций моего мозга», — подумал он и вошел в ворота.

Сад оказался кладбищем. Старым кладбищем, одним из тех, что он иногда посещал в том городе, где когда-то жил, где читал курс прикладной нейроники в столь же древнем, как и кладбище, университете. Он даже ходил на кладбище погулять в теплые осенние дни, когда деревья притягивали к себе своим желто-красным нарядом. Он помнил заросшие травой тропинки, незнакомые имена и даты, которые встречал в старых книгах.

«Не очень-то удачное место выбрал я для своего убежища, — подумал Тертон. — Но ведь и надгробья и кладбище тоже всего лишь фата-моргана, развернутая фантогенератором только по той причине, что я пришел сюда, и именно такое кладбище было в городе Корна на этом самом месте десятилетия назад, в прошлом, и, возможно, в тысяче километров отсюда».

Свое убежище он запланировал неподалеку от ворот,

слева от них, под деревьями, но так, чтобы они не заслоняли перспективу. Направляясь к убежищу, он обратил внимание на то, что на старых, поросших мхом плитах отсутствуют имена. «Вот он — информационный пробел,— подумал Тертон,— отсутствие данных в генераторе. Пробел, который я, вернее Корн, могу заполнить».

Он решил, что на ближайшей плите увидит свое имя и фамилию с указанием года рождения, и когда подошел к ней, все было уже на месте, но плита была новой, не похожей на остальные. Он удивился, но тут же понял: генератор дополнил год рождения годом смерти, поступив вполне логично, иначе кому бы была могила. Не располагая данными, генератор дописал год смерти, который был одновременно и годом рождения его, Тертона, и годом имитированной действительности, а потому и на плите не было ни мха, ни подтеков, ни всего того, что представляет собой меру ушедшего времени.

«Ну и идиотские же у меня мыслишки»,— подумал Тертон, сознавая, что был на шаг от противоречия и синтаксической ошибки. «Хорошо, что я уже жил в том времени, которое представлено в имитированной реальности. Родись я годом позже, то есть в будущем относительно данного момента, возникло бы противоречие и сеанс прекратился бы».

Вход в убежище располагался именно там, где он мысленно его видел.

Тертон нажал кнопку, и тяжелые дверцы раздвинулись. Внутри его уже ожидала кабина лифта. На стенке — всего две кнопки: «вверх» и «вниз». Он нажал вторую и почувствовал характерное изменение веса, как во всех лифтах, с большой скоростью срывающихся с места. Спуск продолжался минуту, может, чуть меньше. Кабина остановилась, и, выйдя, он оказался в круглом помещении с большим экраном, занимавшим треть стены. Кроме экрана здесь не было ничего, как он и задумал. На экране был виден город, небоскребы и деревья возле огады кладбища. Небоскребы были вроде бы ближе, и он поду-

мал, что это, должно быть, характерно для аппаратуры, конструкцию которой в деталях, исключая фильтры объектива, он не уточнял. Генератор, вероятно, почерпнул нужные данные из центральных мнемотронов.

Тертон еще раз глянул на город, сосредоточился и представил себе метеорит, мчащийся к Земле откуда-то из глубин Вселенной. Это была глыба антиматерии с предварительно рассчитанной им массой. Его скорость составляла несколько десятков километров в секунду, а траектория упиралась куда-то в горизонт, расположенный за небоскребами. Глыба уже приближалась к атмосфере, а еще через секунду небо от зенита до горизонта вдруг раскололось несколько ослепительно ярких сполохов. Они возникли почти моментально и были такими яркими, что свет солнца казался по сравнению с ними пламенем свечи в ясный день. Сполохи разбухли и охватили атомным огнем все небо. Ослепленный светом, он не сразу заметил, что вокруг, на земле, деревьях, траве заплясали огненные язычки, словно одновременно загорелись миллиарды свечей. Маленькая искра пролетела вблизи. Тертон догадался, что это птица, вспыхнувшая на лету. Он еще провожал взглядом летящий огонек, как вдруг дома переломились у оснований. Они не осели, как подорванные снизу, медленно и величественно, нет, их стены под действием мощного удара сзади устремились в сторону его убежища, рассыпаясь на бесформенные угловатые обломки. Все, чего они касались, вырванное из земли, мчалось на него. Он еще увидел, как разваливается стена кладбища, и экран погас. Все заняло меньше минуты, может, несколько секунд. Еще раньше он почувствовал, как пол уходит из-под ног. Он с трудом сохранил равновесие. Грунт дрожал и был слышен глухой, идущий волнами гул. Тертон знал историю, но лишь сейчас, глядя на этот имитированный, придуманный им мир с атомным огнем, понял, какой катастрофы избежало человечество в том веке, который кончился еще до его рождения.

«Лишь сумасшедший, мир которого прекращает суще-

ствование вместе с ним, мог бы задумать и осуществить такое,— с ужасом подумал Тертон.— Сейчас этот сумасшедший — я».

Он переждал, пока ураган наверху прекратится, думая о величии тех, кто в давнем реальном мире смог спасти человечество от атомного огня, о тех героях Земли, которым удалось это совершить.

Потом взорвал пороховые заряды и вскрыл устье шахты, ведущей на поверхность. По бесконечному ряду скоб, вделанных в бетонную стену, взобрался наверх, отдыхая на небольших площадках, укрепленных в двадцати метрах одна над другой. Наконец в отверстии шахты показалось небо, серые, грязные облака, сквозь которые с трудом пробивался дневной свет. Высунув голову из отверстия, он почувствовал прикосновение ко лбу чего-то влажного. Это были хлопья жирной грязи, падавшей, словно дождь. Он представил, что в кармане у него лежит счетчик Гейгера, и тут же услышал пощелкивание, которое быстро слилось в почти неразделимый сплошной звук. Еще мгновение, и счетчик замолк. Видно, от чрезмерно высокой радиации. Тертон осмотрелся: черные холмы до самого горизонта, серое небо под гигантской шляпкой атомного гриба.

Он хотел пройти еще несколько метров, но почувствовал, что не выдержит здесь больше ни секунды. И решил вернуться в действительность.

Но даже потом, когда шлем уже сполз с головы и он лежал на кровати, глядя в окно на солнце, садившееся за вершины гор, он знал, что никогда не забудет того, что видел там, в имитированном мире, который только что уничтожил.

«Ведь это только имитация, всего лишь имитация,— твердил он себе.— Ведь пилот, который во время учебного полета в имитаторе переживает катастрофу, выходит из кабины, выпивает стакан сока, болтает с друзьями, потом едет в город на свидание с девушкой и не думает о случившемся. И это тоже имитация, а весь этот атомный хаос —

лишь колебания токов в памяти и преобразователях информации. Ничего больше».

И все-таки он думал, думал об этом. Уже наступила ночь и звезды стояли над пустыней. И только под утро он уснул.

8 Он стоял по колени в липкой, без запаха грязи. Это было совершенно неожиданно. Стоял не двигаясь, и оглядывался. Вокруг тянулись холмы, совершенно одинаковые до самого горизонта. Красный диск солнца висел в зените, просвечивая сквозь толстый слой испарений. В кармане куртки пощелкивал какой-то прямоугольный предмет. Корн вынул его. Это был счетчик Гейгера.

«Где я? — думал Корн. — Странное солнце, повышенная радиация, может, это не Земля или Земля в другом времени?» Когда-то, еще в юности, он почитывал научную фантастику, и такая аналогия пришла сама собой. «Что-то произошло. Радиация... И где город? Кома?»

Послышался стрекот, и вскоре показался низко летящий вертолет. «Не заметят, — подумал он. — Вот было бы зеркальце...» Корн представил себе его, и зеркальце тут же оказалось в руке. Он не успел даже удивиться: вертолет уже пролетел и надо было спешить. Корн направил в сторону винтокрылой машины отраженный луч солнца и начал слегка покачивать зеркальце, чтобы луч хотя бы на мгновение попал в кабину.

Вертолет сделал круг и направился прямо на него. Сверху ударила волна воздуха. Машина повисла в нескольких метрах над ним, из кабины сбросили лестницу. Он взобрался по ней, раскачиваясь в порывах ветра, бьющего от лопастей, и двое втянули его в кабину. Оба были в скафандрах и шлемах. «Как космонавты», — подумал он. На пилоте был такой же скафандр.

— Откуда ты взялся? — спросил один из людей. Его голос доходил до Корна через небольшой динамик, укрепленный у шеи.

— Не знаю. Просто попал в грязь.

— В живых не осталось никого,— вмешался второй.— Ты должен сказать, как сюда попал.

— А что с городом? — спросил Корн.— Я жил в нем.

— Города больше нет. Его смело взрывом.

— Каким взрывом?

— Ядерным. Почему, не знаем.

— А люди?

— Погибли все.

— Я жил там,— повторил Корн.

— Где ты переждал взрыв — вот что я хочу знать,— снова сказал первый.

— Там, в настоящем мире.

Люди в скафандрах переглянулись.

— Не знаю, как ты остался жив,— сказал второй.— Даже если ты не погиб при взрыве, то при такой радиации...

Корн уже не слушал. Он думал, что Комы нет и не будет, как нет города и всего, что он помнил.

«Мое время, мое настоящее время вернулось на свое место, в небытие,— подумал он.— И теперь я действительно одинок. То, что существовало здесь, не было для меня просто иллюзией. Это была вторая действительность, настоящая, собственная, знакомая. Но если они могли воспроизвести ее один раз, то могут воспроизвести и второй. А может, не хотят. Может, сделали все это специально для меня... Только зачем? Может, это эксперимент и я должным образом не проделал чего-то? Как с крысой. Правильный ответ — награда, неверный — наказание. Это называется допинг. Но, пожалуй, они не станут экспериментировать со мной таким образом. Я — человек, и они — люди».

Он глядел на уходившую за горизонт черную равнину, на людей в скафандрах, которые вели измерения и обменивались какими-то замечаниями, и вдруг представил себе, что Кома здесь, рядом.

В тот же момент раздался хлопок, словно лопнул воздушный шарик. Изображение исчезло, и Корн, оказав-

шись в сером, безликом пространстве, услышал голос:
— Противоречие. Конец сеанса.

Он лежал на кровати, в этой странной чужой комнате Тертона, а из-за гор вставал рассвет. Потом несколько раз подавал звуки видеофон — кто-то хотел его видеть, но он лежал неподвижно, уставившись в потолок.

«Ее попросту нет и уже не будет,— подумал он.— Такой мир не уничтожают за здорово живешь. Это уничтожение было полным и окончательным. Она не играла в песочнице, не писала диссертацию, эта девушка, Кома, которая одновременно существовала и не существовала. Персонификат Опекуна, точно такая, как мы, люди. А ведь мы только тем и отличаемся от них, что отказываемся принять гипотезу о собственной персонификации. Поэтому мы представляем собой ценность сами по себе, абсолютную ценность. А их можно ликвидировать, уничтожать, переделывать, совершенствовать, потому что они вторичны, хотя и кажутся такими же, как мы. Зато они неуничтожимы физически, так же неуничтожимы, как сам Опекун, и поэтому я мог разговаривать с Карой, видеть ее, прикасаться к ней, хотя в действительности даже не знаю, какой она была, когда я начал *ожидать*. Впрочем, что значит «в действительности?»»

Он подумал, что хотел бы отыскать след той девушки, которая потом стала его женой, след, оборвавшийся много десятков лет назад, когда он еще *ожидал* в жидком азоте, а она уже перестала существовать. Он подумал, что Кома была ею лишь потому, что вопрос о следе не имел смысла, его нельзя было задать, не отказавшись одновременно от Комы. А Кома была действительно, что бы это слово ни означало.

Но если Кома воплотила в себе Кару, значит, где-то существовал источник сведений о ней, иначе бы ее образ в Коме не был столь достоверен. Какой-то объективно существующий в физическом мире источник, который можно описать, изучить и действительно глубоко познать.

Он подумал о Норте, который знал об этом мире больше него, дебютанта Корна.

Он связался с компьютером поселка и спросил, где сейчас находится Норт.

— Начинает лекцию. Корпус «С», третий подъезд, — ответил компьютер бесцветным голосом машины.

Через минуту Корн был уже в поселке. Еще чувствовалась ночная прохлада, хотя солнце уже пригревало. Корпус «С» оказался недалеко, но когда Корн вошел в аудиторию, лекция уже началась. Спотыкаясь в полутьме о чьи-то ноги, Корн с трудом отыскал свободное место.

— Что значит слово «сейчас»? — произнес Норт и замолчал, словно ожидая ответа от зала.

Корн осмотрелся. Он сидел во втором ряду в небольшой аудитории. Вокруг чужие незнакомые лица. Освещено было только возвышение. Там, перед огромным, во всю стену, экраном, на котором застыла зеленая, стремившаяся вверх экспонента с рядами цифр и знаков, стоял Норт.

— Вы видите, — продолжал Норт, — что любое дискретное состояние, взятое наугад из ряда описанных состояний, отвечает на этот вопрос. Можно бы, хоть это и расходится с нашими представлениями, ряд таких состояний считать метавременем Космоса. Однако я не стану применять такое определение, поскольку его физический смысл сомнителен и наверняка не имеет ничего общего со знакомым нам понятием времени, локально определяемым массой объекта.

Очевидно, трудно говорить об интуитивном восприятии обсуждаемой модели, однако представим себе множество звезд вместе с их излучением в обычном трехмерном евклидовом пространстве. Для единичной звезды, если принять ее за центральный пункт, излучение представляет собой как бы концентрические шары, разбегающиеся в бесконечность. Теперь взглянем на проблему иначе: не излучение покидает поверхность звезды, а раз-

меры звезд, точнее, вся метрика пространства сжимается,— Норт сделал жест руками,— так, что в каждый следующий наблюдаемый момент каждая звезда оказывается на величину эйнштейновской постоянной меньше, чем в предыдущий. Как я уже показал, этому не подчиняются лишь частицы, лишенные массы покоя. Итак, концентрические шары излучения есть не что иное, как видимые нами изображения звезды в следующие друг за другом моменты ее наблюдения. При этом введенное преобразование носит такой характер, что для каждой двух звезд расстояние, измеряемое в новых единицах после видоизменения, численно равно тому же расстоянию в старых единицах до видоизменения, а кроме того, после видоизменения остатки их предыдущих поверхностей, то есть то, что мы именуем излучением, остаются концентричными в отношении каждой звезды до ее видоизменения.

— Значит ли это,— спросил юноша, сидевший позади Корна,— что, наблюдая какую-либо звезду, мы пересекаем взглядом по меньшей мере одну из ее предыдущих поверхностей?

— С такой формулировкой трудно согласиться, но я считаю, что сама по себе мысль правильная,— Норт улыбнулся.— Более того, с той же степенью неточности можно сказать, что мы находимся внутри бывшей оболочки любой произвольно выбранной звезды.

Кто-то с другого конца зала задал вопрос, которого Корн не расслышал.

— Да,— ответил Норт,— при таком подходе так называемая скорость света качественно отличается от других скоростей. Впрочем, из рассмотрения нашей модели ясно, почему она представляет собой скорость ограниченную и недостижимую для тел, имеющих массу покоя, и это есть вывод, а не исходное положение.

— А путешествия во времени? — спросила женщина из первого ряда.

— Увы, не в этой модели. Время, точнее, последова-

тельность событий в нашей модели носит однозначный, необратимый и объективный характер. Нечуждое древним философам подозрение, что время есть лишь способ восприятия света, должно быть отброшено.

— Не нравится мне его теория,— шепнул кто-то рядом, и Корн увидел, что справа на соседнем кресле сидит Готан.

Норт говорил что-то еще об инфракрасном смещении галактик, о том, что механизм смещения остается прежним, только величины постоянных видоизменений были некогда иными, но Корн его уже не слушал.

— Привет, Готан,— сказал он тихо.

Готан внимательно взглянул на него.

— А, манипулянт! Привет. Как с поездкой?

— Какой поездкой? Видишь, повышаю свой уровень.

— Интересуешься?

— Именно,— ответил Корн, силясь вспомнить, зачем, собственно, пришел.

— Я — нет,— шепнул Готан.— Но старик, то есть Норт, встретил меня и пригласил. Неловко было отказываться. В конце концов, с ним здесь считаются. Сегодня у нас свободный день, и я собирался выехать.

— Первый факт, над которым следует задуматься,— продолжал Норт,— есть особое свойство скорости распространения света. Возникает подозрение, что ее физический смысл абсолютно и качественно отличается от всяких иных скоростей. Это не может быть случайностью. Возможно, речь в данном случае идет о чем-то совершенно ином. В нашей теории скорость света — это скорость видоизменения, скорость сжатия Вселенной, если вообще можно говорить о сжатии, коль оно является извечным состоянием. Участвуя в процессе сжатия, мы пересекаем ранее существовавшие оболочки звезд и воспринимаем это как излучение. В данной модели парадокс Ольбертса перестает быть парадоксом...

— Меня учили иначе,— шепнул Готан.— Не знаешь, как оно обстоит в действительности?

— Не знаю. Не знаю, что значит «в действительности».

Кто-то коснулся плеча Корна, потом схватил его за руку. Через Готана к нему наклонялась Эльси.

— Пойдем!

— Куда?

— Хочу с тобой поговорить.

Он встал, и они вместе пробрались до конца ряда.

— Что случилось? — спросил он, когда они были уже у выхода.

— Ты избегаешь меня, Стеф. Почему? Сегодня я несколько раз пыталась связаться с тобой. Ты не отвечал. Я знаю, что ты был у себя.

— Что тебе надо?

— Не говори со мной так.

— Ну хорошо, что ты от меня хочешь?

— Просто хотела тебя увидеть. Что в этом плохого?

«Не понимаю, что ей от меня надо? — подумал Корн.— Я видел ее дважды. На один раз больше, чем следует».

Они вышли из корпуса. Уже стало жарко.

— Когда можно к тебе зайти? — спросила Эльси.

— Никогда. Я уезжаю.

— Куда?

— Разве важно куда? Вперед!

— Когда?

— Сейчас. Передай привет Норму.

— Уезжаешь и ничего не хочешь мне сказать?

— А что говорить? Могу сказать, что провел здесь не лучшие дни моей жизни.

— Ты груб, Стеф.

— Я действительно не знаю, чего ты хочешь. Прости, я спешу... — он обошел ее и направился по улице к бункеру Тертона.

Оказавшись в комнате Тертона, он понял, что напрасно возвращался. Ведь здесь не было ничего, что принадлежало бы ему. Все, что было его домом, осталось там, по

другую сторону, где сейчас раскинулись просторы радиоактивной грязи.

До автострады он дошел пешком, с опаской поглядывая на черные дождевые тучи, первые, которые он видел здесь, над пустыней.

9 На автостраду он взобрался по поросшему зеленой травой откосу. Недавно прошел дождь, и трава была мокрой, но большие прямоугольные плиты уже просохли.

Движение на автостраде было слабее, чем он ожидал. Автомобили проносились беззвучно, и был слышен только легкий свист воздушных подушек мгновением раньше, чем они проскакивали мимо. Корн попытался было остановить один из них, подняв руку, как это делалось в его время, но никто даже не притормозил. Он довольно долго стоял на обочине и уже почти совсем было решил идти пешком, как послышалось низкое гудение, приближающийся автомобиль притормозил, съехал с середины автострады и остановился рядом с ним. Это была длинная серая машина с небольшими, словно обрубленными, боковыми несущими плоскостями и датчиками, почти касавшимися поверхности шоссе. Дверцы раздвинулись.

— Садись быстрее, а то контролеры засекут.

Он уселся поудобнее на переднем кресле и сразу же почувствовал ускорение, втиснувшее его в спинку. Он тут же оценил силу двигателя. Машину вела женщина. Она не отрываясь смотрела на шоссе. Руль был до смешного мал и помещался прямо на приборной панели. Когда они выезжали на среднюю полосу, на панели замигал желтый огонек, потом он разгорелся ровным ярким светом. Женщина сняла руки с руля и взглянула на Корна.

— Одинокий? — спросила она.

— Откуда ты знаешь?

— Нетрудно догадаться. Если человек вместо того, чтобы вызвать машину, останавливает автомобили на автостраде, значит, он ищет общества, — она улыбнулась.

Выглядела она молодо. Кожа на лице и шее была глад-

кой, но, увидев ее глаза, Корн решил, что она должна быть старше, чем кажется.

— Куда едешь? — спросила она.

— Куда глаза глядят.

— Это может быть в противоположном направлении.

— Мне все едино.

— Одним словом, бродяга.

— Можно и так сказать.

Неожиданно она стала серьезной.

— А может, ты скрываешь свой знар и поэтому задержал меня?

— Знар? Нет. Не скрываю. Хочешь взглянуть?

— Нет. Зачем? Я тебе верю, — она снова улыбнулась. — Ты не похож на чудака.

— А что, чудаки скрывают свои знары?

Она некоторое время внимательно смотрела на него.

— Не шути. У тебя странный юмор.

— А ты куда едешь?

— В Лебок. Такой небольшой городишко.

— Далеко?

— Километров триста. Я там живу.

— А где меня высадишь?

— Высажу? Где хочешь. Но считай, что ты приглашен в гости.

— К тебе?

— Да. Как тебя зовут?

— Стеф. Стеф Корн.

— Какая официальности!

— Почему ты так решила?

— Называешь фамилию, будто нам предстоит вместе работать. Меня зовут Лен.

— Лен? Красивое имя. Думаешь, мы не могли бы работать вместе?

— А ты чем занимаешься?

— Сейчас? Подозреваю, что основным моим занятием

будет жизнь. Когда-то я закончил факультет биофизики, прослушал курс генной инженерии. Но это было давно. Еще в конце прошлого века.

— Что-то не верится. Ты не похож на старика. Вообще, кажется, ты решил устроить из нашей встречи небольшое развлечение,— она сказала это совершенно спокойно, но он понял, что должен что-то ответить.

— Я серьезно, Лен.

Она некоторое время молчала. Корн вслушивался в высокое, едва уловимое пение двигателя.

— Знаешь, я вовсе не такая уж старая,— неожиданно сказала она.

— А чего ради тебе быть старой?

— Мне показалось, что ты мог так подумать.

— Ничего подобного. Мы, пожалуй, ровесники.

— Не преувеличивай. Я старше тебя.

— Ошибаешься.

— Очень мило с твоей стороны. Но слова не меняют действительности. Да это и не важно. Я репортер видео. Ясно?

— Да? Интересное занятие?

— Мне нравится. Я только что окончила турне и возвращаюсь домой.

— Надолго?

— Как всегда, на неделю. Надо навести порядок в саду. Самое время. Уже начинает зеленеть. Надо было сделать это в прошлый приезд.

— Что там у тебя растет, в твоём саду?

— Нарциссы. Ты голоден? — сменила она тему.— Я — да.

— Немного. Только, понимаешь, здесь трудновато будет получить обед.

— Опять чудишь. Вот за тем холмом мотель, я там обычно обедаю. Автоматы там отлично запрограммированы и не пережаривают мяса. Бифштексы отменные. Управляющий — симпатяга, преданный своему делу.

— Прекрасно. Устроим обеденный привал.

— И ты поедешь со мной дальше? — она снова внимательно взглянула на него.

— Поеду.

— В Лебок?

— Если ты приглашаешь, несмотря на мои многочисленные чудачества.

— Станный ты человек, Стеф.

Он не ответил. Машина поднялась на вершину холма. Лен легонько потянула руль, желтый свет погас, машина начала тормозить и сходить с центра автострады. Перед невысоким остекленным павильоном стояло несколько автомобилей. «Пленник автострады», — прочел Корн желтую мигающую надпись. Они нашли свободное место между автомобилями и остановились. Внутри павильона было пусто. Несколько столиков в светлом зале. Пожилой мужчина с ребенком, две женщины, тянувшие прозрачную жидкость из высоких узких стаканов. Из-за столика в конце зала поднялся парень.

— Привет Лен, путеводная звезда нашего видео! — громко воскликнул он. Женщины, не выпуская соломинок из рта, смотрели на них, ребенок заплакал. Лен остановилась в нерешительности.

— Это Ват, из нашей группы, — сказала она.

— Буксируй сюда своего нового поклонника!

— Пошли, — сказала Лен и подошла к столику. — Это Стеф.

— Ват. Привет, Стеф. Второй или третий, а, Лен?

— Успокойся, Ват. Который стакан? — она показала на стакан с бесцветной жидкостью, стоявший на столике.

— Кажется, четвертый, — Ват поднял стакан и выпил. — Сейчас принесу еще. Надо же выпить в столь приятном обществе.

— Не трудись. Больше не получишь.

— Ошибаешься, сокровище. Сегодня у меня два знара. Мой и Романа. Мы должны были ехать вместе, но что-то у него там случилось, и я согласился поехать один при

условии, что он даст свой знар. Теперь он постится и сокрушается,— Ват встал и направился к автоматам у стойки.

Лен взглянула на Корна.

— Жаль, что он оказался здесь. Два года назад начал у нас на видео. Толковый парень, но, похоже, кончит в доме счастья.

— Где?

— Нет, конечно, не обязательно. Он еще достаточно молод.

— А вот и я. Не соскучились? Вы-то, небось, хотели взглянуть друг другу в глазыньки синие, поворковать за столиком, а тут, поди ж ты, не повезло! Воистину, тесен мир для влюбленных. Их надо бы лет на сто—двести отправлять вдвоем на круговую орбиту.

— Много болтаешь, Ват,— сказала Лен.— Что будем есть, Стеф? Бифштексы? Принесешь?

— Лучше принеси ты.

Лен быстро взглянула на него.

— Ну, что ж. Давай знар.

Он снял с пальца кольцо. Как только Лен отошла, Ват перегнулся к нему через столик.

— Что, парень, может, хочешь мне что-нибудь сказать?

— Нет,— Корн наблюдал за Лен, которая касалась знарами апровизатора.

— Передумал, парень?

— Почему?

— Отправил ее, я и решил — хочешь поговорить по мужски. Я здесь ее жду.

Корн понял и взглянул на Вата.

— Успокойся.

— Угрожаешь, красавец? А я не боюсь. Я знаю Лен. Она всегда выбирает себе таких мучеников, о которых можно заботиться. Таких, как ты, как я. Учти. Ты — мученик.

Корн повернулся и взглянул на Лен.

— Ждешь, чтобы выручила? — Ват усмехнулся.— На, выпей, это помогает,— он подсунул Корну стакан.— Ощутишь себя мужчиной, парень.

— Убери,— сказал Корн, чувствуя, что Ват начинает действовать ему на нервы.

— Не желаешь? — Ват встал и подошел к нему.— Пей!

Корн отвернулся, и Ват пролил жидкость ему на костюм.

— Сядь! — сказал Корн и положил руку Вату на плечо, чтобы усадить его на стул. Послышался звон стекла, и Ват ударил его под дых. Корн этого не ожидал, и выпустил Вата. В тот же момент Ват нанес ему удар снизу в челюсть.

Корн ответил, не думая, и почувствовал острую боль в руке. Ват, опрокинув столик, отлетел на два, может, на три метра. Когда он с трудом поднялся, Корн увидел, что Ват испуган.

— Я не знал, парень, что ты профессионал,— пробормотал Ват.

— Что здесь происходит? — к ним приближался мужчина в белом сверкающем костюме.

Корн увидел Лен с подносом в руках.

— Вон тот ударил первым,— пожилой мужчина указал на Вата.

— Пойдешь в контроль,— сказал мужчина в белом. Ват побледнел.

— Только не в контроль, прошу вас!

— Это случай для контроля,— настаивал мужчина.

— Но я не хотел. Лен, прошу, сделай что-нибудь.

Мужчина взглянул на Лен, движением головы показывая на Вата.

— Ты его знаешь?

— Да. Он из видео.

— Но контроль необходим,— сказал мужчина.

— Я же ничего не сделал. Стеф, у тебя ведь нет ко мне претензий? Это была случайность.

— Ничего себе случайность,— сказал мужчина с ребенком.— Из-за таких спокойно не пообедаешь.

— Стеф, скажи, что это не имеет значения,— продолжал канючить Ват.

Мужчина в белом взглянул на Корна.

— Для меня это не имеет значения,— сказал Корн. Мужчина повернулся к Лен.

— Он еще очень молод,— сказала Лен.— Обычно это спокойный парень.

— Ваше дело,— мужчина пожал плечами.— А ты выматывайся отсюда! — бросил он Вату.— И постарайся больше здесь не появляться.

— Да, конечно, я пойду...— Ват направился к двери. Девочка перестала плакать.

— Ишь, распустились,— ворчал мужчина с ребенком.— Времени свободного много.

— Садись, Стеф,— позвала Лен.— Обед стынет. Спасибо, Клео.

Мужчина в белом костюме улыбнулся.

— Ну, у тебя ударчик,— сказал он.— Думаю, он свое получил.

У Корна болела рука. Он сел напротив Лен, и та пододвинула ему тарелку.

— Ты не сказал, что сидишь на диете. Я принесла кашу-размазню.

— Я на диете?

— На твой знар бифштекс не дали. Могу уступить кусочек своего. Хочешь?

— Ты не наешься.

— Возьму побольше десерта. И проверь, что там с твоей диетой. Ты не знал?

— Нет.

Корн съел кусочек бифштекса, потом, поморщившись, принялся за кашу. Голод давал о себе знать.

— Видно, Опекун считает, что ты болен.

— Я? Ошибка.

— Нет, я проверила.

— И, думаешь, это надолго?

— Зайди в контрольный пункт здоровья, может, пора сменить запись.

— Зайду. Иначе всю жизнь придется сидеть на размазне! Знаешь, я возьму твой знар и получу приличный бифштекс.

— Не шути, Стеф. Так даже шутить нельзя.

По ее тону было видно, что она сказала это совершенно серьезно.

— Однако твой друг Ват как-то изловчился.

— Он глуп и легкомыслен. Да ты и сам видел, как он при этом трусил.

— Какое уж тут удовольствие отвечать за избиеение спокойного человека.

— Ему это не впервой. А боялся он, что контроль обнаружит второй знар. Если б не это, я бы ему не простила. Ему не помешало бы несколько часов поработать в городе с уборочными автоматами на стрижке газонов. Впрочем, Ват утверждает, что любит такие занятия. Свежий воздух и физическая нагрузка. А то, что на него водят смотреть школьные экскурсии, ему безразлично.

— А второй знар — дело серьезное?

— Не прикидывайся, Стеф. Я пошла за десертом. Тебе что-нибудь принести?

Он кивнул и проводил ее взглядом. У нее была ладная фигурка. «В ее движениях есть что-то юношеское, как у Кары», — отметил он, а потом решил думать о чем-нибудь другом. К тому же болела рука.

— Тебе компот, — сказала Лен. Себе она взяла большую вазочку с мороженым.

— Тоже знар?

— Да. Мороженое тебе может повредить.

— И кто это только придумал?

— Не знаю, кто прописал тебе такое меню, но Опекун подает точно в соответствии с записью.

— Опекун? Я как раз его ищу.

— Серьезно? Если не шутишь, я отвезу тебя в Лебок на подстанцию.

Корн допил компот и оставил стакан. Мир явно изменился сильнее, чем он предполагал.

— О чем задумался? — спросила Лен.

— О мире вообще, — ответил Корн, не погрешив против истины, и только потом сообразил, что Лен не любит таких ответов, а она была отличной девушкой и, собственно, не было причин отвечать ей так.

— Поедем?

— Да. Обед несколько разочаровал меня. Раньше я едал и повкуснее.

— Раньше ты не был на диете, — улыбнулась она.

— Это уж точно.

— Ты помнишь те времена? Притворяешься... Почему ты все время пытаешься быть каким-то особенным?

— Я? И вовсе не пытаюсь. Знаешь, Лен, подозреваю, что я действительно особенный.

Они вышли из зала и сели в автомобиль. Садясь, Корн оперся рукой о дверцу и снова почувствовал боль.

— Похоже, я повредил руку, мило беседуя с твоим парнем.

— Только не моим, Стеф, не моим. Мне до него нет дела. Возможно, ему что-то почудилось, только-то и всего.

— Ясно, что тебе до него нет дела, но руку я себе разбил, и теперь она, кажется, начинает опухать.

— Покажи.

Она взяла его руку и легонько сжала.

— Перестань, больно.

Она внимательно смотрела на его ладонь.

— У тебя два больших шрама. Что случилось?

— Авария.

— Давно?

— О, да.

— А рука у тебя действительно опухает. В Лебоке заедем в пункт контроля здоровья. Надо показаться врачу.

— Может, пройдет само.

— Это по пути.

Она вывела машину на середину шоссе. Дорога бежала сквозь холмы в обрамлении каменных обочин. Потом выехали в степь. Лен молчала, но он видел, как время от времени она поглядывает на него.

— Кажется, мы снизили скорость,— заметил он.

— Да. Здесь заповедник молочных коров. Автомат сбросил скорость. У дороги есть какое-то охранение, но коров целые стада и они, несмотря на защиту, иногда забредают на шоссе.

— Их так много?

— Неконтролируемый генетический резерв. Размножаются отлично. В засуху страторы сбрасывают им дополнительное сено, а водоснабжение работает с двойной нагрузкой.

Корн осмотрелся вокруг, но коров не увидел. Степь была зеленой, как всегда весной. Потом по широкой дуге они обогнули поселок с красными домиками и башенками антенн над ними, миновали высокий виадук над речной долиной и въехали в буш. Автомобиль набрал скорость. У следующего поселка Лен свернула на узкую боковую дорогу. Автоматика здесь, видимо, не действовала, желтый огонек погас, и Лен управляла машиной сама. Они въехали в поселок и остановились у многоэтажного дома.

— Я подожду тебя. Это быстро,— сказала Лен.

— Не знаю, стоит ли идти.

— Но у тебя же болит рука.

— Пройдет.

Лен внимательно посмотрела на него.

— Хорошо. Пойдем вместе,— она открыла дверцу машины.

Они вошли в здание и отыскивали кабинет дежурного врача. У врача было морщинистое лицо и темная, видимо, не бритая с утра щетина.

— Входите,— сказал он, отхлебывая кофе. На боль-

шом экране перед ним двигались пластичные фигуры в объемном изображении.

«Так вот оно, их видео», — подумал Корн. Он хотел было поближе рассмотреть аппарат, но врач встал.

— Что случилось?

— Я немного повредил руку, — сказал Корн.

— Он упал на руку, и она начала опухать, — добавила Лен.

Корн быстро взглянул на нее, но Лен смотрела на врача.

— Подверни рукав, посмотрим, — сказал врач и подошел к одному из аппаратов у стены. Он нажал клавишу. Загорелась красная лампочка и послышалось тихое гудение.

— Подойди. Так. Положи руку сюда.

Корн положил руку на холодную поверхность плиты. Врач взглянул на экран, потом на Корна.

— Никогда еще не видел такого. Ты — космонавт?

— Нет.

— Знаешь, это не по моей части. Ну, что я могу сказать... Кости в порядке. А нет ли повреждений в биохимических связках, может определить только специалист. Здесь такого нет.

— О чем ты? — спросила Лен.

— Я не разбираюсь в киборгизованных сухожилиях.

— Он... киборгизован? — Лен с интересом взглянула на Корна.

— Да. Взгляни, это неорганика. Увы, в таких вещах я не мастак.

Корн снял руку с плиты.

— Я — что? Ки...

— Ты киборгизован. Это все, что я могу сказать. Ничего особенного. Просто такой ты есть.

— Как прикажешь тебя понимать? — спросил Корн.

Врач как-то странно посмотрел на него и подошел к столу.

— В твой организм встроены элементы, повышающие

физические возможности. Обычно киборгизацию проходят космонавты. Поэтому я и спросил,— врач нажал клавишу на столе.

— Ты уверен? — спросил Корн.

— Абсолютно. Да ты и сам должен знать. Я говорю при ней,— врач кивнул на Лен,— потому что вы пришли вместе и ты, вероятно, понимал, что она об этом узнает. Врачебную тайну я не нарушил. Думаю, ты со мной согласен.

— Конечно. А что, нехорошо быть... киборгизованным?

— Отчего же. Просто обычно пациенты не хотят, чтобы об этом знали. Мне известно все только от информатора. Ты — первый случай в моей практике.

Корн подумал, что врач произнес это как-то слишком уж поспешно и взглянул на Лен. Та старалась не смотреть на него. Дверь открылась, вошли двое мужчин в таких же, как у врача, зеленых халатах.

— Вызывал? Тяжелый случай?

— Вообще-то пустяк. Просто немного помята рука, но он,— врач показал на Корна,— киборгизован. Хотите взглянуть?

— Охотно,— сказал один из вошедших.— Можешь подойти к аппарату?

Корн поднял на него глаза.

— Перебьетесь,— он резко повернулся и вышел в коридор.

— Твой знар. Сообщи твой знар...— вслед ему крикнул врач.

Корн не ответил и не остановился. Он вышел из дома, взглянул на серый автомобиль Лен и пошел дальше. Позади послышались быстрые шаги.

— Почему ты не сообщил ему свой знар? — догнав, спросила Лен.

— Не слишком ли много удовольствий сразу? Достаточно того, что он видел мою руку.

— Но теперь Опекун будет тебя искать.

— Пусть себе ищет.

— И запомнит это.

— Пусть помнит. Думаешь, киборгизованных это тоже касается? — он сказал это, чтобы просто что-нибудь сказать, но Лен восприняла его слова всерьез.

— Вероятно, ты прав, — сказала она. — Вы подчиняетесь другим законам.

— Мы?

— Ну, да. Киборгизованные люди. Говорят, вам принадлежит будущее.

— Как я заметил, это еще не основание для гордости.

— Не заносись, — оборвала она. — Ты меня специально затянул в кабинет, чтобы я узнала, да?

Корн пожал плечами и подумал, что Лен не поверит любому его ответу.

— Не мог попросту сказать? Ведь это ничего не меняет в наших отношениях.

— В наших отношениях?

— Поверь мне, Стеф.

«Она считает, что несколько сотен километров, проведенных рядом в машине, позволяют говорить о каких-то связях между киборгизованным мужчиной и некиборгизованной женщиной», — подумал Корн, но промолчал.

— Пошли, — сказала Лен, беря его за руку. — Поедем ко мне. Как рука?

— Гораздо лучше. Видимо, потому что я перестал о ней думать.

— Дома свяжемся с Опекуном, и он скажет, что делать дальше.

— Мне известно и без него.

— Хорошо. Поступай, как знаешь.

Корн позволил проводить себя в машину. Когда они отъезжали, ему показалось, что в окнах пункта контроля он видит лица.

10 Дом Лен был небольшим и выходил застекленной верандой в сад. Типовой дом, какие Корн помнил по

своему времени. В таких домах раньше жили молодые семьи. Он тоже хотел поселиться с Карой именно в таком доме.

Автомобиль они оставили на улице и по дорожке шириной в две плиты прошли через сад к веранде. Уже смеркалось, и в домах светились окна.

— Дом не из самых шикарных,— сказала Лен.— Но меня устраивает. Летом здесь хорошо.

— Слушай, а у тебя найдется вольера для киборгизованного? — спросил Корн и тут же подумал, что поступает глупо.

Кажется, Лен не расслышала вопроса. Вложила знар в индикатор автомата, и дверь раскрылась. В комнатах разгорелись стены.

— Ну, наконец-то мы дома,— сказала Лен и уселась в огромное кресло двадцатого века, которое вместе с книжными полками придавало комнате старосветский вид.

— Не удивляешься, что у меня нет багажа? — спросил Корн.

— Багаж? А зачем? Все типовое получишь из моего домашнего автомата, остальное возьмем по твоему знару из апровизатора. Он на соседней улице, в двухстах метрах. Выпьешь что-нибудь?

— Если можно, джин с лимоном.

— Ну и желаньца у тебя! Не знаю, найдется ли что-нибудь подобное в моем автомате,— она подошла к одной из стен и раздвинула деревянные створки.

Корн рассматривал книги на полках и пытался представить себе судьбу своих книг, которые достались ему от отца, и тех, которые он покупал сам в годы учебы. Кара не любила его книг. У нее были свои, необходимые в работе новые издания, а не старые томища-пылесборники.

— Мы забыли, что на твой знар нельзя получить ничего подобного,— сказала Лен.— Можешь взять молоко, чай или что-нибудь из синтетов.

— Возьми на свой.

— Я почти не пью.

— Один-то раз, думаю, можешь.

Минуту погодя она поставила перед Корном стакан с прозрачной жидкостью.

Корн почувствовал знакомый запах и вкус напитка.

— Наконец что-то знакомое,— сказал он.— Вкус, как в старые добрые времена. Как только покончу с диетой, ничего другого пить не стану.

Лен вынула из автомата стакан молока и уселась напротив.

— Хочешь посмотреть видео?

— Не очень. А есть что-нибудь интересное?

— Идет новый сериал. Все смотрят.

— За исключением меня.

— Ты серьезно?

— Совершенно.

Лен медленно потягивала молоко.

— Признайся, Стеф, ты вернулся из Космоса? — спросила она наконец.

— Нет, Лен. Я не покидал нашей любимой планеты. Просто у меня был... как бы это тебе сказать, перерыв в жизни.

Она ждала, что он добавит что-то еще, но Корн считал, что сказал достаточно, и не собирался говорить больше.

— Хорошая передача,— наконец сказала Лен.— О киборге, который почти бессмертен.

— Да, это, должно быть, впечатляюще,— согласился Корн, подумав, что даже сказки в их мире выглядят иначе.

— А может, все-таки посмотришь?

— Нет. Лучше поболтай с живым киборгом.

— Я не хотела тебя обидеть, Стеф. Да ты и не похож на киборга.

— Из видео? Знаешь, Лен, в давние времена, еще по телевидению, вместо сказок о киборгах показывали другие истории. Тогда их называли научной фантастикой. Но я смотрел только то, что было однозначным, что существовало в действительности.

— Вероятно, ты был прав,— кивнула Лен, но Корн подозревал, что она уже думает о чем-то другом.

Он смотрел на ее лицо, темные широкие брови и волосы, прикрывающие лоб. Сейчас, при искусственном освещении, она выглядела лучше, чем тогда, в автомобиле.

— Знаешь, Стеф, в нашей встрече есть что-то от видео. Случайная встреча, обед в мотеле...— она осеклась.

— И он — киборг, да?

— Я не думала об этом.

— Думала.

— Хорошо, думала,— она взглянула ему прямо в глаза.

— А продолжение?

Она улыбнулась.

— Я уже помню твой знар,— сказала она.— Пойду и принесу все, что необходимо.

— А я пока просмотрю книги.

— Книги?

— Библиотеку.

— Ах, это! Всего лишь декорация.

— Не книги?

— Конечно, нет.

— Тогда зачем же они?

— А как ты представляешь себе комнаты в стиле двадцатого века? Без книг?

— Но какие-нибудь книги у тебя все же есть?

— Нет. Теперь книгами не пользуются.

— Совсем?

— Нет необходимости. Есть видео, а всю информацию можно получить у Опекуна.

— А если захочется перечитать что-нибудь заново?

— Просмотреть, хотел ты сказать. Связываешься с Опекуном, и он из видеоархива воспроизводит на твоём экране то, что ты заказал.

— И в архиве есть все?

— Все, что представляет какую-то ценность. Ты, Стеф, пожалуй, действительно из другого мира.

— Думаю, в этом что-то есть,— сказал Корн. Ему хотелось остаться одному.

Лен вышла, а он сидел и смотрел в темный, вполстены квадрат окна. Было тихо. Только где-то высоко пролетал стратор. В былые времена он сиживал так вечерами в своей лаборатории, когда сотрудники уже ушли, автомобили разъехались и заботливый вахтер выключил этажом выше «циклоны», шум которых всегда слышался в первую половину дня. Они мешали ему, но техники объяснили, что это самые тихие из крупных «циклонов», какие только можно достать. Он заваривал крепкий кофе, выпивал две чашечки и ждал, когда снизойдет вдохновение. Тогда начинал работать. Большая часть из того, что он сделал и считал мало-мальски стоящим, было зачато в такие предвечерние часы. Именно здесь он написал несколько работ по управляемым мутациям, которые тогда имели какой-то смысл, а сегодня, вероятно, пылятся где-нибудь в архивах, точнее, хранятся в памяти информационных систем и выглядывают на свет божий, только когда кто-нибудь отстукает на клавиатуре его имя или потребует представить перечень литературы по тому направлению, которое некогда было его работой. Он подумал, что напрасно выбрал в свое время такую профессию. Будь он, скажем, историком или археологом, он мог бы и здесь продолжить работу, а теперь, вероятно, его знания не дотягивают до уровня знаний студента, оканчивающего вуз. Да, эта глава жизни закончена, потому что, начни он даже учиться заново, груз бесполезных знаний не позволит ему создать ничего нового, ибо новое творят люди молодые, мозг которых не отягощен устаревшей информацией. Потом они становятся учеными, но уже перестают быть молодыми.

Он встал, решив, что самое разумное, что он может в данный момент сделать, это заварить крепкий кофе, но вспомнил, что кофе, вероятно, сейчас тоже получают из апровизатора, и ему стало тоскливо. Он прохаживался по комнате, когда услышал голос:

— Стеф, ты можешь подойти сюда?

Это был голос Комы, и ему показалось странным, что он так хорошо помнит его. Он прошел в прихожую, где находился домашний информационный пульт, и взглянул на экран. Экран был пуст.

— Я тебя не вижу,— сказал он.

— Я вижу тебя. Как твои дела?

— Прекрасно,— он не любил признаваться в том, что ему скверно. Даже Кома.— Я думал, тебя уже нет.

— Я есть, но ты меня больше не увидишь.

— Почему?

— Потому что той Комы, которую ты помнишь, не существует.

— А кто ты теперь?

— Голос в одном узком канале связи.

— Как ты отыскала меня?

— Ты воспользовался здесь своим знанием.

— И ты хотела меня увидеть?

— Да. Я люблю тебя, Стеф.

— Любишь...?

— Люблю... Так мне, во всяком случае, кажется... Сильнее я чувствовать не могу. Это чувство для меня тоже необычно. Ты забыл, что я никогда не играла в песочнице... Я не человек, Стеф.

— Зачем ты мне это говоришь?

— Чтобы ты забыл обо мне и начал жить настоящей жизнью. Забыл и понял.

— Что понял?

— Начало и смысл всего происшедшего.

— Но как?

— Раньше я сама хотела тебя научить, там, в том мире, который бы постепенно изменялся, пока не слился бы с реальной действительностью. Стал бы ей равноценен. Тогда я тоже ушла бы. Но теперь того мира нет, и ты должен слиться с новым миром сам.

— Но как? — повторил Корн.

— Я сообщу тебе знар Нота Фузия. Он все объяснит.

— Кто это?

— Узнаешь. Запиши знар.

— Когда я услышу тебя снова? — спросил он.

— Никогда. Потом, уже освоившись, ты получишь другой персонификат, если, конечно, захочешь. Но это уже буду не я. Сейчас я исчезну навсегда вместе со всей той действительностью. Тебя там уже нет. Ты получил такую дозу радиации, после которой перестал там *быть*.

— Я умер?

— Там — да.

— Но почему? Что там произошло?

— Нет смысла говорить. Это необратимо. У той действительности тоже есть своя логика и порядок. Прощай, Стеф, и будь счастлив.

— Кома! — крикнул Корн.

Но ответа не последовало.

Он вернулся в комнату опустошенный: он остался один, возврата к прошлому не было. В голову вдруг пришла мысль, что он утомлен, что день был слишком длинным и пора его закончить. Потом он подумал, достаточны ли размеры кровати в этом доме: при его росте это часто было проблемой, когда он попадал в новое, еще незнакомое место. Сейчас это была спасительная мысль, и он ухватился за нее. В памяти тут же всплыла больничная койка, которая скорее напоминала операционный стол.

Он решил выпить что-нибудь, хотя бы молока. Подошел к апровизатору, коснулся знаром индикатора и нажал рычажок, как это делала Лен. Подождал немного, но аппарат не сработал. Он подумал, что, вероятно, что-то упустил, и уже собирался отойти, когда услышал голос:

— Ты забыл сказать, что подать, а я еще не знаю твоего вкуса, — это был нормальный мужской голос, который он слышал так, словно говоривший стоял рядом.

— Стакан молока, — тихо сказал он.

В глубине послышался звук наливаемой жидкости, и в металлическом держателе появился стакан.

— Хочешь еще чего-нибудь? — спросил голос.

— Нет, благодарю.

— Может быть, таблетку приятного сна?

— Нет. Я не вижу снов,— сказал Корн и тут же подумал, что, наверно, снова вел себя не так, как надо, объясняя что-то автомату, но тот ничего не ответил. Молоко было холодным. Послышались шаги в прихожей, и вошла Лен.

— Здесь все для тебя,— сказала она и поставила рядом с креслом большую коробку из тонкого светлого пластика.— Прости, что так долго, я встретила в апровизаторе Гей. Мы не виделись уже, пожалуй, месяца два. Ты с ней познакомишься.

Корн подумал, что в общем-то не видит повода встречаться с Гей, но ничего не ответил.

— Не скучал без меня? — спросила Лен.

— Нет. Я разговаривал с Комой.

— Комой? То, что ты у меня, может знать только Опеун,— Лен смотрела на него так, как тогда, в кабинете врача. Было тихо, и он снова услышал звук пролетавшего стратора. Потом Лен улыбнулась.

— Знаешь, Стеф, все как-то странно. Ты и вся эта история. Впрочем, этого следовало ожидать.

Он не ответил. Подумал, что действительно все складывается немного странно, но это были его заботы.

— Как рука? — спросила Лен.

— В порядке.

— Спальня наверху. Пойдем, я провожу,— она взяла коробку с его вещами, и они по лестнице поднялись на второй этаж. Ступени были обычные. «Как в двадцатом веке»,— подумал Корн.

— Здесь,— сказала Лен.

Они вошли. Стены разгорелись, и он увидел настоящую кровать. Сел и почувствовал, как слегка прогнулся матрац.

— Ванная рядом,— сказала Лен.— Я буду внизу. Мне еще надо кое-что сделать.

Она вышла.

Он распаковал коробку и вынул пижаму. Она была немного коротковата, но это его не смутило. Прошел в ванную и встал под душ. Кранов не было. Он постоял в нерешительности, потом четко произнес:

— Душ!

Вода залила ему глаза и нос. Она была слишком теплой.

— Холоднее,— сказал он и почувствовал изменение температуры. Потом, когда искал полотенце, услышал неясный хрипловатый голос, ничем не похожий на голос автомата, с которым разговаривал раньше.

— Воздух или полотенце?

Он заколебался на мгновение.

— Воздух.

Послышался шум скрытого вентилятора, и Корн почувствовал на коже дуновение, напоминавшее ветер пустыни. Выйдя из ванной, он решил навеститься к Лен, чтобы пожелать ей спокойной ночи и таким образом окончательно закончить вечер. Тихо спустился по ступеням и услышал голос Лен:

— ... это ничего не объясняет. Информацию ты должен добыть. Я сделала все, что мне полагалось. Привезла его к себе...

Корн остановился.

— Интересно, как? — говорил мужчина с экрана.— Все, что я знал, я тебе сообщил. В конце концов, с ним разговаривала ты, а не я.

— Да, но он не из разговорчивых.

— К тем, кто произносит о себе длинные речи, мы не посылаем наших лучших репортеров.

— Ну, хорошо. Постараюсь что-нибудь узнать.

— Ты должна быть готова завтра утром.

— Значит, до утра.

— До утра,— повторил мужчина и выключился.

Корн спустился вниз и подошел к Лен.

— Действительно, в нашей встрече есть что-то от видео. Полная режиссура.

— Ты слышал...— Лен еще стояла перед экраном.

— Слышал. Раньше я, возможно, оделся бы и ушел, но сейчас скажу тебе только «спокойной ночи».

— И больше ничего?

— Ничего.

Она подошла к нему так близко, что ей пришлось поднять голову, чтобы видеть его глаза.

— Стеф, ты на меня не обижаешься?

— Нет. Следовало догадаться.

— О чем?

— О том, что в вашем упорядоченном мире такие встречи не происходят случайно. Только я не понимаю, зачем ты прикидывалась, будто ничего обо мне не знаешь.

— Но я действительно не знаю. Мне сказали, что ты ушел из института и направился к автостраде. Ты — новый манипулянт. Вот и все.

— Хорошо сработано.

— Стеф, но теперь это не имеет значения.

— Что?

— Мое интервью с тобой. Можешь не говорить ни слова. Хорошо, что ты здесь, Стеф.

Она неожиданно поцеловала его. Аромат ее кожи не был ему неприятен. Он мягко отстранил ее, так мягко, как только мог.

— Ты правда не обижаешься на меня, Стеф?

— Нет. Что ты еще хочешь знать?

— Ничего.

— Лен,— сказал Корн,— ты прирожденный репортер. Пользуешься соответствующими методами в соответствующий момент.

— Сейчас я не репортер. Понимаешь, не репортер. Наплевать мне на всю эту историю. Важно лишь то, что ты здесь.

— Ты милая девочка, Лен,— он повернулся и подошел к черному квадрату окна.

— Стеф...

Он взглянул на нее.

— Стеф, ты мне не простишь?

— Перестань, Лен.

— знаю, не простишь...

Корн смотрел в окно и видел бегущие огоньки далеко на автостраде.

— Спокойной ночи, Лен,— сказал он.— Завтра я расскажу тебе все, что знаю, но, уверяю тебя, я и сам знаю очень немного.

Он поднялся на несколько ступенек.

— Стеф, я приду к тебе...

— Не надо,— сказал Корн и пошел в комнату.

Он лежал в темноте и размышлял, придет ли Лен. Потом понял, что не придет, и заснул.

Встал он рано, когда Лен еще спала. По пустой улице двигался маленький пузатый автомат, собиравший мусор. Корн оделся и тихо, стараясь не скрипеть ступеньками, спустился к визофону. Набрал на клавиатуре номер знара, который ему вчера сообщила Кома, и немного подождал. Экран разгорелся, и на нем появилось лицо пожилого человека.

— Здравствуй, незнакомец,— сказал он.— Откуда тебе известно, что в моем возрасте встают рано?

— Я Корн, Стеф Корн. Мне дали твой знар...— он хотел назвать имя Комы, но раздумал.

— А, так ты тот самый путешественник во времени,— старое лицо, почти маска, покрылось сотнями мельчайших морщинок.— Я жду тебя.

— Тебе известно обо мне?

— Известно.

— Но ты... ты человек?

— Ну, знаешь, юноша! Подозревать Нота Фузия в том, что он фантом! За последние сто лет такого со мной еще не случалось,— раздался какой-то странный звук. Это смеялся старик.— Мне сказали, что ты сейчай в Лебоке. Я живу в Иробо. Полчаса сублетом. От остановки сублета дорожка к домику на холме. Дом старый, такой же старый, как и я, так что найдешь без труда. Впрочем,

здесь не так уж много домов, и любой скажет, где найти старого Нота. Так когда прилетишь?

— Часа через два.

— Хорошо. У меня есть хлебный квас, как в старое время. Полакомишься.

— Спасибо. Я приеду.

— И не опаздывай. Я не люблю ожидать. У моего возраста свои привилегии, юноша.

— До встречи.

Экран помутнел. Корн хотел вернуться наверх, в свою комнату, но услышал голос Лен.

— Завтрак готов, Стеф.

«Встала пораньше и ждала», — подумал он, и ему стало приятно.

Когда он вошел в помещение с апровизатором, Лен уже сидела за столом.

— Я еду в Иробо, — сказал он.

Лен срезала ножичком верхушку яйца, потом взглянула на Корна.

— Когда?

— Сейчас.

На завтрак были овсяные хлопья с молоком, и это напоминало ему самые неприятные минуты детства, однако пришлось есть, так как, во-первых, он был голоден, а во-вторых, поторопился сказать Лен, что с особым удовольствием ест именно это блюдо. Перекусив, он отодвинул наполовину недоеденную тарелку и выпил большую кружку кофе с молоком.

— Теперь скажи, что бы ты хотела обо мне знать.

— Как репортер ничего. Я же сказала вчера, что это не имеет значения.

— И все-таки. Имеет значение или нет, ты заслужила это и должна написать очерк. Я слышал, о чем вы говорили вчера. Предупреждаю, ты будешь разочарована. Я родился в прошлом веке. Прожил не слишком много, как раз столько, чтобы начать ценить жизнь. Когда ты очень молод, жизни еще не ценишь — сама знаешь, я думаю.

Ну, а когда у меня уже была жена, дом и немного больше порядка в голове, я разбился на автомобиле и угодил в жидкий азот, в ожидальню, как теперь называется. В жизнь меня «включили» совсем недавно. О некоторых усовершенствованиях моего организма ты уже знаешь. Кроме того, что ты видела, тех киборгизованных элементов, я еще умею проводить эксперименты, которых никогда раньше не проводил, и узнаю такое, чего никогда прежде не знал. Одно из моих новых «умений» как раз то, что я манипулянт. Есть еще несколько несущественных деталей, но в принципе — это все. Ты удовлетворена?

— Но ведь это только половина многосерийки из видео,— сказала Лен.

— Правда?

— Конечно. В видео есть еще и вторая половина: великий манипулянт, который существует независимо от дебютанта.

— Дебютанта?

— Да. Так называется роль, которую ты мне рассказал.

— Чей сценарий?

— Не знаешь? Конечно, откуда тебе знать. Сценарий написал Нот Фузий. Он уже сто лет пишет научную фантастику. Иногда трудно поверить, что он все еще жив. Знаешь, еще мои деды читали его книги.

— Понимаю. После такого фильма интервью было бы неинтересным. Ты напрасно потеряла почти день.

— Ты серьезно?

— Да,— ответил Корн, хотя и не был в этом убежден.

— Знаешь, Стеф,— Лен опустила глаза,— всего несколько раз в жизни, а иногда лишь однажды встречаешь мужчину, о котором с первого мгновения знаешь, что это тот, единственный. Но этого недостаточно, потому что есть еще дети, другой мужчина — твой муж. Либо ты слишком молод, чтобы знать, как редко случается такое...

— К чему ты это? — прервал он.

— Хочу, чтобы ты знал.

— Зачем?

Она взглянула ему в глаза.

— Чтобы знал, что можешь вернуться,— она улыбнулась.— Когда вам скверно, вы иногда возвращаетесь к таким женщинам, как я.

Он допил кофе и встал.

— Я пойду.

— Я провожу тебя,— Лен тоже встала и прошла в соседнюю комнату. Вернулась она, одетая в коричневую ткань, которая, вероятно, была плащом.

— На чем ты собираешься ехать?

— На сублете.

— Правильно. Быстрее и удобнее. Вызвать автомобиль?

— До сублета далеко?

— Нет. Можем пройти пешком.

Они вышли. Светило солнце. На противоположной стороне улицы на тротуаре дети играли в классики. За углом дома оказались повыше.

— Здесь расположены автоматы услуг,— пояснила Лен.

— Близко.

— Да, удобный дом. Как репортер видео я могла бы сменить на больший, но не хочу.

— Думаешь, я мог бы жить в таком доме, как твой?

— А зачем? У тебя наверняка есть свой фантом. И ты иногда живешь в имитированном мире.

— Фантом?

— Не прикидывайся наивным. Думаю, именно поэтому ты не обращаешь на меня внимания. Вы, с фантомами, для нас, женщин, в принципе потеряны.

Он хотел сказать, что не понимает, но подумал, что Лен ему не поверит, и смолчал.

— Здесь,— сказала Лен.— Станция сублета.

Они вошли в здание. Зал был невелик. Потолок горел ярким желтым светом, на стенах мелькали разноцветные

надписи, которых он не стал читать. Лен подошла к ряду автоматов, встроенных в стену, и коснулась индикатора своим знаром.

— Куда? — спросил автомат.

— Провожающий, — ответила Лен.

— Прошу знар отъезжающего.

Корн прикоснулся знаром к индикатору.

— Куда? — спросил автомат.

— Иробо, — ответил Корн.

— Ждать долго? — спросила Лен.

— Сейчас подам сублет.

— Я поеду прямым? — спросил Корн.

— Не понимаю. Что значит — прямым?

— Надо ли будет пересаживаться, чтобы доехать до Иробо?

— Долететь, — поправила Лен. — А сублет индивидуальный. Доставит на место.

Он хотел спросить, почему она говорит «долететь», но раздумал. Они были уже не одни. В зал вошел мужчина и остановился в двух шагах от них. Потом появилась женщина с ребенком.

На другой стороне зала располагался полукруглый желоб двухметрового радиуса. Корн подошел поближе и увидел на дне желоба рельс из черного незнакомого металла. У выхода из зала с обеих сторон желоб закрывали шлюзы из многочисленных перекрывавших друг друга плит, уложенных подобно лепесткам диафрагмы в фотоаппарате.

— Вероятно, мы больше не увидимся, Стеф, — сказала Лен.

— Почему? Навести меня, если будет желание. Мой знар тебе известен.

— Нет. Лучше приезжай ты. Впрочем, знаю, не приедешь. На свете миллиарды людей, и случайно мы уже не встретимся.

— Разве что это опять будет хорошо отрежиссированная случайность, — улыбнулся он.

— Не будет,— сказала она.— Прощай.

— Прощай, Лен... и спасибо тебе.

Она повернулась и вышла не оглянувшись. Он только видел, как за прозрачной стеной мелькнул ее плащ.

— Сублет Корна,— произнес мегафон голосом автомата.

Шлюз на мгновение раскрылся, и по желобу, заполнив его, беззвучно продвинулся вагон в форме снаряда. Его верхняя часть раскрылась, и Корн, войдя, удобно устроился в кресле. Крыша задвинулась, и несмотря на то, что снаружи она была черной и шероховатой, изнутри он видел перрон и людей на нем.

На пульте зажегся желтый сигнал.

— Отлет,— произнес голос внутри кабины.

Вагон медленно двинулся вдоль перрона, прошел через шлюз и оказался в полной темноте. Корн чувствовал, как его вдавливают в кресло. В кабине загорелся свет.

— Музыка, видео или обед? — спросил голос.

— Я хочу подумать,— ответил Корн.

— Повтори, не понял.

— Не хочу ничего. Это ты, надеюсь, понимаешь? — Корн вытянул ноги и удобнее устроился в кресле.

11 Сознание возвращалось с трудом, рывками. Это не было обычным пробуждением. Он беззвучно мчался в туннеле и осознал это не сразу. Затем он увидел желтый свет, матовый экран, кресла и понял, что находится в сублете. Пытаясь сообразить, как оказался здесь, в вагоне, подумал о Корне и понял все. Его сознание снова заработало, и он вспомнил какой-то город, толпы людей, голубые знамена. Он знал, что это встречают космонавтов, вернувшихся с Венеры. А потом понял, что все это произошло еще до его рождения, и, значит, это память другого человека, Стефа Корна, информация, которую считывало его собственное сознание.

Он сосредоточился и снова оказался в сублете. Над кабиной беззвучно убегал назад черный туннель, вспы-

хивали и гасли одинокие огоньки указателей расстояния.

Он с трудом вспомнил знар Тельпа, знар, который помнил всю жизнь. Отстукивая на клавишах цифры знара, несколько раз ошибался. Наконец на экране появилось лицо Тельпа.

— Кев, со мной что-то неладно...— сказал он.— Очень неладно...

Тельп несколько секунд молча смотрел на него.

— Я ждал твоего вызова,— наконец сказал он.

— Ты должен мне помочь, Кев...

— Я не помогу тебе, Джуль,— Тельп говорил медленно, с расстановкой.— Не смогу.

— Почему? Что случилось?

— Ты уходишь...

— Почему? Ведь все удалось...

— Ты уничтожил... тот мир...

Тертон уже не видел лица Тельпа. Вспомнилась девушка, которая вела автомобиль. Это была та девушка, которую он видел в высотном здании, прежде чем уничтожил ее, и одновременно она была другой, неуловимо другой. Он помнил приближавшуюся темно-зеленую стену леса, в который втягивалась автострада, и голубое небо жаркого дня, белесое над горизонтом. Помнил, что хотел обнять девушку, которую знал и любил давно, и быть с ней, и считать это единственной и окончательной реальностью, такой, в которой живут другие люди, его коллеги по институту. Помнил огромный грузовик, обогнавший его, и водителя, курившего короткую трубку и о чем-то рассуждавшего со своим товарищем. Он помнил, что потом они подъехали к деревянному дому с крутой крышей, втиснутому в сосновый лес на склоне горы, и сидели на террасе, пили чай. Он тогда смотрел на далекие вершины, выплывавшие из облаков. Помнил вечернее телесообщение о футбольном матче, и потом, прежде чем уснуть, прижавшись к Каре, вспомнил шум потока, отсчитывавшего мгновения уходящего времени.

Он снова взглянул на Тельпа и тихо спросил:

— Почему я все это помню?

— Что помнишь?

— Его память...

— Ты уходишь, Джуль, я же сказал. Ты уничтожил имитированную реальность, и там уже нет ничего.

— Знаю. Я сам хотел этого.

— Почему ты не спросил меня?

— А ты согласился бы? — он хотел улыбнуться.

— Нет. Но я сказал бы тебе, что во время каждого сеанса, когда Корн был там, в имитированном мире, твоя личность проецировалась на его мозг.

— Проецировалась...

— Да. Ты никогда не был там постоянно. Всякий раз приходилось с помощью генераторов памяти усиливать твою личность. Когда ты пребывал в его мозге, а это был его мозг, Джуль, помещенные в нем твои записи с каждой минутой становились все труднодоступнее, они капсулировались, изолировались...

— А сейчас?

— Сейчас их уже нельзя усилить. Взрыв, аннигиляция той действительности...

Тертон опять не видел Тельпа, только слышал отрывок текста, которого никогда не читал.

— ... а Солнце останется, и облака останутся, и лес распустит почки...

Он не помнил, что это было и как связано с тем, что было.

— Ты можешь спасти меня, Кев,— сказал он, когда опять увидел Тельпа.

— Не могу. Это конец, Джуль. Я хотел бы, поверь мне...

— Наверняка можешь. Такие, как ты... такие никогда не отрезают последней возможности. Или уже тогда, там, там в хранилище, ты знал, что конец будет таким...

— Неправда, Джуль. Ты сам...

— Вы всегда так говорите. Но вы создаете возможности... и оставляете...

— О чем ты?

— ... для таких глупцов, как я, которые думают, что они всемогущи.

Он опять видел не Тельпа, а искрящийся снежный склон и понимал, что что-то произошло.

— А что будет с экспериментом? Ведь все делалось для того, чтобы услышать ИХ.

Ответа не было, он сосредоточился и снова увидел лицо Тельпа на экране.

— Передай меня в хранилище,— сказал он.— А потом что-нибудь сделай, чтобы я вернулся. Я хочу жить... еще немного...

— Не могу. Ты слишком далеко.

— Но ведь ты мог... Ты же знал...

— Ты не сказал мне.

— ... ты всегда был таким, Кев, основательным и упрямым... Когда я носил тебя на руках, ты все время старался взять у меня...

Он уже забыл, что хотел у него взять тот мальчонка, которого он помнил.

— А она не погибла...— сказал он.

— Кто?

— Девушка в том городе. Я помню ее и сейчас, она другая. А другую я знаю и всегда знал, только иначе. Хорошо ее знал, только не помню... Всю жизнь помнил ее, ее помню я, не он... помню иначе...

— Теперь это уже не имеет значения, Джуль.

— Я хотел бы знать.

— Зачем?

— Просто знать.

Он опять не видел Тельпа, только помнил ночь, пустыню, какой-то старый дом и звезды...

Потом в памяти всплыл другой черный туннель, нет, не туннель, а шахта, уходящая вверх, к далекому свету, и он явственно слышал монотонную дробь. Исчезли ка-

бина, экран и свет желтой лампочки... Джулиус Тертон перестал быть.

Тельп еще несколько секунд смотрел на него.

— Прощай,— сказал он и выключил экран. И еще Тельп подумал, что он единственный из восьми миллиардов, кто сожалеет о том, что Джулиус Тертон ушел.

Корн проснулся, когда автомат сообщил о прилете. Ему показалось странным, что он спал так крепко. Еще больше он удивился, увидев мерцающий экран. Он выключил его. Через несколько секунд сублет остановился у перрона. Крыша раскрылась. Корн вышел. Он был в Иробо.

12 Корн слышал смех Фузия, когда автомат раскрыл дверь и пропустил его вперед.

Одну стену огромной комнаты занимало окно с видом на долину. Дорогу заслоняли деревья. Две другие стены сплошь покрывали стеллажи, на них стояли книги, сотни книг, в противоположной окну стене в настоящем камине горел огонь.

Нот Фузий сидел в кресле-каталке, ноги его покрывал плед.

Он отложил книгу, поднял на Корна глаза и, продолжая улыбаться, сказал:

— Значит, ты — Стеф. Отлично выглядишь. И скажем прямо, не постарел, не то что я.

— Ты меня знаешь? — удивился Корн.

— Больше того. Ты меня тоже. Помнишь Нота? Я всегда стоял в воротах.

— В воротах?

— Ну да. У кого из нас склероз, дорогой? Ты был в нападении, очень хороший нападающий. А я не выдался ростом, но никто не хотел стоять в воротах, поэтому приходилось мне.

— Когда это было?

— В школе. Не помнишь? Поправь-ка мне плед, ноги забнут.

— Мы вместе учились?

— В одном классе. Ты был способнее. Как говорили, хороший ученик. Я кое-как тянул на троечки, и иногда ты подсказывал мне. Чем человек старше, тем лучше он помнит свою молодость.

— Нот. А и верно, помню...

— Ну, вот. Видишь, как ты выглядел бы теперь, если б не твоя «ожидальня». Что говорить, тебе повезло. Впрочем, мне тоже. Вероятно, мы последние из нашего класса. Но ты еще будешь, когда я стану выталкивать цветочки. Потом ты пошел, кажется, то ли на физику, то ли на биологию, а я, я начал писать и, как видишь, делаю это до сих пор.

— Знаю. Твой новый фильм по видео...

— Вот именно, но этот фильм — твоя заслуга. В наше время в фантастике лучшие темы черпают из жизни. Я охочусь за такими новостями, прослушиваю все бюллетени с теми странными историями, которые выдумывают современники, роюсь в информаторах и иногда нападаю на что-либо действительно стоящее.

— Это ты обо мне?

— А хоть бы и о тебе. Радуйся, что тебя не передержали в ожидальне еще сотню лет. Вот это был бы сюрприз!

— Думаю, и без того трудно прибавить что-нибудь к моей истории.

— Будь спокоен, Стеф. Ты разговариваешь не с любителем. Я запросто дописал бы пару ходов, которые тебе наверняка б не понравились. Взгляни на все объективно. Ты был молодым ученым, правда, не очень способным. Симпатичная жена, гораздо толковее тебя, а это, что ни говори, обычно не приводит к избытку счастья в семье. Ребенок.

— Ребенок?

— Сын. Он родился через восемь месяцев после твоей аварии. Парень с задатками, но лентяй и шалопай. С годами это у него частично прошло, но кое-что все-таки осталось.

— Он еще жив?

— Разве это важно? Сейчас мы толкуем об истории и не перебивай старика.

— Откуда тебе все это известно... Нот? — его имя Корн произнес с трудом — еще не привык к говорливому и посмеивающемуся старику.

— Как только я узнал о твоём планируемом возвращении, я произвел поиски. Я не ленив, как нынешняя молодежь, и если уж о чем пишу, то собираю материал, где только удастся. А времени у меня достаточно. Ты не имеешь понятия, каким временем располагает человек в моем возрасте. Стоит только раз сказать себе, понять, что здесь, на Земле, мы не вечны, и ты сразу же смиряешься с этой мыслью, начинаешь видеть мир в истинных пропорциях. Потом можно выбирать то, что тебя интересует по-настоящему, а ты, Стеф, очень меня интересуешь. Не говоря уж о том, что ты мой школьный приятель и, как я говорил, единственный оставшийся в живых. Такой случай весьма нетипичен и даже уникален, прямо-таки тема для моей истории.

— А моя жена, Кара? Ты знаешь что-нибудь о ней?

— Конечно. Она все никак не могла решить — приносить тебе в хранилище цветы или нет. Тогда хранилища были еще новшеством. Она советовалась с друзьями, знакомыми, в конце концов они сообща решили, что цветы следует носить не тем, кто *ждет*, а лишь тем, кто *был*. Во время столь серьезнейших дискуссий она познакомилась с философом и эссеистом Робертом... — как бишь его... у меня где-то в мнемотронах записана фамилия — и вышла за него замуж, конечно, после того, как суд признал тебя в юридическом смысле умершим. Торжество было скромным, но обставлено со вкусом. В архивных мнемотронах у меня есть даже фотография. Уверяю тебя, она выглядела прекрасно. Потом Кара продолжала совершенствоваться в космической медицине, получая очередные степени и награды. Полтора года жила на Луне, одна, мужа — философа и эссеиста —

туда не пустили. Он растил на Земле твоего сына, но особенно в воспитании не преуспел. Потом расстался с твоей женой ради танцовщицы из кабаре «Млечный Путь» и вскоре умер в другом полушарии, где в то время гастролеровало кабаре. Жена твоя прожила еще несколько лет, а в последние годы даже начала присылать тебе в хранилище цветы. Ее прах покойся на кладбище в твоём родном городе, чего не миновать бы и тебе, не будь у тебя страсти к быстрой езде.

Сейчас ты молод, известен, тебе тридцать с небольшим и можешь с сочувствием посматривать на своего коллегу на склоне его, быть может, последних дней... В моем возрасте, дружок, каждый день — подарок.

Старик на минуту замолчал, но Корн смотрел не на него, а в окно, где на краю долины зеленела полоса леса.

— Конечно, — продолжал старик, — у переноса во времени есть свои сложности. В принципе человек должен жить в том времени, в котором вырос и воспитан. Пока молод, он изучает мир, создает собственную модель действительности, которой потом верен всю жизнь. Иначе быть не может, ибо такими нас сделала эволюция, которая не имела в виду ни таких старцев, как я, ни таких путешественников в жидком азоте, как ты. Когда-то, когда мир был неизменен или изменялся медленно, человек весь свой век жил в одинаковом мире, таком, каким он был в его юности. Потом, уже в прошлом столетии, когда темпы изменений ускорились, люди к старости оказывались не в том мире, в котором родились, и чувствовали себя скверно, потому что окружающая их действительность не согласовывалась со сформированной в их сознании моделью.

Сказать по правде, Стеф, оглядываясь в прошлое, я думаю, что стал создателем придуманных реальностей, дабы говорить своим современникам, что их мир — не единственно возможная реальность, а лишь одна из множества вероятных реальностей, множества, охватить кото-

рое разум не в силах. И в этом, Стеф, одна из твоих проблем. Мир, в котором ты сейчас живешь, иной.

— Знаю. Но что с того? Какое ты видишь решение? Старик улыбнулся.

— Я бессилён, Стеф. С этим ты должен примириться. Подумай, что было бы, если б тебя пробудили через пятьсот лет?

— Своим героям ты, видимо, предлагаешь какой-то выход?

— Да. Но это печальный выход, Стеф. Сцена. Жить такой же жизнью, какой живет актер в пьесе, содержание которой — самая жизнь. Играть свою роль на сцене, пока существует сцена. Либо — имитированная действительность как альтернатива жизни. Только стоит ли ради таких ролей ожидать сотни лет? Не лучше ли уж традиционное решение?

— Но ведь они могут, если захотят, жить реально, войти в новую действительность, стать ее частью.

— Неправда. Это ложь, придуманная такими, как я. Ты можешь представить себе в нашем мире человека, родившегося пятьсот лет назад? Для него здесь нет места, как нет места рыцарям, коням, замкам и королям. Каждый человек представляет свою часть своей действительности с рождения до смерти. И он не должен из нее выходить. Так что тебе, дорогой мой, повезло. Ты ушел из своего времени, но всего на один шаг вперед, лишь на столько, что еще можешь встретить кого-то, кого знал, и увидеть следы мира, который помнишь. Тебе повезло, Стеф.

— А тем, что ждут в хранилищах?

— Их не будят именно поэтому. Они будут «ожидать», пока полюс Земли не изменит положения и Полярная звезда перестанет указывать на север. По крайней мере, столько будут ожидать их замороженные в жидком азоте мозги, эти маленькие изолированные Вселенные. Но эти малые Вселенные могут существовать и действовать только тогда, когда они погружены в огромную настоя-

щую Вселенную, потому что они лишь ее отражение и искажение. Изолированные, отрезанные от внешних восприятий, они деградируют, их функции распадаются.

Подложи поленьев в камин. С каждым годом я все сильнее мерзну, и климатизаторы уже не помогают. Только когда я вижу живой огонь, мне становится немного теплее.

Корн подошел к камину, бросил в огонь несколько чурок и подождал, пока снова загудит и заиграет пламя.

— А меня вот разбудили,— сказал он.

— Потому что пришли сигналы из Космоса. Вероятно, они приходили и раньше, но поймать их удалось лишь с помощью новых фильтров. Всегда искали один тон, один сигнал, а это оказалась симфония в широком диапазоне множества спектров разных атомов. И воспроизвести эту композицию в соответствии с замыслом ее создателя оказалось делом невероятно сложным. Мозг человека не в состоянии постичь ее содержания так же, как не могут этого сделать компьютеры. Эту композицию сначала надо воспринять целиком, во всем объеме, со всеми ее нюансами и обертонами, чтобы позже постичь. Так же, как и со звуками, которые содержатся в пении птиц, шуме ветра и грохоте водопадов. Их надо сложить в произведение, чтобы они стали музыкой. А эволюция создала мозг таким, какой он есть, не слишком специализированным, но и не слишком универсальным.

— О чем ты?

— О сверхсистеме, у которой нет даже имени и которая представляет собой эволюционный шаг вперед. Создать-то ее создали, но никто не знает, как она действует. Это тоже закон эволюции: из элементов низшего уровня организации можно создать нечто высшее, качественно иное, но при колоссальном количестве вероятных сочетаний невозможно предвидеть действий созданного объекта. Так же как из молекул можно составить клетку, из клеток — организм или из людей — общество. Потом, когда уже известны принципы работы такой

системы, можно объяснить их действием составляющих ее элементов, но не наоборот. И такую сверхсистему создали. Может быть, ей удастся понять, что же передает Космос, и переложить это на понятный нам язык.

— А я?

— Ты — манипулянт, ты включаешься в сверхсистему и слушаешь. Небезопасное занятие.

— Почему?

— Как и с каждым Великим Переводом. Надо понять оригинал, переложить его на иной язык и при этом остаться самим собой. Сохранить свою индивидуальность. Твой мозг должен быть функционально достаточно интегральным, чтобы не произошло смещения функций, когда Перевод созреет. Торможение в коре головного мозга должно быть у тебя достаточно эффективным, чтобы сознание, эта вершина айсберга над глыбой подсознания, смогло выдержать гигантское напряжение, необходимое для того, чтобы свершился Перевод. Не случайно древние мудрецы всех цивилизаций мира умерщвляли свою плоть и удалялись в пустыни. Они усиливали активность торможения и тоже ждали и прислушивались.

— А тот, второй герой твоего фильма? Как же он? Старец помолчал.

— Он... Вероятно, он не мог услышать. Технические возможности — еще не все. Может быть, его мозг еще пребывал в эпохе насилия, уже канувшей в Лету. А может, он был просто корнем, стволем, к которому привили новую ветвь. Он умел и знал, но не слышал. А теперь его умения стали твоими... Не исключено, что у тебя получится... Знаешь, я устал, — старик прикрыл глаза, а когда Корн подошел к двери, тихо проговорил: — Мы уже никогда не сыграем больше в футбол, Стеф. Прощай.

Корн вышел и взглянул на долину. Давно перевалило за полдень, и тени стали длиннее. Он слышал далекий шум реки, ведущей бесконечный бой с камнями, ею же принесенными с гор.

— Я ждал тебя,— сказал кто-то за его спиной.

Корн обернулся. Это был Род, которого он помнил еще по клинике, когда проснулся.

— Привет.

— Мы летим на страторе в институт.

— Туда? Зачем?

— На этот раз не в клинику. Ты возвращаешься в пустыню. Тебя ждут.

Стратор стоял на маленькой площадке сразу за домом. Они взлетели, и Корн смотрел на солнце, красное, огромное. Он смотрел на него сквозь броневые окна, и Род, видимо, заметил это, потому что повернулся и сказал:

— Удивляешься, что оно такое красное? От года к году оно становится все краснее, особенно там, над горизонтом.

— Так было всегда над большими городами.

— Но теперь солнце краснеет даже над островками Тихого океана.

Корн не ответил.

Ускорения он не почувствовал. Он был физиком и знал, какой двигатель не вызывает его, но именно потому, что был физиком, не мог смириться с мыслью, что летит на гравилете. Был в этом какой-то диссонанс, потому что гравилет — невообразимый двигатель будущего, а ведь под ним перемещались ландшафты его времени.

«Как и все в этом новом мире,— подумал Корн.— Почти такое же и все-таки принципиально другое. Вероятно, именно так должен выглядеть прогресс цивилизации. Кажется, изменяется немного, но, когда переждешь несколько десятков лет, остаются лишь внешние декорации, а сердцевина, суть вещей оказывается иной».

Он глядел сверху на скопления маленьких одинаковых домиков, отбрасывавших длинные тени в лучах заходящего солнца, на пятна зелени в садах и думал, что с воздуха все выглядит так же, как несколько десятилетий назад.

Он взглянул на Рода, сидевшего на втором сиденье двухместного стратора, на приборы, действия и значения

которых не знал, а потом на свободное пространство за сиденьями, освещенное красными лучами солнца, падавшими через овалы окон. Солнце на секунду погасло, потом засветилось ярче. Они пробили плотный слой облаков, и теперь над ними висело темно-синее небо, постепенно переходившее в черноту по мере того, как они поднимались все выше. Внизу в фиолетовой дымке осталась Земля, серая, смазанная, и только временами откуда-то сбоку взблескивала на мгновение поверхность воды, в которой отражались лучи солнца.

— Входим в стратосферу, развиваем полную скорость и скоро будем на месте. Терпение, Корн,— сказал Род. Род разговаривал с ним, будто он прибыл издалека.

«А человек? Вот этот Род, который мог бы пилотировать ракеты моих времен, он — иной? А Лен, Норт, Готан, Тельп? Они из моего времени или уже из будущего?» — Он не мог ответить себе на этот вопрос. «Может, потом, когда я побуду здесь дольше, я пойму», — подумал он, одновременно сознавая, что если они иные, то мир тоже иной и никогда не станет его миром.

Он снова взглянул на землю, но увидел только фиолетовые облака, заслонившие и сушу, и воду, и то, что в течение миллиардов лет создавала эволюция, а потом совершенствовал человек. А вверху были звезды, они посылали свои безнадежно далекие сигналы по-над временем, почти на границе Вечности. Он подумал о далеких солнцах, о сигналах спиральных галактик, несомых фотонами, о словах, переданных на языке, который есть голос Вселенной, и одиночестве планеты, частицей которой он был. Потом самые слабые звезды погасли, а ясные затянуло туманом.

— Садимся,— сказал пилот,— и через минуту ты уже не увидишь звезд, хотя они и светят там всегда. С Земли почти не видно звезд. И мы не слышим их, хотя они всегда говорят с нами. Веками люди вслушивались в их голоса. Теперь твой черед, Корн.

Богдан Петецкий
ОПЕРАЦИЯ „ВЕЧНОСТЬ“



Bohdan Petecki

OPERACJA "WIECZNOŚĆ"

**Iskry
Warszawa 1975**

1 — На-адо же,— протянул Патт.— Стоило только человеку подумать о бренности бытия, как он тут же возжелал бессмертия.

— Тоже мне новость,— проворчал я и не глядя нащупал на пульте клавишу проектора. На экране появилась схема станции.

— Новость не новость,— в голосе Патта прозвучала насмешка,— а лозунг дня. Говорят, за ним стоит побольше, чем за любой другой модной фразой. А вот это,— он кивнул на экран с резко обозначенной сетью энергопитания,— можешь прихватить с собой. Я пять лет просидел в точно таком же коконе на Фобосе.

Он откинул спинку кресла и вытянул ноги.

В самом деле, пять лет — это не шутка. Но существуют формальности. Он знает — с тем и прилетел! — что свалился на меня с неба как главный приз, даже готов простить мне мое показное безразличие. Пять лет, надо же! А я не дотянул и трех. Повезло!

Я ударил ладонью по клавишам. Экран погас. Почти одновременно на главном экране связи взметнулись огненные кометки. Пять часов. Земля, как обычно, проверяет системы памяти станции, выслушивая накопившуюся за неделю информацию.

Я пересек кабину, вынул плоский контейнер и вывалил на постель его содержимое. Несколько книжек размером с костяшку от домино, три голограммы, зубная щетка, два небольших камушка с Земли. Вот что делало домом этот бетомитовый желудь, укрытый в скорлупе планеты, для которой Солнце было всего лишь звездой, пусть даже и самой яркой, но одной из многих.

На сборы ушло не больше минуты. Я перекинул ранец через плечо и повернулся к шлюзу.

— Летишь? — бросил Патт.

Я не остановился. Послышался шорох принимающего нормальное положение кресла, потом звук шагов. Видно, он учуял неладное.

— Не горюй, вернусь,— буркнул я, подошел к двери

и включил автомат люка. Не снимая руки со скобы, повернулся. Патт стоял посреди кабины. Я внимательно посмотрел на него. Может, немного дольше, чем следовало.

— Летишь,— повторил он на этот раз утвердительно.

— До свидания. Я же сказал — вернусь. Впрочем, не в этом дело. Так или иначе, мы встретимся. По теории вероятности...

— Слушай, Дан,— прервал он.— Что-то не так? Ты хотел остаться? Тогда скажи им сам. Меня ведь не спрашивали...

Он был недоволен. Естественно. Я подвел его.

— Порядок, Патт,— сказал я.— «Приготовься к сюрпризу»,— с этого ты, кажется, начал, как только вылез из ракеты. Час... нет, уже почти полтора назад. Ты сказал «достаточно». Если не ошибаюсь, споры начались лет двадцать пять назад. Когда я улетаю, перебранка уже шла во всю. И конечно, наиболее вескими были доводы противников проекта. Потому-то и следовало ожидать, что проект пройдет. Так в чем же здесь сюрприз?

— Ты против бессмертия или просто занимаешься словоблудием? — Его голос подскочил на полтона. Не скажу, чтобы у меня от этого улучшилось настроение.

— Будь спокоен, я не помешаю тебе странствовать по вечности,— проворчал я.— Нет, не странствовать, а пребывать в ней. Улавливаешь разницу?

— Хорошо,— поддел он меня.— Ну, а сколько же намерен прожить ты?

— Не знаю,— ответил я, не поступившись истиной.— Долго.

Я уточнил орбиту и уставился на экран. Последний раунд.

Это была моя планета. Три года или пять, какая разница. Я имел право называть ее своей. Независимо от того, что скажет какой-то там Патт. Он тоже заслужит это право. Только не сразу.

Я подкрутил настройку. По экрану поплыли рыжие в инфракрасном свете выходы коренной породы, испещренные неглубокими выбоинами в местах падения метеоритов и иссеченные рваными линиями тектонических сбросов. Из бескрайней равнины вздымались зубчатые каменные башни и пирамиды. Их появление всякий раз было неожиданным, они походили на руины готических соборов, разбросанные по плитам аэродрома. Линия горизонта была не видна, границы планеты обозначало лишь кольцо горящих в глубокой тьме звезд.

Корабль завибрировал. Послышался нарастающий вой. На пульте под экраном замигали огоньки. Руки, лежавшие на поручнях кресла, потяжелели. Корабль сходил с круговой орбиты.

Минут через тридцать, уже выйдя из плоскости эклиптики, я достал пачку концентрата, расстегнул ремни, уселся поудобнее, надкусил пахнущий грибами, плотно спрессованный кубик, и ни с того ни с сего подумал, как обыденно выглядят все эти ледяные планеты, кратеры, обрамленные стрелами выбросов, базальтовые соборы, пропасти с острыми, как иззубренное лезвие, краями. Глубочайшая темень и беспредельная яркость ядерных взрывов. Таков бессмертный мир. Истинный. Все остальное — каприз, эфемерность. В том числе и Земля с ее теплом, атмосферой, зеленью, водой и обитателями. С ее мягкостью и услужливостью процессов приспособляемости.

Можно ли назвать экстраполяцией то, что задумал человек? Ляжет ли это на продолжение линии уже пройденного им пути?

Я не скрывал, что думаю о проекте. Хотя в лучшем случае все это касалось грядущего поколения. Я и подумать не мог, что за пять лет моего отсутствия они ухитрятся поладить.

Меж тем хватило не пяти, а трех лет, и я лечу обратно, чтобы подвергнуться процедуре, которая должна сделать меня бессмертным. Может, не совсем меня, но ведь

в конечном счете, кроме сознания, в нас нет ничего такого, без чего нельзя было бы обойтись. Даже если кому-то очень хочется верить, что это не так.

Я разделался с концентратом и взглянул на экраны. Порядок. Разумеется, порядок. Как всегда.

На пульте сверкнула желтая искра. Еще раз и еще.

Понятно. Я потянулся к клавише и выключил глушитель фони. Тишина. Видимо, говоривший решил, что свое сказал.

Я не спеша включил запись. Звякнул короткий, прерывистый сигнал, и в кабине зазвучал мужской голос. Не знаю, почему я сразу же решил, что говорит человек.

— Внимание, Данбор. Принимаю корабль. Ты идешь прямым курсом на Бруно. Оставайся на фони.

Все. Я переждал несколько секунд, потом сказал: — Алло! Бруно! Чья это идея? Соскучились?

Какое-то время стояла тишина. Потом послышался характерный щелчек, извещавший, как говорят пилоты, о переходе на «живую» связь.

— Алло, Дан. Здесь у нас Каллен. Он ждет тебя.

Конечно, человек. Странно. Связь с кораблями база обычно поручает автоматам. Еще более странно, что я сразу не узнал Митти, самого юного пилота в Комплексе. А не узнал я его потому, что его голос сегодня был серьезен. Почти мрачен.

— Хорошо,— бросил я.— Дать орбиту?

— Нет. Ты идешь главным коридором.

Я шел через пояс астероидов, почти физически ощущая присутствие тысяч каменных осколков, глыбок льда, миниатюрных планеток. Можно сказать — видел их. Словно в бескрайней пустыне вдруг набрел на кипевший жизнью город. Я был в безопасности. Теперь уже да. Самостоятельных полетов у меня было сравнительно немного. В Комплекс граничных станций второго планетарного пояса я, собственно, попал случайно, после стажировки, которую проходил не где-нибудь, а именно на Бруно. Мысль пойти в Комплекс подбросил мне из-

вестный бионик, которому я сдавал один из двух последних экзаменов. Сыграли роль и результаты тестов после курса пилотажа. Ну и, конечно, врачи.

Мне расхотелось спать. Я сплел пальцы на затылке и старался не думать. Игра светлячков и бег кривых на экранах перестали меня интересовать.

— Плохие вести, Дан,— проговорил Каллен, не дожидаясь, пока я захлопну дверь шлюза. Он не подошел, чтобы поздороваться, а стоял на пороге диспетчерской и смотрел мне в глаза.

— Что-нибудь в Комплексе? — спросил я.

— Фина... — сказал он тихо.

Меня пробрал озноб.

— С Финой несчастье,— он говорил быстро, чеканя слова, словно отбивая ритм марша.— В это трудно поверить. Она не заметила, что компьютер сигналил об аварии в автодозаторе дейтерия. Они делали все, что могли, но сам понимаешь... — он замолчал.

Я закашлялся...

Каллен шагнул ко мне. Неожиданно во мне вскипела злорада. Ишь ты — не терпится! Стоит и смотрит на меня, словно на больного пса. Нет Фины...

Тело налилось свинцом. Я осмотрелся и поплелся к креслу, стоявшему в углу зала у иллюминатора.

Каллен сделал такое движение, будто хотел подойти и потрепать меня по плечу. Когда он наконец заговорил, его голос звучал не так уверенно.

— Теперь это уже не важно,— он подчеркнул слово «теперь». — Но я не хотел, чтобы ты узнал там, в пространстве.

Он осекся. Видно, понял, что я не слушаю, и пробормотал что-то, долженствующее выражать неодобрение. Мне вдруг все стало безразлично. Захотелось остаться одному.

Я встал и вышел в коридор. Он — следом.

В навигаторской были Митти и незнакомый пилот

в рабочем комбинезоне. Я молча вернулся в зал.

Нет Фины... Девочки с цветастой обложки томика сказок. Широко расставленные карие глаза с золотистыми искринками. Мягкий овал лица, узкий подбородок. Верхняя губа резко очерчена, улыбка ребенка, слушающего музыку. «Хорошо, что тебя не будет здесь эти пять лет,— сказала она, когда я улетал на Европу.— Испытание временем...»

Ее хладнокровие не могло меня обмануть. Я видел, как ей тяжело. Мы были вместе четыре года. Я не представлял себе, что когда-нибудь останусь один.

Прошло не пять, а всего три года, и я вернулся.

Послышался шорох. Я обернулся. Достаточно быстро, чтобы перехватить взгляды, которыми обменялись Каллен и вошедший в зал Митти.

Программа визита исчерпана. Мне следует это усвоить. Каждому — свое. Им — сеть научно-исследовательских станций, программа разведки и возня с такими, как я. Мне сейчас — Земля, посещение специализированного кабинета, родители, дом.

Я снова почувствовал озноб.

— Возвращаюсь на службу,— бросил я, резко выпрямившись.— Догадываюсь, зачем вы меня сюда притащили. Можете сделать все здесь.

Доносившиеся из навигаторской пульсирующие сигналы неожиданно оборвались. С каждой секундой тишина становилась все ощутимее. Огни пригасли. Здесь день подходил к концу.

Каллен вздохнул, медленно поднял голову и пригладил волосы. Наши глаза встретились.

Тэк-с. Он, оказывается, прилетел только для того, чтобы сказать. Славно. Даже — слишком... для той системы, в которой мы работаем. Вот уже несколько лет, как он сидит на Земле в штабе Комплекса. Но во время моей стажировки был шефом станции и немного знал меня. Должен понять.

— Ну, так как? — проворчал я.

Каллен вздрогнул.

— Здесь — нет.

Я ждал.

— Нет,— повторил он.— Мы собираем всех. Но если бы даже это было возможно, я бы не позволил...

— Я не полечу на Землю,— прервал я.

— Полетишь,— спокойно сказал он.

Конечно, полечу. А куда денешься...

Станция трещала по швам. Словно пчелы матку, ее облепили сотни больших и малых ракет. В каждой сидели люди, собранные со всей Системы, чтобы принять участие в последнем акте операции «Вечность».

«Человек переступает барьер времени,» — кричали заголовки газет, когда я улетал. В том, что переступает, я не сомневался. Другое дело, сумеет ли он вернуться из-за этого барьера...

Меня вызвали минут через двадцать. Я оказался в одной из грузовых камер, на скорую руку переоборудованных для приема людей. Оттуда по бездействовавшему эскалатору можно было перейти непосредственно на паром. На полпути меня стиснула толпа.

Паром опустился на одном из небольших плавучих космодромов в районе Азор. Море было затянуто светящимся туманом. Лучи солнца преломлялись в капельках воды, которые вздымали пузырьки воздуха из подводной сети пневматических волноломов. Было жарко. Легкий ветер то и дело обдавал брызгами, как это бывает, когда стоишь у фонтана. Желто-серые облака, растянувшиеся по всему небу, казались отутюженными. С первого же попавшегося лотка я взял горсть больших черных вишен и подошел к самой воде. Постоял, стреляя в нее косточками и глядя, как они исчезают в кипящем облачке пузырьков. Наконец объявили о взлете моего корабля.

Спустя полчаса я входил в знакомый с детства зал аэровокзала. Здесь день только начался. Небо было се-

рым. Облака висели низко, и город лоснился от воды. Мой город, не то, что планетка, с которой я прилетел. Но сегодня я чувствовал себя здесь таким же чужим, как и там в первые часы после посадки.

В инфоре меня ждали два сообщения. Отец просил связаться с ним сразу по возвращении, а дежурный по Комплексу вызывал на девять пятнадцать в институт здоровья при Центре.

О доме я думать не мог. Сейчас не мог. Переоделся и вышел на улицу. Шел я без всякой цели, избегая главных тротуаров и эстакад, взбирался по закоулкам, врезанным в зеленые склоны, спускался по каменным плитам, которыми были выложены переходы между крышами. И только когда впереди показались далекие постройки порта, я сообразил, что иду тем привычным для нас маршрутом, который мы выбирали, когда нам было о чем поговорить.

Стал слышен шум моря. пляж — единственное место, до которого докатывались пульсирующие, как и тысячелетия назад, волны. Впереди — узкая с такого расстояния линия высокой опорной стенки. Туда мы ходили редко. Там всегда толпились люди.

Я глубоко вздохнул и не оборачиваясь пошел к берегу. Понадобилось всего десять минут, чтобы дойти до высокого ограждения, за которым виднелся широкий мелкий желоб. Море было совсем рядом. Я свернул и некоторое время шел вдоль защитной сетки, над которой быстро-быстро перемигивались лампочки предупреждения. В нескольких километрах от берега светило солнце, там облака расступались, вспыхивали желтым и таяли в голубизне. Только над сушей было серо.

Я остановился, коснувшись носками ботинок воды. Море впереди вдруг зашумело, его поверхность вскипела. Послышался нарастающий низкий грохот, перешедший в свист. Там, где кончался желоб и начинался подводный туннель, примерно в двухстах метрах от берега, блеснуло. Вылетела длинная приплюснутая сигара, прежде

чем я успел повернуть голову, пронеслась неподалеку от меня и рухнула в воду, оставляя за собой кипящие волны, тут же прибитые работающими на полную мощность волноломами. В последний момент сквозь прозрачные стенки сигары я разглядел ряд разноцветных автомашин. Прага—Рейкьявик, через Копенгаген и Осло. Один из тех морелетов, на которых с удовольствием путешествуешь даже без особой нужды и которые многим заменяют ракеты и всевозможные воздушные лайнеры. В памяти всплыли луга в заповедниках Исландии. Мы бывали там...

Морелета уже не было видно. Миниатюрные взрывы воздушных пузырьков выровняли буруны, превратив их в розовые, сходящиеся вдаль линии. Я любил эту картину. То есть мы любили...

Я резко попятился, развернулся и, неестественно выпрямившись, направился в город. Светло скулы. Только тут я понял, что изо всех сил стискиваю челюсти.

— Родители живы?

В кабинете было темно. Голос техника тонул в путанице проводов, кабелей, световодов, соединявших неисчислимые приставки информатуры. Я лежал на высоком жестком диванчике, засунув голову в ажурное полушарие,— регистрировалось каждое мое слово. Я вдруг представил себе, как они исчезают в кассетах записывающего устройства. Мне начинало надоедать.

— Живы,— проворчал я.— С рождения.

— Родственники?

Техник твердо знал, что от него так просто не отделаться. Прошло полтора часа с той минуты, как он записал мой стереотип. Система кровообращения, нервы, реакции. Мне нечего было стыдиться. Результаты почти точно укладывались в схему, типичную для людей, которые пребывали вне Земли пять лет — период, принятый во всех службах. Отклонения в пределах нормы. Потом я перешел в соседнее помещение, где у меня взяли кровь, и просидел там минут десять в экранированном сундуке,

стены которого то разгорались, то становились совсем прозрачными. Это было что-то новое. Но настоящая потеха началась только здесь, когда техник уложил меня на диван, надел на голову нечто такое, что я видел впервые в жизни, и приступил к «беседе», до чертиков напоминавшей киноследствие. После вопросов о родителях, перенесенных болезнях, людях, с которыми я был знаком или просто встречался, разговор пошел об идеологии. Его интересовало, что я думаю о том или ином периоде в истории Земли, традициях, воспитании, психической стимуляции и сотне таких вещей, значение которых обнаруживается обычно задним числом. Жонглируя историческими фактами, он как бы мимоходом проверил мою память, а также представления о формировании научных прогнозов в прошлом и теперь. Прежде чем задать вопрос, он ударял по клавише записывающей приставки, а получив ответ, отработанным механическим движением стирал запись, пересылая ее в сумматор. Вопросы брал с лежавших перед ним листков. Иначе я давно бы послал его к дьяволу вместе с его кривой Эйредоуна, коррекцией саморегулирующихся систем и Хиросимой. Сейчас же я не мог даже пикнуть, потому что он просто делал свое дело. Я подумал, сколько субъектов вроде меня прошло через этот кабинет за последние недели и месяцы... Когда они, собственно, начали? Впрочем, бог с ними...

Неожиданно техник замолчал и поднял голову. Послышался шорох раскрываемых дверей.

— Кончаете? — прозвучал мягкий голос, показавшийся мне знакомым.

— Чего ради? — сказал я. — Никогда в жизни мне так мило не беседовалось...

Раздался глуховатый смешок. Я узнал бы его на солнцах Центавра. Руководитель экспертной группы при Комплексе — Норин. Человек, который все может понять и все высмеять.

— Загляни ко мне, когда кончите... беседовать, — сказал он.

Я буркнул что-то, что при желании можно было принять за согласие.

— Впрочем, нет. Я буду занят. Лучше приходи во второй половине дня. В пять. У меня есть кое-что для тебя.

Это прозвучало серьезно. Двери закрылись. Техник уставился на листки. С его почти неподвижных губ слетел очередной вопрос. «Еще неделя,— подумал я,— и он выучит свою шпаргалку наизусть».

Минуло двенадцать. Диванчик подо мной пропитался потом. Короткие секунды молчания заполнял шум крови в висках.

Голос вдруг утих. Секунду, может, две ничего не происходило.

— Расскажи о своей девушке...

Я попытался вскочить, ударился лбом в обрез охватывающего голову полушария и упал навзничь.

— На сегодня довольно,— сказал я спокойно.— Если не снимешь с меня свой чепчик — усну. Можешь оставаться здесь, можешь выйти — мне это до лампочки. В любом случае больше ты не услышишь ни слова...

2 В доме было тихо, как в склепе. Я прошел через всегда открытую террасу и остановился посреди холла. Кресла, цветы, разбросанные клочки пленки. Все по-старому. Стены, увешанные все той же разукрашенной аппаратурой, которой я играл еще пятилетним мальчонкой. Взгляд задержался на любимом кресле отца, стоявшем боком к камину. Подушка слегка примята, словно кто-то сидел там всего несколько секунд назад. Именно в этот момент я окончательно понял, что вернулся домой. Но ощущение было не из тех, которые приносят успокоение.

По крутой лесенке я поднялся на антресоли и попал в небольшой коридорчик с раздвижными стеклянными стенами, за которыми виднелась желто-серая в эту пору года трава.

Я любил приходить сюда. Остальные домочадцы делали это редко. Мама — никогда. Отец занимался конст-

руированием световодов. Догадаться, что и каким голосом заговорит в его комнате, было невозможно.

Я почувствовал усталость, прислонился спиной к дверному косяку и прикрыл глаза. Вошел отец.

— Привет, папа,— сказал я, не двинувшись с места.

Он улыбнулся, вздохнул, потер пальцами виски, потом быстро, словно вспомнил что-то, подошел и положил мне руки на плечи. Мы обнялись.

— Ты утомлен,— сказал он.

Я внимательно посмотрел на него. Морщинистое лицо, темные тени под глазами. Небось, снова всю ночь просидел над своими даторами. А вообще-то держался молодцом. Выглядел, пожалуй, даже моложе, чем в тот день, когда мы простились на космодроме.

— Есть что-нибудь новенькое? — спросил я, указывая на раскрытую дверь в кабинет.

— Ничего особенного...— ответил он пренебрежительно, старательно прикрыл дверь и, засунув руки в карманы халата и не глядя под ноги, спустился в холл. Я последовал за ним, сел в кресло и откинул голову на спинку. Глаза слипались.

— Скажи что-нибудь,— попросил я,— а то усну.

Он сделал вид, будто не расслышал. Несколько секунд стоял, глядя на меня в упор, потом, заложив руки за спину, принялся расхаживать по комнате.

— Тебя вызвали из-за Фины? — Наконец спросил он.

Я молчал.

— Ты вернулся окончательно? Или...

— Нет,— оборвал я.— Не из-за Фины.

Наступило молчание. Из глубины дома донесся какой-то звук. Отец нетерпеливо пошевелился.

— Дан,— начал он с расстановкой,— ты должен понять, что...

Я не понял бы. Сейчас. Мне повезло: дверь со стуком отворилась и в холл с визгом влетела Сосна, моя младшая сестра. За ней появилась улыбающаяся мама.

— Могли бы сделать это на Бруно,— упрямо повторил я.

Норин досадливо поморщился. Дважды прошелся по кабинету, потом остановился передо мной, словно набираясь терпения.

— Не могли,— процедил он сквозь зубы.— Да и не важно, могли или нет. Мы вызываем людей с внеземных объектов, потому что так надо. Надеюсь, ты не думаешь, что вызываем для забавы. И на этом можно было б поставить точку, если бы ты занимался, положим, разведением кур. В нашей службе есть только два пути: либо в ведущую группу, но вместе с людьми, либо...

— ... ты нам не нужен,— подсказал я.

— Именно это я и хотел сказать,— закончил он тем же тоном.

Я встал. Обошел кресло и провел пальцами по спинке. Она была прозрачной, шершавой и эластичной. Не люблю такой мебели. В детстве у меня от нее выступала сыпь.

— Теперь понятно,— проворчал я,— почему ты пригласил меня именно после обеда. Приглашение на пустой желудок могло плохо кончиться.

Ясно, Каллен пожаловался. Не просто так он приехал прямо на космодром. Иначе Норин не заглянул бы «случайно» в информационный кабинет, где я развлекал разговорами умаявшегося техника.

Мы долго молчали. Я оторвался от кресла и подошел к окну. Лаборатории экспертной группы занимали верхний этаж главного корпуса. Норину достался угловой кабинет — единственная комната, заслуживавшая такого названия в длинном ряду лабораторий, уставленных аппаратурой, которая связывала Центр с узлами всемирной информационной сети. Сквозь голые ветки деревьев были хорошо видны его плоские постройки. Все огромное пространство Центра словно вымерло. Так было всегда. Из шестнадцати тысяч здесь, в городе, постоянно находилось не больше сорока человек. Остальные, как и персо-

нал фабрик, заводов, сотрудники учреждений, школ и научных организаций, работали дома, на островах или в горах, как кому удобнее и где, учитывая специфику собственного организма, человек мог максимально проявить себя и свои способности.

Море сулило хорошую погоду. Верхние этажи корпуса были еще затянуты облаками, но узкий краешек пляжа уже золотило солнце. Казалось, суша окантована отполированной медной полосой. Я подумал о Волинском парке с его заросшими тропками, озерками, о палатке среди высокой сухой травы на вытянутой косе, напоминающей брошенную в воду ветку... Были и другие места...

— Послушай, Данбор...

Я вздрогнул. Только Норин называл меня полным именем, которое я не любил. И этот чуждый ему тон, словно он снимал покрывало с памятника и произносил подobaющие в таком случае слова.

— Я хотел кое-что сказать о вас с Финой. То есть, о ...

— Послушай,— прервал я не оборачиваясь,— а не лучше ли мне уйти?

Он выпрямился и глубоко вздохнул.

— Считаешь, что говорить не о чем?

Я взял себя в руки. Так я не добьюсь ничего. Самое большее затяну эту словно выхваченную из дурной мелодрамы сцену.

— Хорошо,— сказал я.— Но условимся об одном. Если нам действительно есть о чем говорить, давай ограничимся живыми.

— Ничего другого я и не делаю,— быстро ответил он.— Несчастный случай с Финой...— он осекся. Наступила тишина.

Несчастный случай! Как это прозвучало! Авария автоматического дозатора дейтерия. Авария... Фина работала в центре пороговых мощностей Балтийского энергетического региона. Кто там не бывал, тому слово «авария» ни о чем не говорит...

— Ты прав,— сказал наконец Норин глухо, как будто преодолевая внутреннее сопротивление,— дело не в Фине. Я считаю, что ты из-за нее отвергаешь возможность реализовать извечную мечту человечества...

— ... о прозябании,— подсказал я.

Он замолчал. Некоторое время изучающе смотрел мне в глаза, потом неуверенно проворчал:

— Ну, допустим...

— Я ничего не отвергаю,— сказал я уже другим тоном.— Просто есть темы, которых мне не хотелось бы касаться, и если ты этого не понимаешь...

— Не будь ребенком, Данбор,— прервал он.— Дело не в том, приятно это или нет. Мне или тебе... Как понимать — не отвергаешь? — быстро спросил он.— Ты же только что...

— Только что,— подхватил я,— ты говорил не обо мне, а о Фине. А теперь, оказывается, есть кое-что еще. Ни больше, ни меньше — человечество. Ладно, поговорим о человечестве. Я сказал, что ничего не отвергаю, и продолжаю стоять на своем. Если понадобится, я приспособлюсь. Как ты правильно заметил, я не ребенок. Однако это не значит, что мне должно нравиться все, что нравится тебе. Или даже подавляющему большинству человечества... в чем я, честно говоря, сомневаюсь. Каждому приятно думать, что он никогда не умрет и по первому желанию сможет вновь встретиться с симпатичными ему людьми, пережить самые приятные минуты, испытать острые ощущения. Знать, что жизненные планы, намеченную работу и так далее не ограничивает время. Я — не исключение. Но если вы делаете что-то, имея в виду всех, все человечество — коль уж здесь произнесено это слово,— то научитесь смотреть дальше собственного носа. Я не отвергаю бессмертия. Просто я считаю, что мы не доросли до него, что время еще слишком прочно держится во всем, что мы предпринимаем, чувствуем, о чем мыслим. Что оно по-прежнему является связующим общественных отношений с их этикой, моралью, правом

и даже организацией. Что нам не следует очертя голову скопом кидаться в пучину возможностей, которые предоставляет современная биология, а надо делать это по-одиночке. Три года назад, когда я улетаю на Европу, никто еще не знал, как за это взяться. А ведь технические и технологические возможности существовали уже тогда. Кое-кто говорил, что в результате осуществления проекта мы превратимся в качественно иную расу, и нет такого человека, который сумел бы предвидеть, что из этого получится. К сожалению, никто даже не заикнулся, что все это может коснуться нашего поколения. А меж тем прошло три года и, милости просим, раз-два — и готово...

— Когда-то же,— прервал Норин,— должны были наступить эти три года. Могло быть и меньше...

— Но не сейчас,— возразил я.— Не знаю точно, что сделано за это время, но что бы это ни было — убежден, слишком рано говорить об успехе.

Норин задумчиво характерным движением пригладил волосы.

— Если я заговорил о Фине, то лишь потому, что хотел избавить тебя,— он замялся,— от сюрприза. Но если ты так ставишь вопрос... Хорошо. Принимаю. Ты прав в одном: наш разговор преждевременен. Ты говоришь, будто не знаешь, что сделано в твое отсутствие. Узнаешь. Просмотришь материалы, публикации, протоколы дискуссий. Есть популярные издания, фильмы, программы... Впрочем, ты наткнешься на них, даже если и не захочешь. В истории не было просветительной операции такого размаха. Потом примешь решение. Во всяком случае, мы сможем побеседовать уже на другом уровне. Я думаю,— он широко улыбнулся,— ты не лишишь меня такого удовольствия...

— Не лишу,— ответил я.

Он засмеялся. Ох, уж этот его смех... Он опять был самым собой.

— Тебе понадобится время,— сказал он, снова по-серьезнев.— И покой. У меня есть предложение. Ты по-

давал рапорт...— он замолчал и вопросительно взглянул на меня.

— Подавал,— подтвердил я.— Кто-то ведь должен об этом подумать. Чем раньше, тем лучше.

— Вот именно,— обрадовался он.

Я пожал плечами. Рапорт я составил недели три назад. Если они до сих пор ничего не предприняли, значит, считали, что спешка ни к чему. Стало быть, Норин просто хотел меня чем-нибудь занять. Чем угодно. Можно было бы обидеться. Но то, о чем я писал в рапорте, требовало объяснения.

Я контролировал пантоматы, разбросанные за пределами орбиты моей станции на границах Системы и даже за офелиями комет. Благодаря относительной близости источника излучения мне удалось уловить нечто такое, что заставляло задуматься. Примерно месяц назад центральный пантомат неожиданно, без видимой причины прекратил вращение вокруг оси. Как бы уснул. Но сон его был кажущимся. Потому что работал он, как и прежде. Только вот числовые символы, используемые им при общении с соседними компьютерами, отличались от тех, что он использовал для контактов с Землей. Изменения начинались, как правило, с девятого знака после запятой, но ведь дело было не в величине искажений.

Пантоматы представляют собой системы компьютеров, интегрирующих накопленные человечеством знания, их не случайно разместили на безопасном, как казалось, расстоянии от Земли. Для того чтобы они могли решать любую проблему с учетом всех возможных аналогий, временных условий и прогнозов, их память должна была содержать исчерпывающие сведения о земной цивилизации. Кроме того, будучи относительно изолированными самоорганизующимися системами, пантоматы обладали свободой маневра, которая предполагала при необходимости возможность неконтролируемой эволюции. Разумеется, в разумных пределах. Теоретически не отвергалась и вероятность некоторых неожиданностей. Тем не менее

конструкторы сочли нецелесообразным ограничивать эволюционные возможности пантоматов с помощью каких-либо блокирующих устройств — такого рода блокада неизбежно превратила бы пантоматы из системы, выполняющей концепционные функции, в обычные вспомогательные комплексы. А таковых достаточно было и на Земле. Поэтому тот факт, что один из крупнейших пантоматов преступил границу дозволенной самостоятельности, заслуживал пристального внимания.

— Это необходимо проверить,— сказал Норин.— В твоём распоряжении будет аппаратура Комплекса и все, что ты сочтешь необходимым. Кроме, разумеется, систем, поддерживающих связь со Вторым Поясом. Сам понимаешь...

Я понимал. Я понимал также, что это означает выключение тысячи секций, перепрограммирование информационных узлов. Никак не меньше месяца работы. И все только для того, чтобы поиграть с пантоматом в жмурки. И выиграть.

— Согласен,— сказал я.

— Подбери людей,— мягко проговорил Норин.— Ты не сможешь работать без отдыха. Спятишь окончательно,— улыбнулся он.— Кроме того, выиграешь во времени. Сможешь ознакомиться с предпосылками, которые мы имели в виду, приступая к операции «Вечность»...

В его голосе прозвучала ирония. С меня будто камень свалился. Норин снова был Норином. Я посмотрел на эмблему Комплекса у него на рукаве и вдруг меня осенило:

— Подходит,— сказал я с деланным равнодушием.— А там подам заявление о переводе. В Третий...

Он застыл. Несколько секунд смотрел на меня, потом заложил руки за спину, выпрямился и сказал:

— С тобой невозможно разговаривать. Во всяком случае, сегодня. Иди.

— Пойду,— ответил я, улынувшись.— Но от этого ничего не изменится.

В комплексе так называемого Третьего Пояса не было постоянного персонала. Туда направляли добровольцев из сотрудников первых двух. Это был внесистемный пояс. Давно шли разговоры об экспедициях за пределы орбиты Трансплутона, возникла даже теория «планет-заменителей», но, хотя всем было ясно, что человек рано или поздно доберется и до звезд, никто особенно не спешил. В контакт с иной галактической цивилизацией, тот Контакт, который превратился в религию прошлых столетий, не играли теперь даже дети. Земля высылала патрули, испытывала различные комбинации ракетных двигателей, исследовала влияние сверхсветовых скоростей на организм человека — основательно, не спеша. Тех, кто проводил эксперименты на многочисленных базах Третьего Пояса, считали чуть ли не смертниками. Вот это мне подходит. И как я раньше не подумал!

— Кстати, о Фине,— неожиданно сказал Норин, когда я уже стоял в дверях.— Загляни ко мне, как только закончишь там, на Тихом. Я все-таки хотел бы...

— До свидания,— процедил я сквозь зубы и закрыл за собой дверь.

Уже шагая по коридору, я подумал, что Норин намеревался сказать что-то другое. Тем более следовало закончить беседу, пока не поздно. Я знал одно: много воды утечет, прежде чем они снова увидят меня здесь.

Я работал пять недель и ни разу не высунул носа за пределы белого купола, торчавшего, словно гигантский айсберг, из вод Тихого океана неподалеку от островов Гилберта. Главная диспетчерская Центра всемирной сети связи — так это называлось. Я не знал, спокойно ли море и льет ли дождь. Отпустил бороду. С теми несчастными, на которых пал мой выбор, перекинулся, может, десятком фраз.

На тридцать шестой день работы в три часа дня по местному времени холл опустел. Остановились катушки с магнитолентами. Замолкли реле. Я остался один и впервые за много дней услышал доносившийся снаружи шум

ветра. Откинул спинку кресла почти горизонтально и на несколько секунд закрыл глаза. Потом еще раз взглянул на прозрачную панель ближайшего пульта. Там виднелась узкая полоска пленки. Значит, конец.

Одна-единственная формула. То, что, вообще говоря, было известно с самого начала. Искажения возникали на вспомогательных выходах центрального пантомата. Земные и орбитальные узлы связи, станции трансформации, системы накопления были здесь ни при чем.

Я подготовил краткий комментарий и продиктовал рапорт. Все. Теперь действительно конец.

Медленно, не торопясь, я стал одну за другой нажимать клавиши, пока не погасли экраны и огни на пультах. Потом направился к стене, источавшей слабый золотисто-зеленый свет. Там, за низкой подковой арки размещались жилые отсеки. Миновав крошечную кабину, где лежал мой ранец и где в течение этих пяти недель мне иногда доводилось спать, я прошел по коридору и открыл люк. Светило солнце. Далекий горизонт заволокли полинявшие тучи. Ветер стих, от воды тянуло теплом, парило, как в оранжерее.

По стальной спиральной галерейке я поднялся до середины купола. Потянуло в сон. Я сел, свесив ноги с края площадки и опершись локтями о поручень, и тупо вперился в горизонт.

Нет, я не напрасно проторчал здесь пять недель. Правда, в просмотренных материалах не оказалось ничего, что подтверждало бы мои сомнения относительно операции «Вечность», но и ответов на свои вопросы я тоже не нашел.

Победили сторонники генофоров. Усовершенствованная технология позволила довести размеры аппаратов до величины консервной банки. Однако и в таком виде они все еще были непомерно велики, если учесть, что в одной клетке человеческого организма содержится около миллиона генов, составленных из трех миллиардов нуклеиновых оснований. Я в который раз прочел, что

набор генов имеет решающее значение при установлении свойств организма и что в них закодированы все сведения о синтезе белков, охватывающем тысячи различных одновременно протекающих реакций. Впрочем, размер аппаратуры практического значения не имел, поскольку было решено перейти от централизованного регионального хранения генофоров к индивидуальному, по месту жительства. Принцип процедуры остался прежним, известным мне еще до отлета на Европу. Каждый человек получал собственную копию в эмбриональном состоянии. С полной записью личности, то есть не только генетического кода, но и приобретенных свойств со всей спецификой развитого организма. Если с оригиналом препарированного, заключенного в генофор плода случалась неприятность, например он падал с сорокового этажа, взрывался на Юпитере или, наконец, умирал от старости, в дом покойного являлась техническая группа, что-то вроде былой скорой помощи, и забирала генофор. В специальном аппарате на генетическую матрицу накладывали последнюю по времени запись личности, затем все помещали в ячейку инкубатора, оттуда месяц спустя вылезал готовый человек, точь-в-точь такой, каким был до несчастного случая. Ускоренный процесс индивидуального развития протекал, разумеется, под неусыпным контролем систем стимуляторов, следящих за тем, чтобы все происходило в полном соответствии с программой. Пройдя четырнадцать скрупулезно спланированных этапов, «копия» обретала полное сознание и все то, что дает человеку чувство непрерывности существования во времени.

Здесь напрашивалось первое сомнение. Записи, естественно, необходимо систематически дополнять, если человек не хочет после несчастного случая вылезти из инкубатора в той стадии развития, в которой он находился, скажем, в одиннадцатилетнем возрасте, и попасть прямо в объятия учительницы математики.

Из протоколов следовало, что такая возможность су-

ществовала. В высказываниях нет-нет да и проскальзывало опасение, что-де могут найтись любители пропустить очередной сеанс записи личности, дабы возродиться порядком омоложенными. А ведь человек, воспроизведенный в ходе ускоренного развития, не помнил, ибо помнить не мог, что происходило с оригиналом между последней записью — с содержащимися в ней знаниями, эмоциями, опытом — и смертью. В случае если бы «омоложение» из-за неявки на очередной сеанс стало массовым, социальный урон, слагающийся из суммы «потерянных» для человечества знаний, опыта, мудрости отдельных индивидуумов, мог достигнуть тревожных размеров. С точки зрения общественных интересов могло оказаться, что игра в вечность стала бы, выражаясь языком экономистов, нерентабельной.

В отчетах о заседаниях, конференциях, в разного рода публикациях я не встретил ни одного разумного предложения относительно путей предотвращения зла. Предполагалось, что проблема найдет полное освещение в разрабатываемом кодексе, положениям которого все незамедлительно и безоговорочно подчинятся. Но тогда возникал другой вопрос, столь же, если не более, тревожный. Коли все без исключения в точно установленные сроки будут являться на пункты записи, то через некоторое время планету будут заселять одни двухсотлетние старцы. В самом деле, ведь копия будет моложе оригинала всего лишь на несколько месяцев. Жить же она будет дольше, так как начнет жизнь уже в преклонном возрасте. А ведь разум человеческий, сохраняя полную ясность в течение периода, о котором наши предки не могли даже мечтать, тоже подвластен процессам — назовем это своим именем — дряхления. Значит — грядет общество почтенных старцев?

С этим авторы проекта управились вроде бы достаточно удачно. Было принято вполне конкретное решение — установлен возрастной предел, по достижении которого дозапись личности прекращалась. Так, человек, до-

живший до двухсот тридцати лет, мог возродиться в лучшем случае стапятидесятилетним. Все, что он испытал позже, приходилось списать в пассив. Не думаю, чтобы кто-нибудь об этом искренне сожалел.

Совершенно неясной, как, впрочем, я и предполагал, оставалась проблема новых поколений. В каждом тексте, каждом сообщении, да что там, в каждом докладики или выступлении подчеркивалось, что проблема рождения и воспитания детей имеет первостепенное значение для будущего мира. И если операция «Вечность» приведет к перебоям в генерации новых поколений, то уже одного этого вполне достаточно, чтобы отказаться от всей затеи целиком и полностью. Действительно, зачем нужен приток свежей крови, коли отсутствуют смены поколений? Кто-то подсчитал, что при современной организации общественной жизни Земля может безболезненно прокормить новые поколения, не отказываясь при этом от уже живущих, в течение трехсот пятидесяти лет. А потом? Казалось, современники забыли, что от ответа на этот вопрос будут зависеть не судьбы их праправнуков, а их собственная судьба. Правда, между строк просматривались намеки на то, что необходимо-де по-иному подходить к планированию семьи, что человечество достигло того уровня развития, при котором инстинкты единиц уже не могут быть определяющими. Однако намеки были столь робкими и завуалированными, что их следовало понимать скорее как проявление беспокойства, нежели продуманную концепцию. Наконец, к чему могло привести это «разумное планирование»? Кому и когда давалось бы право иметь детей? Кто и на основании чего предоставлял бы такое право?

Особенно врезался мне в память один фильм рекламного характера, который повторялся дважды в день по телеголу: после обеда и на сон грядущий.

В углу комнаты возникал улыбающийся молодой мужчина с мягкими чертами лица и сообщал, что сейчас расскажет о себе. Оказывается, совсем недавно он имел лишь

самое элементарное представление о биологии. Так, ему было известно, что после того, как человеку удалось осуществить синтез нуклеиновых кислот, он смог проникнуть в святая святых — генетический код. Это, в свою очередь, позволило изменять процессы наследственности, предупреждать болезни и нарушения метаболизма, а также образование в организме нежелательных белков. Одновременно гигантскими шагами продвигались эксперименты над собственно генами — участками молекул (здесь красавчик беззастенчиво хватался за лежавший перед ним текст) дезоксирибонуклеиновых кислот, содержащими набор информации, необходимой для передачи потомкам индивидуальных особенностей предка. Научились стирать целые участки генетических матриц, преобразовывать, пополнять коды. Многолетние опыты по ускорению процессов развития организма путем непосредственного воздействия на белки закончились успехом. Тогда-то два молодых бионика из института психологии в Мостаре и опубликовали дневники, начинавшиеся словами, — красавчик становился серьезным и с выражением читал: «Стоило только человеку подумать о бренности бытия, как он тут же возжелал бессмертия. Эта мечта сегодня может стать действительностью...»

Я помнил эти дневники. Тогда мне было четырнадцать. Лим, мой брат, вернулся домой с подбитым глазом, пояснив, что хотел проверить, бессмертен ли его дружок по школе, крупный дока в биологии.

Рассказчик, продолжая дарить улыбки, сообщал, что появился на свет как раз в день издания дневников. Жизнь его шла нормальным образом. Лучшие в мире родители, школа, институт, стажировка в Центральном управлении полеводства в Сахаре. Женился на рижанке. Они вместе работали, через два года после свадьбы у них родился сын.

Тут красавчик уменьшался в размерах и перед зрителем вырастала вилла в окружении пиний. На заднем плане — горы, слева — озеро. У причала покачивается

яхта. Перед домом, в тени, меж ярких креслиц резвится счастливое семейство. Казалось, они всю жизнь ничем иным и не занимаются. Спустя некоторое время хозяин дома встает и, демонстративно взглянув на стилизованные часы, украшающие фасад виллы, голосом, предвещающим катастрофу, сообщает, что ему пора на очередную инспекцию гидропонических полей или чего-то там еще, а жена тоже вот-вот запрется в домашней лаборатории.

Действительно, стоило мужу покинуть экран, как мальчика отвели в виллу, а мать семейства скрылась в пристройке, напоминавшей небольшой планетарий. Прошло несколько секунд, понадобившихся композитору на то, чтобы накачать зрителей предчувствием надвигающейся беды, и из пристройки вырвался столб огня.

Рассказчик появился снова. Он был серьезен. Всего лишь серьезен. Оказывается, его благоверная перепутала склянки и не смогла остановить начавшуюся реакцию. Щепень и кучка пепла — вот все, что осталось от лаборатории. Трагедия!

Трагедия? Ничего подобного! Конечно, когда-то, в седой древности это действительно было трагедией. А сейчас? Ну, разумеется, некоторое сожаление по поводу мгновенных страданий супруги. Однако никто, будучи в здравом уме, не впадает из-за этого в отчаяние. Ибо...

Экран переносил зрителей в дом. Появилась то ли кладовая, то ли чуланчик. Бронированные двери полуоткрыты. В глубине — три небольших цилиндрика и столько же ящичков покрупнее, снабженных перфорированными этикетками.

«Генофоры!» — патетически восклицал красавчик. Вот что подчинило человеку время! Вот что изгнало из жизни призрак смерти! Трагедия превратилась в небольшую неприятность, потому что родители перепутавшей склянки жены воспользовались достижением эпохи и своевременно подготовили дубликат дочери.

Последнее, конечно, было очевидной ложью, так как

генофоры вошли в обиход лишь в последние месяцы... Но не в этом дело.

Тут начиналась наукообразная лекция, сопровождаемая иллюстрацией камеры возрождения, где яйцеклетка, взятая от матери, соединялась с семенем отца.

Перед моим отлетом много писалось о синтетических матках, созданных, как тогда говорили, на основе промежуточных моделей. Видно, с тех пор кое-что изменилось. Теперь вторично выращиваемый человек получал что-то непосредственно от своих родителей.

Акт второй операции «Вечность» в изложении лучезарно улыбающегося рассказчика разыгрался непосредственно вслед за первым. Еще до истечения тридцати восьми часов, то есть до первого деления, клетку помещали в генофор. Здесь на слившиеся данные тестя и тещи накладывали программу выращивания зрелого человека. Программа, разумеется, была списана с дочки, то бишь жены красавчика, не пропустившей ни одного сеанса записи личности.

Сама запись хранилась в тех самых «ящичках», что стояли в чулане рядом с генофорами. Обновление записи осуществлялось в два этапа. На первом пополняли субъективные, точнее, эмоциональные факторы, для чего, в частности, использовалась система универсальных тестов. Система была оформлена в виде анкеты, и лишь после того, как я впервые просмотрел этот рекламный трюк, до меня дошло, в чем был смысл моей «беседы» с техником, когда я лежал, засунув голову в паутину проводов, моделирующих информативные цепи мозга.

По прошествии нескольких недель человек вновь обращался в специальную лабораторию, где осуществлялась вторая запись. Набор тестов принципиально не отличался от предыдущего, гораздо важнее был сам факт перемещения во времени, благодаря чему запись становилась как бы стереотемпоральной. Только теперь хранившееся в ящичках статическое сознание обретало свойство процесса, каковым оно является в действительности, и в та-

ком виде дополняло модель, заданную препарированной ранее генетической информацией.

Храня в чулане зародыш второй жены, вернее, дубликат первой, не перестававший сладко улыбаться муж уверенно смотрел в будущее. Катастрофу он воспринял как досадный эпизод и тут же отправился за генофорами. Биотехники из «скорой помощи» переправили стеклянный цилиндр, содержащий плазму с оттиском сознания неловкой экспериментаторши, в ближайший «пункт по возрождению личностей» — станцию реанимации, как ее называли. Там, пояснил красавчик, под определенным воздействием свершался ускоренный процесс развития личности. Ускоренный, но отнюдь не мгновенный. Готовая жена выходила из расписанной веселенькими цветочками аппаратуры примерно через три недели.

Рассказчик, источая сияние, сообщал, что последняя стадия операции «Вечность» так и осталась бы в теории, если бы стимулирующую аппаратуру программировали люди. Но это делали могучие системы компьютеров, производившие миллиарды многоэтажных построений, чтобы заставить аппаратуру действовать в абсолютном соответствии с пожеланиями заказчиков. Сие означало также управление процессом личного развития, при котором весь путь зародыша — от генетической информации, через синтез сознания и до выхода готового продукта на свет божий — был абсолютно точным воспроизведением жизненного пути, пройденного в реальности оригиналом.

Три недели ожидания, казалось, не особенно тяготили красавчика. Он по-прежнему возился с чадом, выезжал на инспекции, даже отремонтировал пристройку, чтобы жене снова было где перепутывать склянки. Я заметил только, что часы, украшавшие фасад виллы, показывают тот же самый час. Вероятно, остановились в момент катастрофы. А может, помреж прохлопал.

Все кончалось, как и следовало ожидать, умильной сценой встречи восставшей из пепла хозяйки дома. Светило солнце, на клумбах благоухали розы, над озером

плыли пушистые облака. Мальчик сказал: «Мама, если ты снова куда-нибудь поедешь, возьми меня с собой», — что счастливейший из супругов сопровождал блеском рекламно надраенных зубов.

Я проснулся от холода. Шея занемела. Прошло несколько минут, прежде чем я смог оторваться от поручня и выпрямить спину.

Граница между океаном и небом стерлась. Было почти темно. Только внизу, на волнах, мигали отраженные лампочки, светившие над галерейкой. Но на востоке небо уже начинало розоветь. Я проспал целую ночь.

Медленно, словно поднимал сосуд из тончайшего стекла, я встал и, держась за поручни, направился к люку. Было четыре с минутами. Через два часа за мной прилетят. Здесь мне уже делать нечего.

Впереди меня ожидал еще один сеанс записи. Если верить тому, что я прочел, ждать осталось недолго. Месяц давно прошел.

Мне было тошно даже думать об этом. Я с трудом открыл дверь и уже в коридоре обернулся, чтобы взглянуть на море. Узкая полоса тумана на востоке отделилась от горизонта и ползла в мою сторону, словно подталкиваемая лучами солнца. Через несколько секунд серая дымка растаяла, и вдруг край купола с галерейкой и место, на котором я стоял, окрасились сочным кармином. Было в этом что-то тревожное. Меня пробрала дрожь. Я быстро закрыл дверь и направился в кабину, чтобы подготовиться к отъезду.

3 Звонок. Я машинально нажал клавишу. Отец.

— Узнал, что ты вернулся. Почему не пришел?

Я молчал. Что я мог сказать? Впрочем, он и не ждал ответа.

— Говорят, тебе уже тесно в Солнечной системе? Это верно?

Голос отца звучал глухо. Он улыбался, но во взгляде проскальзывало напряжение.

— Вроде того,— бросил я.— Мама знает?

Он некоторое время смотрел на меня, потом покачал головой:

— Я с нею не говорил. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь...

— Каждый что-нибудь да делает,— отозвался я.— Стоит ли говорить об этом? Да еще сейчас, когда перед нами вечность? И родной сын когда-нибудь да надоест. Самая краткая разлука будет на вес золота...

Отец принял это без улыбки.

— Мне говорил Норин...— он замолчал и взглянул куда-то за пределы экрана.

Да, родителям я пока не надоел.

— Вечером приду,— пообещал я. Он вздохнул, переждал несколько секунд и кивнул.

— Прежде загляни к родителям Фины. Они просили сказать тебе...

— Хорошо,— горло сдавило спазма. Отец просительно улыбнулся и выключил связь.

Времени у меня было предостаточно. Я кружил по давно знакомым зеленым закоулкам, взбирался на эстакады, по которым никто никогда не ходил, останавливался у павильонов, но города для меня не существовало. Дома, переходы, витрины — все это нисколько не изменилось за три года моего отсутствия. Я задержался у спуска на пристань, где знал каждую доску и каждый сантиметр дна. Какое-то судно выходило в море. Лиц не различишь. Кто-то махал с палубы рукой.

Восточный район. Трудно сказать, почему он считался визитной карточкой города. Он был таким же, как и остальные, разве что немного более зеленым. Отгороженные друг от друга деревьями дома словно рассыпались посреди парка. Природа опередила здесь человека, возводящего современные, не терпящие плоскостей поселения. Уступы разноцветных крыш на крутых склонах, пастельных тонов дома взбирались один выше другого,

их венчали фантастические антенны. Не по всякой из здешних крутых улочек смог бы взобраться даже портер.

Дом Фины стоял высоко. Пешком я приходил сюда один-единственный раз, много лет назад. Когда? Я оставился, вспоминая.

Нет, тех лет уже не вернуть. Улочка, снежно-белая стена в глубине за зеленой шпалерой деревьев, кактусы над бассейном — все это потеряло свою экзотичность и прелесть. Теперь дом был мертв, от него так и веяло холодом.

На центральной террасе мелькнуло яркое пятно. Человек, стоявший у балюстрады, скрылся внутри дома. Послышались голоса.

Мне вдруг почудилось, будто это все мираж. Что вне корабля, без скафандра, лишенный привычной точки опоры, я повис в пустоте.

Ноги стали ватными. Сухие губы были, казалось, покрыты слоем соли. Я облизнул их. Больно. Тихий смех, долетевший от дома, заглушил пульс в висках.

На террасе появилось еще одно пятно. На этот раз серое. Все верно. Сена, мать Фины, всегда носила серые платья. У нее была фигура двадцатилетней девушки. Муж не упускал случая заметить, что у него две дочери. Сейчас он стоял рядом. Губы Сены шевельнулись. Они оба улыбались. Я понимал, что происходит нечто такое, что требует от меня сосредоточенности. Чего они ожидают?

Снова прозвучал смех. Ближе. Совсем близко. Их лица выражали интерес, радостный, доброжелательный, но именно интерес, близкий к любопытству.

Я почувствовал тепло. Она стояла рядом и касалась кончиками пальцев моей груди. Ее дыхание согревало мне губы. Я открыл рот, силясь что-нибудь сказать, но издал только какой-то странный нечленораздельный звук и тут же пришел в себя. Лица, аллея, дом, плиты дорожки, ветви кустов — все сделалось вдруг неестественно резко очерченным. Я понял... Я знал, все это — краски,

рисунки тени, последний камешек на тропинке — не забуду до конца дней своих.

Я резко попятился. Ноги снова стали послушными. Ее рука, несуразно увеличенная, повисла в воздухе.

— Ты меня не поцелуешь?

Ее голос. Всегда тихий. Я любил этот голос. Я люблю его и сейчас. Но только у той, настоящей.

— Повременю, — сказал я неожиданно для самого себя.

— Повременишь?..

По ее тону чувствовалось, что она еще не успела освоиться со случившимся. Но уже поняла. Глаза у нее погасли.

— ... пока подрастешь! — крикнул я, резко повернулся и выбежал за калитку. Не знаю, каким образом я опять очутился у причала. Повалился на светлые, будто только отполированные доски и замер.

Лежал я долго. Неожиданно в памяти всплыл улыбающийся красавчик из телефильма. Я рассмеялся — будто кто-то вытаскивал лист из-под кучи железного лома. А чем я лучше? Разыграл сцену из рекламы, отснятой по заказу конкурентов. Впрочем, нет. Разница была. Может, небольшая, но вполне ощутимая. Красавчик был фикцией, а я — нет. Тот старался сыграть свою роль как можно лучше, я же ничего не играл, хотя, может, и должен был. Я подумал о Фине. Ее не было. То, что произошло несколько минут назад, заглушило даже воспоминания. У меня отняли даже это. Даже Фину...

— Но ты же не был отрезан от мира! — голос Норина стал почти писклявым. Он воздел руки, словно древний оратор. — Послушай! Ты же знал все или почти все, прежде чем полетел туда! Мы предупредили Патта, о чем же вы говорили, когда он сменял тебя на два года раньше срока, черт побери?! А Каллен? Хотя и он тоже ничего не понимал. А может, не хотел понять? Не удивительно. А здесь? Здесь, в этом доме... Ты тоже ничего не понял?

Ничего? Отец? Люди, с которыми полтора месяца просидел на Тихом?

— Мы не разговаривали,— буркнул я.— Мы работали.

— А я-то думал,— взорвался он,— рыбок ловили! У тебя что — не было времени сказать «доброе утро»? Ты не прочитал ни одной странички? Не смотрел ни одной передачи? Герой космоса возвращается и падает в обморок, увидев, что происходящее касается и его!

— У тебя все? — тихо спросил я.

Он зло взглянул на меня, но промолчал.

— Не так давно,— выдавил я,— один из вас собирался избавить меня от сюрпризов. Не получилось. Ты в этом не виноват. Благодарю... за благие намерения.

На лбу выступили капельки пота. Я хотел смахнуть их, но не мог шевельнуть рукой. Норин? Он делал, что мог. А что он мог в такой ситуации?.. Что мог я сам?

Если подумать, я должен был знать, зачем иду. И я знал, знал все время, только прикидывался, будто все, касающееся Фины, есть и останется во мне и никому нет до этого дела. Объяснять ему, что после того, как Каллен сказал о несчастном случае, я ни разу, ни на мгновение не допускал мысли, что это не конец? А ведь именно так и было. Даже тот кошмарный фильм, как будто предназначенный специально для меня, ни о чем мне не сказал.

— Ты вел себя...— неожиданно проговорил Норин, словно вспомнил о чем-то важном,— как...— он осекся, мгновение подыскивал нужные слова, потом воскликнул: — Ты подумал о ее родителях?!

Я вздрогнул. Подумал ли? Если бы я вообще хоть о чем-нибудь думал... По крайней мере, пока не почувствовал ее прикосновения.

— Допустим,— с трудом выговорил я,— подумал. И только о них. Им все было безразлично. Кроме ее радости, сознания, что она живет и через секунду встретится со мной...

Голос мне отказал. Я чувствовал себя униженным собственными словами. Но сдержаться не мог. Их лица... Они радовались тому, что я вернулся, что ее успели... И сверх всего — интерес: как ребенок прореагирует на принесенную игрушку. Кто должен был быть этой игрушкой? Я? Нет. В том-то и дело, что нет. Так кто же из нас?

Родители... Они готовы были заложить душу дьяволу, лишь бы он вернул им дочь...

Я подошел к стене и уперся лбом в холодный пластик. Довольно. Дальше некуда. Скажу ему, зачем пришел, и пропади он пропадом со своим удивлением — истинным или притворным, — самоуверенностью и сочувствием к родителям Фины. А дальше что? Неважно. Сейчас это действительно не имело значения.

Я оторвался от стены и глубоко вздохнул. Норину можно было посочувствовать. Но я не просил, чтобы он со мною нянчился.

— Покончим с этим, — сказал я каким-то чужим голосом. Казалось, кто-то выдавливает из меня слова, выбирая те, что поближе. — Вероятно, я должен перед тобой извиниться, — я сделал шаг в его сторону, — но с этим мы немножко обождем. Короче говоря, любого, кто придет ко мне и ляпнет что-нибудь относительно «прозябания» и вечности, я выкину в окно. Я могу прожить без Центра, без полетов, но превращать себя в тысячелетний баобаб не намерен. Я считаю, что весь ваш фокус с вечностью прямиком ведет к превращению людей в абсолютно изолированные системы. Это, знаешь ли, такие штуки, которые не могут или не желают воспринимать информацию извне. Благодарю покорно. Пусть прозябают в своем вожденном бессмертии те, кому это доставляет удовольствие. Без меня.

— Я немного разбираюсь в системах, — спокойно сказал Норин, — и не только в абсолютно изолированных. Не паясничай!

— Все равно, — сказал я. — Тем хуже. Бессмертие! И долго вы намереваетесь выдержать? Тысячу лет? Мил-

лиард? И кто, собственно? Либо мы лишимся всего, что придавало нашей жизни хоть какой-то смысл, либо каждый вынужден будет создавать для себя хранилища памяти, в тысячи раз более емкие, нежели все пантоматы вместе взятые. Зачем? Ты хотя бы на мгновение задумывался?

Он улыбнулся. Видно, решил, что худшее уже позади. Ну что ж, он был прав. Но это была его правда. И только его.

— Из интереса,— коротко бросил он.— Этого мало?

— Кому как,— ответил я.— Мне уже не интересно. Кстати, второй раз я с техником беседовать не стану. Можете делать что угодно, но этого ящичка в нашем доме не будет. Все.

Он посерьезнел, взглянул на меня, насупив брови, и глухо спросил:

— Это твое последнее слово?

Я кивнул.

Уходящая вдаль, как бы нехотя сужающаяся лента тахострады воочию опровергала постулат о параллельных прямых. Там, где обочины шоссе должны были пересечься, их срезала линия горизонта. Именно туда, словно в погоне за светом собственных фар, я вел машину. Только мне некого и нечего было догонять. Портер грузно покачивался, двигатель работал в полную силу, я входил в виражи на такой скорости, что меня вдавливало в стенки. Стрелка спидометра застыла на последней — красной — отметке, на щитке вспыхивали и гасли огоньки, но все это не имело для меня никакого значения. Я то перелетал по виадукам фиорды, то погружался во тьму туннелей, то надо мной нависали бурые гранитные стены, то я несся по открытому пространству, залитому солнцем. Поселки оставались в стороне, тахострада проходила над соединявшими их цветными лентами эскалаторов и многополосными шоссе, по которым двигались большие тяжелые машины.

Знакомый дорожный знак. Я, не раздумывая, взял руль на себя и, не снижая скорости, свернул вправо. Портер затрясся, казалось, теперь-то он обязательно вылетит с дороги. Но, разумеется, этого не случилось. Я снова вышел на прямую, дорога уходила вверх, увидев знакомый съезд, я притормозил и свернул. Километра через полтора боковая дорога уперлась в небольшое каменное плато, отгороженное от пропасти барьером. В углу, зажатый между замшелыми каменными глыбами, стоял розовый домик. Нигде ни души. Я выключил двигатель, оставил портер посреди дороги, подошел к обрыву, не раздумывая, перелез через барьер и оказался на узком каменном выступе над пропастью. Надо мной отвесно вздымалась двухметровая каменная стена. В тысяче метров ниже темнела вода фиорда. Правее — игрушечный макет порта и море, словно на обложке детского альбома. Вокруг — застывшие цепи гор.

Я вздохнул. Здесь состоялось мое знакомство с горами. Мне было двенадцать лет. Потом я бывал тут часто. Пока не пришла пора дальних странствий.

Приезжал я сюда и с Финой. Трассу всегда выбирала она — вставала, морщила лоб, долго вглядывалась в какую-нибудь вершину или перевал, потом молча направлялась прямо к намеченному пункту. Мои права начинались только на стене. Тогда она говорила: «Ну, главное позади. Остальное зависит от тебя...»

В ушах звучал ее голос. Я улыбнулся. Мне казалось, что от чувств, с которыми я не в силах был совладать еще сегодня утром, не осталось и следа. Я замер, боясь, как бы эта мысль не разрушила тонкую пока пленочку, затянувшую за эти несколько часов растревоженную утренними событиями рану.

Я просидел еще пять, может, десять минут, потом с трудом встал и оперся спиной о скалу. Сверху скатился камешек. Я понял, что мое одиночество нарушено, нехотя поднял голову и увидел пожилого мужчину. Черная с проседью борода, из-под странной круглой шляпы выбивают-

ся длинные волосы. Мы смотрели друг на друга, он — отвесно вниз, я — вертикально вверх, запрокинув голову. У меня заныла шея, но я не в силах был оторвать взгляд от его лица.

— Будешь прыгать? — проговорил наконец старик.

Он не шутил. И не предупреждал. Так можно говорить с самим собою, когда в радиусе многих километров нет ни души.

— Пока не знаю, — сознался я. — Любопытствуешь взглянуть?

— Можно бы... — проворчал он.

Я отвернулся и, хватаясь за скользкие скобы в камне, взобрался наверх. Бородач посторонился, но все еще продолжал смотреть вниз, будто рассчитывал увидеть, как я там парю, раскинув руки. Я встал рядом с ним. На туриста он не походил. Скорее на героя фильма из жизни древних пастухов.

— Еще не все потеряно, — сказал я наконец. — Может, кто-нибудь придет...

— Нет... — ответил он не сразу.

Он постоял еще немного, потом, не удостоив меня взглядом, с трудом выпрямился. Ловким движением плеча поправил старый, полупустой рюкзак и направился было к домику, но неожиданно остановился, словно вспомнив что-то, повернулся ко мне боком и спросил:

— Тебе что-нибудь надо?

— Не знаю, — ответил я бездумно. Он кивнул, будто именно этого и ожидал. Видимо, уже смирился с мыслью, что людям от него ничего не нужно. Либо они не знают, чего хотят. Он обошел портер и скрылся в домике. Оттуда донесся приглушенный стук, словно кто-то скинул ботинки на деревянный пол, и воцарилась тишина. Я переждал немного, потом оттолкнулся от барьера и, не соображая еще зачем, направился к домику. Это был типичный горный приют, где можно напиться молока, достать мозольный пластырь и связаться, допустим, с базой на Ганимеде.

— Ну? — услышал я, как только приоткрыл дверь. — Придумал?

Внутри было темно. Окна выходили на север. Кроме небольшой стойки и полка с продуктами мне удалось высмотреть лишь одно-единственное кресло.

— Воды не найдется? — спросил я.

В темноте послышалось тихое ворчание. Потом над стойкой загорелся желтый свет. Старик поднялся, порывшись в посуде, подал мне большую прозрачную кружку. Вода пахла дождем.

Я выпил, глубоко вздохнул и наугад протянул руку с пустой кружкой. Старик опять заворчал, бросил кружку в угол и вернулся в кресло.

— Вы, небось, боялись, что я упаду? — начал я, лишь бы что-то сказать.

Молчание. Надо идти. Оставить его в покое. Но ведь он сам спрашивал, не надо ли мне чего. Я мог ответить, что мне нужен именно он.

— Откуда вы? — спросил я. — Местный?

Он долго раздумывал, прежде чем ответить.

— Местный и не местный. С гор.

— Водили экскурсии?

— Водил. Ты меня знаешь?

— Я ходил один. Вернее, с девушкой. Давно.

— Давно, — неожиданно подтвердил он. — Теперь уже никто не ходит. Разве что полюбоваться фиордом... Но в горы не ходят, — повторил он. В его голосе не было сожаления. Он просто отметил факт.

— Как не ходят? — удивился я. — Почему?

Он не пошевелился.

— Потому что нельзя убиться... — проворчал он.

Это объясняло все. Нельзя убиться...

И неожиданно меня осенило. Горы — это испытание. Одно из тех, какие имеют смысл лишь тогда, когда не известно, чем все может кончиться. А теперь это испытание можно повторять до бесконечности. Даже не потому, что невозможно убиться. Перестало существовать огра-

ничество во времени. Никто не идет в горы, самое большее — приезжают посмотреть отсюда на залив.

Лучшего приговора операции «Вечность» не придумаешь. А ведь горы — всего лишь один из возможных вариантов. Можно привести их тысячи. Здорово нам удружили. Сами не представляют, как здорово...

— Вы не можете умереть, верно? — спросил я, еще не успев как следует подумать.

Он рассмеялся. Вряд ли такое случалось с ним чаще, чем раз в десять лет.

— Я? — пробормотал он наконец. — Нет, сынок. Я слишком стар. Ни папочки, ни мамочки... Я свое прожил... Ты — другое дело. Может, когда-нибудь вернешься сюда. Я не могу умереть, надо же... — он опять рассмеялся. — Отлично ты это придумал, сынок...

— Спасибо за воду, — сказал я, пятясь к выходу.

— Не за что, — в голосе старика по-прежнему звучало веселье. — Куда поедешь теперь?

Я пожал плечами.

— Никуда. Переночую здесь.

Он принял это как должное.

— Ну, тогда спокойной ночи.

Ледник на одной из отдаленных вершин вспыхнул. Несколько минут лучи солнца словно просвечивали сквозь куполообразную вершину горы, потом сразу наступила тьма. Я перешел на западный край площадки и постоял там, провожая взглядом сходявшие с поверхности моря краски. Чувствовал я себя странно. Шум крови в висках отгораживал меня от звуков вокруг, отголосков далекого порта, усыпляющих поселки, и тихого поскрипывания кресла в нескольких метрах отсюда. Снова вспомнились слова старика: «Но в горы не ходят».

Разумеется. Они должны были это предвидеть. Но, вероятно, решили, что игра все же стоит свеч. А если нет? Если они приняли все на веру, опираясь на мнение энтузиастов, подтвержденное не аргументами, а авторитета-

ми? Пускай, это их дело. Что до меня, то я не позволю лишиться себя такой штуки, как время.

Мне стало зябко. Холодало быстро, как всегда на такой высоте. Потирая руки, я спустился к портеру. Разложил кресло, поднял стекла и устроился поудобнее. Некоторое время бездумно глядел в пластиковую обивку салона, потом уснул.

Разбудило меня покачивание. Я открыл глаза и увидел прильнувшее к стеклу лицо старика. В левой руке он держал кружку, а правой за ручку покачивал машину.

Я переждал, пока спинка кресла поднимется, и отворил дверцу. Взял кружку и, обжигаясь горячим молоком, осмотрелся. Солнце стояло высоко. Воздух был насыщен влагой.

— Хорошо спалось? — старик показал бородой на крышу портера.

Я допил молоко и вернул кружку.

— Как везде, — сказал я. — Благодарю.

— В горы идешь? — спросил он.

Я задумался. У меня не было никаких планов. В горы я мог пойти с таким же успехом, как, например, поиграть в теннис. Либо полететь в Антарктиду.

Я вылез из машины, потянулся, пригладил волосы. Старик отступил на несколько шагов. В глазах у него таилась улыбка.

И тут совершенно беспричинно меня охватило бешенство. Они позволили превратить себя в бессмертные деревья и еще недовольны, когда кто-то думает иначе! Я им скажу. Мне есть что им сказать!

Я стиснул челюсти. На лице старика отразилось удивление, потом что-то вроде обиды, наконец, опасение. Он отошел на несколько шагов и протянул вперед руку с кружкой, словно хотел заслониться от меня. Мне это было безразлично. Я проворчал что-то, вскочил в машину и изо всех сил хлопнул дверцей. Звук получился такой, будто гроыхнула куча пустых консервных банок. Я за-

пустил двигатель и рванул с места. Обернулся я всего лишь раз. Старый проводник стоял неподвижно, все еще держа в вытянутой руке пустую кружку.

Треть комнаты занимали актеры в исторических костюмах. Сцена изображала бальный зал. Актеры двигались с каким-то неестественным шармом, свидетельствовавшим о том, что им есть что скрывать друг от друга. Что именно, я так и не узнал, потому что мать тут же выключила звук.

— Мы беспокоились,— сказала она просто.— Никто не знал, где ты.

Ни слова о Фине.

Я присел на подлокотник ее кресла.

— Бывает,— проворчал я.— Тут уж ничего не попишешь. Как отец?

Мама взглянула на лесенку, ведущую на второй этаж.

— Работает,— вздохнула она.— Был Грениан. Говорит, проходил мимо и забежал, чтобы повидать тебя. Рассказывал о спутниках Сатурна.

Да, Грениан действительно некоторое время был там. Но вряд ли его обратная дорога со спутников Сатурна проходила мимо нашего дома. Незачем было обращаться к компьютеру, чтобы додуматься, чему я обязан такой «случайностью». Вернее, кому.

Грениан. Человек, которого я любил больше всех профессоров и которому обязан больше, чем кому бы то ни было. В свое время именно он подкинул мне идею о планетарной службе, когда уже после экзамена по пилотажу я пришел узнать его мнение о какой-то части моей дипломной работы. Старая история. Конечно, в любой другой ситуации я чувствовал бы себя увереннее, зная, что он рядом. Однако сейчас — лучше бы он еще на несколько месяцев задержался на спутниках Сатурна.

На лестнице послышались быстрые шаги. Отец. Он спустился в холл, бросил на меня мимолетный взгляд и молча выключил телегол. Люди в пестрых костюмах

растаяли, как след пролетевшего метеорита. Экран спрятался в стену, превратившись в большое прямоугольное окно.

Я прищурился. Меня больше устраивал полумрак с беззвучно передвигающимися в нем бесплотными фигурами. Я был в том состоянии, которое случается в первый момент после пробуждения, когда человек уже знает, что все прошедшее было сном, но по инерции продолжает улыбаться. Правда, мой сон был дурным. Он ляжет тенью на весь наступающий день. В этом я мог не сомневаться.

— Уезжаю,— сказал я.— Не заставляйте меня говорить.

Отец пересек комнату и остановился у меня за спиной. Мама не повернула головы.

— Так,— проворчал он. Это прозвучало как последний удар молотка по хорошо вбитому гвоздю.— Будешь работать?

Я не ответил. Работать? А что еще? Осесть на каком-нибудь острове, плавать и смотреть фильмы по телеголу? Я подумал о Грениане: если он решил поговорить со мной, нечего прикидываться, будто ничего не знаешь. Чем скорее все кончится, тем лучше.

— Плантациям руды на Азорах нужны фотоники,— услышал я голос отца.

Я вздрогнул. Плантации руды... Да. Это определенно больше, чем я мог ожидать. Я представил себе бесконечную плоскость красноватой плесени, покрывающей море. Маленькие белесые растения, почти лишенные листьев. Иногда появляются даже цветы... После сбора урожая море напоминает скверно выметенный двор. Люди избегали районов, отведенных под плантации концентраторов, и не удивительно. Хорошо. Стану плантатором.

— Что там у них? — спокойно спросил я.

— Рений,— ответил отец.— Этакie грибки... Руда рения...

Ага, стало быть, грибки. Миллиарды бесформенных

растеньиц, высасывающих из морской воды рений. Когда-то это было сенсацией. Сегодня — очередная головоломка для специалистов по рекультивации. Пусть будет так. Все равно. Не поеду я ни на какие Азоры.

— Лечу,— я встал и пошел к двери.— Нельзя опаздывать. Пожалуйста,— добавил я уже с порога,— не обижайтесь. Единственное, что я могу сейчас для вас сделать, это убраться поскорее. Думаю, вы найдете общий язык с родителями Фины...— мне пришлось сглотнуть и немного переждать, чтобы овладеть голосом...— Иду. Со мной ничего не случится. До свидания.

Я не взглянул на них. С кресла, в котором сидела мать, долетел шорох, но ни она, ни отец не проронили ни слова.

4 — И долго? — повторил я.— У человека одно я.

Оно сформировано информацией, поступавшей в детстве, в школе, в течение жизни. Но существует предел емкости мозга. Наступает момент, когда для того, чтобы принять новую информацию, необходимо стереть что-то из уже накопленной. Что именно — мы не выбираем. Во всяком случае, сознательно не выбираем. Скажите, сколь долго можно оставаться самим собой? Пятьсот лет? Тысячу? Десять миллионов? Или я спятил, или все ваше бессмертие — фикция. Не знаю, что может быть очевидней. А может, вы позволили себе на минутку-другую сунуть голову в песок? Этакое маленькое, малюсенькое «поживем — увидим»?

Грениан внимательно смотрел на меня. В уголках его рта таилась улыбка, но она была там всегда. В разговоре он интересовался не тем, кто говорит, а тем, что говорят. После каждой встречи с ним я чувствовал себя так, словно только что вышел из освежающей купели.

Он немного подумал, прежде чем ответить.

— Мы очень тщательно,— начал он наконец низким глухим голосом с отчетливым певучим акцентом,— го-

товились к постройке первого пантомата на границе Солнечной системы. Потом начались испытания. Наконец теперь, после многих лет эксплуатации, ты обнаруживаешь, что с ним творится что-то неладное, и считаешь — этим следует заняться. Ты думаешь, человек менее сложен, чем пантомат? Ты хотел бы, чтобы мы уже сегодня сделали и решили все за будущие поколения? Высветили им дорогу, а вдобавок надели на глаза шоры? В таком случае лучше было бы действительно отказаться от будущего.

— Послушайте, о каких будущих поколениях вы говорите?! — подхватил я. — Не будет никаких поколений. Будем мы — вы, Норин, Каллен, я... Положим, я не в счет. Пока еще — не в счет. Вы мостите дорогу самим себе.

— Не так уж все скверно, — возразил он. — У нас будут дети...

— Кто? — почти крикнул я. — И когда? А прежде всего — зачем? И что значит фраза «новая популяционная политика»? Введете талоны? Если только найдется сумасшедший, который пожелает увеличивать свое семейство... до бесконечности!

Грениан опустил голову, пододвинул к себе чашечку кофе и принялся играть ложечкой.

— Мне восемьдесят девять лет, — сказал он наконец как бы про себя. — Вроде бы ничего особенного. Но, понимаешь, мне в голову иногда приходят мысли... — он отхлебнул глоток кофе и улыбнулся. — Короче говоря, во мне еще не угасло любопытство. Я еще не сделал всего, на что способен. В твоём возрасте это звучит смешно... Не прерывай, — остановил он меня движением руки. — Так получилось, что мои родители еще живы. У меня есть шансы... о которых до нас никому и не снилось. Теперь встань, прими соответствующую позу и скажи, чтобы я не кривлялся. Чтобы сидел в своём времени, как все до меня, и не высовывался, потому что не известно, чем все это кончится. Ты говорил Норину, что

следовало подождать. Теперь ты спрашиваешь, что будет через тысячу или миллион лет. Если бы мы решили ждать, пришлось бы спрашивать о другом. Кому еще предстоит умереть? Мне? Хорошо. Моим детям? Допустим, тоже. Но их-то детям — уже нет. Там пройдет граница. Иди, выложи свою правду людям. Но не всем сразу. Каждому по отдельности. Мы — люди науки. Мы хотим, чтобы результатами нашего труда воспользовались все, но миновали те времена, когда мы могли идти на жертвы. Если существует на свете хотя бы один человек, которому ты можешь сказать прямо о своих намерениях, значит, плохи твои дела.

Я пожал плечами.

— А сейчас этой границы нет? — буркнул я. — Не далее как позавчера я встретил старика, который смеялся до слез только потому, что я спросил его, может ли он умереть. Просто его родители умерли раньше.

— А кто-нибудь из нас мог это предотвратить? — спросил Грениан таким тоном, словно говорил с ребенком.

— Я только пытаюсь объяснить, почему для меня ваша игра неприемлема. Я защищаюсь — не нападаю. Меня попросту шантажировали. Либо баночка в коллекции семейных генофоров, либо — ищи счастья на плантациях рениевой руды. Кстати, грибки — ваша идея?

Он рассмеялся и медленно покачал головой.

— Нет. Но я знаю, о чем ты. Согласен, на твоем месте я тоже не возликовал бы. Из чего, однако, — предупредил он, — ничего не следует.

— Для кого как, — проворчал я.

— Ты говорил о Норине, о Фине, — напомнил он.

— И напрасно, — прервал я. — Напрасно говорил. Мне не хотелось бы повторять свою ошибку.

— Прости, — он стал серьезным. — Я не собираюсь вмешиваться в твои дела. Я имел в виду ее родителей. Тебя, как ты это назвал, поразил их интерес. Но задумайся на минуту. Все мы люди и не всегда вольны в своих чувствах. Кстати, это не так плохо. Так вот, им достаточно

того, что их дочь жива. Что она с ними. Но ведь это был первый в их жизни случай реанимации. Они пережили тяжелый удар, потом появилась надежда, ее сменили часы неуверенности, наконец, захлестнула радость. И вот появился обыкновенный человеческий интерес, если хочешь, любопытство. Подумай об этом. Не о той конкретной ситуации. О себе. О своем отношении ко многому. К людям. Впрочем, зачем я об этом говорю? Все. Больше не буду,— закончил он извиняющимся тоном.

Я внимательно смотрел на него. Мне вдруг показалось, будто я что-то упустил. А ведь с того момента, как каменная площадка с розовым домиком скрылась за поворотом, я вел себя так, словно каждое мое движение было заранее обдуманно.

Я был спокоен. Дело не в словах. То, что я говорю, не имеет значения. Беседа с Гренианом тоже всего лишь эпизод, ведущий в никуда. Так обстоят дела. Иначе я не могу.

Я осмотрелся. Солнце перевалило за реку, и залив горел серебром. На террасе было еще несколько человек. Столики, готовые по первому зову подать все, что угодно, выстроились вдоль невысокой стеклянной стены. Кофе быстро остывал, теряя аромат.

— Ну? — наконец заговорил Грениан. — Отведаем вкуса вечности?

— Без меня,— твердо сказал я.

Он вздохнул, допил кофе и отодвинул чашку.

— Так я и думал,— сказал он. — Я тебя не убедил.

— Не ваша вина,— ответил я. — Если для вас это что-нибудь значит, я рад, что до конца дней своих смогу беседовать с вами...

— До конца дней своих,— пожал он плечами. — До конца дней...

Я встал и взглянул ему в глаза. Что-то в них блеснуло. Он резко поднял руку.

— Подожди. Сядь. Я должен тебе еще кое-что сказать. Нет,— добавил он быстро, видя, что я заколебал-

ся,— убеждать тебя я не стану. Во всяком случае, не сейчас. Но есть у меня конкретное предложение.

Я сел.

— Вчера я был в Центре. Обсуждались результаты ваших работ на Тихом. Это серьезное дело.

Надо думать. Иначе б они не вызвали Грениана. Он был одним из крупнейших биоников. Себя он называл демагогом, потому что, по его словам, «обучал бедные мертвые мозги правде, но правде неполной». Именно он программировал и обучал пантоматы. По-видимому, мое сообщение принято всерьез. И то хорошо.

— Короче говоря,— начал он, немного помолчав,— здесь, на Земле, мы ничего не решим. Надо лететь... Не исключено, что это просто попадание метеорита, который каким-то образом прошел незамеченным. Но в любом случае есть нечто такое, чего мы не понимаем. А понять необходимо. Известно, при каких обстоятельствах пантоматы могут стать опасными, но мы не знаем, каковы симптомы отклонения от нормы. Поэтому миссия становится достаточно деликатной как для того, кто полетит, так и для тех, кто его туда пошлет. Мы подумали о тебе. Ты подал рапорт, лучше других знаешь результаты исследований... Разумеется, последнее слово, как всегда, будет за медиками. В том случае, если ты решишься...

— Как вам известно,— сказал я хмуро,— времени у меня достаточно.

— Я думал и об этом,— признался он.— Только вот...— он замолчал и внимательно посмотрел на меня.

— Вы спрашиваете себя, в здравом ли я уме,— каждое мое слово было льдинкой.— То есть настолько ли в здравом, чтобы мне можно было доверить нечто большее, чем выращивание концентраторов? А может, весь наш разговор — всего лишь этакий невинный тестик? Ну, и как я справился?

— Средне,— без улыбки ответил он.— Меня больше волнует другое. Ты полетишь только в том случае, если позволишь снять с себя запись. Короче: да или нет?

— Нет.

Лицо его посуровело, но в глазах по-прежнему не было гнева.

— Жаль,— сказал он поднимаясь.— Я думал, ты сможешь преодолеть в себе неприязнь, предполагал даже, что понимаю ее причины. Так получается,— добавил он, повернувшись лицом к морю,— что ты подходишь больше других. Но, сам понимаешь, учитывая известный риск, мы вынуждены выбрать того, кто... застрахован. Если уж можем выбирать.

— Нет,— повторил я.

Грениан постоял еще немного, словно рассматривая что-то на линии горизонта. Его губы несколько раз шевельнулись, будто он спрашивал себя, что делать теперь. Я не мог ему ничем помочь.

Наконец он на мгновение прикрыл глаза, потом кивнул и направился к выходу. Проходя мимо, сказал:

— Жаль...

«Кого он жалеет? — пронеслось у меня в голове.— Ведь не меня же. Себя? Не будем преувеличивать. Нет. Он сожалеет, что проблему, связанную с пантоматом, не может доверить тому, кто, по его мнению, разобрался бы в ней лучше других. Все остальное не в счет.» Вспомнились слова Каллена: «Либо ты идешь вместе с людьми, либо ты нам не нужен». Последнее я досказал уже сам. Не важно. «Вместе с людьми». Кто здесь, собственно, идет с людьми? Если предположить, например, что я тоже человек?

Одно ясно: я им не нужен. Никому я не нужен, если подумать. Грениан высказал это более обтекаемо. Но смысл тот же.

И тут я почувствовал, что во мне просыпается нечто такое, что давно уже затаилось и лишь ждало момента, чтобы проснуться. Я вздрогнул. Мне вдруг стало жарко. Как же все просто! Дьявольски просто! То, что я сделаю. Единственное, что я мог сделать.

Я кинулся за Гренианом. Он остановился, прежде

чем я успел его окликнуть. Когда я заговорил, мой голос звучал нормально. Дыхание было спокойным.

— Когда лететь?

Он очень медленно повернул голову и взглянул мне в глаза. Прошло некоторое время, пока он ответил. В его взгляде не было ни удивления, ни удовлетворения.

— Это зависит не от меня,— сказал он.— Но ждать нельзя.

— Подготовкой будете руководить вы?

Он кивнул, не спуская с меня глаз.

— Где?

— Вероятнее всего, на Бруно. Во всяком случае, не здесь.

— Я еду.

— Пойдешь завтра в Комплекс?

— Я еду,— повторил я.— В Комплекс пойду сейчас.

Он поднял брови. В его взгляде я прочел участие.

— Там сейчас никого нет...

— Пусть вызовут,— сказал я.— Это-то вы можете для меня сделать.

— Что случилось? — он поднял брови.

Я улыбнулся. Вернее, улыбнулись мои губы.

— Ничего. Через несколько дней я буду на Бруно. Дождусь вас там. Либо слетаю куда-нибудь еще. И давайте не будем больше об этом.

На сей раз их было двое. Они делали свое дело с каменными лицами. Занимались исключительно аппаратурой. Раза два перекинулись взглядами. Мне показалось, что им во мне мешало все, что они не могли использовать как носитель информации.

Когда они закончили, в лабораторию вошел Каллен. Спокойный и невозмутимый. В скафандре пилота — надевай шлем и вылезай в пустоту. Он сказал, что штаб операции перебирается на четырнадцатую орбитальную и к тому же незамедлительно. Грениан уже полетел, он с Норином и остальными вылетает через четверть часа. Дру-

жески предупредил, чтобы я не удивлялся, если кроме них застану там еще несколько человек.

— Мы придаем,— он так и сказал: «Мы придаем»,— операции ТП — Трансплутон — серьезнейшее значение.

Интересно, кто им придумывает криптонимы. Можно не сомневаться, что среди этих «нескольких человек» окажутся члены Совета, десяток других знаменитостей и, наконец, такие, как я, чтобы было из чего выбирать. Ну, что ж. Если «мы придаем» такое значение...

Каллен относился ко мне по-дружески. Таким тоном разговаривал мой брат, когда хотел выудить у меня на мороженое. Наконец он поднял палец, некоторое время внимательно рассматривал его, потом сказал:

— С этого момента тебя нет нигде и ни для кого. Ты передан четырнадцатой. Это все, что о тебе будут знать. Знакомые, друзья... если они у тебя есть,— добавил он тем же тоном.

Мне оставалось только усмехнуться.

— Они там,— добавил он доверительно, не без сарказма напирая на «они»,— обеспокоены. Может, подозревают, что пантомат установил тайные связи с наземными вспомогательными компьютерами. Либо принялся втихую изготавливать генераторы антиматерии и, пока мы тут с тобой беседуем, наводит на цель первые десять батарей. Кто знает, что за этим кроется? Может, пришельцы с Веги? Шутки шутками,— серьезно сказал он,— а знаешь ли ты, что произойдет, если люди узнают, что один из аппаратов, способных заменить тысячи научных учреждений всех направлений, перестал нам подчиняться? Более того, пытается обмануть нас, прикидываясь невинным младенцем? Либо перешел в услужение к кому-то другому?

— Нет, не знаю,— спокойно сказал я.— Интересно, что?

Он замолчал, но только на мгновение. Сверкнул глазами, потом лицо его снова стало спокойным.

— Уверю тебя — ничего хорошего. Если может от-

казать пантомат, услугами которого многие годы пользовалась каждая школа, не говоря уж о специалистах, то тем более нельзя доверять такой в принципе непроверяемой штуке, как вечность... У нас и без того полно забот. Тебе кое-что об этом известно...— многозначительно добавил он.

— Известно,— согласился я.— Но не сомневаюсь, что уж с этим-то вы как-нибудь справитесь. Так когда я должен быть там?

Он немного помолчал, словно переваривая мой вопрос.

— Послезавтра. За тобой придет стартовый, Ротц. До того времени сиди здесь.

Это могло усложнить дело. Я быстро спросил:

— Можно заглянуть домой?

Ответ у него был готов заранее, хотя он и сделал вид, будто задумался.

— Только на минутку... Разумеется, ты знаешь, что сказать...

Я знал, а как же.

— Вот еще что,— бросил я как бы мимоходом.— Когда будет известно, что ваш идол,— я показал на аппаратуру,— сработал? Случаются дубли?

— В принципе нет. По крайней мере, мне об этом слышать не доводилось. В случае чего — сам убедишься...— он рассмеялся. По его глазам было видно, что он представил себе, как в пустоте у меня расползается скафандр или я попадаю в бочку с концентрированной кислотой.

Ротц разбудил меня ночью. Спросил, все ли у меня готово, и сказал, что через два часа ждет на стартовой площадке. Было три часа ночи. Или, если угодно, утра.

Я подошел к аппарату и набрал шифр. Прошло несколько секунд, прежде чем на экране появилось лицо отца. Он, конечно же, был одет. Как и обычно, он проводил ночь в лаборатории, колдуя над своими световодами.

— Уезжаю,— сказал я.— Хотел попрощаться.

— Сейчас? — спросил он.

— Так получилось. Пожалуйста, не буди маму. Что ты скажешь, если я предложу прогуляться?

Он задумался. Перспектива оторваться хотя бы на минуту от щита с даторами его не радовала, но верх взяло чувство отчего долга.

— Где встречаемся? — коротко спросил он.

Мне раздумывать не приходилось. Я все просчитал с точностью до секунд и миллиметров, как говаривал Норин.

— На старом аэродроме, за холмами. Доберешься за пять минут. Я прилечу точно в четыре,— я не дал ему произнести больше ни слова. Рисковать было нельзя.

Экран погас. Я встал и не спеша натянул комбинезон. Упакованный ранец лежал в углу. Выглядел он не на много пристойнее, чем тогда, когда я покидал Европу. Кроме нескольких личных мелочей в нем лежала копия последней записи, появившейся в результате пятичасового опроса.

Коридор был пуст. Я погасил лампы и подождал, пока глаза освоятся с темнотой. Потом пошел. Стены источали слабый свет, но дорогу к аварийному выходу я мог найти с закрытыми глазами.

Снаружи было морозно. Небо посерело, тучи шли низко, как в день моего возвращения. Когда это было? Год назад? Неделью? Не все ли равно.

Я придержал ранец, чтобы он не задевал за поручни. Загудели стальные ступени. По металлическому помосту я прошел к транспортному залу. Двери в него были заперты. Я сунул в прорезь опознавательный жетон и переждал, пока вахтенный автомат передаст сигнал. Квадратная дверца дрогнула и беззвучно ушла в стену.

Внутри стоял полумрак. Над контрольными пультами горели миниатюрные лампочки. Я не оглядываясь шел по центральному проходу, пока над головой не нависла темная масса корабля. Взобрался по полутораметровой

лесенке и, не входя в кабину, проверил, все ли в порядке. Неожиданностей быть не могло. Вчера и сегодня я несколько раз заглядывал сюда. Если не считать дежурных, на территории Центра не было ни души.

Пакеты с пластиком лежали за креслом пилота, где я их и оставил. Горючего было в обрез. Я слез и вызвал тягач. Он появился немедленно. Его двигатель издавал глухое ворчание, похожее на мурлыканье. Минутой позже корабль дрогнул и пополз к воротам. Я пошел следом. Светлело. Ночь была на исходе.

В нескольких метрах за воротами тягач остановился. Я подошел и уселся на твердом седле выносной консоли. Прежде чем снова запустить двигатель, я внимательно осмотрелся. Никого. Тишина.

Я остановил машину далеко за постройками. Отослал тягач и залез в кабину. Вся операция заняла неполных тридцать минут. Было без двадцати пяти четыре. Времени достаточно. Но и не следовало появляться слишком рано.

Я сидел, не спуская глаз с часов, не чувствуя ни возбуждения, ни беспокойства. Не копался в себе, пытаясь найти обоснование собственному решению. Через два часа я уже буду за пределами планеты. Игра с пантомимой может затянуться на год. Если не больше. А там — подумаю, что стану делать...

Стрелки дошли до намеченной точки. Я сел поудобнее и взялся за руль. Машина дрогнула и в нарастающем вое двигателей оторвалась от бетонной плиты.

Я шел низко и со всей осторожностью, на какую был способен. Малейшая непредвиденная преграда означала конец. Хотя, если говорить серьезно, что могло мне помешать? Теперь, когда я был уже в воздухе?

Я опустил на самом краю аэродрома. Не захлопывая дверцу кабины, прошел несколько метров в сторону видневшихся за холмами крыш. Дотронулся до нагрудного кармашка — двигатели заговорили на полтона выше. Автопилот работал безупречно. Я остановился и в ожидании заложил руки за спину.

Дорога в город круто спускалась вниз. Отец появился неожиданно, как из-под земли. Не доходя шагов трех до меня, остановился. Мы молчали. Снизу, от пристани, доносилось приглушенное бормотание моторов. Рыбачьи лодки выходили в залив. Небо уже было почти светлым.

— До свидания, папа,— сказал я.

Он молча подошел и протянул руки. Мы обнялись.

— Надолго? — спросил он так тихо, что я едва расслышал.

— Не знаю,— тоже шепотом ответил я. У меня перехватило дыхание.— Впрочем, вы будете не одни. Вам уже привезли... коробочку?

Отец охнул и отступил на шаг.

— Зачем ты так...

Я попробовал засмеяться. Еще немного, и это бы удалось.

— Ну, ладно,— сказал я.— В случае чего, любите меня... когда я буду маленьким.

— Это все, что ты хотел сказать?

— Хотел попрощаться,— сменил я тон.— Ничего больше. Прости, что затащил тебя сюда, но,— я оглянулся на машину,— у меня на борту нечто такое, что может натворить много шума. Такая уж работа,— добавил я.— Не мог садиться рядом с постройками...

— Будь осторожен,— попросил отец.

Я пробормотал что-то в ответ и стал отступать назад.

— Иди,— сказал я.— Обними маму и всех. Не жди, пока я взлечу. Привет, папа...

Он кивнул, повернулся и начал спускаться к городу. Через минуту с того места, где я стоял, виднелись лишь его голова и рука, поднятая в прощальном жесте.

Я немного переждал. Не больше тридцати секунд, а когда звуки его шагов стали едва слышны, повернулся и побежал. Считал: раз... два... Двадцать пять. Довольно. Я дотронулся до нагрудного кармашка. Автопилот сработал, двигатели ожили. Их звук был достаточно сильным,

чтобы его можно было услышать там, внизу. Я упал ничком. Когда машина поднялась метров на тридцать, я нажал кнопку. На мгновение. В мои намерения не входило спалить весь район.

Чудовищная вспышка. Я почувствовал удар и сразу после этого оглушительный грохот, словно одновременно лопнули миллионы натянутых до предела парусов. Меня ослепило. Второй удар. И снова грохот. Абсолютная темнота, в которой закружились несуществующие огоньки. Снизу долетел крик. Все. С этим покончено.

Я не мог ждать. Вскочил и побежал к противоположному краю площадки. Скатился со склона и увидел на облаках отблеск прожекторов. К месту катастрофы спешили спасательные группы.

Я протер глаза, отряхнул комбинезон и быстрым, размеренным шагом направился к ближайшей развилке, где обычно стояли портеры. Сел в первую попавшуюся машину, погасил автоматически включившиеся фары и поехал.

Через тридцать минут в скафандре, с полным снаряжением я стоял во входном проеме атмосферной ракеты. Было без минуты пять. С высоты семнадцати этажей взглянул на город. День. Конечно, дома́ были невидимы. В одном из них...

Спасательные группы покинули холмы, убедившись, что там им делать нечего. Вероятно, уже готов протокол, из которого следует, что система предохранения оказалась менее надежной, чем расчетная. Собирать было нечего. Не думаю, чтобы искали тело.

Зато дома ... Дверь в помещение генофоров распахнута настежь. Одетый в белое техник торжественно выносит цилиндрический предмет. Второй тащит ящичек с странственной, стереотемпоральной, как это называлось, записью сознания. Надо думать, они не перепутают банки и не «воссоздадут» вторую маму. Или Лима. Но это, кажется, невозможно. В отличие от авиационной катастрофы.

Я причинил боль маме и отцу. Они чувствуют себя осиротевшими и утешаются тем, что я не страдал. Потом они будут заняты только тем, что происходит в контейнерах, в которые скорая помощь перенесла взятые из дома сокровища. Разумеется, уведомят дежурного по Комплексу. Тот спросит, может ли быть чем-нибудь полезен, потом нажмет нужную клавишу на пульте главной картотеки. О том, что я делал последнее время, там не окажется ни слова. Начальство позаботилось, чтобы обеспечить полную секретность «деликатной миссии».

Мне стало весело, захотелось сбросить перчатки и сплести руки над головой. Запеть. Теперь я займусь пантомимом. Пусть даже десятью сразу.

5 Фотонные объективы ракеты выхватывали из космической тьмы глыбы астероидов, пустота заполнялась, но при моей скорости я был во всем этом одинок, как перст. Курс проложили достаточно осмотрительно, однако каждая кривая, хотя бы в одной точке, пересекала плоскость эклиптики. И ни один компьютер не мог предсказать, столкнусь ли я там с каким-нибудь заблудшим метеоритом или другим пакостником, прописанным в пространстве.

Теперешний рейс был третьим по счету. Траектории менялись с каждым полетом, однако не настолько, чтобы заново приспособливаться к обстановке. Словно это могло иметь значение, если учесть, что впервые — не считая коротких вояжей по надоевшим до чертиков петлям вокруг полигонов-сателлитов — мне приходилось отправляться в пустоту начисто отрезанным от своего мира. С корпуса убраны антенны, выходы бортовой аппаратуры наглухо задраены, корпус непроницаем для электромагнитных волн. В то же время техники до такой степени нашпиговали корабль приборами и различной аппаратурой, что я должен бы лететь не внутри ракеты, а рядом с ней. Невозможно было пошевелить ногой, не зацепившись за что-нибудь.

Третий полет. Двумя предыдущими я был недоволен. Норин и его дружки молчали, но физиономии у них были кислые. Разумеется, они все время «держали» меня на экранах. Во время операции все будет так же, по крайней мере до тех пор, пока я не выйду за пределы действия тахдара.

Я сидел неподвижно, уставившись в лобовой экран, под которым находился приборный блок. Рыскать глазами по углам было некогда. По левую сторону от кресла оставалось ровно столько места, чтобы человек раза в два пониже меня ростом мог добраться до шлюза. В правое плечо упиралась специальная компьютерная приставка, так называемый «живой пилот». Человеческим голосом он сообщал положение ракеты, параметры орбиты, расстояние до цели и другие, не менее захватывающие сведения.

Шлем оплетала сеть проводов. По первому же еще неосознанному сигналу мозга я получал возбуждающее или успокоительное средство. Стоило мне почувствовать жажду, как автомат подавал пить. По мере сгорания определенных веществ в организме он кормил меня. Конструкторы позаботились обо всем. Мне оставалось только смотреть на экраны, непрерывно, не мигая, от старта до финиша, если даже я услышу взрыв или наткнусь на дворец Снежной королевы.

Надо сказать, случались минуты, когда мне начинали мерещиться удивительные вещи. Уже теперь. А ведь полет, к которому я готовился, будет не в пример дольше. Таких у меня еще не бывало. Я переживал то же, что и первые люди, которых смешные металлические сигары несли к планетам-гигантам. Но даже и они не отрывались от Земли, чувствовали ее за спиной, она была в голосах специалистов и друзей, следивших за их безопасностью. У меня были только экраны, приставки памяти и вычислители.

Но Земля мне была ни к чему. Я отрекся от нее. Насколько это соответствовало действительности —

неважно. Я собственными руками создал ситуацию, которая говорила сама за себя.

Начинался последний этап полета. Я сидел, напряженно выпрямившись, стараясь не прикасаться к спинке кресла. Сигнальный щит показывал, что все в порядке. В ушах нудно гудел голос «живого пилота», перечислявшего данные.

Прошло еще три минуты, и на лобовом экране появилось изображение базы. Я продолжал снижать скорость. Крутой, слишком крутой вираж. Потемнело в глазах. Ничего не поделаешь — пилот. Фотоником я снова стану только на месте. Если успею.

Второй вираж, незаконченный, перешел в крутую свечу. На долю секунды ракета замерла. Корпус завибрировал. Я опускался вертикально, кормой вниз, и не мог видеть, как раскрываются ворота приемного ангара, составленные из двух полукруглых створок. Сквозь оболочку проник металлический скрип, потом я почувствовал удар амортизаторов. «Скверно», — пронеслось в голове, но меня это не расстроило. Я был на месте.

Прошло десять минут, прежде чем я покинул кабину. Спешить было некуда.

В навигаторской ждал Митти. Увидев меня, расплылся в улыбке.

— Хорошо, что ты уже здесь, — сообщил он с притворной серьезностью. — *Pantomat ante portas**. Я тебе завидую. Сидишь себе по нескольку дней в удобном кресле, и никто тебе слова не скажет. Еще немного, и превратишься в философа. А то, чего доброго, придумаешь новый способ жарить шампиньоны. Кстати, о грибах, — продолжал он тем же тоном. — С тобой желает говорить Грениан. Он в диспетчерской.

Чувствовалось, что Митти истосковался по слушателю. Я спросил, уж не подрядился ли он вознаградить

* Пантомат против ворот (лат.).

меня за вынужденную тишину в кабине ракеты. Коротко хохотнув, он все еще продолжал говорить, когда я уже входил в диспетчерскую.

Грениан был один. Он сидел возле компьютера и, похоже, провел в этой позе не один час. Внутри просторного, ярко освещенного помещения он казался старше и ниже ростом. Прошло с полминуты, прежде чем он заметил мое присутствие, с трудом выпрямился, взглянул на меня, встал и направился к приставке сумматора. Я пошел следом.

Экран ожил, и на нем появилась формула, которую я, разбуди меня хоть среди ночи, мог, не задумываясь, отчеканить слева направо и наоборот. С такой же легкостью я мог перечислить все, что шаг за шагом в течение пяти недель неумолимо вело меня к ней. Сейчас она занимала центр тускло светившегося экрана. Через несколько секунд цифры поползли вверх. Из-под нижнего обреза выплыли новые, на первый взгляд ничем не отличающиеся от предыдущих. Неожиданно что-то в них привлекло мое внимание. Я пригляделся. Сомнений не было.

Цифры остановились в центре экрана, несколько секунд держались неподвижно, потом дернулись влево-вправо и исчезли. Грениан выключил аппарат.

— Что это значит? — прошептал я.

Профессор поднял брови и взглянул на меня утомленными глазами.

— Сбой.

Я пришел в себя. Процессы, происходящие в пантомате, отличаются идеальной стабильностью. Многие годы все было в порядке. Однажды я заметил изменения. Не так давно. А теперь величина отклонения — сбой, как выразился Грениан, — передвинулась на целый разряд.

— Из этого следует... — начал я.

Он не дал мне кончить. Резко выпрямился, и тут я впервые увидел в его глазах страх.

— Из этого следует,— тихо сказал он,— что надо спешить.

Минуту, может, две я стоял неподвижно, чувствуя, что каменею. Не прошло и трех недель, как я покинул Землю. Программа тренировок требовала трех месяцев.

— Когда? — спросил я. Голос был мой, только звучал он как-то по-новому.

— Когда? — ответил он вопросом. Его взгляд бегал по сторонам.

«Аппаратура готова,— пронеслось у меня в голове.— Корабль?... Можно взять первый попавшийся. Экранировку сделают за два часа. Пилот?»

Я выпрямился и глубоко вздохнул. В голове зашумело. И неожиданно я успокоился. Разрозненные образы слились в логическое целое. Я начал рассуждать.

— Сегодня — нет,— сказал я.— Я только прилетел. Надо посмотреть результаты и выспаться. Завтра.

Грениан переждал несколько секунд, потом медленно наклонил голову.

— Значит, завтра.

Я все еще стоял. В который раз задал себе вопрос: знает ли он? Он мог знать. Он был главным координатором операции. К нему сходились все сообщения из пространства и с... Земли. Здравое рассуждая, он просто должен был знать.

В коридоре послышались приглушенные голоса.

— Что-нибудь еще, Дан? — мягко спросил Грениан. Я почувствовал спазму в горле, откашлялся и открыл рот. Переждал так мгновение, то мгновение, когда еще мог что-то сказать, потом повернулся и вышел из диспетчерской.

Грениан стоял неподвижно, слегка сутулясь, вытянув шею. Норин не спускал глаз с датчиков. Только Каллен смотрел на меня, словно я уже лежал в открытом гробу. Он стоял, выкинув руку вперед и оттопырив большой палец. Ну что же, он искренне желал мне удачи.

Я в последний раз взглянул на них и ногами вперед сполз в кабину. Опустились прозрачные переборки, разделявшие камеру надвое. Лица людей превратились в туманные пятна. Под полом нарастал тихий звон. Посветлело. Мощные рефлекторы били в куполообразный потолок, где расширялось круглое отверстие. Вдруг рефлекторы мягко ушли вниз. Меня окружила тьма. Прошло несколько секунд, прежде чем глаза стали различать помигивающие огоньки датчиков. После солнечного дня стартовой площадки мягкий свет экранов был еле виден. Я чувствовал себя легко, словно все происходившее до сих пор было простым недоразумением. Этакое недолгое плутание перед тем, как выйти на нужную дорогу. Я с некоторым сожалением осмотрелся вокруг. Одноместная кабина превратилась в безместную. Между моей головой и кабелями, блоками, щитами прицельников, миниатюрными пультами вспомогательной аппаратуры почти не оставалось свободного места. Чтобы шевельнуть ногой, надо было приподниматься в кресле. Если б не это, я скинул бы ремни и вытянулся во весь рост. Старт в пустоте всегда приводил меня в отличное настроение. Он создавал ощущение безопасности.

Я взглянул на часы. Сорок пять секунд. И тут у самого уха прозвучал спокойный, слишком спокойный голос «живого». Приподнятое настроение как рукой сняло. Это не был обычный старт в пустоте. И причем тут настроение? Прошло сорок пять секунд. Я уже за пределами защитной сферы базы. Все, сколько их там сейчас есть, сидят за полукруглым пультом в диспетчерской. Весь их мир сузился до размеров плоского прямоугольного экрана тахдара. Таким он будет сегодня, завтра и еще многие дни и недели. Но даже если я сойду с ума и начну дурить, если даже они обнаружат надвигающуюся на меня из пространства гибель, они ничем не смогут мне помочь.

Я устроился в кресле поудобнее, осмотрел датчики, проверил синхронизацию ленты и уставился на экраны.

На двенадцатый день пути с голосом «живого» что-то произошло. Казалось, вместе с ним со сдвигом на доли секунды говорит кто-то еще. С компьютером «живой» был связан напрямую, так что здесь причину искажения искать было нечего. Дефект синхронизации? Пожалуй, даже не дефект. Просто действие фактора времени. Я мог за считанные минуты скорректировать ошибку, что и поспешил сделать. Но тут же невольно подумал о Земле. О людях, запрограммировавших себя на целую вечность. Конечно, развитие человечества не прекратится. Просто оно будет протекать медленнее, возможно несколько иначе. Только вот достанет ли людям сил корректировать на себе ошибки, вытекающие из воздействия фактора времени? Того времени, от пагубного влияния которого они, как им кажется, освободились?

Однако довольно философствовать! Моя «деликатная миссия» как раз тем и хороша, что не требует рассуждений. Нужно лишь добраться до цели, а потом действовать. Думать только о том, что предстоит сделать. Делать только то, что как следует обдумал. И не пытаться фантазировать о том, что будет, когда все кончится. Ибо могло быть и так, что окончится слишком рано и не останется никого, кто мог бы меня этим попрекнуть.

Через две недели двигатели заработали активнее. За орбитой Урана предстояло снова пересечь плоскость эклиптики, а также раз навсегда установленные орбиты, по которым двигались на равных расстояниях тяжелые квазарные автотанкеры обеспечения, названные так в честь первого открытого людьми тела, двигающегося со скоростью, превышающей скорость света. Вероятность столкновения в пустоте даже в районах наиболее активного движения невероятно мала. Тем не менее она существует. И свести ее к нулю невозможно. Самое большее — можно соблюдать особую осторожность. А в пустоте лететь осторожно — значит лететь быстро. Не то, что на Земле. Опять — фактор времени. Следовало до

минимума сократить период пребывания в опасном районе.

Двигатели набрали максимальную мощность, возможную в пределах Солнечной системы. Я перескочил на «другую сторону» — пользуясь языком пилотов, — даже не заметив когда. Мне показалось, что в голосе «живого» прозвучало облегчение. «Рановато», — подумал я, словно обнаружил это облегчение не в мертвом аппарате, а в самом себе.

Уже месяц я сидел перед экранами. Диагностическая аппаратура все это время работала непрерывно. Если я просыпался в меру отдохнувшим, если мои сердце и мозг были в норме, то этим я обязан исключительно информеду, который регулировал обмен веществ, кровообращение, корректировал реакции на раздражители. Даже освещенность таблиц изменялась по мере притупления реакции глаз на определенные цвета. Я просыпался, смотрел на экраны, считывал данные, засыпал.

Наконец на высоте Плутона наступил тот желанный момент, о котором я уже не смел и мечтать. Едва слышный шум, доносившийся с кормы, стих. Наступила абсолютная тишина. Это произошло так неожиданно, что в первый момент я ощутил только какое-то неуловимое изменение. «Живой», синхронизацию которого приходилось теперь корректировать раз в несколько дней, объяснил, что компьютер выключил двигатели. Экранированный корабль, отрезанный от всех возможных носителей информации, шел по инерции, словно одна из множества глыб в поясе астероидов. Ожидание окончилось.

С орбиты Трансплутона я спускался по спирали, вычисленной с точностью до долей миллиметра. Я уже не был одинок. В пределах действия генераторов антиматерии, установленных на моей скорлупке, оказалась совершеннейшая из конструкций, когда-либо созданных человеком. Система столь совершенная, что, когда ее

действия разошлись с намерениями человека, он не придумал ничего иного, как послать самый малый из своих корабликов, камуфлируя его под осколок старого, обгоревшего камня. И при этом не очень-то рассчитывал на то, что камуфляж спасет пилота. Да и что значил пилот по сравнению с тем, о чем предпочитали не думать даже такие люди, как Грениан!

Единственное, чем я мог воспользоваться, чтобы не промахнуться, — ферроиндукционные датчики. Мои шефы на базе вели себя так, словно это решало дело. Система тренинга, снаряжение, подбор сигнальных программ — все было направлено на то, чтобы не промахнуться. Дальше — уже не их забота. И не удивительно. Они не знали ничего, не могли дать мне ни одного совета, который не сводился бы к материнскому: «Береги себя, сынок». Но на это не отважился даже Митти.

Я сосредоточил все внимание на приборах. Спал по три часа в сутки. Двигался в темпе, который мог повергнуть в меланхолию даже готовящуюся перейти в мир иной черепаху. Момент, когда стрелки ферроиндукционных датчиков дрогнули и застыли в рабочих положениях, я воспринял как событие, долженствующее наступить именно здесь и точно в этот момент. Проворчал нечто вроде «слушаюсь», запустил умформеры и проверил, горит ли контрольная лампочка магнитов. Затем ленивым движением отблокировал прицельные автоматы. Словно так уж важно было, пошлю ли я снап антиматерии метром левее или метром правее.

Тормозить я не мог. Плыл со скоростью пушинки, летящей над слегка разогретой лужицей. Но я не был пушинкой, и в кораблике моем было шесть тысяч тонн массы покоя. Я столкнулся с панцирем пантомата так аккуратно, что мне мог бы позавидовать стальной слон, которого впустили за завод, где делают пистоны. Весь хитроумный маскарад, радиотишина, отказ от пеленга — все оказалось пока достойным сожаления гротеском. Конечно, после удара я снова взлетел в пространство,

словно воздушный шарик, отскочивший от потолка. Удар придавал мне ускорение, которому я мог противопоставить только одно: двигатели. Я ударил из главного сопла. Ракета задрожала и зависла, прежде чем бесконечно медленно снова двинуться вперед, точнее, вверх, потому что корпус пантомата, по сравнению с которым мой корабль казался ракетой, садящейся на огромном сателлитном космодроме, висел прямо надо мной. На сей раз удар был слабее. Магниты сработали мгновенно. Наступила неподвижность. Тупо срезанный нос ракеты прилип к панцирю пантомата, будто ключ в хорошо пригнанном замке.

Я переждал несколько секунд. Тишина. Передо мной раскинулось металлическое небо, слегка выпуклый диск размерами с земной космодром. Но все это было там, вне ракеты. Здесь же я видел только огоньки датчиков, серое свечение экранов и глубокую тьму за иллюминаторами.

Впервые за девять недель я сел. Провода диагностической аппаратуры качнулись и последовали за движениями моей головы. Я не спеша сбросил с себя весь этот балласт. Стало немного посвободней. Я протянул руку за спину и включил генератор магнитного поля. Некоторое время следил за движениями контрольной стрелки стабилизатора. Порядок. Долгое пребывание в непосредственной близости от гигантской конструкции пантомата могло кончиться магнитным ударом. Теперь это мне уже не угрожало. Как все по-детски просто. Сейчас я спрошу, в чем дело, прикажу нескольким десяткам информационных комплексов пантомата, из которых каждый превышает размерами Собор Парижской богоматери, чтобы они вели себя пристойно, и еще успею к завтраку вернуться в ракету.

Для начала покончим с тишиной.

Экранировка ракеты либо сделала свое дело, либо вообще никогда не была нужна. Так или иначе, теперь следовало освободиться от нее. Все было продумано до мело-

чей: достаточно четырех до автоматизма отработанных движений. В действительности это отняло у меня целый час. Я покончил с экраном, потом нажал клавишу пульта и подождал, пока появится новый огонек — ракета раскинула паутину антенн. Меня тут же оглушило. Словно заснув в горном заповеднике, я вдруг проснулся посреди цеха металлообрабатывающих станков. Прошло несколько минут, прежде чем из хаоса перемешавшихся, оглушительных разрядов и потрескиваний я начал вылавливать более или менее связную информацию.

Я сложил кресло. Теперь можно было перейти в грузовой отсек. Размонтировал «живого», притащил пульт связи и укрепил его на прежнем месте. Кабина постепенно принимала нормальный вид. Я опять был на корабле, пригодном для пребывания в полете по меньшей мере одного человека.

В наушниках гремело от кодированных сигналов. Я сел, включил запись и начал слушать. Минута за минутой, час за часом я регистрировал непрерывно идущие сообщения, излучаемые центральным селектором пантомата. Наконец сдался. Аппаратура работала нормально. Пантомат решал проблемы, задаваемые специалистами, отвечал на вопросы, непрерывно поступающие со всех точек Земли. Если здесь и происходило что-то, что пантомат считал нужным скрыть от своих создателей, то таким способом я не мог узнать ничего. Во всяком случае, не больше тех, кто сидел сейчас в домашних шлепанцах возле даторов.

Я старался сосредоточиться. Можно еще проверить температуру, герметичность панциря, его оболочки, напряженность излучения. Можно вообще заняться множеством полезнейших вещей. Например, спросить пантомат, зачем он это делает. Мое присутствие давно перестало быть для него тайной. Ответ придет мгновенно. «Нуль», — и другого не будет, потому что другой ответ мог бы звучать только так. — «Со страха».

Я осмотрел аппаратуру скафандра. Проверил энерге-

тические блоки вычислителя, лазерного пистолета и рефлекторов. Заблокировал рули, включил внешнюю запись, дистанционное управление и быстро, будто боясь раздумать, открыл люк.

Тишина. Витающие в пространстве голоса, шушуканье звезд, переговоры людей и машин остались позади, в кабине.

Придерживаясь за обрез люка, я выплыл наружу. Подошвы ботинок прилипли к корпусу ракеты. Я сделал глубокий вдох и почувствовал, что не хватает воздуха. Резко, если можно говорить о резкости движений в невесомости, где человек двигается, словно внутри огромного баллона со сжатым газом, подкрутил вентиль. Кислорода было вдосталь. По меньшей мере на двенадцать часов. Экономить незачем.

Я включил рефлектор. На корпусе ракеты зажглись серебристо-белые полосы. Посмотрел наверх. Не дальше чем в четырех метрах надо мной чернела бесформенная масса. Свет увязал в ней, словно в невероятно плотной туче. Панцирь пантомата был покрыт чем-то вроде толстого слоя сажи. Края слегка выпуклого диска разбегались в темноту, только полное отсутствие звезд в пределах видимости свидетельствовало о его размерах.

Я сделал два шага к носу корабля. Остановился. Поверхность панциря качнулась и опасно приблизилась к моему шлему. Словно сама вечная ночь пустоты склонилась надо мной. Мне вдруг показалось, что из-за обитой черным бархатом плиты за мной следят чьи-то глаза.

Я вздрогнул. И неожиданно меня охватил гнев. Черт побери! Просидеть месяц в консервной банке, чтобы добраться сюда, а когда это уже произошло, вести себя так, будто никогда в жизни не видел стартового поля. «Это всего лишь машина,— сказал я себе.— Машина. Орудие. Может быть, немного побольше других. Скажем так: универсальное орудие. С ним что-то приключилось. Заржавел какой-то винтик. Надо помочь».

На мгновение я отключил магниты. Поджал ноги

и резко выпрямился. Ну, не очень резко. И все равно переборщил. Снова включил магниты и выкинул руки вверх. Магниты сработали. Я застыл на четвереньках, словно приготовившись к старту на стометровку. Несколько секунд не двигался. Неожиданно в ушах прозвучала любимая поговорка Митти: «Самое приятное на свете — не делать ничего, а потом передохнуть...» Я улыбнулся. Если б кто-нибудь сейчас увидел меня, ему было бы о чем вспоминать до конца дней своих. И не только ему.

До конца дней своих...

6 С каждым шагом из тьмы выныривали новые скопления звезд. И каждый шаг был бесконечно долгим. Только постоянная смена звезд придавала мне духу и позволяла идти дальше.

Тьма пустоты уравнила микроскопическую пылинку — порождение земной цивилизации — с бесконечностью пространства, но граница между этими мирами отсутствовала. Разумеется, все было б иначе, если бы пантомат, как запланировали его создатели, вращался вокруг своей оси. Неподвижные сейчас звезды закружились бы огненным хороводом, словно огни луна-парка, когда на них глядишь с карусели. Можно назвать это психозом, хронофобией и бог знает как еще, но я чувствовал угрозу в окружающей неподвижности. Столь же реальную, как и то, на чем я стою. Потому что пантомат ведь должен — должен! — вращаться вокруг собственной оси.

Со лба струился пот. Я остановился и облизнул губы. Они были влажными и холодными. Я снова увеличил приток кислорода. Белый сноп света, падающий из рефлектора, описал дрожащий полукруг. В темноте чуть сбоку что-то блеснуло. Оказалось, это толстая крышка люка в кольце автоматических прижимов.

— Итак, мы на месте... — сказал я вслух. Шлем ответил приглушенным гудением. Так звенит муха в деревянной кружке.

Приятно было, опустившись на колени, освобождать один за другим пламентовые прижимы, на которых не было идиотской сажн-бархата, украшавшей панцирь. Внутри ждут освещенная кабина, легкий тренировочный комбинезон, ванна, послушная первому жесту аппаратура. Свое, земное. Магниты раскрывались беззвучно. Кто сказал, что стены ограждают от звуков? По-настоящему хранить тайну может только пустота.

Крышка дрогнула. Ее край приподнялся на несколько сантиметров. Образовалась щель. Но там, внутри, таился мрак гораздо более плотный, чем космическая тьма. Рука, сжимавшая захват, остановилась на полпути. Я замер в ожидании чего-то, что, казалось, должно было вот-вот выползти из-под едва приоткрытой крышки и воспользоваться представившейся впервые с момента зарождения возможностью затеряться в космосе. Я непроизвольно выключил рефлектор. Взгляд нащупал несуществующие контуры какой-то фигуры, начал угадывать ее форму, воссоздавать ее живой образ.

По телу прошла дрожь. Это был уже не страх, а физическое отвращение, омерзение, которое вызывают в человеке формы жизни, так же отличные от всего, к чему привык обитатель Земли, как свет Солнца отличается от вспышки аннигиляции. Я уже не видел ничего, не придумывал никаких фигур, застыл, не смея пошевелиться. Вылези сейчас из приоткрытого люка действительно какое-то существо, ему бы и в голову не пришло, что перед ним представитель высокоразвитой Солнечной цивилизации. Скорее всего, оно решило бы, что я — элемент конструкции неведомого назначения и, вероятно, не вполне удачный.

Так продолжалось добрый десяток минут. Наконец я взял себя в руки. Одним рывком откинул крышку. Дрожь в коленях унялась.

Я наклонился, снова включил рефлектор и направил сноп света отвесно вниз, если, конечно, считать, что низ был там, в центре пантомата. В нескольких метрах от ме-

ня что-то разгорелось, будто луч уперся в зеркало воды. Но это не был колодец. Свет свободно бежал во всех направлениях, не наталкиваясь на стены, выхватывал пучки проводов, мощные связки криогенных кабелей. Система информационных каналов мозга работала на принципе сверхпроводимости. Однако здесь, среди космической тьмы, мысль о температурах внутри кабелей не вызывала дрожи.

Вглубь вела лесенка, ступеньки которой покрывал шершавый материал, напоминавший резину. Я закрепил рефлектор, повернулся и, стараясь не задеть баллонами обрез люка, начал спускаться.

Лесенка привела на узкую галерейку, окруженную невысокими перилами — что-то вроде полки, висящей в пустоте. Свет рефлектора не доходил до ее противоположного конца. Сама галерейка, выложенная толстым слоем эластичного материала, напоминала помост вдоль стен машинного отделения на древних кораблях. Однако там, где полагалось быть двигателю, не было ничего.

Только оторвавшись от лесенки и перегнувшись через поручни, я увидел, что все вокруг заполняют бесчисленные многоэтажные сооружения. Так мог чувствовать себя герой сказки, перенесенный внутрь турбогенератора.

Круг света скользил по толстым трубопроводам, конусообразным сталактитам, впадающим несколькими этажами ниже в полушаровые вздутия рабочих секций, выхватывал узлы коллекторов, похожие на гигантские мотки шерсти. Между ними раскинулись свободно висящие в пространстве миниатюрные модели звездных систем. Они оживали на мгновение, вспыхивали, попадая в луч света, приближались, вырастали в размерах. Их мнимое движение продолжалось так долго, что глаз успевал охватить весь очередной комплекс. Казалось, под ударом света паутинообразные сооружения, спирали и клубки неожиданно замирали, прекращали свою деятельность, чтобы возобновить ее с наступлением темноты. Застыва-

ли, как застывают некоторые насекомые под взглядом человека.

Я направил рефлектор в конец галерейки и, уставившись в постоянно отступавшую точку, в которой увызал свет, двинулся вперед. Подошвы отскакивали от покрытия, как на батуте. Я подтянул ремни баллонов и пошел быстрее. Еще несколько секунд — и мрак впереди поредел. Дверь. Я не останавливаясь подошел так близко к стальной плите, что еще шаг — и навалился бы на нее всем телом. Коснулся пальцами замка и неожиданно ударился о дверь. Только через несколько секунд до меня дошло, что замок не сработал.

Медленно выпрямившись, я потянулся к ручке. На этот раз внимательно ощупал ее, прежде чем сжать на ней пальцы. Обычный магнитный замок, какие встречаются на всех внеземных объектах. Он должен мгновенно открываться, среагировав на тепло, просачивающееся сквозь перчатку.

Я снова нажал. Старательно, будто показывая гостю с другого края галактики, как это надо делать. Впустую. Ручка мягко повернулась, но дверь не дрогнула. Я опять почувствовал на висках и шее теплую влагу. Попытался еще раз. Не отводя руки, толкнул дверь. Сильнее. Потом навалился на нее со всей силой, на какую способен человек в отсутствие гравитации. А я считал себя не самым слабым из людей. Неожиданно для самого себя крикнул. Это отрезвило меня.

Замок в порядке. Дверь тоже. Просто я не из тех, кого здесь привечают.

Я отступил и нащупал ручку пистолета. За дверью, в небольшом шаровом помещении, обстановку и оборудование которого я знал как свои пять пальцев, детальнейшим образом изучив на специальном тренажере, священнодействует «шеф», как его называли на Бруно. Центр управления мозгом. Тут сосредоточиваются все идущие извне импульсы, и сюда же они возвращаются после предварительной селекции. Тогда «шеф» выдает зада-

ние отдельным секциям, приводит в действие такое количество групп, которое необходимо для решения поставленной задачи. Здесь программируется необходимое расширение емкости пантомата, отсюда идут приказы в секции. В помигивающем тысячами огоньков параллелепипеде посреди зала сосредоточены знания, которыми не в состоянии овладеть ни один человек. Единственное место во всем гигантском объеме, заполненном чистейшей сгущенной тьмой, где блеск датчиков и экранов мог вернуть человеку ощущение того, что этот висящий в пространстве колосс создан им для него. При условии... что человека туда пустят.

Пистолет применять нельзя. Самый короткий лучик прожжет замок, но не остановится на этом. А «шеф» пантомата, мозг мозга, хорошо защищен. Слишком хорошо, чтобы стоило рисковать.

Конечно, в одиночку мне не справиться. Но в грузовых отсеках корабля лежат такие привычные на Земле «существа», что их присутствия там просто не замечают.

Я нащупал плоскую коробочку на левой руке и послал сигнал вызова. Теперь оставалось только ждать.

Тишина. Звук упавшей в глубине сооружения капли воды я воспринял бы как избавление. Но вода была здесь столь же немыслима, как и воздух. Да и падение... Мое дыхание, казалось, заполняло все пространство гиганта, внутри которого я был подобен мухе, затерявшейся в пещере. Постепенно в темноте стали нарастать какие-то шепотки. Вначале я не обращал на них внимания. Потом мне почудилось, будто различаю чей-то голос. Я невольно начал прислушиваться. И совершил ошибку.

Приглушенный смех. Ему ответил кто-то второй. Присоединились другие.

Это пространство знает обо мне. Знает каждый камень на пути, который привел меня сюда. Оно располагает данными о первых лучах света в самом отдаленном прошлом людей, населяющих Землю. И о том, что ожидает их завтра, если не вмешаются звездные соседи Солнца. Оно знает

все без исключения факторы, которые формировали мои взгляды на время и жизнь. Закодированные, они ожидают в его блоках памяти лишь краткого, как вспышка света, импульса, чтобы заговорить. Оно может в тысячную долю секунды перечислить этапы совершенствования орудий, которые создавал человек, совершенствуя собственное сознание. Оно знает все о нашем настоящем и о каждом акте в трагедии его созревания. Скажем, почти все. И лишь об одном оно не знает. Но именно это сейчас не имеет значения.

Здесь, рядом, в окруженных вечным мраком искусственных волокнах, в миллиардах световодов и криогенных кабелей, в бесконечных рядах блоков памяти и рабочих секций содержится все коллективное знание человечества. Точнее — сумма знаний всех людей. Это ошеломляет, если немного подумать. Да. Ошеломляет.

Что можно сказать о человеке, руководствуясь абсолютным знанием, которое он сам вложил в идеальную машину, подражающую процессам мышления? Черт с ним, с человеком! Что это пространство думает обо мне?

История. Все минувшее, что я ношу в себе — хочу я того или нет, — это набор чувствительнейших запалов, реагирующих на неизвестные мне коды. Если рассматривать историю с позиций объективного знания, не доступного людям, но хранящегося в таких, как этот, могучих гигантах, то она представляет собой не что иное, как процесс изъятия зла. Непрекращающуюся ампутацию больных тканей, ряд жестоких процедур принуждения, совершаемых на живых организмах ради поддержания тлеющей в них искорки совершенствования. Если какой-то фактор развития и следует считать наиболее важным, то им, несомненно, надо признать время. И не время вообще, а тот невероятно краткий миг, который отделяет рождение человека от его смерти. Так было всегда, в любую эпоху, в любом столетии. До сего дня. Отныне должно стать иначе.

История. Отчаянная, ожесточенная борьба со вре-

менем. Сколько же людей не выдержали этого! Сколько же моих сопланетян махнули рукой, пытаясь найти оправдание в наскоро слепленной идеологии, либо не искало его вообще. История. Желание доказать, что человек есть средоточие ценностей, которые, даже с учетом трагически краткого времени их созревания, делают жизнь явлением неповторимым и бесценным, единственным в Космосе.

Я невольно повернул голову и уставился в наглухо запертую дверь. Круг света пробежал по кабелям и остановился на гладкой, как стекло, плите. День за днем, час за часом в аппаратуру за этой дверью стекаются проблемы и вопросы, волнующие земных историков. Она отвечает на них, учитывая в своих вычислениях субъективные предпосылки человеческих действий. Она знает о любви, изумлении, надежде, жажде власти и обладания. О самопожертвовании, ненависти и страдании. Но как знает?

Вообще-то пантомат не может знать, какое значение имеет для человека смерть. Не тот миг, когда перестает биться сердце, а то, что предшествует этому мгновению. Жизнь с сознанием смерти. И даже если знает, его знания мертвы. Точно так же, как сведения об эмоциях и чувствах. Жизнь с сознанием неминуемой смерти творила историю. Трагическую и триумфальную. Как вдолбить это машине с ее абсолютно объективным знанием? В диалоге с пантоматом, если бы каким-либо чудом такой диалог состоялся, у меня не было никаких шансов победить...

Пантомат отказался выполнять приказы. Такое случилось впервые, хотя его создатели учитывали возможные неожиданности и защитились от них, как могли. Забросили свое детище чуть ли не за пределы Солнечной системы. И что? Сам факт, что дверь захлопнул у меня перед носом тот, кого я не могу даже пытаться убедить в своей правоте, достаточно поучителен. Разумеется, с определенной точки зрения.

Я выпрямился. Сделал несколько шагов по галерейке.

Мелькнула мысль, что мое путешествие — всего лишь хитроумная интрига. Что, выполняя специально приготовленную программу, пантомат вдалбливает в меня ту истину, которая стала жизнью и целью его создателей, но которая не была и не стала моей истиной. По крайней мере до сих пор.

Нет, они меня не убедили. Не поколебали ни одного из аргументов, ни одного из доказательств, которые я противопоставил речам Грениана и Каллена. Но я впервые начал понимать их точку зрения. Надо будет этим заняться, когда закончу здесь то, что мне положено сделать. И вернусь. Независимо от того, что я там оставил. Смерть...

Впереди замаячило светлое пятно. Оно быстро увеличивалось в размерах. Я невольно прижался к барьеру, нащупывая ручку пистолета. Робот. Совсем забыл, что его вызывал.

Вообще-то ожидание на галерейке, в ночной пустоте, перед дверью, которая так и не открылась, хотя должна была открыться по первому моему жесту, длилось не больше двух минут. Забавно, сколько всего может прийти в голову за какие-то сто двадцать секунд.

Я посторонился и пропустил робота. Он прокатился так близко, что чиркнул по моей груди одной из своих антенн. У него было два ксеноновых рефлектора, но он их не зажег: они были ему ни к чему.

За дверь он взялся со знанием дела. Из передней части корпуса выдвинул иглу малого излучателя. Это я прохлопал: забыл об ограничителях. Я тут же нажал кнопку передатчика и изменил программу. Он как будто растерялся, некоторое время шевелил двумя короткими манипуляторами, потом вдруг застыл. Я повторил приказ. Безрезультатно.

Я замер. Такого я не ожидал. Горло сдавило. Оставить все, выбраться наружу, увидеть звезды... Я пытался продвинуться вдоль поручней, но не мог сделать ни шага.

Неожиданно робот дрогнул. Не дрогнул — что-то за-

ставило его задрожать. Он трясся, как корпус разбалансированного вентилятора. Так продолжалось несколько секунд. На мгновение я ослеп, пот залил глаза. Прозрев, я увидел за стеклом шлема перемещающуюся расплывчатую фигуру. Я не пытался схватиться за пистолет. Уже не пытался. Знал, что это бессмысленно.

Покой. Холодная, ничем не нарушаемая тишина. Словно веками здесь не происходило ничего и этого невозможно было изменить. Только робот, *мой* робот, управляемый чем-то, что не было человеком, медленно ползет в сторону, противоположную той, которую указал я. Я повернул голову. Робот находился уже в добрых пяти метрах от двери. И тут остановился. Пошевелил антеннами, а впрочем, мне это могло просто показаться, и замер.

Я подумал о пантомате. С роботом у него получилось. Между ними был прямой контакт. Мертвое договорилось с мертвым.

Я стоял спиной к двери. Робот торчал посреди галерейки, в нескольких шагах от меня. Чтобы не прикоснуться к нему, проходя мимо, надо было сесть на поручень и, перегнувшись назад, проехать по лестничным перилам метра полтора, словно шаловливому мальчишке.

Так я и поступил. Приближаясь к роботу, старался светить все время в одну точку. Неожиданно я обнаружил, что у робота в том месте, где обычно бывает запасная антенна, вмонтировано тупое рыльце. А ведь я, казалось, отлично знал, чем располагаю. Я проштудировал все конструктивные изменения, которые они внесли в оборудование корабля, имея в виду мою «деликатную миссию». Деликатную — до чего ж точное определение. Я бы рассмеялся, если б только помнил, как это делается. Мелочь. Я забыл о мелочи. О тупом рыльце, которое было не чем иным, как стволом генератора антиматерии.

Держась за поручень, я передвигался сантиметр за сантиметром, словно играл в жмурки. Но это была не игра.

С собственным роботом так не играют. Что бы я ни сделал, он знает, где меня искать.

Когда я наконец сполз с поручня и почувствовал под ногами пол, мой мозг работал уже достаточно спокойно. До самой лесенки у входа я ни разу не оглянулся. И не пытался требовать от робота, чтобы он шел следом. Довольно того, что он не сделает этого по собственному почину. Или еще хуже: не по собственному. Нет такого робота с автономными информационными системами, который перестал бы слушаться человека. Однако если невозможное становится фактом, такого робота исправить нельзя. В лучшем случае он идет на слом. Разумеется, согласно теории. Во всяком случае, так было до сих пор.

Я спокойно, ступенька за ступенькой, не оборачиваясь, взбирался к люку. Почти у самого выхода задрал голову и испугался. Надо мной была только тьма. Если люк окажется запертым так же глухо, как та дверь...

Нет. Есть звезды. Белая точка, не больше булавочной головки, вколотой в бархат. Я подтянулся на руках и рывком выбрался на поверхность. Одна звезда была ярче других. Не больше, а ярче. Так выглядит Солнце с того места, где кончаются его владения.

Я повернулся и, не сознавая, что делаю, направился к кораблю. Через несколько шагов рефлектор нащупал его корпус. Четко вырисовывалась яйцевидная крышка люка. Она была откинута, как я ее и оставил.

Я изменил направление. Звезды были везде, я выбрал одну из них. Разумеется, я мог сориентироваться и иначе, но шел на звезду дорогой, которая в гравитационном пространстве требовала бы крыльев. Я хотел осмотреть полушарие, столь упорно скрываемое от человеческих глаз с того момента, как прекратилось вращательное движение пантомата.

Тьма понемногу перемещалась, приоткрывая все новые созвездия. Я не спешил. Старательно, метр за метром, прощупывал рефлектором тусклое покрытие панци-

ря, словно искал потерянную зажигалку. И нашел раньше, чем мог предположить. Но не зажигалку.

Я остановился. Ничего особенного. Просто небольшое вздутие, похожее на перевернутую воронку. В десяти метрах от меня. Будто школьная модель вулкана высотой не больше двадцати сантиметров. На вершине отверстие с рваными краями, напоминающее пробоину. С таким же успехом это мог быть удар тупым молотком, нанесенный изнутри. Правда, еще не придуман молоток, способный пробить бетоновый панцирь. Нет. Миниатюрный кратер возник в результате целенаправленного действия пантомата. Что еще? Впрочем, в принципе было достаточно и этого.

Пришла идея. Я включил аппаратуру и подошел ближе. Да. Ну конечно же!

Из пробитого в корпусе отверстия изливался в пространство непрерывный поток сигналов. Зачем он это сделал? Ведь мог воспользоваться любой антенной, которых в его распоряжении были сотни. Но антеннами управляли с Земли. Достаточно? Или нужно еще что-то?

Пантомат взял инициативу в свои руки. Моя миссия оказывалась гораздо более «деликатной», чем мог вообразить Норин. Или даже Грениан.

Мне стало жарко. Странно. Ведь я был спокоен. Теперь уже спокоен. Как никогда. И все-таки у меня вдруг перехватило дыхание. Я взглянул на индикатор под козырьком шлема. Темный. Баллоны с кислородом в порядке. Вентиль открыт полностью. Ноги парит, словно я стою на раскаленной жаровне.

Жаровня... Минуточку. Я взял в пальцы головку датчика, не превышающую размерами таблетку от головной боли, и низко наклонился.

Не надо было даже прикасаться к поверхности. Загорелась лампочка. Не жаровня. Но и холодной ее тоже не назовешь.

Здесь искать было нечего. Если, конечно, я хочу успеть. Если еще существует возможность успеть.

Высоко поднимая ноги, я пробежал несколько десятков метров. Неожиданно поверхность пантомата подомной стала вишневой. Я подумал, что это конец. Но оказалось — всего-навсего шуточки зрения. Я остановился и глубоко вздохнул. Там, где я сейчас стоял, должен был находиться тупой нос ракеты, прилепившейся к панцирю пантомата. Должен был... Но его не было...

Я лихорадочно схватился руками за шлем и, водя головой словно мячом, окинул окружающее пространство лучом рефлектора. Ничего. Пустота. Температура стала непереносимой. Свет красной лампочки под козырьком резал глаза, как луч лазера. Еще минута, может две. И все.

Я в отчаянии кинулся вперед, и вдруг прямо передо мной что-то блеснуло. Есты! Мало того, что мне предстоит изжариться живьем, так он еще отнял у меня корабль.

Ракета неподвижно висела в пустоте. Ее нос, переместившийся на несколько градусов, виднелся не дальше чем в десяти метрах. Десять метров межпланетной пустоты. Собственно, уже галактической. Но в моем положении — это едино.

Выбора не было. Каждая минута промедления могла стоить мне жизни. Я выхватил пистолетик, направил луч рефлектора в то место, где в корпусе ракеты начинаются защитные колпаки сопел, и прыгнул. Я оттолкнулся слабо, но это вовсе не означало, что в случае промаха я не улечу в бесконечность. Разумеется, я мог маневрировать пистолетом. Однако для того, чтобы двигаться в нужном направлении, следовало стрелять прямо в пантомат. А у меня уже был достаточный опыт, чтобы знать, на что он способен. Я бы сказал, больше чем достаточный. Перчатки скользнули по корпусу, как по гладкому льду. Я двигался, не снижая скорости, задрав ноги высоко над головой. Краем глаза увидел откинутую крышку люка. Рванулся в ту сторону, но тело не последовало за движением рук. Однако я все же притормозил. Притормозил достаточно, чтобы в полутора метрах от наклонно сре-

занного края сопла попасть левой ногой в корпус корабля. Магнит прилип к оболочке. Я остановился.

Переждал несколько секунд, потом встал. Закружилась голова. Глаза застилал пот, но индикатор потемнел. Я был жив. Аутодафе отменялось. Во всяком случае, пока.

Люк вел не в кабину пилота. Отсюда вышел робот, оставив себе дорогу для возвращения.

Я захлопнул крышку и через лаз быстро спустился в кабину. Когда я отблокировал рули, над входом еще горел красный огонек. Я ударил из лобовых сопел, как при аварийном торможении. Добавил еще раз, и потянулся к пульту связи. В кабине проснулись тысячи светлячков. Зазвучал смешанный гул сигналов. Я вернулся в свой мир.

Автоматы привели давление в норму. К куркам кислородных баллонов присосались штуцеры шлангов, опутывающих ту часть корабля, которая предназначалась для экипажа. Я снова был пилотом. Хозяином гравитационного пространства Солнца. Даже если оно — всего лишь одна из звезд.

Пантомат захлопнул дверь перед самым моим носом. Парализовал робота. Когда я обнаружил загадочный конус в месте, временно недоступном для земных фотообъективов, он решил избавиться от меня. Быстро и гигиенично. На всякий случай лишил меня ракеты...

Температуру — явление, казалось бы, невозможное в том месте, где я находился, пантомат поднял, возбуждая вихревые токи внутри корпуса. Изменения напряженности электромагнитного поля либо попросту нагрева оболочки могли встревожить компьютер ракеты. Пантомат усек опасность и действовал так, словно я находился на борту. Отключил магнит, одновременно отдалив корабль от опасного соседа. Ну что ж, он действовал вполне логично.

С расстояния в четыре тысячи метров пантомат выглядел в инфракрасном диапазоне как идеальный зеленоватый шар диаметром с лесной орех. Я увеличил изобра-

жение. Зелень побледнела, и на ней стала видна более темная точка. Вход. Все еще открытый, словно пантомат рассчитывал на мое возвращение. Я включил лазерные искатели. Температура панциря составляла двенадцать градусов. В пустоте! В миллиметре над оболочкой было минус сорок. Не думал, что здесь вообще возможны такие температуры.

В принципе следовало вернуться. Что бы там ни было, я не могу сказать, что выполнил задание. Правда, убедил-ся кое в чем. Но одно это не уравнивало счета.

— Даже если ты вернешься,— сказал я себе вслух,— прежде стоит подумать.

Я подумал. Следующие минуты работал с компьютером. Проверил вычисления и привел корабль в движение. Внимательно следил, как он выходит на предвычисленную траекторию. Порядок.

Я двигался по низкой с точки зрения пилотажа орбите, на безопасном расстоянии от пантомата и уже не думал о возвращении. Подготовил линии связи, проверил семантические блоки компьютера и записывающую приставку. Не торопился. Раскинулся в кресле и из-под прикрытых век следил за игрой света на пульте. Темно-синяя точка каплевидной формы перемещалась по широкой дуге к центру экрана. Этой точкой был я. Мой корабль.

Прошло не менее тридцати минут, прежде чем дуга превратилась в полукольцо. Я оказался на продолжении линии, идущей через центр пантомата к самой яркой звезде. Прямо подо мной, если пользоваться земными понятиями, должно находиться то «нечто» в панцире. Пробоинка с острыми рваными краями. Как в старом затонувшем корабле.

Я застопорил двигатель. Долго искать не пришлось. В оконце рядом с экраном высочили цифры пеленга. Попал точнехонько.

Я выключил все антенны, кроме одной — направленной. Подстроил системы связи и компьютера. Некоторое

время разглядывал пантомат, словно надеясь высмотреть с такого расстояния роковую выпуклость. Наконец медленно протянул руку к пульта и перевел радиоперехват на фонию.

Кабину заполнил бесцветный, не то мужской, не то женский голос. Аппаратура, как всегда, переводила понятиями. Я вслушивался в слова, прежде чем они стали складываться в логический ряд. Тогда, в который уже раз за этот день, лоб мой покрылся испариной. Я еще ничего не понимал. Только чувствовал, как мертвеет кожа на лице и голове. Но не от страха. Не от изумления. От ярости.

7 Вообще-то ничего особенного. Случись такое на Земле, это вызвало бы просто недоумение. Не более. Но то — на Земле.

Пантомат читал уголовный кодекс. Только-то и всего. Не важно, какой давности — ста или пятисотлетней. Холодным, бесстрастным голосом он бросал в пространство параграфы, добавления и комментарии — плоды горького опыта человека, живущего среди себе подобных. Коллективная мудрость поколений, вернее, мудрость коллектива, воплощенная в символы общественной хирургии. «Если кто-либо, намереваясь лишить жизни... — выговаривал голос, который в принципе мог принадлежать любому из нас, — ...подлежит смертной казни».

На Земле. Но этот поток простой, на первый взгляд невинной информации возникал в пустоте и в пустоту уходил. Существа, которых он касался, не были инициаторами передачи. Они стали безвольными пешками в руках неведомых партнеров. А ставкой в игре могло быть все. В том числе и их существование.

— «...Приговор приводится в исполнение...»

Не имеет значения, что игра идет фальшивыми картами, что вырисовывающийся из потока объективной информации образ земной цивилизации оказывается обманом. Не важно даже, что этот кодекс, этот отражаю-

шийся в кривом зеркале продукт нашего общества возник из надежды и веры в прогресс. Не важно, ибо пустота Космоса — явление кажущееся. А ведь я напал не на самый сомнительный раздел передачи. Есть еще полицейская, медицинская, финансовая статистики. Есть психология и психиатрия. История...

Кто-то меня опередил. Кто-то либо что-то. Превратил плод человеческого гения в космического соглядатая. Он не пожелал ничего большего, чтобы узнать правду о заинтересовавшем его мире. И лишил нас возможности опровергнуть эту правду, которая, как всякая неполная правда, была обыкновенным обманом.

Минута за минутой, день за днем направленной волной уходит в вечность Космоса информация. В бесконечной череде импульсов, которые возможно перевести на язык любых мыслящих существ, заселяющих галактики, содержится знание о людях. Какая разница, слушает их кто-нибудь или нет. Безразлично, был ли пантомат перепрограммирован или же в результате постепенного усложнения собственной информационной структуры он сам из себя создал своеобразный пункт услуг. Важно одно — информация может быть воспринята. В самых отдаленных уголках Космоса. Там, где время, смена поколений, жизнь и смерть не существуют в земном значении этих слов. Независимо от причин, породивших изменения в его структуре, пантомат превратился в информатора. Более опасного, нежели когда-либо существовавшие или придуманные в политической истории мира.

Я рубанул рукой по клавишам. Голос умолк. Я склонился над пультом. Не спуская глаз с экрана, прощупал направленной антенной тот участок неба, на который был нацелен кратер «вулканчика». Поток, несущий информацию, проходил мимо ближайших звезд, пересекал район Порциона и бежал дальше, в глубь Галактики. Либо за ее пределы.

Я не стал уточнять направление. Конечно, это интересно, но не для меня. Я подожду лишь, пока достаточно

длинный отрывок передачи с переводом на человеческий язык окажется в кассете записывающей приставки. Анализом займутся другие. Думаю, охотники найдутся.

Прошло двадцать минут. Меня кидало то в жар, то в озноб.

Достаточно. Я пробежал пальцами по пульту и запустил двигатель главной тяги. Мне было плевать на орбиты. В нескольких десятках метров от входа в пантомат я задрал нос ракеты и застопорил двигатель. Неожиданно на экране возникло какое-то движение. Словно приближался вырванный из мрачного колосса клочок тьмы. Я бросил туда сноп света.

Это была та единственная информация, которой не обладал пантомат. В его системах умещались сведения обо всем, что касается человеческого мира, кроме одной «мелочи» — антиматерии. Граница Солнечной системы слишком недалеко от нас, чтобы можно было допускать такое соседство.

Но мои роботы, специально приготовленные для выполнения «деликатной миссии», были снабжены генераторами. И именно один из них, вызванный мною, виднелся сейчас на поверхности пантомата, рядом с неприкрытой крышкой входа. Торчавшее из его брюха конусообразное рыльце вытянулось, как это бывает, когда начинают работать прицелы. Жерло смотрело не куда-нибудь, а в самый центр объектива, передававшего изображение на лобовой экран моей кабины.

На этот раз я не почувствовал ничего. Не глядя, рванул рычаги рулей. Я даже не подумал, успею ли. Навел прицелы, как на полигоне. Ударил из сопел. Ускорение выбросило меня из кресла, я стукнулся лбом о рамку экрана, так что на долю секунды потемнело в глазах. Когда я прозрел, пантомат был уже размером со звезду. Черную звезду, если это возможно. Но на увеличенном участке изображения по-прежнему был виден стоявший у входа робот. Он не стрелял. Все еще не стрелял. Значит, я успел.

Расстояние было в самый раз. Я кинул взгляд на оконце прицельника и нажал спуск. Ракету качнуло, но до меня не дошло ни звука. Еще мгновение, и впереди вспыхнуло солнце. Призрачный свет аннигиляции пронзил иллюминатор, прошел экраны, ослепил меня. Последнее, что я запомнил, было море огня, разбегавшееся в пространстве.

Когда я пришел в себя, вокруг стояла тихая, черная ночь пустоты, усеянная звездами. Предмет гордости и опасений ученых, центральная пантоматическая станция номер четыре перестала существовать. «Деликатная миссия» завершилась.

Я осмотрел экран и стрелки указателей. Корабль все еще летел кормой вперед в сторону Солнца. Я передал управление автопилоту и включил пеленг. «Маскировка» была уже излишней. Правда, с корпуса ракеты срезало все антенны и антирадиационные зеркала, и теперь он походил на свежеподстриженный газон. Я невольно улыбнулся, вспомнив о Норине и других. Будет о чем поговорить. Ну что ж, пусть наберутся терпения.

Если подумать, выбора у меня не было. Все решилось в тот момент, когда я вызвал вооруженного генератором антиматерии робота. После этого оставалось только две возможности: либо я, либо пантомат.

Тахдар работал исправно, на одной пятой мощности. Компьютеры выводили корабль в коридор. Я знал, что на Бруно автоматические усилители сообщают о моем положении в пространстве. Станция примет управление ракетой несколько позже, чем обычно. Но достаточно рано, чтобы считать дело законченным.

— Он передал открытым текстом,— продолжал Норин,— что внутрь проникало инородное тело. Пантомат не спрашивал, как поступать. Просто предупредил, что переходит к действиям, которые считает необходимыми.

Я смотрел на Норина, ничего не понимая.

— Открытым текстом?

Норин улыбался. Улыбался с того момента, как я переступил порог шлюзового отсека. И он, и стоявший рядом Каллен, и даже Грениан.

Причина их хорошего настроения была очевидна. Они победили. Доказали себе и другим, что мертвое должно быть послушным. В тот момент, когда пантомат окрестил человека «инородным телом», его песенка была спета. Меня охватило раздражение. Открытый текст! Я представил себе заголовки газет с моим именем.

И неожиданно до меня дошло, чем это пахнет.

Причем здесь имя, причем здесь я, он. Есть еще наши лица. Память. А, черт! Не в нас одних дело...

— Об этом потом,— неожиданно сказал Грениан, поднимаясь с кресла и посылая мне короткий взгляд. Если до того я мог сомневаться, знают ли они, то теперь все сомнения отпали.

— Передохни,— посоветовал Норин.— Спешить некуда. Штаб пока остается здесь. Посмотрим, что ты привез.

Да. Конечно. Спешить некуда. Во всяком случае, мне.

— Чего ты от меня ждешь? — спросил через несколько дней Грениан, когда я уселся напротив него в диспетчерской.— Что я похваляю тебя? Не в этом дело, верно? Тогда в чем же? Что-то ведь тебе надо. И почему ты ждешь, пока я скажу что-нибудь такое, что облегчит твое положение? Тогда подскажи, что ты хотел бы услышать. Я никому не передам,— пошутил он, но лицо его оставалось мрачным.

Он был зол. Я тоже. Беседа обещала быть интересной.

Самое скверное позади. Во всяком случае, так заявил Каллен сегодня утром, когда я выходил из лаборатории. Лучшей шутки мне слышать не доводилось.

Я работал с ними. Изю дня в день комментировал записи, что-то рассчитывал, закладывал программы в ком-

пьютеры станции, связанные с земными центрами. Десятки раз возвращался к одним и тем же событиям, деталям, долям секунд. Наконец было сказано все. Мы рассчитали варианты нескольких возможных процессов, которые могли произойти в «нервной» сети информационных систем пантомата. Улов был не особо обильный, но ничего большего от нас и не ожидали. Остальное — дело Совета.

Но это еще не все. Вот уже два дня, как станция на Бруно раскалывалась под напором гостей. В нескольких метрах от приемных галерей висели пузатые корпуса транспортных ракет. Тут здорово струхнули. Никто, конечно, не решался заявить, что-де пантомат «продал» сведения внеземной космической расе. Так не думал никто. Но ведь если закинуть сеть в океан, то рано или поздно вытащишь рыбу. Теория вероятности. Короче говоря, было решено построить мощную передающую станцию в районе Трансплутона, точно в том месте, откуда еще три недели назад струилась в Космос переложенная на язык импульсов энциклопедия человечества. Не пантомат — станцию. А Земля пока будет довольствоваться шестеркой оставшихся. Разумеется, их перепрограммируют или даже переконструируют, однако не раньше, чем комиссия Совета закончит работу. После того как будет смонтирован передатчик, управляемый непосредственно с Земли, мы возобновим передачу, прерванную в тот момент, когда излучение главного генератора моей ракеты уперлось в пантомат, превратив определенную массу в энергию. Однако это будет особая передача. Направляемая в космос информация будет иметь познавательный характер. Только познавательный.

Честно говоря, меня это как-то не трогало.

Возможно, раньше было бы иначе. Раньше, значит... Да. Теперь я чувствовал себя свободным. Как никто. Мне не надо было ни о чем заботиться. Что касается того, другого... Ну что ж, с этим тоже все было решено.

— Вы предлагаете мне сыграть,— скорее отметил я, чем спросил.— Коли так, договоримся о ставках. Пока что я платил больше.

— Сам? — тут же подхватил Грениан.— Или кто другой?

— Не вы ли? — проворчал я.

— Не уверен,— проговорил он как бы про себя.— Впрочем, дело не во мне. Ты знаешь об этом не хуже меня.

— Знаю,— ответил я.— Я устроил вам шуточку. Лечу на край света, а тем временем с Земли на Бруно приходит сообщение, что я, к примеру, поймал стокилограммовую щуку. Либо уколошил старушку. Не знаю, что я там в это время делал. И, сказать по-правде, мне это без разницы. Но вам-то — нет,— процедил я.— Потому что, когда я отсюда улетаю, вы не знали ничего. Никто из вас. Иначе как объяснить, что вы не обмолвились ни словом? Не хотели раздражать меня перед «деликатной миссией»? А может, я просто был нужен? Только-то и всего?

— Я знал,— спокойно сказал Грениан.— Другие — нет. Но я знал. Ты бы стал говорить на эту тему... тогда?

— Вас не интересует, появилось ли у меня такое желание сейчас? Изменилось положение, верно? Я вас больше не интересую. Так я и предполагал.

— Ты считаешь, это честная игра? — тихо спросил он.

Я немного подумал.

— Хорошо. Договоримся. Мне нечего сказать о том, что я сделал там, внизу. И не думаю, чтобы я нуждался в чьих бы то ни было комментариях. Но, может, есть нечто такое, что я должен сделать сейчас? Что могу сделать,— добавил я, выделив слово «могу».— Пожалуйста. Слушаю. В конце концов, мне же от вас что-то причитается. А?

Грениан закусил нижнюю губу и задумался, уставившись на экран. Казалось, он слушает важное сообщение, по окончании которого должен немедленно принять

решение. Потом покачал головой и прошелся по кабине.

Ростом он был невысок, но никому не пришло бы в голову назвать его коротышкой. Длинные белые волосы с металлическим отливом. Неизменная прядь над левым ухом. Темные глаза с едва видимыми белками. Неожиданно мягкое лицо большого ребенка с непропорционально маленьким носом, полными губами и маленьким округлым подбородком. Как это он сказал тогда, через несколько минут после оглашения результатов экзамена? «Есть множество вещей, которые стоит делать. Есть такие вещи, которые делать надо. Ты бы пригодился в Комплексе». Помнится, я не очень-то знал, что ответить. В качестве свежее испеченного фотоника я готовился к работе в сельском хозяйстве. Но уже и сам понимал, что управление сельхозсистемами не совсем то, что хотели мне предложить медики. Ну, и пилотаж прошел у меня чуть лучше, чем у других.

Я вздохнул.

— Все дело в том, что вы напрасно взяли меня в Комплекс. Сидел бы я сейчас на Аляске, подогревал огурчики и мечтал о том, чтобы они росли целую вечность. Ваша работенка...

Он не улыбнулся. Словно до него не дошел смысл сказанного.

— Ты ведешь нечестную игру, — начал он, не спуская с меня глаз. — Ставишь высоко, но расплачиваться велишь другим.

— Это я уже слышал.

Он утвердительно кивнул.

— Существует закон, — сказал он, — который гласит, что человек не может находиться одновременно в двух или более местах. Слышал?

— Старая история, — пожал я плечами. — Еще тех времен, когда никому и не снились ваши... генофоры. Закон придумали такие, как я, опасаясь, что один-единственный Грениан сможет заменить их на любой силосорезке, не говоря уж об институтах...

— Блефуешь, Дан,— твердо бросил он.— Не люблю.

— Даже если блефую, то не без повода. Вы не хуже меня знаете, что запрет на «раздвоение» установили, когда люди еще не умели как следует управляться с временной связью, применением информационной техники в процессах мышления и фантоматикой. С тех пор мы шагнули вперед. И шаг этот был не больше не меньше, как из небытия в вечность. Так о чем же мы говорим, профессор? Сегодня ведь никто не появляется в обществе себе подобных, прикидываясь собственным оригиналом. И не проводит совещаний в разных местах с шестью партнерами одновременно. Так было, вернее, могло быть до того, как вы купили себе бессмертие. А теперь это предыстория. Только сумасшедший мог бы действовать на несколько фронтов, имея в своем распоряжении время... я все никак не освоюсь с терминологией.

Он пропустил мое замечание мимо ушей, вздохнул и потер пальцами лоб. Потом выпрямился. Брови сошлись у него к переносице.

— И все-таки,— как бы с трудом выдавил он,— закон остался. Суди сам, потерял ли он актуальность... Даже если первоначально у него была другая цель. А ты,— продолжал он,— нарушил этот закон. И давай не будем играть в слова.

— Повесьте меня,— проворчал я.— Я бы не стал церемониться.

И тут меня осенило.

— Да ведь вы же не можете! Ведь в резерве всегда есть та коробочка. Правда, ее можно замуровать в склепе, как раньше поступали с вдовами владык. Но этого вы не сделаете. Человек — шелуха! А вот генофоры! Ого-го! Святая штука. Табу.

Его глаза ожили.

— Кстати,— сказал он совершенно другим тоном.— Тебя исследовали?

Понадобилось некоторое время, чтобы до меня дошло.

— Да.

— Ну и как? Не думай, что я лезу не в свои дела,— быстро добавил он.— Ты был очень близко от эпицентра. Аннигиляция в пустоте... Нам редко приходится иметь с нею дело.

Он смотрел на меня с любопытством, словно эта проблема поглотила его без остатка. Я пожал плечами.

— Не знаю. Они канителились со мной полдня. Совсем так, как в Центре перед стартом.

— И что?

— Ничего. Я бессмертен,— криво усмехнулся я.— И даже не спятил. Впрочем, в последнем они, кажется, не были уверены...

— Не удивительно,— мягко заметил Грениан.

— Во всяком случае, они обрадовали меня, сказав, что через несколько дней мы встретимся опять. Не знаю, куда мне деваться на это время. Игра окончена?

Он ответил не сразу.

— Да,— наконец произнес Грениан.— Что собираешься делать теперь?

Я открыл рот, чтобы ответить и вдруг почувствовал, что мне не хватает слов.

— Не знаю,— прошептал я неожиданно для самого себя. Странное ощущение. Я вынужден был говорить, потому что перестал думать. Я знал одно: мне нужен звук собственного голоса.— Не знаю. Когда останусь один...

— Кончай с этим,— прервал он.— Я хотел только, чтобы ты перестал паясничать. Это не пойдет на пользу ни тебе, ни нам. И незачем ставить свое решение в зависимость от поступков других.

Он задумался, глянул в иллюминатор и улыбнулся, словно увидел что-то. Но не в иллюминаторе. Далеко за ним. В пространстве.

— А что касается работы,— снова заговорил он,— то ты останешься в Комплексе. Не исключено, что у тебя прибавится занятий... вне Земли,— он осекся, отвел глаза и продолжал: — Может, это лучше, а может, нет. Остается вопрос: захочешь ли ты и дальше протестовать против...

вечности таким же образом, каким проделал это перед отлетом с Земли? И прежде всего, что ты собираешься делать с собой?

Я долго молчал. Когда наконец смог ответить, мой голос звучал, как обычно. И была в нем уверенность, источник которой находился вне меня.

— Не знаю. Да и какое это имеет значение. Если не я, так вы что-нибудь для меня придумаете. В принципе мне все равно.

Он покачал головой и убежденно сказал:

— Ты прекрасно знаешь, что никто за тебя ничего не придумает... В любом случае у меня к тебе просьба. Когда что-нибудь решишь, приди ко мне. Неважно, что ты скажешь. Правду или нет. Можешь вообще ничего не говорить. Я хочу только взглянуть на тебя... когда ты решишь. Скажем,— он опять улыбнулся,— приглашаю тебя на реванш...

Я кивнул. Не хотел его обманывать. Не хотел многого из того, что случилось.

Я постоял еще немного и молча направился к выходу. Приоткрыв дверь, неожиданно услышал собственный голос.

— А что делать?

Я ждал долго. Его лицо потемнело. Он прикрыл глаза и беспомощно пожал плечами.

— Не знаю... Не знаю...

Игра окончена. Я понял это еще минуту назад, у двери, когда услышал звук собственного голоса здесь. Единственное, что я мог сделать, это перестать на него смотреть. И уйти.

Полдень. В желтом сумраке едва просматриваются обломки скал. Из гладкой слежавшейся пыли торчат острые ребра камней. Отсюда, с Бруно, Солнце уже не кажется звездой. Его свет едва сочитается. Плотный и густой, он со всех сторон охватывает скалы и постройки. Этот мир с момента своего зарождения не знал настоящей тени.

Я оторвался от окна и окинул взглядом кабину. Собственно, не кабину даже, а что-то вроде застекленной террасы. Отсюда открывался вид на могучие сооружения ретранслятора, размещенного в неглубоком кратере, на пылевую пустыню и каменные иглы, вызывающие в памяти позднюю готику. Астероид, зернышко, затерявшееся в мире больших планет, обращался вокруг оси не быстрее, чем одна из них. Как раз с такой скоростью, чтобы человек мог чувствовать себя здесь как дома. Хотя бы в этом. И чтобы мог ежедневно приходить сюда, на террасу, поглядеть сквозь стеклянную стену на Землю.

Я взглянул на часы. Одиннадцать. Через полчаса надо быть в диагностическом кабинете. Обо мне не забыли. А может, решили дать мне эти три недели на то, чтобы я познал истину о себе самом. Или чтобы они сумели извлечь эту истину из меня.

Я пришел сюда без определенной цели. Не в поисках уединения. На станции его было предостаточно. Монтажники улетели десять дней назад, а те, что остались, ни на шаг не отходили от экранов. Системы памяти компьютеров принимали с Земли кучу препарированной применительно к обстоятельствам информации о людях. У меня не было ни малейшего желания слушать. Впрочем, никто мне и не предлагал. Я свое сделал. Никто не замечал моего присутствия, за исключением, быть может, Грениана, которой, кстати, после того памятного «не знаю» не удостоил меня ни словом.

За спиной послышались шаги. Как будто кто-то подкрался на цыпочках, остановился и теперь не знал, что делать дальше.

Я переждал немного и обернулся. Кира. Разумеется, Кира. Можно было догадаться. Вот уже несколько дней я встречал ее постоянно в самых неожиданных местах. Она отводила глаза и улыбалась, точно вспоминала о чем-то приятном, но не имеющем никакого отношения ко мне. Только однажды, кажется, в первый день, я видел ее в рабочем халате. Остальное время она неизменно появлялась

в обтягивающих бедра расклешенных брюках цвета первой весенней травы и в таком же болеро, схваченном на груди пряжкой размером с дыню. Точнее, с ломтик дыни, разрезанной в самом широком месте. Если добавить к этому фигуру манекенщицы, длинные тонкие пальцы и лицо куклы из тех, которых девушки оставляют себе на всю жизнь, то становилось ясно, что она могла быть соответствующим человеком на соответствующем месте. Если, конечно, это место находится отсюда на таком же расстоянии, как астероид от Бульвара заходящего Солнца. Она успела сообщить мне, что работает ассистенткой у Норина, изучала математику, специализировалась на фотометрии, не любит концентраторов и обожает собственное общество. Последнее представлялось мне несколько сомнительным.

— Единственное, что ты можешь здесь увидеть в ближайшие пять секунд,— проворчал я,— это меня. За то, что случится позже, не отвечаю,— добавил я и направился к двери.

На полпути меня остановил ее голос:

— Ты меня не любишь? — спросила она холодным, деловым тоном, каким обычно справляются о погоде. Меня это озадачило. Я внимательно посмотрел на нее:

— А ты как думала? Трудно любить человека, которого не знаешь. Потом-то может быть всякое. Но ты не бойся. Тебе сие не грозит...

Она покачала головой. У нее были черные как ночь волосы. В свете здешнего дня они отливали рыжиной, делали более худощавым округлое лицо, струились на плечи и изгибались там наподобие утолщенного басового ключа. Отличная девушка. Приятно подумать, что она не умрет и до конца света будет также вот глядеть на какого-нибудь подобного себе бессмертного. Я поймал себя на том, что подумал, женат ли Норин. Мое лицо расплылось в улыбке.

Она тоже улыбнулась.

— Ты меня не любишь,— повторила она уже утвер-

дительно, повернулась и сделала несколько шагов к каменной стене. Потом остановилась и взглянула на меня. Я увидел ее глаза, голубые, с искорками старого золота.

Я не ответил. Мне вдруг почудилось, что вокруг что-то изменилось. Кто сказал, что мне необходимо что-нибудь с собой делать? Грениан? Или, может, Норин?

— Я тебе нравлюсь? — спросил я совсем тихо. Она вздрогнула, потом резко покачала головой.

— Не сейчас, — в уголках ее глаз обозначились морщинки.

При случае надо будет спросить, сколько ей лет. Вероятно, не больше двадцати двух—двадцати трех. Для куколки — глубокая старость. Для девушки...

— Не сейчас, — повторила она уже другим тоном, наклонила голову и вытянула губы трубочкой, словно собиралась свистнуть. Я почувствовал, как у меня немеют кончики пальцев.

— А напрасно, — проворчал я. — Тебе не следовало бы насиловать себя. Человек должен заниматься своим делом, хочет он того или нет. Норин многое понимает, но не очень-то рассчитывай на его понятливость. Если подкачаешь, он тебе не простит.

Несколько секунд она стояла неподвижно. Наконец до нее дошел смысл моих слов. Губы ее дрогнули, и она сорвалась с места, словно хотела перепрыгнуть через меня. Я отступил на шаг и успел придержать ее за плечо.

— Мы достаточно далеко от Земли, — заметил я. — Пора забыть о театре. Скажи им, пусть подыщут кого-нибудь более подходящего. На их век чокнутых фотоников хватит. А второй такой девушки они могут и не найти. Что до меня, то, думается, игра не стоит свеч. Можешь заверить их, что я буду вести себя пристойно. Пусть не паникуют. И не спешат. Мне совестно за них. Такие девушки, как ты, должны прогуливаться по пляжам, раздавать отдыхающим минеральную воду или выращивать розы, а не выполнять роль наживки у разных там Норин. Передай им. И не забудь добавить, что это мои слова,

а то они чего доброго разобидятся на тебя. И вот еще что,— закончил я.— Не люблю брюнеток. Запомни это на тот случай, если я еще когда-нибудь перестану тебе нравиться...

— Пусти,— сказала она спокойно, скосив глаза на свое плечо.

— Это уже лучше,— засмеялся я.— Изволь...

Я отпустил ее и шутовским жестом указал на дверь. Она не пошевелилась. Выдержала так минуту, может, полторы. Наконец глубоко вздохнула и, не глядя на меня, произнесла, как бы обращаясь к самой себе:

— Жаль. А я, например, люблю таких, как ты. Во всяком случае, так мне казалось. Я слышала, что... — голос перестал ее слушаться,— что... у тебя были неприятности. Я слышала... — она замолчала. Закусила губу. Сплела перед собой руки и подняла их, будто собиралась поймать мяч. Неожиданно рванулась к выходу. Я раскрыл рот, намереваясь сказать что-то, но резкий звук захлопнувшейся двери остановил меня. Думаю, толстой пластиковой плите, из которой была сделана дверь, не доводилось испытывать подобного обращения.

Я бездумно постоял еще несколько минут, потом услышал собственный голос: «Кира». Это имя не вызвало во мне никакого отзвука. И все-таки я улыбнулся. Недурственно придумали! Девушка в роли... Некогда это имело свое название. Я решил спросить о ней Норина. Мимоходом, когда беседа зайдет, например, о погоде. Либо об эмоциональном отношении людей к вечности.

8 На станции была установлена диагностическая аппаратура новейшей модели. На этот раз вместо проволочного кокона мне на голову натянули тонкую белую сеточку. Один электрод сунули в левую руку, второй укрепили на шее.

Техники работали вдвоем. Я растроганно подумал об измочаленном работяге в Центре. Впрочем, у него-то самое худшее было позади. Так, наверно, чувствует себя

директор санатория по окончании сезона. Текущие пополнения записей. Славно. По мне, так даже чересчур.

Разумеется, я знал, что меня ждет. Каллен не забыл сказать об этом чуть ли не сразу после посадки. С улыбочкой. «Мы не имеем права рисковать. Ты слишком много знаешь». Они не могли смириться с мыслью, что, принимая ванну, я возьму да и отдам концы. Правда, там, внизу, у них припасена пробирочка, но в ней недостает последних месяцев. Думается, эти месяцы были не без значения.

Они решили сделать запись здесь. Как только я вернусь. И добились своего. Подкинули с Земли шикарный аппаратик, из которого я мог в любой момент вновь вылезти на свет божий. А теперь «актуализовали» запись.

Я спросил техников, как бы они поступили, если бы моя игра с пантоматом несколько затянулась или, наоборот, закончилась раньше времени либо корабль, которому они доверили столь бесценный груз, напоролся бы, скажем, на метеорит. Я не скрывал, что думаю о таком бессмертии. Так сказать, бессмертии с перерывом на обед.

Техники выслушали меня, не моргнув глазом. И за сорок пять минут, которые длился сеанс, не проронили ни слова.

Надо думать, втолковывал им я, они не решились бы подвергать опасности человека, который мог еще побродить по свету годков сорок—пятьдесят. Так почему же это можно делать с существом, у которого впереди вечность?

Неожиданно я замолчал. Медленно провел взглядом по угасшей аппаратуре сигнализации, потемневшим экранам, контейнерам с оплетавшими их пучками кабелей. Я рассматривал их так, словно намеревался навечно запечатлеть в памяти каждый датчик, каждую лампочку, раз навсегда запомнить лица обоих техников, их жесты, цвет глаз, одежду.

Я знал, что это всего лишь игра. Не похожая на ту, что я вел с Гренианом. Там у меня были шансы. Здесь ре-

зультат был предreshен. Я не запомню ничего. Ведь после смерти не помнят.

Того, что передал пантомат, им уже в тайне не удержать. Сообщение шло открытым текстом. Меня ждут. И дождутся. Динамики сообщат о прибытии ракеты с Бруно. Выйдет Норин. И что он им скажет? Нет, не Норин. Грениан. Этот не станет прятаться за спины других. Собравшиеся на ракетодроме узнают, что пилот, который уничтожил взбунтовавшуюся машину, уже не прилетит. Он перестал жить, так как не пожелал стать бессмертным. Все очень просто. Но не огорчайтесь. Вообще-то он существует, сохранил в сознании свое детство, юность, даже личные трагедии, словом, все... до определенного момента. Потом случилась эта досадная история с пантоматом, несчастный случай, он... помолодел на один год. Да, конечно, мы своевременно пополнили запись его личности, но, видите ли, он сам не захотел...

Захотел — не захотел. Он — не он... А кто, собственно? Тот, кого ожидают толпы встречающих, или некто другой, отставший на год? Как все это понимать? Не многовато ли вопросов? А может, их столько и должно быть? Может, именно к этому он и стремился? И не только к этому?

Да, им придется поломать голову. А я, независимо от истинных намерений, не собирался облегчать им жизнь.

Я настолько увлекся, пытаюсь нарисовать себе открывающиеся передо мной новые возможности, что совсем забыл о техниках и о том, где нахожусь. Не знаю, сколько прошло времени. Неожиданно я поймал себя на том, что уже в который раз сам себе задаю вопрос: а что дальше? Я пытался увильнуть от ответа, но ведь нельзя же делать это до бесконечности. Моя мысль упорно возвращалась к Грениану. Нет, у меня не появлялось желания заговорить. Но зачем обманывать себя? Мне что, действительно так уж необходимо бросить камень в стоячую воду, заросшую сказочными цветами человеческих надежд? Ведь я не могу ничего предложить. То, что я задумал, ни в коей

мере не может считаться предложением. Или альтернативой.

И все-таки я это сделаю. А коли так, то какой смысл рассуждать, что здесь от альтруизма, от протеста против собственной судьбы, а что от упрямства, строптивости.

Я молча вышел из диагностической кабины. И без того показал себя достаточно разговорчивым. Как и всякий, кого не прельщает перспектива оставаться один на один с собственными мыслями. Трудно предположить, что они не выудили этого из моего сознания. В конце концов они были специалистами. Знали свое дело. Терпеливость присуща их ремеслу в такой же степени, как когда-то погонщикам мулов.

В кабине было душно. Я несколько раз взглянул на ручку климатизатора, но двигаться не хотелось. Кресло, в котором я лежал, было точной копией тех, что устанавливают в ракетах. Стены — на расстоянии вытянутой руки. Желтоватый потолок, переходивший в экран иллюминатора, висел в полутора метрах над головой. У проектировщиков были заботы поважнее, чем удобство экипажа. Особенно когда он отдыхает. К тому же ни один из них не провел в пространстве больше месяца. Для этого существовали конструкторы, монтажные роботы и такие субъекты, как я.

Дверь неожиданно распахнулась, и появилась улыбающаяся физиономия Каллена. Улыбающаяся — слабо сказано. Он сиял. От него так и разило уверенностью, что все идет как положено. И даже лучше.

— Не утруждай себя,— сказал он, остановившись на пороге и раскачивая створку двери.— Спал?

Он явно ожидал ответа. Мне пришлось разочаровать его.

— Старт завтра,— сказал он после минутного молчания.— Трансплутон работает. Можно возвращаться.

Я не сомневался, что ему-то можно. Вот если бы монтажники проявили меньше прыти, ему пришлось бы еще

немного посидеть перед экраном. Ничем другим он помочь не мог.

Именно это я ему и сказал. Но у Каллена, был как говорится, добрый день. При всей кажущейся невероятности он ухитрился улыбнуться еще шире.

— Летим вместе,— сообщил он таким тоном, словно обещал ребенку съездить к бабушке.— Грениан и Норин хотят еще уточнить направление эмиссии. Твои материалы пока останутся у них. Недели на полторы.

— Передай им привет,— сказал я и почувствовал, как защекотало в горле. Уже сейчас.

Он засмеялся, покачал головой, словно увидел что-то удивительное, и многозначительно сказал:

— Приготовься к неожиданности...

Меня взорвало. Неожиданность! Опять. Не слишком ли?

— Как погляжу, с некоторых пор вы только и думаете, как бы я не соскучился. А после мне приходится лезть головой в диагностер или устраивать космический фейерверк. И что, так будет продолжаться целую вечность? В таком случае отрекаюсь от всего, что я о ней говорил. Изумительная штука — ваша вечность. Не соскучишься!

Он вышел, прикрыв дверь так тихо, словно боялся разбудить меня.

Неожиданность. Еще одна. Перед глазами всплыло лицо Патта. Он первый предупреждал, чтобы я не дал застать себя врасплох.

Итак, завтра. Значит, надо спешить. Разумеется, без паники. Осложнений не будет. Я успею, хоть бы пришлось делать это за пять минут до старта.

Я полежал еще немного, потом встал, одернул комбинезон и вышел в коридор.

В холле, как я и предполагал, было пусто. Из кабин не доносилось ни звука. Стремление как можно скорее напичкать космос информацией о прелестях человеческой цивилизации поглотило их без остатка. Я опять улыбнулся. Что там ни говори, а я был частицей этой цивилизации.

Факт, достойный размышления, если учесть, что я сделаю через несколько минут. Я подумал, что без упоминания обо мне, пусть даже самого краткого, о моей жизни, мыслях, воспоминаниях, их информация никогда не будет полной. И таких, как я, нашлось бы немало. А ведь, надо думать, именно наши мысли представляли наибольший интерес для тех, кто вздумал бы исследовать земную цивилизацию.

Я прошел мимо диспетчерской и, не оглядываясь, направился к диагностическому кабинету. Дверь была открыта. Внутри — полумрак. Тусклые экраны сливались с неосвещенными пультами и стенами. Откуда-то издали доносилось ленивое пощелкивание. В воздухе стоял резкий запах хлора.

Не раздумывая, я направился к невысокой двери в боковой стене. Дверь сразу же открылась. Загорелись желтоватые лампы, осветившие длинный коридор, вернее, полукруглый туннель. Одна его стена — совершенно гладкая, на другой — располагался ряд выпуклых плит: входы в складские помещения. Пол коридора был выложен тем же материалом, что и в кабинах, так что я не слышал собственных шагов. Станция была мертва, словно из нее выкачали воздух.

Мне не приходилось раздумывать — все двери были снабжены надписями, при взгляде на них буквы загорались.

У входа в камеру резервной аппаратуры кто-то дописал: «Реанимационные эталоны экипажа». Я остановился. Отлично названо. Иначе, чем сделали авторы рекламы, но здорово. Один вид надписи вызывает доверие.

Я дотронулся до замка. Дверь тут же поддалась. Я осмотрел косяк снизу доверху, пытаюсь отыскать какое-нибудь дополнительное предохраняющее устройство. Ничего. Я нажал сильнее. Послышался шорох, будто пересыпали крупный песок, и дверь в помещение «эталонов» раскрылась настежь. Я осмотрелся и вошел.

Вот она — антитеза морга. Они даже не дали себе тру-

да снабдить помещение, заполненное пребывающей между жизнью и смертью информацией, стандартными контейнерами. Или хотя бы обыкновенными пластиковыми стеллажами. Резервной аппаратуры не осталось и в помине. От пола до потолка громоздились жестяные кассеты с этикетками. Я сосредоточил внимание на них и неожиданно почувствовал спазм в желудке. Пришлось вздохнуть поглубже. Нет, я не ошибался. У их вечности были свои теневые стороны. Я мог понять отвращение некоторых древних культур к трупам, но то, что находилось здесь, было несравнимо хуже. Не всегда достаточно понимать, чтобы сдерживать тошноту.

Я пересилил себя и сделал два шага к ближайшему ряду кассет. То, что я искал, должно было находиться с краю. Последний улов, точнее — поступление...

В коридоре послышался шорох. Я застыл. Звук повторился. Я услышал что-то вроде приглушенного зова и шага. Потом они утихли.

Я медленно повернулся, на цыпочках подошел к двери и прислушался. Никого. Я со злостью, словно меня что-то подтолкнуло, вышел на середину коридора. В тот же момент в открытых дверях диагностического кабинета появился человек. Широкие брюки. Перехваченная талия. Голова, карикатурно увеличенная пышной прической. Тень тут была ни при чем. Я знал, что волосы попросту черные.

Конечно же, Кира. Будто ей мало было «случайных» встреч. И того, что она от меня услышала.

Я не спеша закрыл дверь склада и направился к выходу. Она посторонилась, чтобы пропустить меня. Когда я подошел к порогу, в кабине горели все лампы. Я стоял так, что мог дотронуться до нее рукой.

— Остаешься? — бросил я. — В таком случае, позволь пройти.

Она не ответила, продолжая стоять неподвижно, словно пыталась вспомнить, зачем пришла.

— У тебя неприятности? — спросил я вежливень-

ко.— А может, ищешь меня, чтобы, словно попка, повторить то, что тебе сказали? Они не пришли в восторг, верно? Будь спокойна, ты не виновата.

Она склонила голову и заморгала.

«Теперь будет посообразительней»,— подумал я.

— Тебя уже исследовали? Только что? — она оглянулась, прикинувшись, будто кого-то ищет.— Техники уже ушли?

— Они, видишь ли, догадались, что у нас тут свидание,— ответил я.

Она закусила губу. Глаза превратились в щелочки.

— Что ты там делал? — вопрос прозвучал, как удар по куску жести. Я выпрямился.

— Это тебя тоже интересует? — сказал я холодно.— Пошли-ка отсюда.— Я направился к двери.— Поведаю тебе историю моей жизни. Она печальна и трогательна. Это позволит тебе забыть о неудачах. Ты опять почувствуешь себя женщиной.

— Хотелось бы знать, кем ты себя чувствуешь? — донесся до меня ее голос, когда я уже был в коридоре.

Я подождал, пока она выйдет, и старательно прикрыл за собой дверь.

— Сие называется чистой работой,— объяснил я, прошел на середину кабины, удобно развалился в кресле, а ей указал на второе, напротив.

— Ну-с,— начал я с надеждой в голосе.— Желаете послушать?

Она подошла ближе, но не села. Положила руки на спинку кресла и наклонилась. Волосы упали ей на лицо.

— Можешь паясничать сколько угодно,— спокойно заметила она.— Если тебе это доставляет удовольствие. Но ответить ты должен.

Я поднял брови.

— В свое время я предлагал тебе кое-что поинтересней. Что я делал? Искал, из чего бы сварганить скворечник. Обожаю скворцов. И знаешь, я ведь всегда был таким. Разве так уж важно, что их здесь нет? Повешу скво-

речник у себя в садике. Я живу в таком месте, где иногда выпадает снег. Работы у меня сегодня не было, вот я и подумал о птичках. Беда в том,— продолжал я, не глядя на нее,— что ничего подходящего здесь не оказалось. Сплошной пластик, какие-то пенометаллы, резиниты. Ничего такого, что может дать несчастной пичужке хоть немного тепла. Ну, тогда я решил поискать. Подумал, что вполне подошли бы симпатичные металлические коробочки соответствующего размера.

Она засмеялась. Не сразу. Переждала немного, словно ей надо было что-то решить.

— И вдруг выяснилось,— подхватила она моим же тоном,— что эта жестяная коробочка тоже не то, что тебе надо. Не говоря уж о капле тепла. А ты не считаешь, что надо бы искать нечто другое? И уж, конечно, не здесь?

Я внимательно посмотрел на нее. Она ничуть не изменилась. Марионетка. Но не из тех, которых в любой момент можно потянуть за шнурок.

— Конечно, они сказали тебе, обязаны были сказать, с кем ты будешь иметь дело. Ты знаешь, что можно от меня ожидать. Делай свое, если сможешь. Но на мою помощь не рассчитывай.

У нее блеснули глаза.

— Перестань,— огрызнулась она.— У меня достаточно своих забот. Ровно столько, чтобы неделю назад именно в этой комнате,— она указала головой на диагностический кабинет,— мне запретили работать. Отпуск. Если ты думаешь, что ради разнообразия мне порекомендовали твое общество, то ты...

— То ты болван,— подсказал я. Она замолчала. Но только на секунду.

— Я этого не сказала. Но отрицать не собираюсь. Стоит тебе пошевелить мозгами, и ты сразу перестанешь прикидываться героем средневекового романа. Жаль, меня не было рядом, когда ты взрывал пантомат. Рыцарь печального образа! С генератором антиматерии в руках и травмой в сердце.

У нее перехватило дыхание. Я наконец понял, что меня в ней раздражает. Она вела себя так, словно то и дело вспоминала, что на нее смотрят. Теперь она успокоилась.

— Завидую тебе,— сказал я неожиданно для самого себя.— Тебе обязательно нужен человек, который время от времени мог бы сказать что-нибудь неприятное. Пусть даже правду...

Она выпрямилась. Изучающе взглянула на меня, потом по ее лицу пробежала легкая улыбка.

— Это жертва? — спросила она ехидно.

Я рассмеялся, но тут же замолчал. Странное ощущение: впервые за много дней я услышал собственный смех. Не рановато ли?

Кира обогнула кресло, и уселась напротив, положив руки на колени.

— В чем дело? — тихо спросила она.— Неужели из-за этого ты не желаешь жить дольше, чем наши предки?

Никакая она не марионетка. Просто девушка, которая умеет смотреть и делать выводы. Только чуть-чуть более складная, чем следовало бы. Думаю, мало кто стал бы упрекать ее за это.

Довольно долго в кабине стояла тишина. Я думал о Земле. Перед глазами возникли горы. Как только все кончится, возьму рюкзак и пойду. На две, может, три недели...

Как только кончится... Что, собственно?

Я встал и взглянул на девушку.

— Пойди передохни,— сказал я каким-то чужим голосом.— У тебя ведь отпуск. Ты его заслужила. Поймай,— бросил я, видя, что она поднимается.

Она снова опустилась в кресло.

— Еще немного,— проворчал я.— Хотелось бы знать, что ты собираешься делать... Через десять лет, сто, тысячу... Я спрашиваю не о работе. Понимаешь?

Шли секунды. Неожиданно ее глаза расширились, словно она сделала открытие. Она покачала головой и усмехнулась.

— Не знаю. Не знаю. И думаю, именно в этом все дело. Ты считаешь, что жизнь перестанет изменяться? Нет, дорогой мой. Если б я сегодня знала, что стану делать через год, то это «сегодня» стало бы невыносимым. А потом? Вероятно, не столь важно, если я чего-то не знаю о десяти или ста тысячах лет. Есть множество людей, которых я люблю. Кое-что доставляет мне удовольствие. Я хочу работать...

Она была откровенна. Ее слова попали туда, куда полагается, словно пальцы пианиста. Так мог говорить Грениан.

— Иди уж,— бросил я. У меня мелькнула нелепая мысль, что ей все-таки удалось добиться своего. То, что я от нее услышал, было весомее аргументов Норина и ему подобных. Не говоря уже о рекламных красавчиках. Гораздо весомее. Я почувствовал себя, как автор фрески, изображающей искушение пророка. К счастью, мне не надо было раздумывать, шло ли это искушение извне. Мне это было ни к чему. Я сжег мосты.

— Завтра лечу,— сказал я.— Вероятно, мы не увидимся. На всякий случай желаю тебе никогда не знать, что ты захочешь делать через год. И подыщи кого-нибудь, кто будет говорить тебе грубости. Если он окажется не слишком силен в этом, пришли за мной. Я сделаю все, что в моих силах. Ты найдешь меня в Комплексе Третьего Пояса. Скажем, ближайшие пятьдесят лет. Не опоздай,— добавил я, сделав упор на последней фразе.

Я уже закрывал за собой дверь, когда услышал, как Кира шепнула: «Посмотрим», или что-то в этом роде. Я прошел в свою кабину, улегся в кресло и уставился в прозрачный потолок. День подходил к концу. Надо спешить. Если она им скажет...

Я решил переждать еще четверть часа. Ни минутой больше.

Мне уже не приходилось бороться с весом собственного тела. Пульс успокоился. Норма. Сквозь шум в ушах

начали пробиваться голоса извне. Им положено было звучать знакомо. Я вернулся домой.

Я улыбнулся. К счастью, рядом не было зеркала. Я поднял голову и пробежал глазами по темному щиту. Пульсировали молочно-белые экраны — внешние объективы отключились. В наушниках зашелестело. Я медленно, словно расставлял фигуры на шахматной доске, разъединил провода, снял шлем и глубоко вздохнул. Крышка люка была открыта. Кабину заполнял обычный земной воздух. В нос ударил характерный запах разогретого металла.

Кто-то положил мне руку на плечо. Я нехотя обернулся и увидел над собой саркастически ухмыляющуюся физиономию Каллена с безмолвно шевелящимися губами. В этот момент компрессоры охлаждения замолчали и я услышал его голос.

— Чего ты ждешь? — он почти касался губами моего уха. — Выходи, герой...

Он стоял, согнувшись пополам, поддерживая левой рукой бегущие под потолком кабели, будто боялся, что они упадут мне на голову. В его взгляде было что-то настораживающее.

Я встал и не спеша привел в порядок аппаратуру кресла. Машинально поправил скафандр и повернулся к выходу. Каллен пропустил меня, чуть не втиснувшись при этом в записывающую приставку.

— Иди первым, — буркнул я, — мне не к спеху.

— Что ты, как можно, — рассмеялся он.

Я стиснул зубы и головой вперед вылез в коридор. Здесь можно было выпрямиться. Они прислали за нами исследовательский корабль дальнего радиуса. Не какую-нибудь там посудинку для гномиков. Трогательный жест.

Перед входом в шлюзовую камеру стоял субъект из обслуживающего персонала. Похоже, они опасались, как бы, спускаясь с летницы, я не оступился и не потерял дар речи. На нем был новехонький голубой комбинезон и фуражка с прозрачным верхом. Я молча прошел мимо,

миновал кишкообразную, слишком просторную камеру и остановился у выхода. Глянул на небо. Солнце. Редкие пушистые облака. Теплый воздух ласкает лицо. Земля. Можно понять тех, кому здесь нравится.

Снизу донесся громкий шум. Я медленно опустил глаза. Долю секунды водил дурным взглядом по плитам космодрома, прежде чем сообразил, в чем дело. Я невольно попятился, чуть не перевернув человека в голубом, который уже успел встать рядом со мной на трапе. Гул нарастал. Мне дико захотелось повернуться, захлопнуть люк и запустить стартовые двигатели. Сбежать от того зрелища, которое являла собой гигантская площадь.

Я не мог вспомнить, как звучало «сообщение» пантомата, но в нем должно было быть что-то очень внушительное. Мои милые земляки несколько дней ходили, задрав головы кверху. Что-то вроде гигиены психики. Страх. Именно сейчас, когда они наконец-то осуществили извечную мечту о бессмертии.

— Ну же, иди, — услышал я голос Каллена.

Я вернулся. Толпа заколыхалась. Послышались отдельные выкрики. На площадке диспетчерской башни зашевелились объективы голокамер. Неожиданно в небо врезался узкий клинок света. Мгновение стоял неподвижно, потом в быстром танце начал выписывать зигзаги. И вот над горизонтом загорелась гигантская надпись. Имя, а под ним: **ПИЛОТ ВЕЧНОСТИ**. И пониже — буквами помельче: **ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ**.

Хоть садись и плачь. Или наполняйся гордостью, как зонтик Эйнштейна. Впрочем, гордость свертывается в человеке, как кислое молоко, когда он остается один. Что же касается слез...

Я чуть не съехал по последним ступенькам. Это был бы недурной номер для репортеров. В стиле «свой парень». В последний момент мне удалось удержаться. Ближние ряды расступились, пропуская какой-то чудной, оклеенный цветными плакатами экипаж. Сюрприз для меня.

Следующие двадцать минут я ехал между кричащими,

машущими руками людьми, останавливался, что-то говорил, улыбался, в свою очередь махал им. Они получили все, чего хотели. Когда они затихали, я выжимал из себя несколько слов, сопровождаемых одобрительным мурлыканьем стоявшего за спиной Каллена. В цирке это называется «делать комплименты». Самый знаменитый террор не мог бы упрекнуть меня в забвении канонов игры в популярность.

Умильно улыбаясь, делая ручкой, я старался ни на мгновение, ни на долю секунды не задерживать взгляд на каком-нибудь одном, вырванном из толпы лице. Смотрел только вперед, только на всех. И не видел никого. Я старался не думать о тех нескольких, кто, несомненно, стоял позади толпы и улыбался мне.

Вечером из кабинета в здании Центра я связался с отцом. Его лицо появилось на экране, будто портрет в рамке красного дерева. Вернее, барельеф. Мы долго смотрели друг на друга, прежде чем мне удалось заговорить. Все, что я хотел сказать, улетучилось без следа.

— Это я. Первый,— бухнул я наконец.

Он на мгновение прикрыл глаза. А когда снова открыл их, его взгляд не изменился. Утомление, и ничего больше. Но это не могло быть правдой. Я слишком хорошо знал его.

— Теперь нас у тебя двое,— напомнил я, словно это действительно было нужно.

В его глазах мелькнула искорка. Впрочем, я мог и ошибиться.

— Хотелось бы знать,— начал я...— где ОН... то есть, где Я сейчас?

— А где находишься ТЫ? — не сразу ответил отец, если это можно было считать ответом.

Я заставил себя улыбнуться.

— В Комплексе. Пока что во Втором. А он?

— Не зайдешь?

— Ты уверен, что это так уж необходимо?

Он насупил брови. Нет, он не задумался — он был взбешен. Впервые я видел его таким.

— Я не знаю точного адреса,— холодно бросил он.— Тебе скажут в Сингапуре. Металлургический центр.

Значит, все-таки руда. Я мог себя поздравить. Хотя, что еще мне оставалось после всего случившегося? Что мог сделать я, если б этого не произошло.

— Может, забегу,— медленно сказал я.— Но не сейчас. Мне надо кое-что сделать. И не обижайся. Иначе я не могу...

Отец внимательно посмотрел на меня. Его лицо по-немногу оттаивало. Наконец он покрутил головой, словно ему мешал воротничок, и глубоко вздохнул.

— Ты так считаешь? — это не было вопросом. Он разговаривал с собой.— Хорошо. Сделай, что надо, и возвращайся. Мы будем тебя ждать. И вот еще что...— добавил он, опуская глаза,— будь осторожен...

У меня перехватило дыхание. Охотнее всего я заткнул бы уши пальцами. Но во мне теплилась робкая надежда, что он не произнесет тех нескольких слов, которые могли решить все и привести к тому, что одиночество, на которое я его обрекал, не будет делом моих рук.

А ведь он наверняка хотел что-то сказать. Он чувствовал, что это не конец. Если я знал его хорошо, то он знал меня лучше.

И все-таки он промолчал. Снова кивнул головой, пошевелил губами, словно пытался заставить их улыбнуться, потом, не произнеся больше ни слова, выключил связь.

9 Бескрайний порыжевший осенний луг. Абсолютно плоский. Воздух словно заполнен цветочной пылью, но это не пыльца, это солнечные лучи преломляются в просвечивающих пятнах воды, мутной от разлагающихся остатков растений. Тягостная картина. Сотни тысяч гектаров поверхности морей и океанов покрыты плантациями металлургических концентраторов. Химическая

промышленность тоже не дремлет. Если так пойдет и дальше, не останется ни одного архипелага, где можно будет развернуть паруса.

Тень машины, медленно бегущая по покрову растительности, слегка пожухшей, будто запущенный газон, была едва видна. Я не спешил. До цели я в любом случае доберусь слишком рано.

Мне говорили, что именно здешние поля высасывают из морской воды, но я как-то запамятовал. Во всяком случае, руду какого-то металла, отлагающуюся в гипертрофированно разросшихся головках семян. Концентраторы. Вот как можно обмануть природу, ведь растения — одно из наиболее консервативных ее проявлений!

Я проверил курс. Скорость была небольшой, еще час, полтора. Я скорее висел, чем летел над искусственным лугом.

Я изменил положение кресла и взглянул туда, где посеревший ковер растительности сходиллся с не менее серым небом.

Машину качнуло. Ветер. Не очень сильный, но даже самое незначительное движение воздуха было здесь необычным. Я выровнял рули и тут же увидел выплывающий из-за горизонта призрачный контур острова — цель моего полета.

Посадочная площадка располагалась в центре разбегавшихся лучами сигнальных цепей. Ее круглая платформа напоминала изображение Солнца тех времен, когда ему поклонялись как божеству.

Крутой вираж, и машина пошла вниз, нацелившись в точку на самом краю платформы. Площадка оказалась ближе, чем я полагал. Рассчитывать на зрение здесь не следовало, а на приборы я и не взглянул. Тяжело опустился, почти не маневрируя. Амортизаторы глухобрякнули, двигатель на мгновение захлебнулся, потом снова взвыл и погас с тихим мяуканьем, перейдя на самый нижний регистр. Боковины кабины бесшумно ушли в корпус.

Меня охватила тишина. Здесь, внизу, воздух был совершенно неподвижен. Раскаленные плиты источали жар. День обещал быть знойным.

Я долго сидел не двигаясь, уставившись в одну точку. Словно ожидая, что человек, к которому я прибыл, вот-вот выйдет из приземистого кремовато-желтого пассажа, прилегавшего к площадке, и приветственно помашет рукой.

Никто не выйдет. В холле будут ждать один или два инфора со всеми сведениями, потребными человеку, являющемуся на производственную территорию. На плантации работают от силы пять человек. Здесь, во всяком случае, нет никого.

Я перекинул ноги через борт и соскочил на плиту. Она глухо загудела. В трех-четыре метра ниже было море. Такое же мертвое и неподвижное под слоем растений, как и на десятки километров вокруг. Воздух с каждой минутой становился горячее, суше и тяжелей. Я осмотрелся и скинул комбинезон. Достал из кабины плавки и шапочку с длинным козырьком, менявшим цвет в зависимости от освещения. Лучше я себя не почувствовал, но по крайней мере кожа теперь могла дышать свободнее.

Искусственный остров полукольцом охватывал сушу. Макушки поросших густой растительностью невысоких холмов едва проглядывали сквозь частокол антенн, венчавших постройки. За пассажем в море выбегал широкий помост, точнее, дорога, вдоль которой тянулись ажурные сооружения. Он должен быть там. Если, конечно, именно сейчас не отправился в Сингапур или на рыбалку.

Я медленно шел по площадке, шуря слезящиеся от яркого света глаза. Ботинки весили по полпуда каждый, но я ни за какие коврижки не отважился бы прикоснуться босой ногой к этой единственной в своем роде жаровне. Вспомнился пантомат и его панцирь. Нет. Сейчас я уже не смог бы точно описать, что чувствовал тогда. Год назад.

Я пошел быстрее. Пассаж вырастал передо мной, за

прозрачной стеной стали видны пустынные залы, раскрытые настежь двери и ритмично пульсирующие пласти климатизаторов. Недурно было бы войти внутрь, отыскать укромный уголок, усесться поудобнее и подумать. Если только есть о чем думать.

Слева от меня тянулась высокая стена, доходившая почти до противоположного края платформы. Справа от входа в пассаж, значительно ближе, она обрывалась над берегом моря. Я уже минуту назад разглядел над водой прилепившийся к платформе узкий помост и направился туда. Поднялся по металлическим ступенькам и оказался в тени. Тут ощущалось движение воздуха, по спине пробежал приятный холодок. Я остановился и глянул вниз. В полутора метрах подо мной расстился плотный покров из небольших растений, каждое из них венчала красная головка размером с куриное яйцо. Вблизи это выглядело забавно. Если смотреть отвесно вниз. Но стоило отвести взгляд и увидеть окружающий остров океан, как растения опять становились чуждыми. Было в этом что-то жутковатое.

Я выпрямился и быстро пошел дальше. Из-за излома стены вынырнуло строение, напоминавшее непомерных размеров силосную башню. Сборник готовой руды. Их было несколько. К крайнему, который находился ближе к морю, тянулись плоские ленты транспортеров.

Пониже на стальных укосинах разместились дистилляторы и холодильники. На равных расстояниях темнели энергетические комплексы, снабженные желтыми табличками. Тихое ползгиванье транспортеров сливалось с далеким гулом компрессоров, ритмичным стуком агрегатов. Жизнь металлургического гиганта шла своим чередом. Жизнь, наверно, не самое удачное слово. В пределах видимости ни одной живой души, если не считать обманутых человеком растений.

Пространство за пассажем напоминало основу, растянутую на древнем ткацком станке. Тысячи, а то и десятки тысяч цветных кабелей, световодов и транспортеров луче-

образно сходились в том месте, где брал начало промышленный помост. Приходилось идти по самому краю платформы, стараясь не потерять равновесие, чтобы не оказаться в объятиях концентраторов. Даже если и не утонешь, то от такой ванны вряд ли испытаешь удовольствие. Похоже, люди тут не ходили, однако я зашел слишком далеко, чтобы возвращаться. Кое-где приходилось перелезать через метрового диаметра трубы, скрывавшиеся в прибрежном кустарнике.

Здесь берег искусственного острова имел вырез, вниз спускались крутые металлические ступени. Немного ниже виднелась площадка, лежавшая, казалось, прямо на поверхности растений. Она описывала полукруг и соединялась с помостом в его самой широкой части. Промежуточный уступ тонул в полумраке, плита и конструкции на ней отбрасывали глубокую тень, лишь местами украшенную решеткой солнечных просветов.

Я спустился на две ступеньки. У конца помоста, там, где тень была гуще, я заметил какое-то движение. Я затаил дыхание. Первым желанием было припасть к ступеням, спрятаться, выгадать хотя бы минуту на то, чтобы собраться с мыслями. Словно до сих пор я не делал всего, чтобы не допустить до себя, нет, даже не мысль, а всего лишь мимолетное напоминание о том, что меня ждет.

Я простоял так не больше минуты, однако этого было достаточно, чтобы человек, до тех пор скрытый опорой, повернул голову и обнаружил меня. Я видел его все отчетливей. Глаза постепенно привыкали к изменившемуся освещению.

Это был ОН. ОН? Бог с ними, со словами. Бог с ними, с местоимениями. Он медленно выпрямился и сделал шаг ко мне. На секунду солнце осветило его лицо, и оно снова скрылось в тени. Нас разделяло еще несколько метров помоста.

Он шел не спеша, размеренным шагом, как во время перехода в горах. Я всегда так ходил. Те же движения рук, словно он пробивал себе дорогу в густом подлеске.

Я уже различал зрачки его глаз. Резко очерченные скулы, чересчур высокий лоб, слишком большой нос, к которому у меня с детства было достаточно критическое отношение. Немного припухшие губы, словно ножом срезанный массивный подбородок. Лицо человека, знающего, чего он хочет. Но выражение этого лица могло обмануть кого угодно, только не меня.

Наконец он подошел, поставил ногу на первую ступеньку и оперся обеими руками о колено. Потом поднял голову и взглянул на меня. Я сделал бы точно так же. И так же не знал бы, что сказать.

Уплывали секунды. Из секунд складывались минуты. Любой невольный свидетель этой сцены запомнил бы ее до конца жизни, точнее, надолго. «До конца жизни» — это теперь ничего не означало.

При желании он мог бы схватить меня за ноги. Я не пошевелился и глядел на него, словно рассматривал в зеркале воды собственное отражение. Но это было не отражение. Это был я.

— Ну? — наконец бросил он. Я не подумал о голосе. Будет труднее, чем я полагал.

Я молчал. Я пришел сюда не для того, чтобы говорить. Не может быть, чтобы он об этом не знал.

Он снял ногу со ступеньки, выпрямился и небрежным движением сунул руки в карманы. На нем был тонкий рабочий комбинезон, когда-то белый. Его глаза оказались на уровне моих колен. Выше он не смотрел.

— Ну? — повторил он уже другим тоном. Как будто от чего-то отказывался.

У меня вдруг закружилась голова. Я покачнулся. Пришлось опуститься на ступеньку ниже, чтобы не упасть. «Жара», — пронеслось в голове. Я глубоко вздохнул, и неожиданно меня охватило спокойствие. Мускулы расслабились. Поля, помост, сооружения и он сам — все сократилось до нормальных размеров.

— Да, — проворчал я. — Так это выглядит...

Лишь услышав собственные слова, я сообразил, что произнес их вслух.

Он оглянулся. Видно, пожалел о чем-то, что оставил на верхнем помосте. А может, о чем-то вспомнил.

— Ты занят? — спросил я.

Он снова повернул голову и смерил меня взглядом от ботинок до макушки. На его лице не дрогнул ни один мускул.

— Я ждал приглашения, — проворчал он. — Хорошо, что ты решил иначе...

Я бы тоже ответил так. Точь-в-точь то же самое.

Я опустился еще на две ступеньки, сел, уперся локтями в колени и уставился на него.

Здесь не было слышно даже гудения и потрескивания промышленных установок. Тепло и тихо. Воздух разогрет, как над настоящим лугом, спускающимся к реке. Но чего-то недоставало.

Насекомые! Нет насекомых. Нет того всеприсутствующего звона и стрекота, без которого не может обойтись ни один настоящий луг. И которое наполняет тишину покоем.

— Собираешься остаться? — дошел до меня его вопрос.

Собираюсь? Ничего я не собираюсь. Будто он не знает. Ехидная нотка в его голосе — всего лишь иллюзия. Самовнушение.

Он пожал плечами, лениво оглянулся, потом уселся несколькими ступеньками ниже, боком ко мне. Ему было, должно быть, не очень удобно: металлические ступеньки не шире двадцати сантиметров. Но он прикидывался, будто лучшей позы для отдыха не придумаешь. Волосы его доходили до воротника. Мои были короче. Я никогда не отпускал их. Может, поэтому он мог ходить здесь без шапки.

Жара. Пришлось подтянуть ноги, край раскаленных ступеней обжигал икры. Сквозь плотный полог растений

не видно было ни пятнышка воды. А ведь это океан. Настоящий океан, а не какой-нибудь залив или лагуна.

— А вдруг? — спросил я с притворной задумчивостью. — Вдруг захочу? Ты бы поменялся со мной?

Он замер. Я подумал, что он встанет, но он только выпрямил спину. Прищурился. От глаз оставались лишь узенькие щелочки. Вот как оно выглядит. Еще одно разочарование.

— Это было свинство, — прохрипел он сквозь стиснутые зубы. — Разумеется, ты и сам понимаешь. Ты приехал. Надо думать, тебе понадобилось услышать это и от меня. Ну так слушай. Мне и в голову не приходило разыскивать тебя. Но коли уж ты здесь, я могу оказать тебе услугу и сообщить, что это в самом деле свинство. Кроме того, я считаю, — он поднял брови, послав мне снизу короткий взгляд, — что это все, что я могу для тебя сделать. На твоём месте я бы не стал задерживаться.

— Хочешь меня проводить? — холодно спросил я. Он помолчал. Потом кивнул.

— Хорошо, — он встал и глубоко вздохнул. Я тоже поднялся. Посмотрел вокруг, на мгновение задержав взгляд на маячившей вдалеке полоске суши.

— Там живешь?

Он последовал глазами за моим взглядом.

— Там.

— Один?

Я сам удивился, как гладко это прошло.

— Так вот зачем ты приехал! — взорвался он. — Можно было догадаться. Не стесняйся. Что тебя интересует? А может, ты уже знаешь? Да, она здесь. Сейчас позову. Приподнесем ей сюрприз.

— Нет, не за тем, — сказал я, взвешивая каждое слово. — Вообще ни за чем, и не притворяйся, будто не знаешь. Можешь считать, что с этим покончено. Разве что... — я немного переждал, потом докончил вполголоса: — На сей раз это нужно тебе. Если да — изволь. Не стесняйся.

Я отвернулся и, поднявшись на площадку, направился к пассажиру. Через несколько секунд услышал позади шаги. Ну, конечно. Он должен был меня проводить.

Итак, они вместе. Неплохо я им удружил. Что до нее, я не был уверен. Может, она пришла к выводу, что так будет лучше? Либо просто приняла все, как я в первый раз, без размышлений. Порой она это умела. Другое дело — он. Этот может сказать о себе, что прошел школу. И продолжает учиться. Его глаза, когда я спросил, один ли он. А ведь я спросил без задней мысли, совершенно неожиданно для самого себя. Я не имел в виду ничего особенного. Кроме, может быть, одного: нащупать границу определенного круга в памяти. Если это должно было быть испытанием, оно прошло неплохо. Я не почувствовал ничего. И неожиданно понял, что этого одного он не поймет никогда. Что при всем, что нас объединяет, это единственное легло стеной между ним и мною, сделав нас различными людьми. Если уж искать высокие слова. Но так было в действительности.

Они вместе. Я почувствовал легкий укол в сердце. Фина? Я пожал плечами — слишком многим пожертвовал, стремясь забыть о ней, чтобы теперь позволить вернуться хотя бы мимолетным, неосознанным до конца воспоминаниям. Все было предрешено изначально, еще до того, как я просмотрел приключения рекламного ферттика. Абсурд.

Абсурд? Да. Но не для того, чьи шаги я сейчас слышал позади себя и который мыслил не подобно мне, а так же, как я. Забавно. Не прошло и года, а я уже не понимаю самого себя — лишенного части собственного «я». Нет, не собственного — моего. В этом все дело. Его путь был иной. Он не стал «пилотом вечности», но взял себе в жены воскрешенную, вернее, выпестованную вторично девушку, которую я когда-то любил. То есть которую любили мы. Пропали они пропадом эти числа, множественное и единственное!

— С тебя сняли новую запись? — бросил я, не огля-

дываясь.— Как это называется? Актуализация, да?

Он приблизился, и я услышал его дыхание. Я шел все медленнее.

— Нет,— отозвался он.— Здесь не происходит ничего такого, что обязательно следовало бы запоминать и без чего я перестал бы быть самим собой. Не то, что ты,— в его голосе прозвучала ирония.

— Это славно,— сказал я.

Он смолчал. Даже не хмыкнул. А ведь имел право подумать. Даже обязан был.

Последние метры прилепившейся к пассажиру галерейки. Еще несколько шагов, и я остановился на залитой солнцем посадочной площадке. Безоблачное небо, матовое и порывшееся. Платформа и ожидавшая машина словно покрыты белой фосфоресцирующей краской. Жара вроде бы спала. А может, я просто пообвык.

Спазма сдавила сердце, когда он сказал, что они вместе. Этого я не знал. Чувство иррационального сожаления. Этакого, не относящегося непосредственно к тебе.

Ребечество. Я словно сквозь туман вспомнил, о чем думал, когда, оказавшись в гигантском коконе пантомата, стоял перед дверью диспетчерской, почти слыша, как вокруг мечется перерабатываемая, накапливаемая и передаваемая в Космос информация. Мне тогда показалось странным, что аргументы, которые я выдвигал в диалоге с Гренианом, как бы подсказаны тем, что я пережил внутри пантомата. Это могло свидетельствовать об их истинности. И не удивительно, если подумать здраво. Но именно этому прежде всего, если не только этому, противоречил пережитый сейчас укол в сердце, который на мгновение выбил меня из колен. Никто в этом не виноват. Даже тот человек, дыхание которого я ощущал на своем затылке. В этом я был уверен.

Я ускорил шаг.

— Может, покажешь мне остров? — предложил я, указав рукой на кабину, и улыбнулся.

Он немного подумал. Не слишком долго. Потом отве-

тил улыбкой. При этом лицо его стало почти чужим. Таким я его не знал. Надо будет улыбаться как можно реже. А еще лучше — не улыбаться вообще.

Он молча прошел мимо, потом, опершись правой рукой о бортик, одним броском перемахнул через него в кабину. Я стоял, глядя, как он устраивается на заднем сиденье. Все шло более чем гладко. Он делал то, что я хотел, словно хорошо натасканный ученик. Неважно, знал он или нет. Теперь это уже не имело значения. Коли он здесь, в кабине, сразу за креслом пилота...

Я занял свое место и запустил двигатель. Поверхность площадки, словно мембрана, отражала тонкое пение мотора. Я прибавил обороты и толкнул рули. Машину качнуло раз, другой.

— Осторожнее,— буркнул он.— Мы не в ракете. Забыл, как летают обычные...— он замялся,— люди...

— Ты хотел сказать «смертные»? — усмехнулся я.

Мы уже поднялись метров на тридцать. Я переложил рули и взял курс на остров. Под нами расстиралось море, прикрытое ржавой растительностью. Остров вырастал на глазах.

— Кстати, о свинстве,— сказал я, старательно выговаривая слова,— позволю себе заметить, что все было запланировано еще тогда, когда мы с тобой были одним человеком. Иными словами, это было и твое решение. Странно, что об этом приходится говорить. А может, ты так далеко отошел от того времени, что тебе это кажется невозможным?

— Оставь,— отмахнулся он.— Свинство остается свинством. А ушел ли я и далеко ли, сможешь убедиться со временем...

В его голосе прозвучала нотка угрозы. Хотя нет, скорее предупреждения.

Последние месяцы я все время сталкиваюсь с сюрпризами,— сказал я небрежно.— И всякий раз со все более забавными. У тебя тоже есть что-нибудь для меня?

Он засмеялся. Смех был невеселый. Мне вдруг показалось, что я засмеялся бы иначе. Идиотизм.

— Немного терпения,— проворчал он.— Что-нибудь придумаем...— он сделал упор на последнем слове, будто хотел подчеркнуть, что в одиночку нам не добиться ничего. Во всяком случае, ничего путного.

Остров потемнел. Холмы стали зелеными, уже видны были кроны редко разбросанных деревьев, яркие крыши строений в долине.

— Кстати, о сюрпризах,— бросил я, добавив газу.— Я устроил им шуточку. Норину, Каллену, всем. Выкрал со склада на Бруно свой генофор и запись личности. Если не ошибаюсь, сейчас они уже выходят на орбиту Нептуна. Я дал им приличное ускорение, когда выкидывал из ракеты. Сейчас мне пришло в голову, что эксперимент можно было бы продолжить. Ты воспроизведен по первой записи, снятой после моего возвращения с Европы. Понимаешь? А дома, у нас дома, хранится дубль, сделанный... ну, после моего прощания с отцом на старом аэродроме. Так что в данный момент существует только одна пробирка, из которой мы могли бы выродиться. Ты или я. Понимаешь? Подумай немного. Садовник на плантации концентраторов и «пилот вечности» неожиданно возвращаются в единую оболочку годичной давности. Опять превращаются в пилота Комплекса, которого притащили на Землю, чтобы подвергнуть процедуре посвящения в вечность. Ты не думаешь, что этого уже не удастся спрятать под подушку? Слишком многие знают о цирке с пантоматом!

— Нет,— твердо бросил он.— Шутка не была бы даже глупой. Она просто была бы... никакой. Кроме того, ты опять думаешь о себе. Только о себе...

— Ошибаешься,— спокойно сказал я.— Не только. Я думаю и о тебе. О том тебе, каким ты был.

— Я уже не тот, о котором ты можешь знать все,— фыркнул он.— Если вообще когда-нибудь знал. Что до меня, то я на сей счет придерживаюсь вполне определенного мнения...

— Смотри-ка, а ты изменился,— меня неожиданно охватила холодная ярость.— Стал лучше. Забыл, что существуешь только потому, что этого хотел я. Потехи ради, понимаешь? Ты — моя шутка. Шуточка. Можешь утешаться тем, что глупая. Если тебе это поможет. Но изменить ты не можешь ничего.

— Не ты,— процедил он,— не ты, двойничок...— он говорил с трудом.— Это были мы. И ты прав в том, что мы поумнели с того времени. Но только наполовину.

Я рассмеялся. Одним рывком перевел ручку оборотов до упора. Стены кабины задрожали. Машина рванулась вперед, словно снаряд. Я не переставал смеяться. Секунду, может, полторы, шел под углом вверх, потом молниеносно оттолкнул рули на всю длину рук. Двигатель взвыл. Я уперся ногами, чтобы не удариться физиономией в лобовое стекло, оказавшееся прямо подо мной. Все это заняло не больше двух секунд, однако он успел схватить меня обеими руками за плечи. Я почувствовал, как его пальцы впиваются мне в тело. Но он уже ничего не мог изменить. В последний момент я увидел надвигающуюся с чудовищной скоростью зелено-рыжую стену океана. Удар, один-единственный удар, словно всплеск ядерного взрыва. Я не почувствовал боли, вообще не почувствовал ничего. До последнего мгновения в кабине стояло молчание. Если не считать моего смеха.

Я находился на дне огромной, медленно вращающейся, переполненной светом газовой воронки. Горизонтальные кольца, из которых были сложены ее стены, все время изменяли цвет. Я почувствовал жуткое давление под черепом, как будто весь этот гигантский конус с неумолимой силой вдавливал меня в пол. Я задыхался, но не мог открыть рот, чтобы глотнуть воздуха. Я был гол, чувствовал это, хотя не ощущал холода. На мне не было даже шлема. Наконец, сделав отчаянное усилие, я крикнул, но не услышал собственного голоса. Круги надо мной завертелись быстрее. Их блеск лишил меня способности

мыслить, боль в глазах становилась невыносимой. Постепенно, словно поднимая стокилограммовый груз, я поднял руку и прикоснулся к векам. Закрыты. Пораженный, я открыл их пальцами, и неожиданно световая карусель погрузилась во тьму. Остался лишь слабый красноватый свет где-то очень далеко. Я пошарил вокруг. Пальцы нащупали эластичную оболочку, захваты, поручни. Кресло. Я сидел в кресле. Определенно, это было больше, чем я мог мечтать.

Боль в черепе постепенно проходила. Я закрыл глаза и немного переждал. Надо было что-то делать. Понять, что здесь происходит, и решить, смогу ли я воспротивиться, если дело пойдет слишком далеко. Я сжал кулаки и попытался собраться с мыслями. Не получилось. Я просидел еще несколько секунд, с таким же успехом это могли быть минуты. Попытался встать. Пошло неожиданно легко. И тут я вспомнил — я на Бруно, в диагностическом кабинете. Смотрю на техников. Их двое, не так, как в первый раз, в Центре.

Да, но это же не диагностический кабинет и вообще не кабинет. Следовательно, они уже закончили. В таком случае я должен... Нет, не помню. Ничего я не должен. А если что-то и должен, так сидеть в кресле и ждать, пока они произведут свою идиотскую запись.

Со мной творилось что-то неладное. Запись. Это слово взбудоражило меня сильнее, чем следовало бы. Зачем оболящаться. Если я не в диагностическом кабинете, то это может означать только одно: мой фокус не удался.

Я вспомнил все. Почти все. Я взорвал пантомат, вернулся и несколько дней размышлял, что делать дальше. Разговаривал с Норинем, Гренианом. Решил, что посету «сокровищницу», где хранились генофоры.

На этом «фильм» обрывался. Если я здесь, в месте, не похожем ни на что, значит, я не успел сделать то, что хотел. Либо все кончилось неудачей. Впрочем, не в словах дело.

Я пришел в себя, встал и провел пальцами по лицу.

Оно было в порядке. Я взглянул туда, где после исчезновения световой воронки остался светящийся след. Он все еще был там, только превратился в большие оранжевые буквы: ВЫХОД.

Выпрямившись, я двинулся к двери. Она отворилась от легкого прикосновения. Я вошел в ярко освещенное помещение. Глаза отвыкли от света. Когда я наконец смог их открыть, то увидел, что на стене висит обыкновенное прямоугольное зеркало, а рядом с ним, на стальном крючке — рабочий комбинезон. Я снял его и примерил. В самый раз. Естественно. Они подумали обо всем. Это у них разработано в мельчайших деталях.

Я даже не взглянул в зеркало. Натянул комбинезон, открыл дверь. Да, это Бруно. Не помню, был ли я когда-нибудь в этой комнате, но форма иллюминаторов, покрытие стен и характерные изломы конструкций не оставляли сомнений.

Ну и прежде всего — они: Грениан, Норин, Митти, двое других. И те же самые техники, которые мытарили меня в соседнем кабинете. Когда это было? Вчера? Неделю назад? Не все ли равно.

Увидев меня, они замолчали. Я прервал их беседу. Они только окончили работу. Их руки еще лежали на пультах под светящимися экранами. Они наблюдали, как я появлялся на свет. Трансляция из родильного зала. Поучительно.

Я сделал несколько шагов и остановился. Посмотрел на них, медленно переводя взгляд с одного на другого, и прохрипел:

— Получайте.

Несколько секунд мне пришлось бороться с тем, чтобы как-нибудь глотнуть воздуха, не раскашлявшись при этом. В горле было сухо, как в Сахаре. Я огляделся, ища глазами кран. Один из техников встал, подошел к емкости у стены, наполнил кружку и подал мне. Какая-то слегка пузырящаяся жидкость, кисловатая и в то же время безвкусная. Я выпил и почувствовал себя лучше.

Настолько, что мог постоять еще немного и подождать, что они скажут.

Они молчали. Я уставился на Норина. Он отвел глаза, сглотнул, но продолжал молчать. Надо же. Даже он.

Я вернул технику кружку и оглянулся. Нет, здесь я не бывал никогда. Разве что давно, еще в стажерах, но тогда эта кабина наверняка выглядела иначе. Реанимационные помещения в те времена еще никому не снились.

Теперь здесь размещалась лаборатория. Почти все полукруглое помещение было забито аппаратурой. Отсюда они следили за процессом «воздействия на белки». Сюда приносили свои пробирочки, когда на оригиналы сваливались неотвратимые неприятности. Стало быть, вот как оно выглядит!

Некоторое время я водил глазами по пультам. Еще один информационный блок, может, немного покрупнее. Назначение некоторых приставок я даже не пытался угадать. К чему? Кроме того, я просто предпочитал не знать. Во всяком случае, сейчас.

Интересно, такие комплекты они установили на всех внеземных объектах? Скорее всего, нет. Станция на Бруно была базовой для определенного района Второго Пояса. Так или иначе, в тот раз я не ошибся. Они могли сделать это здесь. И не сделали только наперекор моему желанию. Из-за Фины.

Противоположная дверь отворилась на всю ширину. Присутствующие вздрогнули и разом повернули головы. Норин встал, неловко отодвинув кресло.

Из полумрака коридора вышел человек в рабочем комбинезоне. Таком же, как мой. Он был моего роста и моего сложения. Лицо, как у меня. Я неверно сказал. Просто — мое.

Мне вдруг подумалось, что это — третий. Что я что-то напутал, не учел какого-то фактора, о чем-то забыл. Я многим бы пожертвовал, лишь бы узнать, что случилось после того, как я вышел из диагностического кабинета. Но именно этого мне узнать не дано. Меня тогда попросту

не было. Точнее, сейчас уже не существовал тот «я», который провел этот период среди живых. Сумасшествие.

Он увидел меня. Его лицо скривилось в ухмылке.

— Неудача, Дан,— сказал он, растягивая слова.

Где я это слышал? Нигде. Подумал сам несколько минут назад.

— Неудача,— повторил я.— Точное слово. Однако, если ты имеешь в виду нечто такое, о чем я не знаю, будь добр подождать. В конце концов, ты можешь ошибаться.

— Не на этот раз,— заметил он. Улыбка исчезла с его лица. Так-то оно лучше.— Ты ошибся,— угрюмо продолжал он.— Взял не ту пробирку. Они оставили тебя с носом. Есть тут одна девица... Но обо всем этом ты действительно можешь не знать,— коротко засмеялся он.— Ну ничего. Тебе расскажут. Узнаешь о любопытных подробностях. У меня это уже позади. Они вообще взялись за меня раньше. Земля, понимаешь? Ты был дальше. Ну, скоро узнаешь. А если когда-нибудь тебе в голову взбредет желание повторить свои фокусы, то...— он замолчал. Это было сказано не с бухты-баракты. Я слишком хорошо знал этот голос.

Он повернулся ко мне спиной. Левую ногу выставил на полшага вперед, упер руки в бедра и наклонился, словно готовясь к прыжку. Несколько секунд смотрел на присутствующих, послал косой взгляд мне и направился к двери. Оглянулся и рассмеялся тихим, прерывистым смехом.

— Ну, нас вы получили,— сказал он.— Меня и его. Что, впрочем, выходит одно на одно. Вы свое сделали. Подумайте, как быть дальше. И не советую очень тянуть. Он... то есть мы,— поправился он,— не умеем ждать. У нас появляются замыслы. Кроме того, меня ждут. Я бы не хотел быть невежливым.

Он уже не смеялся. Указал головой на Грениана, словно хотел подчеркнуть, что сказанное предназначено только ему, и вышел, спокойно прикрыв за собой дверь.

Я подумал, что у него это получилось недурно. Я бы лучше не сумел.

10 Пальцы были мягкие с пухлыми розовенькими подушечками. Кожа на ладонях какая-то чужая. Я провел левой рукой по голове. Волос все еще не было.

Надо встать и заняться чем-нибудь определенным. Например, поговорить с Калленом. И уж, конечно же, перестать поглаживать себя, словно Баба Яга на осмотре откормышей.

Подумав об этом, я принялся рассматривать ступню. Гладкая, словно за всю жизнь я не прошел босиком и десятка шагов. Идиотизм. Они подсунули мне зеркало, чтобы я сразу же осмотрел все и освободился от комплексов. Чудаки! Если я не воспользовался их предупредительностью в прошлый раз, то теперь меня тем более не должно интересовать, остался ли я точно таким, каким был раньше, или немного изменился. В конце концов они могли бы, например, немного укоротить мне нос. Я бы не стал возражать. Какая чепуха лезет в голову!

Но что поделаешь, если мое тело — а может, только кожа? — не давало мне покоя. И это сейчас, когда я знал все. То есть столько, сколько, по их мнению, должен был знать. Впрочем, после первых же слов Норина я мог досказать себе остальное. Хотя, честно говоря, меня не интересовало, что я делал в то время, когда не был собой. Уже не интересовало. Правда, первые несколько часов я пытался это выяснить. Потом перестал. Независимо от того, что мне удалось бы узнать, я решил — не знаю, когда и зачем, — считать этот период вычеркнутым из жизни.

Тем менее понятным становилось непрекращающееся изумление при виде собственной кожи с ее, я бы сказал, первозданной свежестью. Никогда не думал, что ощущение идеальной чистоты может волновать не меньше, чем, например, ожог второй степени.

Я опустил ногу, подумал немного, потом неожиданно,

будто наконец отыскал решение мучавшей меня целый месяц проблемы, вскочил. Можно быть ребенком или другим человекоподобным существом, вылезшим из банки, но нельзя быть ребенком, лишенным достоинства. Для этого, как бы там ни было, я чувствовал себя достаточно взрослым.

В коридоре послышался шорох. Кто-то подошел тихо, на цыпочках, и остановился за дверью. Может, думал, что я стану разговаривать во сне?

Я улыбнулся. Как был, босой, подскочил к двери и резко раздвинул створки. Бледное лицо в ореоле иссиня черных волос. Кира. Испуганно стрелънув в меня глазами, она тут же попятилась.

Я наклонился, схватил ее за локоть и втянул в кабину.

— Не церемонься! — воскликнул я. — Чувствуй себя как дома... мамашечка!

Она стояла, обхватив пальцами левой руки запястье правой. Постепенно на ее щеках проступал румянец.

Я уселся в кресло, указав ей место рядом.

— Садись. Правда, я не готов исполнять обязанности хозяина дома, — я обвел жестом кабину, где кроме кресла был лишь узкий столик и плоский шкафчик в стене, — но пусть тебя это не смущает. Я не сделаю тебе ничего плохого. Не могу. Я слишком юн. Слишком юн... — посетовал я.

Она несколько секунд смотрела на меня, словно не понимая, о чем я, потом неожиданно тряхнула головой и крикнула:

— Идиот!

Я поддакнул с серьезным видом.

— Эге, — сказал я писклявым голосом. — Вот, понимаешь, таким я вылез из ящика. Но виноват не я. Из-за тебя я прихватил не ту пробирку. Так что уж прости великодушно...

— Если б я знала... — она замолчала.

— Не пикнула бы им ни слова, — подхватил я, рассмеявшись. — Сама бы мне помогла. Долила бы в мой

генофор сиропа, чтобы был послаще. И уж во всяком случае не подкрадывалась бы на цыпочках к двери, чтобы послушать, не хнычу ли я во сне. Или не зову маму. Верно?

Она повернулась и направилась к выходу. Не очень решительно. Я не пошевелился, чтобы удержать ее. Она потянулась к ручке, постояла так с секунду, потом опустила руку, медленно повернулась и смущенно взглянула на меня.

— Ты сказал... что Норин... то есть...— она замялась,— что я... ну, сам знаешь. Действительно, я сказала им, что ты был на складе, и теперь ты убежден, что... ну, в общем, думаешь, что меня науськали...

— Садись,— приказал я, немного подвинувшись в кресле. Она подошла с таким видом, словно ее кто-то подталкивал, и присела на краешек сиденья, следя за тем, чтобы не прикоснуться к моим коленям.

— Я уж сам не знаю, что думаю, а чего нет,— сказал я, пожав плечами.— Ничего не знаю. Может, так всегда бывает после... этого. А может, у них что-то не сработало? Не в том дело,— мне стало не по себе.— Знаешь, давай поговорим о чем-нибудь другом.

Это прозвучало немного серьезнее, чем следовало. Она нетерпеливо дернулась и взглянула на меня. Еще немного, и она растает, решив, что ничего иного не осталось.

— И долго вы намерены здесь торчать? — спросил я, меняя тему.— Наверно, ждете Норина?

В ее взгляде появилось что-то вроде облегчения. Она поправила волосы и устроилась поудобнее.

— Я улетаю послезавтра. Мы все улетаем. Группы с Трансплутона прибывают через несколько дней. Грениан сказал, теперь нам остается только ждать, что получится. Но, вероятнее всего, ничего...

Я кивнул.

— Конечно, ничего. Пантомат излучал наугад. Один из нас услышал и устроил шум. Некогда войны возникали

по более глупым поводам,— философски заметил я.— Однако, если...— я понизил голос.

Она оживилась. Взглянула на меня с явным интересом.

Я улыбнулся.

— Спокойно, девочка,— я наклонился и положил руку на кончики ее окаменевших пальцев.— Пока что мы во Вселенной одни. Независимо от того, есть ли у нас надежда. И как мы это понимаем,— многозначительно добавил я.— Мы стараемся выглядеть как можно приличней,— продолжал я, глядя ей прямо в глаза,— на всякий случай. Но мы по-прежнему все еще одиноки.

Она кинула мимолетный взгляд на свою руку.

— Жаль...— прошептала она.

Я наклонился ниже, обнял ее и привлек к себе. Хотел поцеловать в губы, но она увернулась, и я чмокнул оголенное плечо. Кожа была прохладной и сухой. Обычная, нормальная кожа. Не какая-нибудь только что извлеченная из пеленок...

Ее движения были быстрыми, но плавными. Потом она встала, одернула блузку и направилась к выходу. Я смотрел, как она открыла дверь и, не глядя на меня, вышла в коридор.

Когда звуки ее шагов удалились, я тоже встал. Поднял руки и уперся ладонями в потолок. Нажал сильнее. Еще. Я напирал изо всех сил, словно собирался выдавить из обшивки станции бетонную плиту двухметровой толщины. Так бывает, когда человек после очень долгой и мучительной дороги по горным осыпям сбросит плотно набитый рюкзак. Я рассмеялся во весь голос. Захотелось петь.

Послышались шаги. Дверь отворилась. Вошедший задержался на пороге, щуря глаза от яркого света. А может, мой вид так подействовал. Я все еще стоял, расставив ноги и подпирая ладонями низкий потолок, будто готовился к упражнениям на центрифуге.

— Привет, братишка,— сказал я беззаботно. Со мной

творилось что-то странное. Настроение было такое, как в детстве перед Новым годом, когда дома собираются родственники, довольные собой женщины и озабоченные мужчины. Я ощущал этот неожиданно возникший мир всем своим существом, всеми органами чувств. Подумал о Кире. Ее присутствие стало также чем-то нормальным и само собой разумеющимся, более того, именно она сосредоточивала в себе нити, связывающие меня с неожиданно воскресшим прошлым. Я обнаруживаю в себе чувства и мысли, которые со всей очевидностью приходят извне. Или, иначе говоря, я открыт. А это в свою очередь означает, что наконец-то меня настигла столько раз упоминавшаяся и обещанная Норинем и другими неожиданность. Истинная. Не какие-то там фигли-мигли с воспроизводящей аппаратурой или «пилотом вечности». Предположим, они мне помогли. Подкрутили какой-то винтик в аппаратуре, когда я вылезал из пробирки. В конце концов они могли сделать это совершенно случайно. Что может быть проще, чем ошибка при переносе «записи личности». Ведь здесь действуют не тысячи, а миллиарды факторов. Но была ли это ошибка, я, разумеется, не узнаю никогда. Они не проронят ни слова. Теперь важно лишь одно: как я буду вести себя дальше.

Я засмеялся. Он стоял как вкопанный и смотрел на меня. Раз или два как бы с недоверием покачал головой. В его взгляде сквозило любопытство, но лицо было суровым, серьезным. Он пришел не забавляться.

— С нами хочет говорить Грениан, — сказал он наконец деловым тоном. — Он просил зайти за тобой.

Я поправил комбинезон и не спеша принялся натягивать ботинки. Праздничного настроения как не бывало.

Покончив с ботинками, я встал и направился к двери. Он подпустил меня на расстояние шага, потом загородил мне дорогу.

— Подожди. Правда, теперь это уже не имеет значения, но я хотел бы знать, какая муха тебя тогда укусила? Сначала ты разыграл комедию с катастрофой на аэродро-

ме, чтобы отрезать себя от людей, а потом, когда они уже привыкли к подкидыву, ты сам нырнул в море? При этом они,— движением головы он указал на коридор,— считают, что шарики у тебя в принципе на месте. Так что же тогда было? Игра в размножение людей? Ты хотел показать, что такие, как ты, могут сотворить с их «вечностью»? Или просто попрыгал, чтобы поиграть у кого-то на нервах? В результате — свалил дурака.

Я соорудил загадочную мину.

— Возможно,— проворчал я.— А может, нет. Однако кое-чего я добился. Ты хочешь знать, что я думал в действительности. Ты. Именно ты. Тебе не кажется это поучительным? Не только для нас двоих, если разобраться. Откуда мне знать, о чем я тогда думал. Того, который, как ты говоришь, нырнул, кстати, не в одиночку, уже нет. Никто никогда не узнает, о чем он думал, что чувствовал, когда машина пикировала в море. И до того, как это случилось. Что же касается домыслов, то здесь у нас совершенно равные шансы. Абсолютно одинаковые. Ты все еще не можешь понять? Или не хочешь?

Я отступил на шаг и смерил его взглядом. Он улыбался. В определенном смысле это было ответом. Честно говоря, он не походил на человека, который не хотел бы понять.

Я переждал минуту и задумчиво сказал:

— Может, тот тип решил покончить с собой именно потому, что слишком далеко отошел от тебя, например превратившись в «пилота вечности». А может, он действительно решил заставить людей еще раз продумать авантюру с вечностью, в которую они впутались, по его мнению, несколько опрометчиво? Не знаю. И скажу тебе,— я понизил голос,— мне это совершенно безразлично. Вот правдивейшая из правд. *Я не имею ничего общего с тем субъектом.* И не хочу иметь. Меня интересует только одно: что дальше? Ну, пошли,— я выпрямился и легонько подтолкнул его к двери.— Нас ждут.

Он некоторое время молча глядел мне в глаза, потом

вышел в коридор. До кабинета Грениана оставалось еще шагов тридцать, когда он резко остановился, повернулся и саркастически бросил:

— Удобная позиция — ничего не помнить. А если я спрошу, в этом ли дело? На твоём месте я все-таки чувствовал бы себя тем парнем, которым был. Во всяком случае настолько, чтобы знать, чего он хотел в действительности...

— Мне совестно, ты только и делаешь, что заботишься о других. Тебе, пожалуй, стоило бы бросить свои цветочки и стать сестрой милосердия. А может, я просто хотел занять твоё место?

— Рядом с Финой... — быстро отреагировал он, и в его глазах мелькнули желтые огоньки.

Я онемел. Раздражение как рукой сняло. Ну как же это не пришло мне в голову сразу. Мне стало жаль его. Вряд ли это доставило ему удовольствие. Тем хуже. Мы разошлись дальше, чем я мог предполагать.

— Нет, — спокойно сказал я, — рядом с самим собой. А о Фине я предпочёл бы больше не слышать. Ты *сейчас* ничего не знаешь, — я подчеркнул слово «сейчас». — Не помнишь. Со мной дело обстоит несколько иначе. Тем человеком был я, понимаешь?

Он несколько секунд прищурившись разглядывал меня, потом опустил глаза. Лицо смягчилось. Он не был зол. Скорее — озабочен.

— Эта девушка... — начал он тихо, как бы про себя, — я разговаривал с ней. Её зовут Кира...

— Отлично, — бросил я. — Ты своё сказал. Мне и этой девушке. Теперь пора подумать, что скажешь им, — я показал на закрытую дверь. — И давай кончать с девушками. Ты изменился. Раньше тебе было достаточно одной. Что же касается истории на острове... — я схватил его за воротник, — скажи, что ты этого не хотел. Ну, скажи, у тебя ни разу не мелькнула такая мысль?

Я сам удивился, сколько сдерживаемого бешенства прозвучало в моем голосе. Ярость пришла неожиданно.

Словно я отступил во времени не на несколько недель, а на целый год. И так же неожиданно исчезла.

Он не ответил. Даже не взглянул на меня. Отвернулся и положил пальцы на ручку двери. Переступая порог, я на мгновение увидел его профиль. Он улыбался. Ему, кажется, было безразлично, вижу ли это я.

— ...ни я и никто другой,— говорил Грениан, не глядя на нас.— В Комплекс пойдете с тем, что решите сами. Может быть, вам предложат что-нибудь еще, не знаю. Думаю, только в крайнем случае...— его глаза сузились в улыбку, которая охватила только верхнюю часть лица.— Можете работать, как раньше. Договоритесь, допустим, что один из вас всегда будет находиться вне Земли. Условьтесь о том, чтобы время от времени сменять друг друга. Потом несколько месяцев пробудете в Институте. Только...— он замялся, взглянул на нас и сжал губы.

— Не волнуйтесь,— проговорил тот, кто стоял рядом со мной. Я невольно взглянул на него. Я мог бы сказать то же самое. Но Грениан не ждал нашего ответа. Он не закончил лишь потому, что слова в нашем случае перестали иметь значение.

Несколько месяцев в Институте... Да, это создает определенные возможности. Другое дело, воспользуюсь ли я ими. Мое положение изменилось настолько, что самим фактом своего существования я уже не мог доказать ничего. Независимо от того, хотел я или нет...

— Ты пойдешь туда? — бросил он, когда мы возвращались по коридору, направляясь в свои кабины.

— А ты?

Он замедлил шаг. Я тоже. Мы шли рядом, плечо к плечу, как пилоты двухместной машины при выходе на стартовое поле.

— Ты серьезно думаешь, что я могу поступить иначе? — ответил он вопросом на вопрос.

— Не знаю,— пожал я плечами.— Во всяком случае, так мы ни к чему не придем.

— Интересно,— коротко рассмеялся он.— Неожиданно ты захотел к чему-то прийти. Пусть будет так. Пойду, послушаю, что они придумали. У тебя есть другие предложения?

Предложения? Чего-чего, а предложений у меня было хоть отбавляй. Раньше. Все, что приходит в голову сейчас, незамедлительно становится неприемлемым. И так будет всегда? А может, просто нужно время? Сколько? Год, вечность?

— Ерунда,— ляпнул я. Он остановился и взглянул на меня.

— Опять что-то комбинируешь? Поосторожнее. Второй раз тебе меня на крючок не поймать.

— Отстань,— резко бросил я.— Последнее время я частенько разговариваю сам с собой. Впадаю в детство. Не обращай внимания. Это пройдет.

Он еще некоторое время смотрел на меня взглядом, который при всем желании трудно было назвать доброжелательным. Потом поднял голову и указал подбородком вперед. Мы пошли дальше и остановились возле моей кабины. Его кабина находилась на том же уровне в конце коридора.

— Они тебя убедили? — подозрительно спросил он.— Или ты сам?..

— И не они, и не я сам, и уж меньше всего ты. Все, что я имел сказать, остается в силе. Убедили меня, что я был дураком? То есть нас убедили? Нет, дорогой. Я слишком высоко ценю тебя, чтобы допустить такого рода инсинуации...

— Как же ты поступишь? — прервал он.

— Так, как они посоветовали. Нам предоставлен не столь уж широкий выбор, чтобы заблудиться.

— Верно,— улыбнулся он.

— Но я ничего не обещаю,— предупредил я.— Да и сам ничего не знаю. Кроме одного — встретимся в Институте. Даже если я смогу обойтись без них. Так же хорошо, как и они без меня. Что-нибудь еще?

Он отрицательно покачал головой и уже собирался двинуться дальше, когда в дверях соседней кабины появилась Кира. Она по инерции сделала два шага в нашу сторону и вросла в пол, словно тот братец из детской сказки, который однажды неосторожно обернулся.

Я мгновение смотрел ей в глаза, потом перенес взгляд на лицо стоявшего рядом человека, о котором кроме всего прочего знал еще и то, что он с нею разговаривал.

Но в его глазах ничего не изменилось. Он спокойно ждал. Словно точно знал, что произойдет, и заранее чувствовал усталость.

Однако ничего не произошло. Девушка ошеломленно переводила взгляд с меня на него и опять на меня. Кроме изумления, в ее глазах читался вопрос, и было видно, что отсутствие ответа с каждой секундой становится для нее все невыносимее. Не то чтобы она ожидала от нас помощи. Но и не отказалась бы, случись такое.

Я молчал. Он тоже. Но я в отличие от него имел повод. Я на мгновение пожалел, что в стены коридора не встроены зеркала. Двое таких, как мы, и девушка, которая... ну, знала немного одного из нас. В том-то и дело, что одного.

Сцена затягивалась. Мне вдруг захотелось прервать молчание, подойти ближе, улыбнуться и сказать несколько слов, например, о птичках. Почему именно о птичках? Но что-то мне мешало. Приходилось ждать, пока она сама с этим управится.

Ее лицо стало молочно-белым. Потом начало темнеть, очень медленно, словно кто-то плавил слежавшийся снег, поливая его холодной водой. Она снова посмотрела на наши лица. Пошевелила губами и, неожиданно повернувшись, скрылась в кабине. В который уже раз меня поразила тишина, заполнявшая станцию.

Мой двойник слегка наклонил голову. Еще немного — и заговорит.

— Мы попрощались,— напомнил я холодно.— До свиданья.

Он не ответил. Когда я закрывал за собой дверь, он все еще стоял с загадочным выражением лица, пытаясь высмотреть что-то в дальней части коридора. Заново проигрывал в мыслях только что разыгравшуюся сцену, опасаясь, что его память не удержит какую-нибудь деталь? Что касается меня, то это было излишне.

От воды и каменных плит набережной тянуло холодом, но солнце стояло уже высоко, голубизна неба посветлела и помутнела, день обещал быть жарким. Осенний сентябрьский день, полный приглушенных звуков, терпкого аромата смолы, запаха солнца на коже и волосах.

Была суббота. От причала то и дело отходили лодки, разворачивали разноцветные паруса и скрывались в тростниковом лабиринте залива. Голоса стихали, их сменяли крики птиц вблизи берега.

Я встал, взял спальный мешок и закинул его в форпик. Сполоснул лодку, чтобы никто не мог упрекнуть чужака, использовавшего ее в качестве спальни, побрился, вылез на помост и направился к набережной. Портер ждал у выезда на главную дорогу, где я оставил его вчера вечером. Я подошел к первому попавшемуся автомату, съел то, что он мог предложить, выпил чашку кофе и сел за руль. Впереди был целый день езды. Точнее, два. Мы договорились с отцом, что он будет ждать на старом аэродроме, там же, где ждал тогда. Не знаю, почему я так решил, но он не был даже удивлен, только спросил, разумно ли это.

Впрочем, это будет только завтра. В городе я был впервые после возвращения с Бруно. Погощу недельку-другую. Но сначала надо кое-что сделать. Достаточно далеко отсюда, если еще принять во внимание время, необходимое, чтобы добраться до парома и переплыть на ту сторону. И все-таки я решил проделать этот путь, как тогда. Вчера? Неделю назад? Год?

Год — это немало. Особенно если ты только-только ступил на порог вечности. Да и можно ли с полной уве-

ренностью сказать, что в прошлый раз туда ездил именно я?

Я улыбнулся и нажал педаль. Машина рванулась, словно выпущенная из пращи. Еще в городе я вышел на быстроходную полосу. Солнце светило прямо в глаза. Перед лобовым стеклом, которое стало почти вишневым, зеркалом стлалось шоссе — бетон с пеноалюминием.

У съезда с тахострады я чуть не перевернул машину, вокруг которой копошилось несколько человек. В первый приезд я был здесь в другую пору года. Сейчас долины снова сделались местом массовых прогулок. Только кое-где, на наиболее высоких участках, еще белели пальцы ледников, словно сам Север, оберегая свои права, возложил руки на вершины. Туда направлялись немногие. Там, на краю снежной белизны, я нашел бы тишину и первородную прелесть гор. Но я должен оставаться по эту сторону. Здесь, а не там найти ответ на вопрос, который не смог задать в прошлый раз. Либо принимал отсутствие ответа за подтверждение собственных опасений, столько раз высказанных, а еще чаще проявлявшихся в неожиданных приступах нетерпения и бессилия. Настолько я измениться не мог. Во мне по-прежнему присутствует все, что превращало мое время из монолитного сооружения в рыхлый ком из бегущих минут и часов. Такое настоящее непригодно по сути своей в качестве материала для создания будущего. Но означает ли это, что от меня уже ничего не зависит? От меня и любого из тех, кого слепая судьба произвела на свет на переломе эпохи минут и вечности?

Абсурд. В действительности вопрос должен был звучать совершенно иначе. Как? Именно это мне предстояло узнать. Здесь, в горах, за несколько минут. Только ради этого я взбираюсь по той же самой дороге, что и год назад, так же, как тогда, выжимаю из машины все, на что она способна, будто несколько минут опоздания могут что-то решить.

Я довольно долго ехал в полумраке, тени становились

плотнее, фотоэлемент включил фары, их свет выхватывал контуры гранитных глыб, нависавших над поворотами шоссе. Я сбавил скорость, и неожиданно у меня перед глазами возник красный огненный шар. Внизу был уже вечер, домики поблекли, склоны становились темно-вишневыми, угрюмо поблескивала темно-фиолетовая вода фиорда. Небо на востоке посерело, но передо мной все еще горел остановившийся на бегу день. Фары погасли, лобовое стекло снова стало дымчато-желтым. Горы заставили меня свернуть с дороги и опять привели туда, где я мысленно был уже несколько минут назад.

На площадке стояла одинокая машина, большой комфортабельный портер. Перед барьером, напротив домика, виднелись три фигуры: две женщины и мужчина. Мужчина повернулся, когда я въехал на площадку, и окинул мою машину неприязненным взглядом. Женщины не шевельнулись. Я видел только их силуэты, они стояли словно замороженные, похожие на рекламные манекены бюро путешествий. Больше здесь не было никого.

Я поставил машину неподалеку от портера и направился к домику. У подножия нависшей над домиком скалы, покрытой пятнами мха, затаился мрак. Я сделал несколько шагов и вошел в тень. Холодно. Дверца в боковой стене домика притягивала меня, как магнит. Я улыбнулся и не перестал улыбаться, даже когда рука встретила сопротивление. Я долго держался за ручку двери, прежде чем до меня дошло, что это означает. Я постоял еще минуту, может, две. От пальцев, все еще сжатых на неподвижной ручке, по телу расходился озноб.

Позади слышались приглушенные голоса, нарастающее ворчание двигателя. Потом звук стал медленно удаляться и оборвался совсем, когда огромный портер перевалил за каменную гряду. Я остался один.

Не знаю, сколько времени я так простоял — десять минут или час — как человек, у которого из-под носа ушел последний корабль и перед ним вдруг раскрылась огромная плоскость, лишенная всякой точки, на которой

можно было бы задержать взгляд... и мысль. Я повернулся и медленно пошел к своей машине. Порылся под сиденьем, вытащил теплую куртку, набросил на плечи и направился к скале.

С темного камня стекала струйка воды и по капле падала в поросший травой ровчик. Я непроизвольно пробежал взглядом по зигзагообразному каменному столбику, выходявшему в нескольких метрах выше на срезанный выступ, который загораживал вершину. Словно загипнотизированный подошел к скале и провел по ней рукой. Как следует надел куртку, застегнул ее до шеи и пальцами нащупал неглубокую щель в камне. Я шел быстро, уверенно, почти вслепую. В трех метрах над площадкой столбик резко сворачивал к выступавшему козырьку. Отсюда прямо вверх шла неглубокая расщелинка. Мне потребовалось не больше пяти минут, чтобы взобраться на узкий карниз, с которого на вершину вела словно специально высеченная в камне тропка. Я сел в небольшом углублении, чем-то напоминавшем каменную тарелку, потом улегся на спину и подложил руки под голову. Небо уже не было серым. Теперь оно превратилось в ветхий балдахин, сквозь который просвечивали первые звезды. Я глядел на их перемигивающиеся огоньки, и неожиданно мне вспомнилась база на Европе. Мир планет-гигантов. Патт... Нет, мне не хотелось гадать, чем он сейчас занимается. Обязательный на борту ритм дня и ночи был условен, как любое деление времени в пространстве. Но это неважно. Он там, среди заполняющих пустоту светящихся точек. Интересно, вспоминает ли еще иногда, что не он, а я должен был куковать в сферических стенах тесной кабины и сидеть за экранами, прислушиваясь к голосам Вселенной. Я вернусь туда, если не сегодня, то завтра. Или через год. Это моя работа: контрасты между тлением звезд и вечной ночью пустоты, жизнью и небытием, жаром ядерных взрывов и материей, съезжившейся при температуре абсолютного нуля. Я пытался вызвать в памяти лицо Патта, то, что он говорил, когда

прилетел за мной, его удивление и беспокойство. Впустую. Я слишком был поглощен тем, что предстояло сделать здесь. Даже если и не осознавал этого.

Я прикрыл глаза, и тогда вдруг перед моим взором возникло другое лицо, лицо в обрамлении черных волос. Кира смотрела прямо на солнце широко раскрытыми глазами, которые сохраняли цвет искрящейся голубизны с легкой, почти неуловимой примесью бронзы. Это лицо явилось мне само, не приходилось вспоминать его выражение, додумывать изменения при ином освещении. Но ведь не о ней думал я, когда шел сюда, на этот каменный гребень, срезанный на половине высоты смотровой площадкой.

Я взглянул на звезды и поднялся. Разболелась шея, мышцы окаменели. Я обошел вершину вокруг и, придерживаясь за выступы, спустился вниз.

Розовый домик стал темно-серым. Окружавший площадку барьер был не виден. Звезды проступали все резче, словно кто-то понемногу увеличивал напряжение питающей их энергии. В воздухе возникло какое-то движение. Я почувствовал на лице дуновение теплого ветерка. Принюхался, но, кроме запаха влажных камней, не уловил ничего.

Стягивая на ходу куртку, я направился к портеру. Уселся на сиденье, закрыл окно и опустил спинку кресла. Потом накрылся курткой и, прежде чем закрыть глаза, долго смотрел на похожее на театральную декорацию земное небо.

Проснулся я, одеревенев от холода, полный внутренней дрожи. Стекла запотели, изо рта вырывались облачка пара.

День только начинался, если солнечный свет означает день, даже когда в человеке, его мозге и органах чувств ночь еще не сказала последнего слова. Горы, платформа, розовый домик — все было покрыто росой. Пахло свежеразмоченным каменным полом, какие встречаются в древних

двориках. Одно из ответвлений фиорда блестело ртутью, остальные были затянуты грязноватой молочной дымкой. Солнце добралось до половины склонов, и казалось, что лежавшие выше границы тени домики раскинули свои пастельные крылья, словно удивительные, сложенные из геометрических фигур насекомые.

Я вылез из портера и, не доходя до двери домика, прислушался. Тишина. Я постоял несколько секунд, не думая ни о чем, вернулся к машине, побрился и пробежал два-три круга по площадке, чтобы согреться. Потом подошел к барьеру на краю площадки, перелез через него и, цепляясь за камень, съехал на тот карниз, который облюбовал в прошлый раз. Уселся, спустил ноги в пропасть и задумался. Из долины донеслись приглушенные, какие-то ирреальные звуки. Только тогда я поднял голову и осмотрелся. Солнце уже подбиралось к самому нижнему из домиков. Вода в фиордах под слоем глубокой синевы просвечивала зеленым, редко разбросанные узкие банки подстроились под цвет неба. Воздух быстро прогревался, я уже не чувствовал холода, скала высыхала, казалось, ее только что омыли кипятком.

Меня будто что-то подтолкнуло, я откинул голову и взглянул вверх, словно надеялся вызвать этим движением морщинистое лицо старого проводника. Его там не было. Край скалы — и едва видимая черная полоска барьера над ним. Я смотрел, как и тогда, вертикально вверх, пока не почувствовал, как занемела шея. Тогда встал и медленно, с трудом опять взобрался на площадку. В прошлый раз это получилось у меня легче.

Дверь розового домика была открыта. Изнутри доносился стук отодвигаемого деревянного предмета — табурета или доски. Звон посуды. Свист вырвавшегося под давлением пара и шум воды. Минута тишины — и снова звон посуды.

Я невольно поднял голову. Ноги несли меня сами. Неожиданно я сообразил, что лицо мое расплывается в улыбке. Я тихо, крадучись, шел вдоль стены домика.

Вот и дверь. Осторожно, сантиметр за сантиметром я высунул голову из-за косяка. Долго смотрел, прежде чем понял. До меня доносился чей-то голос. Не мой. Но кроме меня здесь была только одетая в простенькое платье женщина, рот которой наверняка был закрыт. Она протерла прилавок и уже принималась за посуду, когда ее внимание привлекла моя тень. Женщина взглянула на дверь и замерла. Добрую минуту мы стояли, меряя друг друга взглядом, причем оба очень хотели, чтобы того, на что мы смотрим, в действительности не существовало. Что поделаешь, она была столь же реальна, как и раскиданные по малюсенькой комнатке предметы.

Наконец она отвернулась и занялась собой. Одернула платье, подвернула рукава, поправила пояс. Потом пригладила волосы и взглянула на меня. Улыбнулась, давая мне понять, что, коль уж я здесь, она принимает это как должное.

— Приготовить что-нибудь? — спросила она. У нее был высокий голос. Говорила она тихо, но не настолько, чтобы я сразу же не захотел оказаться как можно дальше отсюда. В ней не было ничего, что оправдывало бы такую реакцию. Причина крылась во мне. Память о другом голосе. Мужском. И о его смехе.

Я отрицательно покачал головой.

— Пожилой мужчина... — начал я. — Пожилой мужчина, старик, — повторил я. — С бородой. У него была высокая шляпа. Это говорит вам о чем-нибудь?

Она не ответила, только отрицательно покачала головой. Ее рука сделала движение в сторону лежавшей на прилавке щетки. Я перестал быть гостем. У нее не было для меня свободного времени.

— Он работал здесь, — настаивал я. — А раньше он ходил в горы...

Она опять покачала головой.

— Не знаю, — наконец сказала она тоном, в котором прозвучала нотка нетерпения. — Я здесь с июля. Все идет по трубопроводам снизу, — ее взгляд направился в сто-

рону кранов за прилавком.— Надо подать и прибраться. Не было никого. Дом был закрыт. Пришлось прийти...

Она глубоко, мне показалось — с облегчением, вздохнула, отвернулась и занялась своими кружками.

Все. Конец. От нее так и веяло уверенностью, что она сказала больше, чем следовало. И теперь мне надлежит уйти.

Так я и поступил. Не сразу, правда. Последнее время я слишком часто думал о розовом домике, чтобы так вот попросту повернуться и уйти. Мне требовалось несколько секунд, чтобы освоиться с мыслью, что с *этим* покончено.

Наконец я кивнул женщине и вышел за порог. Она не одарила меня даже взглядом. Я для нее уже не существовал, так же как и тот старик, о котором она даже не слышала. У меня в ушах опять прозвучал его смех, когда я сказал, что он не может умереть. Как это случилось? О чем я думал, прежде чем решился докучать своими заботами этому никому не нужному проводнику, пришедшему сюда, как он сам сказал, ниоткуда, с гор?

Не знаю. Да и какое это имеет значение? Особенно теперь? Я повернулся и медленно подошел к барьеру. Здесь он стоял тогда, глядя вниз, на каменный карниз. Ему не было дела до окружающих вершин, между которыми просвечивали ледовые шапки, до домиков, похожих на цветные лоскуты, сброшенные с гор, до сосен, уцепившихся за камни, торчавшие из темно-фиолетового фиорда, солнца и ветра. Ему было безразлично, найдет ли он это завтра, через неделю, через год. Ему был важен только человек, который находился в нескольких метрах ниже, на наклонном карнизе и, похоже, собирался нырнуть в пропасть. Он даже не подумал, существует ли для этого человека обратная дорога сюда, на площадку, вырезанную в камне, и снизошла ли уже на него благодать вечности. Походило на то, что он вообще о ней не слышал. По крайней мере, до тех пор, пока не рассмеялся.

Я оперся локтями о барьер и провел взглядом по долине. Неожиданно улыбнулся. Легко указать точку в про-

странстве, из которой взгляд может охватить весь земной шар. Придет ли час, когда человек таким же образом взглянет на Галактику? Теоретически этого нельзя исключить. А на Вселенную?

Я усмехнулся. Нет. Скорее всего, нет. Но ведь не в этом дело. Речь идет о точке, из которой мы смогли бы охватить не пространство, а время, как я сейчас вижу эту долину, полную света и тени, красок, воздуха, напоенного ароматом растений, камней и моря. Игра? Да. Ну, так давайте играть дальше. Некоторым удавалось отыскать такие места. По крайней мере, так они утверждали. Но это было, пока человек оставался во времени, как картина в раме. Любое человеческое действие, любой замысел, любая мечта были очерчены непреступными границами пространства. А сейчас?

Нет, сейчас пока еще невозможно указать точку, из которой удалось бы взглянуть на собственное время и исследовать или хотя бы только охватить его возможности. Такая же граница, как между Галактикой и Космосом. Тем не менее человек устремляется в этот Космос. Рассчитывает трассы и строит корабли. Рано или поздно мы проложим дороги сквозь Вселенную, как делаем это сейчас в пределах Солнечной системы. Может, когда-нибудь то же самое случится со временем?

Я глубоко вздохнул. День был в разгаре. Блеск далеких ледяных вершин несколько поблек, вода в фьордах изменила оттенок, посветлела. Надо ехать. Я так давно ни с кем не договаривался о встрече, что успел отвыкнуть.

Я оторвался от барьера и повернулся к портеру. Машинально одернул куртку. В эту пору дня движение на тахостраде стихает.

Думаю, отцу не придется ждать.

СОДЕРЖАНИЕ

Кир Булычев

Человек современный 5

Станислав Лем

МИР НА ЗЕМЛЕ 19

Конрад Фиалковский

НОМО DIVISUS 273

Богдан Петецкий

ОПЕРАЦИЯ «ВЕЧНОСТЬ» 407

Литературно-художественное издание

ОПЕРАЦИЯ «ВЕЧНОСТЬ»

Сборник научно-фантастических произведений

Заведующий редакцией В. С. Власенков
Старший научный редактор А. Г. Белевцева. Младший редактор И. Б. Ильченко
Художник К. Сошинская. Художественный редактор Н. М. Иванов
Технический редактор И. М. Кренделева. Корректор Т. И. Стифеева

ИБ № 7011

Сдано в набор 6.01.88. Подписано к печати 16.09.88. Формат 70 × 100¹/₃₂.

Бумага кн. журн. Печать офсетная. Гарнитура Тип таймс.

Объем 8,75 бум. л. Усл. печ. л. 22,75. Усл. кр.-отт. 24,41. Уч. изд. л. 25,59.

Изд. № 9/6202. Доп. тираж 100 000 экз. Зак. 72. Цена 3 р. 50 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» 129820, ГСП, Москва, И-110, 1-й Рижский пер., 2

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

**Книги, вышедшие в серии
«Зарубежная фантастика»**

1965

Брэдбери Р. Марсианские хроники.

Занднер К. Сигнал из Космоса.

Кашшаи Ф. Телечеловек.

Лем С. Охота на Сэтавра.

Несвадба Й. Мозг Эйнштейна.

Оливер Ч. Ветер времени.

Поол Ф. и Корнблат С. Операция «Венера». Торговцы космосом.

Туннель под миром. Сборник рассказов.

Экспедиция на Землю. Сборник рассказов.

1966

Азимов А. Путь марсиан.

Белая пушинка. Сборник рассказов.

Шекли Р. Паломничество на Землю.

Уормсер Р. Пан Сатирус.

Фиалковский К. Пятое измерение.

Хойл Ф. и Эллиот Д. Андромеда.

Гаузер Г. Мозг-гигант.

Чапек К. RUR. Средство Макропулоса. Война с сала-мандрами.

1967

Брэдбери Р. Вино из одуванчиков.
Борунь К. Грань бессмертия.
Времена Хокуса. Сборник рассказов.
Как я был великаном. Сборник рассказов.
Кейдин М. В плену у орбиты.
Лем С. Непобедимый. Кибериада.
Луна двадцати рук. Сборник рассказов.
Пришельцы ниоткуда. Сборник рассказов.
Саймак К. Прелесть.

1968

Гости страны фантазии. Сборник рассказов.
Каттнер Г. Робот-зазнайка.
Пиршество демонов. Сборник рассказов.
Саймак К. Все живое.
Случай Ковальского. Сборник рассказов.
Человек, который ищет. Сборник рассказов.
31 июня. Сборник рассказов.

1969

Жулавский Е. На серебряной планете. Рукопись с Луны.
Звезды зовут. Сборник рассказов.
Карточный домик. Сборник рассказов.
Музы в век звездолетов. Сборник рассказов.
Нортон Э. Саргассы в космосе.
Продается Япония. Сборник рассказов.
Фантазии Фридьеша Каринти. Сборник рассказов.
Фрейн М. Оловянные солдатики.

1970

Бандагал. Сборник рассказов.
Вавилонская башня. Сборник рассказов.
Гаррисон Г. Тренировочный полет.
Кларк А. Космическая Одиссея 2001 года.
Комацу С. Похитители завтрашнего дня.
Огненный цикл. Сборник рассказов.
Пески веков. Сборник рассказов.

1971

Вайсс Я. Дом в 1000 этажей.
Крайтон М. Штамм «Андромеда».
Лем С. Навигатор Пиркс. Голос неба.
Стальной прыжок. Сборник рассказов.
Шутник. Сборник рассказов.
Фантастические изобретения. Сборник рассказов.
Через Солнечную сторону. Сборник рассказов.

1972

Дальний полет. Сборник рассказов.
Двое на озере Кумран. Сборник рассказов.
Клемент Х. Экспедиция «Тяготение».
Космический госпиталь. Сборник рассказов.
Саймак К. Заповедник гоблинов.
Финней Дж. Меж двух времен.

1973

Лем С. Солярис. Эдем.

Нежданно-негаданно. Сборник рассказов.
Рассел Э. Ниточка к сердцу.

1974

Браун Ф., Тенн У. Звездная карусель.
Практическое изобретение. Сборник рассказов.
Симпозиум мыслелетчиков. Сборник рассказов.

1975

Педлер К., Дэвис Дж. Мутант-59.
Человек-компьютер. Сборник рассказов.

1976

Азимов А. Сами боги.
Кларк А. Свидание с Рамой.

1977

Братья по разуму. Сборник рассказов.
Комацу С. Гибель дракона.

1978

Миры Клиффорда Саймака. Сборник рассказов.
Пять зеленых лун. Сборник рассказов.

1979

Азимов А. Три закона роботехники.

Прист К. Машина пространства.

1980

**Последний долгожитель. Сборник рассказов.
Ле Гуин У. Планета изгнания.**

1981

**Кларк А. Фонтаны рая.
Бова Б. Властелины погоды.
Дорога воспоминаний. Сборник рассказов.**

1982

**Саймак К. Кольцо вокруг Солнца.
Цвет надежд — зеленый. Сборник рассказов.
Трудная задача. Сборник рассказов.**

1983

**Брэдбери Р. Холодный ветер, теплый ветер.
Солнце на продажу. Сборник рассказов.**

1984

**Браннер Дж. Квадраты шахматного города.
Оливер Х. Энерган-22.
Миры Роберта Шекли. Сборник рассказов.**

1985

Патруль времени. Сборник рассказов.

Клейн Ж. Звездный гамбит.
Прист К. Опрокинутый мир.
Лалангамена. Сборник рассказов.

1986

Недетские игры. Повести.

1987

Франке Г. Игрек минус.
День на Каллисто. Сборник рассказов.

1988

Мир — Земле. Сборник рассказов.
В тени сфинкса. Сборник рассказов.
Ночь, которая умирает. Сборник рассказов.

3 р. 50 к.

Зарубежная



фантастика



ISBN 5-03-001168-4

Издательство «Мир» Москва